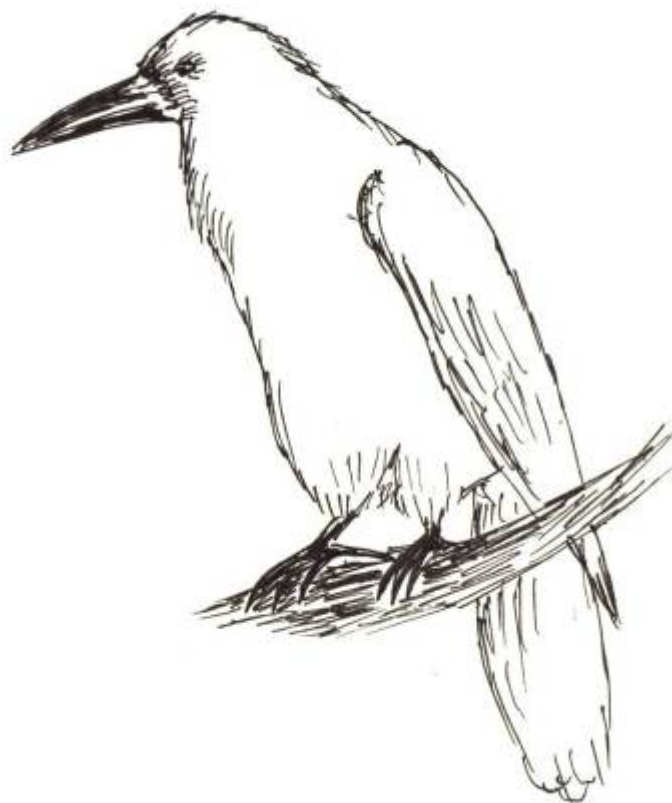


Литературный альманах

БЕЛЫЙ ВОРОН



Екатеринбург
ВЕСНА 2016

BELYJ VORON 2016/1(23)/ Winter Literary Magazine

Copyrights © 2016 by Alejnikov Vladimir, Aleksandrov Aleksei, Argutina Irina, Belchenko Natalia, Berkovich Evgeniy, Bylinin Konstantin, Danova Ekaterina, Dernova Olga, Holodova Svetlana, Hrykin Sviatoslav, Kabir Maxim, Kagan Viktor, Kovsan Mikhail, Kramer Aleksandr, Kranz Heinrich, Nikolaev Sergey, Ogarkova Maria, Olteanu Mihai, Oshevnev Fedor, Riabokon Dmitriy, Shapenkov Dmitriy, Shilimat Raisa, Slepukhin Sergey, Slepukhina Evdokia, Smoliakov Vladimir, Tate Ash, Vinterman Iziaslav, Vitkovskij Evgeniy, Zakharova Nadezhda, Yashnov Mihail.

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form or by any means, including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the Publisher and/or the Author, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

Editorial board:

Evdokia Slepukhina, Tatyana Krasnova, Maria Ogarkova, Vadim Molodyj, Polina Rubliova.

Chief Editor:

Sergei Slepukhin

Picture on the cover by **Mihai Olteanu** (Romania). **Explosion.** 30x30 cm. Oil on canvas. 2016

Book design and logotype by **Evdokia Slepukhina**

ISBN 978-1-365-01391-1

Eudokia Publishing House
eudokiya@gmail.com

Printed in the United States of America

СОДЕРЖАНИЕ

4 **МАРИЯ ОГАРКОВА** «И МАРТОВСКИЕ ИДЫ НАСТУПИЛИ...» *Слово редактора*

МЯТЕЖНЫЙ КАРАНДАШ

8 **ИРИНА АРГУТИНА** ШУМ КВАНТОВАНИЯ. *Повесть*
40 **РАИСА ШИЛЛИМАТ** СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ. *Рассказ*
43 **АЛЕКСАНДР КРАМЕР** ИЗ ЦИКЛА «АРЕСТ». *Рассказы*
48 **ФЕДОР ОШЕВНЕВ** ЗАПИСКИ БУКИНИСТА. *Рассказ*
62 **МИХАИЛ КОВСАН** БЕГСТВО. *Роман. (Окончание)*

БРЕД ПОЭЗИИ СВЯЩЕННЫЙ

92 **ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ** ПОЧТИ ВОСПОМИНАНИЕ
97 **СВЕТЛАНА ХОЛОДОВА** ТАМ, ГДЕ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ
100 **ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ** ИЗУМРУДНЫЕ РЫБЬИ САДЫ
101 **СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ** ПРИВЫЧНОЕ ЧУДО
103 **ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ** САД ЭРМИТАЖ
107 **МАКСИМ КАБИР** НОВАЯ НЕНАВИСТЬ
110 **ВИКТОР КАГАН** ОТРАЖЕНИЯ
113 **ТЕЙТ ЭШ** ВСЕМ, КТО ПРОСНУЛСЯ
115 **ИЗЯСЛАВ ВИНТЕРМАН** ГЛАЗОК В ГРУДИ
117 **ОЛЬГА ДЕРНОВА** В ОБХОД ВОЛНЕНИЙ
122 **АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ** ВРЕМЕНА ГОДА
124 **ДМИТРИЙ РЯБОКОНЬ** УДАЧИ!
126 **ДМИТРИЙ ШАПЕНКОВ** АНФАС
128 **КОНСТАНТИН БЫЛИНИН** УРАЛЬСКИЙ ДЕНЬ

AD FUTURAM MEMORIAM

ПАМЯТИ СВЯТОСЛАВА ХРЫКИНА

130 **НАТАЛЬЯ БЕЛЬЧЕНКО** СМИРЯЮЩИЙ ХАОС ИЗ ЧЕРНИГОВА *Эссе*
132 **СВЯТОСЛАВ ХРЫКИН** В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ *Избранные стихи*

МАЭСТРО

136 **МИХАИЛ ЯШНОВ** ФАНТАЗИИ ДИКАРЯ И РЕБЕНКА. О рисунках Нади Захаровой

ХОРОШО ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ...

144 **МАРИЯ ОГАРКОВА** «СМЕРТНОЙ РАДОСТИ ЖИТЬ РЕМЕСЛО...» *Эссе*
146 **ГЕНРИХ КРАНЦ** БИБЛИЯ ДЛЯ РАЗУВЕРИВШИХСЯ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МАТЕРИК. *Эссе*
149 **ЕВГЕНИЙ БЕРКОВИЧ** МАТЕМАТИКА И ТОМАС МАНН. *Три эссе*

НЕВЕРНАЯ НИТЬ АРИАДНЫ

192 **ЕКАТЕРИНА ДАНОВА** ЛЕГЕНДЫ СЕВЕРА И ЮГА. *Очерки о Петербурге и Мельбурне*
197 **ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ** СИЛУЭТЫ И ТЕНИ. *Проза поэта*
226 **РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ**



«И МАРТОВСКИЕ ИДЫ НАСТУПИЛИ...»

Слово редактора

И в мире, и в душе может твориться всё, что угодно. Но законов природы никто не отменял. За зимой приходит весна, это неизбежно. Но почему она дышит в лицо холодом? А надежда на весенние перемены столь туманна и призрачна?

У кого спросить об этом, как не у поэтов? Что ж, поговорим о поэзии. Тем более, что этой весной стихотворный раздел журнала предстаёт перед нами как некий срез близких многим мыслей и чувств, и между совершенно разными (по мироощущению, жизненному опыту, возрасту) поэтами возникают поразительные диалоги и переклички.

Начнем с того, что настроение в стихах, по преимуществу, осеннее и зимнее: «*Слишком холодно нынче у нас – на краю / самой трудной земли...*» (С. Николаев); «*Неизбежны боль и прохладца / настигают повсюду.*» (Е. Витковский). И это показательно – весна не хочет наступать. И, как мы можем ясно увидеть, с категорией «время» в поэзии начинают твориться странные фокусы: «*Стекали стрелки со стенных часов, / металось время в поисках начала...*» (В. Каган); «*И кажется, неподвижно / время остановилось и более не течёт.*» (С. Николаев); «*Служит время сомнительной сводней, / водит за нос природу...*» (Е. Витковский). Образ остановленного или текущего неправильно времени появляется в стихах обычно в периоды застоя, «безвременья». Это происходит далеко не в первый раз, и заставляет серьёзно задуматься.

Ещё одним признаком большого неблагополучия предстаёт вновь возродившееся внимание поэтов к теме загробного мира (ада, Аида), в частности, ада дантовского и его девяти кругов. И если раньше в поэзии нередко встречались более или менее абстрактные размышления о самой идее посмертной жизни, то сейчас усиливается конкретная тема ада на земле, ада «здесь и сейчас»: «*с добрым утром тебя, любимая, с новым адом*» (М. Кабир). Кто-то иронически называет нашу жизнь раем, а кто-то – даже «адовым раем», как Виктор Кабир.

Наиболее точно ощущения людей, живущих в земном аду, выразил Максим Кабир:

*Мы лежим на дровах. Инквизиция курит в сторонке.
А над нами по небу летят, и летят похоронки.*

Наших поэтов волнуют очень разные вещи. Но есть близость между мрачными видениями Тэйт Эш и пророческими снами Виктора Кагана. «Божественная комедия», «Фауст» и Библия – источники размышлений для них.

Ольга Дернова и Сергей Николаев – трудно найти столь не похожих друг на друга людей. Но есть что-то родственное в их трепетном отношении к природе, ко всему живому, что рождает у читателя светлое чувство, несмотря на то, что эти поэты хорошо знают, как «жизнь страшна».

«Печальные новости множатся в мире печальном», – говорит Евгений Витковский, и это, действительно, так. «Страшный мир» опять врывается и в поэзию. От него могут скрыться разве что только очень толстокожие индивидуумы. Но не поэты, не художники и творцы, которые чутко реагируют на всё, и, как сейсмографы, регистрируют любое повышение уровня зла и несправедливости в мире. «Растет энтропия, и с этим никак не поспоришь», – снова отмечает Витковский, но ведь спорят! Поэзия – способ борьбы с энтропией. Может быть единственный. И общее свойство всех настоящих поэтов – неравнодушные. Они знают и видят то, что другим не дано.

*Так умирай последним спамом,
чувств не скрывая, не тая.
Поэт лишь тот, кто был на самом
краю «бы» и «небы» – тия.*

(И. Винтерман)

Пусть «...мартовские иды наступили / по всей земле» (О. Дернова). Мы выживем, мы справимся.
Пока жива поэзия.

«Белому Ворону» 5 лет!



2011



2012



2013



2014



2015



МЯТЕЖНЫЙ КАРАНДАШ





ШУМ КВАНТОВАНИЯ

Повесть

1

«Тридцать лет спустя» – забавная фраза, если вдуматься. Спустя! Как воздух из колеса – спустить тридцать лет. Тридцать один, если точно, да жаль, не звучит...

Спустить воздух. Вдохнуть-выдохнуть – и не дышать. Отстучать на клавиатуре до сих пор не забытую фамилию и название города, прислушаться к себе: дрогнуло, ёкнуло или ничего личного, сплошное любопытство? – и запустить поиск. Ох ты, умная машина, ещё будешь исправления предлагать! Нет уж, ищи, что велено. А теперь пороемся в этой куче... Хотя – не такая уж и куча: город – не столица, человек, судя по всему, – не птица. И всё – дела давно минувших дней, средние века практически.

Впрочем, вот свежее: некто Ольга Авалова. Первая персональная выставка в зале Союза художников – только что открылась. «Тень ушедшей грозы», майолика. «У самого края», шамот. «Говори!», необожжённая глина. Даже имеется пара фотографий – работ, а не автора. Какой нерв, однако. Необычно и, несмотря на то, что снимки плоховаты, кажется, талантливо. При этом госпожа Авалова – старший преподаватель университета, химик. Ещё у одной – раздвоение личности. Да, именно так: Авалова. Интересно, сколько ей лет? Ага, почти ровесница – на год или два моложе. А вот Владимир Авалов, студент, – публикация двухлетней давности в сборнике докладов научно-технической конференции того же университета. Второе место в региональной студенческой олимпиаде по физике – ещё годом раньше. Сергеевич, между прочим. Сын? Других Аваловых, похоже, в городе нет или они ничем не примечательны. Российские княжеские фамилии – редкость, да и те, что есть, скорее всего, когда-то от хозяев крепостным достались.

А ещё где-то там, в почти мистическом городе тридцатилетней давности, жила Алла – или миф о ней, девушке, победившей собственный мозг. Отыскать её по девичьей фамилии не удалось, а в том, что фамилия изменилась, Анна почти не сомневалась, так должно быть, и это справедливо. Алку она вспоминала часто – это единственное разрешённое воспоминание, которое не только не угнетало – поддерживало. Когда родилась дочь, Анна сразу определилась с именем: Алька. Пусть полное будет – Александра, но именно Алька, а не Саша и не Шура.

Легка на помине: взбежали каблучки по ступенькам, словно восходящую гамму отстучали. Дверной замок незлобиво чертыхнулся: веч-ч-чно спеш-ш-ит девч-ч-чонка. А она ещё из прихожей, одновременно пристраивая сумку, снимая туфли (приучили-таки – не кроссовки и не безобразные тапки для улицы, гордо именуемые балетками!), шарфик, плащ, отметилась коронным вопросом: «Ну, всё в порядке в бабском королевстве?» – и, не особо ожидая ответа, распахнула дверь в комнату.

Оторвавшись от монитора, Анна взглянула на дочь – и внезапно её захлестнул золотистый, липовый, медовый дух, обманчивый ветер из другого мира, где она сама, двадцатилетняя, в последний счастливый день юности распахивает дверцу шкафа и разглядывает своё отражение в зеркале. Дежа вю. Все говорят, что они с Алькой очень похожи. Это правда. Но Алька – лучше. Уж её-то никто не назовёт Снежной королевой – если она и королева, то очень дружелюбная и демократичная. Эх, Алька, Аллюша. Нет, нет, «Аллюшу» оставим бабушке Эмме – ей положено. А для тебя – Алька или, в серьезных случаях, Александра: не дай бог обрушится на девочку тонны любви. Спокойнее. Строже. Требовательнее. Всё равно не проведёшь.

– Ма, ты на каком форуме зависла, а?

– На каком... что?

– Так, ясно. Потом будешь мне выговаривать, что я весь вечер за компом. А сама? И когда, наконец, ты начнешь понимать нормальную речь?

Нет, нахальство девчонки беспредельно: сказать такое матери, совсем недавно получившей литературную премию, правда, местного разлива, «за метафоричность и богатство языка в повести «Шум квантования»!

– Александра! Имей совесть!

– Ну, мам, чего ты? Я же вижу – ты в инете шарилась, гуглишь потихоньку. А на меня сейчас так посмотрела, как будто я сквозь стенку прошла. Вот я и подумала, что ты там в теме какой-то. И, между прочим, если хочешь, чтобы тебя читали не только бабушкины и твои знакомые, но и мои, так и на нашем языке говори немножко. Мы-то твой знаем... ну, более-менее, – у Альки хватило совести немного смутиться.

«Правда она в чём-то, – подумала Анна, – и даже если мы находим общий язык, даже если я что-то понимаю и принимаю, начался их век, они в нём живут, а я осталась в своём, а в этом учусь ориентироваться, выживать. Или доживать? Но-но, не дождутся!»

Альке восемнадцать, и она – взрослая. Иногда Анна даже немного робеет перед ней. Себя в этом возрасте она помнит ещё совсем девчонкой. Да и в двадцать оставалась такой – пока не случилась одна гроза в конце июня. Как называется майолика у этой самой княгини Ольги из далёкого города N – «Гени ушедшей грозы»? Совпадение? «Как будто я сквозь стенку прошла», – сказала Алька и даже не подозревает, как близка к истине. Тоннельный эффект.

Ну, значит, судьба. Не случайно эти два дня Анна «зависала», как говорит дочь, задавая всезнающей машине один и тот же географический запрос. Вот всё и совпало, и сейчас – да, прямо сейчас, пока не поздно, она позвонит шефу и скажет, что согласна ехать. Можно, конечно, подождать до завтра и сказать на работе – всё равно никто другой не захочет: не за границу, даже не в Москву и не в Питер. Но – мало ли... Лучше сейчас. Тем более что Алька уже улетела на кухню – на запах бабушкиных пирожков.

– ...Анна Михайловна, ты в порядке? Целый день потратил на уговоры хоть кого-нибудь – и на тебе! Ты точно поедешь в эту дыру с миллионным населением по доброй воле? Чего забыла там, а?

Шеф всегда к ней благоволил – и пятнадцать лет назад, когда она, устроив Альку в садик, пришла работать на кафедру, а он, тогда пятидесятилетний замзав, добродушно обозвал её «кандидатка-физматка». И спустя пару лет, когда он уже был полноценный зав, а она прижилась, расслабилась и перестала опасаться чего бы то ни было, в том числе и его расположения. Тогда всей кафедрой праздновали наступающий новый год – ели-пили-танцевали, и в разгар веселья Анна незаметно ускользнула в преподавательскую. Она, как всегда, торопилась: дома ждали пятилетняя Аля с бабушкой, только начавшей приходить в себя после смерти мужа. Да и сама Анна после недавней потери отца ещё не готова была к шумному всеобщему веселью. Она уже сунула руки в рукава пуховичка, когда кто-то крепко обхватил её сзади, мгновенно развернул, порывисто и крепко прижал и впился губами в её губы прежде, чем она успела что-то понять. Она вырывалась молча, яростно – такого отпора он не ожидал и, выпустив добычу, постоял пару секунд, развернулся и вышел из комнаты. Анна побрела домой, размышляя о том, как в первый рабочий день нового года напишет заявление, отработает максимум две недели и уйдёт – куда?

На следующий день тяжело заболела Алька. Неделью температура никак не хотела опускаться ниже тридцати девяти. Ночами Анна с мамой спали по очереди, боялись худшего: в ту зиму грипп лютовал. Когда Алька стала оживать, потребовала на завтрак две сосиски и любимую книжку про клоуна, Анна вздохнула с облегчением и, совершенно обессиленная, свалилась сама. Только героическая мама-бабушка, Эмма Аркадьевна, не поддалась болезни. Всё это тянулось до середины января, отодвинув воспоминание о предновогоднем инциденте на самые задворки памяти. Анна вернулась было к размышлениям о нём по дороге на кафедру, но, приехав, обнаружила, что вирус, перебрав многих, свалил, наконец, и Олега Петровича. Так прошла ещё неделя. А потом

увольняться было уже глупо. Оба сделали вид, что ничего не было. Ничего и не было – взрослые люди, подумаешь, какой пустяк.

Вообще-то шеф, надо отдать ему должное, явным самодурством не отличался, предпочитал мирные решения. Вот и сегодня, когда стало ясно, что кого-то от кафедры придётся отправить по межвузовскому проекту в эту, как он выразился, «дыру», да ещё и перед самым отпуском – в начале июля, – Олег Петрович дал им сутки на размышление. Не поспешил прибегнуть к «словому решению» – и оказался прав.

– Поеду. Триста лет не была. Жила я там когда-то.

– Столько не живут, делу на десять. Ладно, понял.

Анна положила трубку и встретилась взглядом с Алькой, неторопливо дожёвывавшей пирожок в дверях комнаты.

2

Румяные Марфы, Матрёны и Степаниды в ярких народных нарядах двухвековой давности открывали на телеэкране метеорологическое шествие городов, с востока на запад, по всей необъятной. Удивительная стабильность: на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале и далее, по всей европейской части, – плюс двенадцать... плюс четырнадцать... Серёжа сказал бы: отрицательная стабильность. По всей стране в разгаре холодное мокрое лето, разве что Сочи и Ставрополье до двадцати двух дотянули. Да, ещё Ялта добавилась и погоду делает.

На канале «Культура» в прогнозе погоды зарубежную живопись сменили на родной колорит, но лето от этого лучше не стало: за окном уже третью неделю серая пакость, морось, пробиваемая настоящими ливнями, после которых не рассеиваются тучи, не голубеет небо, не видно солнца. Предпоследний день июня уныло истекает. Ольга сердито щёлкнула пультом: все в отпусках, даже музыка исчезла с единственного канала, который она смотрит. А у неё самой вчера открылась первая в жизни персональная выставка – в самый что ни на есть мёртвый сезон. Собственно говоря, кто бы дал проводить её в другое время? Сейчас – пожалуйста, всё равно народ разъехался, и никто из признанных в местном крошечном мирке художников и скульпторов не собирается выставляться до сентября.

Вчера на открытие собралось человек тридцать – приятная неожиданность. Впрочем, не стоит оболыщаться: скорее всего, тех, кто ей незнаком, в помещение загнал дождь. Хотя – вокруг столько магазинов и даже два гипермаркета, а их всё-таки понесло на выставку. Уже неплохо. А поскольку и речи говорить тоже было особо некому, всё прошло скромно, уютно, почти домашнему. Володя накануне привёз её работы в зал, помог расставить и, кажется, был удивлён: не ожидал, что мать за десять лет столько всего наваяла. На открытие он пришёл с девушкой – Люда, вроде бы... Самое удивительное, что даже Андрей выбрался – в кои веки не дежурит в субботу. Ещё и Анютку привёл – как выросла девочка, уже с Ольгу ростом! После смерти Серёжи Оля нечасто видела его брата, но он словно чувствовал, когда действительно необходимо появиться. А по телефону позванивает, не забывает.

Среди посетителей были две неизвестных Ольге семьи с детьми. Мальчик волчком прокатился по залу и чуть не спшиб её недавнее творение, «У самого края», – у самого края и затормозил, да и то потому, что она успела стать живым щитом. С кем же он тут, интересно? Поискала глазами: вот они – экие лица... безмятежные! А рядом старенького уже «Кошачьего ангела» разглядывала девочка лет семи-восьми с тёмной косичкой, которая от макушки, вбирая прядки слева и справа, едва добежала тощим хвостиком до острых лопаток. Девочка прочитала название, оглянулась на родителей – ух, большеглазая какая! – и спросила:

– А он ангел – потому что умер, да?

Мама рассеяно ответила:

– Ну... наверное, – и вдруг, усмехнувшись, бросила быстрый взгляд на мужа, тут же отвела и негромко сказала: – Когда умрут, все становятся ангелами, даже коты.

– Не все, – вздохнула девочка. – Видишь, у него глаза грустные-грустные. Ему всех жалко: и людей (она опять вздохнула), и котов. Поэтому он ангел.

Володя тоже слышал этот диалог. Они с Ольгой пересеклись взглядами – точно так же, как если бы это был Сергей. Вовка очень похож на отца, но не внешне, а в движениях, жестах. Ох, как не хватает Ольге этого понимания без слов, этого молчаливого присутствия... Конечно, Вовке надо жить отдельно – взрослый парень. Вот он и снял квартиру год назад, как только защитил диплом. «Неужели женишься?» – спросила она тогда. «Нет, мам, пока присмотреться надо. Не бойся, если надумаю чего, ты первая узнаешь». Но тогда была Лена, кажется. Потом Катя. А сейчас Лю-

да – если она Люда – отрешённо оглядывала зал. «Опять – ненадолго», – вздохнула Ольга. Подошёл Андрей, по-братски обнял её и сказал: «Молодец».

Ей было тепло вчера. А сегодня накрыло опустошение – словно покинул её ангел с грустными-грустными глазами, которому всех жалко: и людей, и котов. Ерунда какая! В ангелов, кошачьих или каких-нибудь ещё, она никогда не верила, всё это просто метафоры, плоды воображения. Отчего же так тошно? Стоит она посреди комнаты с бесполезным пультом в руках – и телевизор не смотрит, и не знает, куда себя деть, хотя и дел – море, да и отдохнуть не грех перед последней в учебном году и такой тяжёлой рабочей неделей. И толстый серый Васька, старенький уже, разлёгшись поперёк дивана, тарачит на неё огромные, зелёные, круглые, как у совы, глазницы. Она села рядом и уткнулась лицом в его густую мягкую шерсть.

3

Итак, мама собралась ехать в Запретный Город, тот самый, название которого в их доме когда-то даже произносить не полагалось... Алька за своё детство столько историй напридумывала о том, о чём мама не хотела говорить, что любая правда оказалась бы слишком неинтересной. Потом, всё же, был у них разговор, и мама рассказала ей многое. Кое-что Алька поняла не так давно. Но история ещё более давняя – о маминной юности – раньше совсем её не интересовала. Она долгое время не знала, что за несколько лет до её рождения мама с бабушкой и дедом переехали сюда – за полторы тысячи километров от их родного города.

В своё время Альку интересовал другой, простейший и вполне естественный вопрос – насчёт папы, но бабушка путалась в объяснениях, сердилась и отвлекалась, а мама и вовсе не хотела говорить об этом. Пришлось обратиться за уточнением к соседской Маринке – у неё был не только папа, но и младший брат в коляске. И вполне разумные представления о том, откуда он взялся: «Папа маму обнимал-обнимал, вот и Ромка получился. Но ещё раньше-то я получилась. Чтобы ребёнок получился, папа маму должен наобнимать как следует!» Алька раскрыла рот от изумления. Надо же, как просто и понятно! «А ты откуда знаешь? Может, ты это всё придумала!» – на всякий случай усомнилась она, хотя на самом-то деле сразу поверила подружке. «Мне папа САМ сказал! А если не веришь, я с тобой не играю», – обиделась Марина. «Верю», – сказала Алька и загрустила. Ей никогда ничего подобного дома не говорили.

Вообще-то отсутствие папы она заметила довольно поздно: до пяти лет её баловал обожаемый дед Миша. Она его очень хорошо помнила. Из детского сада Альку забирала бабушка, реже – мама, а вскоре приходил с работы дед – всегда в тёмном костюме с галстуком, как будто очень строгий и важный. Но она, Алька, знала: это такая игра, спрятался дед Миша в сердитый костюм совсем ненадолго, так же, как Алька прячется под стол, но быстро вылезает, если её там никто не ищет. И в самом деле, дед сразу шёл переодеваться и мыть руки и, наконец, появлялся в маленькой комнате – мягкий, домашний, в спортивных штанах и футболке навыпуск – и устраивался на диване. «Эй, кто тут будет детка Алька?» – кричал он басом. «А кто тут будет дедка Мишка?» – пищала она и лезла к нему на живот. Футболка задиралась, и большой белый живот представлял во всей красе: по нему можно было ползать и даже барабанить, дед только жмурился и похохатывал, несмотря на протесты бабушки Эммы. Но однажды он пришёл, лёг и не позвал Альку. Она прибежала сама – и увидела, что его рука висит, почти касаясь пальцами пола, и закричала: «Бабушка, у деды живот совсем не вздыхает!»

Без дедки Алька загрустила. Нет, в садике ей было весело, и её почти все любили: она была смелая, нежадная, знала много стихов и сказок, но не хвасталась, а выдумывала игры – то про Винни-Пуха, то про Айболита, а лучше всего – про Маугли. А дома... Бабушка её обожала, с бабушкой можно было почитать книжки, попросить её спечь пирожки, а ещё – послушать, как она играет на пианино или учит играть детей постарше Альки. Но как только Алька спрашивала её о чём-нибудь важном, она тут же вспоминала, что на плите подгорает ужин, или сама начинала задавать вопросы о какой-нибудь ерунде: чем кормили в садике, не болит ли живот, что будет Алька на ужин – рыбу или сосиску (вот уж точно дурацкий вопрос, конечно, сосиску!), и однажды Алька так и заявила: «Бабушка, с тобой невозможно серьёзно разговаривать!»

А мама... Мама была самая главная и самая любимая сказка – такая красивая, что все прекрасные принцессы и царевны в сказках были на неё похожи, но, конечно, гораздо хуже. Поэтому сказки о принцессах Альке быстро надоели. Ещё мама была очень-очень умная – Алька поняла это, когда побывала у неё на работе. В тот день в детском саду лопнула батарея, а у бабушкиных учеников, как назло, был академический концерт в музыкальной школе, и маме пришлось взять Альку с собой. «Сможешь сидеть молча? Сейчас ко мне на лекцию ребята придут!» Алька сначала обрадовалась, что придут ребята, а потом оказалось, что это молодые дяди и тётки. Она села сзади

и больше часа молча слушала, как мама говорит им непонятные слова и пишет на доске непонятные буквы и значки, похожие на червяков. И гордилась, что мама объясняет что-то очень сложное этим взрослым «ребятам», но они совсем не шумят и всё время пишут. А когда лекция закончилась, Алька важно подошла и взяла её за руку – чтобы все видели, чья это такая умная и красивая мама. «Ну, что ты поняла?» – улыбнулась мама. Алька ткнула пальцем в кривого червячка на доске и сказала: «Эта буква называется интигал». «Р» она почти до самой школы не выговаривала. Мама обрадовалась, стала ещё красивее и весело сказала: «Учитесь, студенты!».

По вечерам, когда мама приходила с работы домой, они с Алькой садились рядышком и сидели в обнимку – хоть недолго, хоть пять минут, но обязательно. Алька даже иногда не открывала рта – чтобы подольше так посидеть и не спугнуть маму, потому что сказка эта была самой загадочной, всегда готовой закрыться на самом интересном месте, и с чего она началась и чем закончится, Алька так и не знала. Потом она поняла, что мама играет с ней в прятки, только прячет она свою тайну. И Алька решила допридумывать её сама. Задавать вопросы она перестала.

«Если папа был хороший и умер, – размышляла она, – почему мама про него никогда не рассказывает? Почему бабушкина фотография висит в комнате на стене, и ещё много разных фотографий хранится в альбомах, а папу я никогда не видела?» И она решила, что папа был плохой. Даже, наверное, очень плохой, совсем нукудышный. К этой мысли она пришла уже в школьные годы – и очень расстроилась. «А вдруг я на него похожа? Может, и я – плохая?»

В тот день Алька возвращалась из школы, точно зная, что жизнь кончена. Двойка за контрольную по ещё недавно любимой, но безнадежно заброшенной математике ясно доказывала: она тоже – нукудышная. И если мама это поймёт... В общем, нужно прийти домой, лечь на диван и больше никогда не вставать, не есть и не пить. Алька брела, думая о том, сколько надо пролежать на диване без еды и воды, чтобы умереть, – и получалось, что мама всё равно придёт с работы раньше. Или бабушка спохватится. Рядом завизжали тормоза, она машинально отшатнулась и упала на асфальт. Автомобиль замер в считанных сантиметрах, почти уткнувшись ей в плечо голубым овалом на капоте. Открылась водительская дверь, Алька увидела очень белое лицо с выкатившимися из орбит глазами – и, заорав от ужаса, помчалась куда глаза глядят. Через несколько кварталов она остановилась, отдышалась и осмотрелась. На светло-голубых колготках сквозь грязные дыры были видны расцарапанные до крови колени. Левый рукав свитера пыльной гармошкой собрался на плече, а от кисти до локтя багровела огромная ссадина. Алька побежала домой, мысленно повторяя: только бы там никого не было...

Ей повезло: бабушка, похоже, ушла за продуктами, мама ещё не вернулась. Алька отмыла колени и локоть, переделась, засунула под ванну перепачканный свитер и рваные колготки и легла на диван – совсем не для того, чтобы никогда не вставать, а потому, что её трясло и ноги подкашивались.

Анна возвращалась с работы, размышляя о том, что с дочерью происходит что-то неладное: дома разговаривает односложно, в школу стала ходить без интереса – это во втором-то классе! – и, бабушка жалуется, даже потеряла аппетит. Надо бы с ней поговорить – но тогда, может быть, придётся отвечать на её вопросы. Ох, как это сложно, как хотелось бы избежать! Избежать. И сбежать. Наверное, каждому свойственна своя область трусости, вот и она, Анна, ничуть не лучше. Сбежала один раз, потом второй. Но всю жизнь бегать не получится – от дочери не сбежишь, а вот потерять... Она не успела додумать, услышав: «Аа-аа-нна Михаааа-анна!» Кричала соседская Маринка, одноклассница и подружка Альки, как будто поджидавшая её во дворе. Она бежала навстречу и на ходу кричала что-то невообразимое. Алька. Машина. Какая машина? Серая. Форд. И оттого, что Маринка так уверенно назвала марку, Анна внезапно разучилась дышать. Из-за этого она никак не могла спросить главного. Но Марина сказала сама: Алька сразу встала и побежала. Наверное, домой.

Анна летела вверх по ступенькам, а в ушах звенела ещё одна фраза Маринки: не глядя шла, как будто специально под машину...

...Сон был вязкий и плотный, как кисель, и Алька не могла из него выбраться. Лица мамы, бабушки и ещё кого-то – наверное, доктора, расплывались над ней и становились похожи на то, белое, с выпученными глазами. Она вскрикивала – и снова погружалась в кисель. Так прошло двое суток. На третий она проснулась. Мама сидела рядом и дремала, держа её за руку. Через неделю, окончательно поправившись, Алька, отводя глаза, спросила: «Мам, если я нукудышная, почему ты всё равно меня любишь?»

Она слушала, как быстро и шумно стучит сердце, – мамино сердце, к которому прижималась её голова – и боялась пошевелиться. А мама сказала новым, не совсем своим голосом: «Никогда, никогда так не говори. Ты моя прекрасная, самая любимая и ты – замечательная». Алька подняла голову и впервые в жизни увидела мамино лицо мокрым от слёз.

– Я думала, – прошептала она растерянно, – вдруг я как папа...

– Как папа? – обомлела Анна.

– Ну, – смутилась Алька, – вот деда Миша был очень хороший, я помню, и ты про него часто вспоминаешь. А папа был совсем плохой, да?

«Что, получила? Боялась? Избегала? Неужели правда была бы страшнее, чем то, до чего ребёнок додумался? Чуть не потерять дочь из-за своей трусости...»

– Аля. Алечка. Твой папа хороший и умный человек. Просто мы никогда не жили вместе.

– Почему, если он хороший?

– Потому, детка, что двум хорошим людям нужно ещё любить друг друга, чтобы жить вместе.

– Он – что, тебя не любил? – возмутилась Алька.

Анна грустно улыбнулась:

– Я его не любила. Да и он – не очень.

– А как же...

«Не наобнимал», – подумала было Алька, вспомнив давний рассказ подружки Маринки, но теперь она уже чувствовала, что не всё так просто:

– А как же я?..

– Я очень хотела, чтобы у меня была дочка. Мне уже было не так мало лет, целых тридцать три, понимаешь? И я знала, что мы вместе – бабушка Эмма, деда Миша и я – будем любить тебя и сможем вырастить.

– А он куда делся?

– Он даже не знал, что ты должна родиться. Я ему ничего не сказала. Мы перестали встречаться, он потом, кажется, уехал отсюда, и мы никогда не искали друг друга.

– А как его звали?

– Ну вот тебе и здарсьте! А как у тебя отчество? Всё по-честному, Павлом и звали. Павлом Андреевичем.

– А почему ты его не любила?

– Алечка, ты ещё не совсем здорова, чтобы так долго и о таких сложных вещах говорить, давай в другой раз, а?.. Ну, хорошо, хорошо, – почти испуганно сказала Анна, потому что Алька уже надулась и опустила голову, – я попробую тебе ответить, но потом отдохнём, ладно? Хотя – ну, правда, я не знаю, как объяснить, почему любишь, почему не любишь... Я пыталась его полюбить, но не смогла. Что-то отталкивало меня («Толстые пальцы и неумеренный оптимизм», – подумала она и подавила грустную усмешку), а когда не любишь, любая ерунда может оттолкнуть. Вот и решила я, что нельзя жить с человеком, которого не любишь. Поэтому и живём мы только с тобой, – она взяла Альку за руки, – и с бабушкой. И ещё был деда Миша. Вот и всё. А теперь – спать.

4

Разговор, состоявшийся десять лет назад, Алька помнила слово в слово – как стихи, которые запоминала легко и намертво. Он был единственным, этот разговор. Почему-то, узнав, что папу звали Павлом, что он был вполне нормальным, а не «никудышным», как она вообразила, и, самое главное, что они с мамой оба не любили друг друга (тут, правда, было что-то непонятное, но пока голову ломать не хотелось), Алька успокоилась и потеряла интерес к вопросу. Она знала точно, что мама у неё – необыкновенная, а вскоре ещё раз убедилась в этом.

Однажды, возвращаясь из школы, Алька обнаружила, что из их почтового ящика торчит огромный потёртый на углах конверт – в такой можно было бы засунуть, например, классный журнал. Ну – если бы кому-то пришла в голову такая странная идея. И, как ни странно, внутри прощупывалось нечто подобное, а на конверте Алька с удивлением увидела нерусские буквы. В тот год в школе она начала учить английский и пока освоила только алфавит, «a pen», «a book» и «my name is Аля». Но этих знаний вполне хватило, чтобы прочитать адрес и свою фамилию, перед которой стояла первая буква имени – А. Именно так Алька подписала тетрадку по английскому – и получила замечание от Жанны Борисовны за то, что поленилась написать имя полностью.

Алька бежала вверх по ступенькам, даже не гадая, что там, внутри, а сочиняя, по обыкновению, фантастическую историю. Допустим, Сам Президент Германии решил пригласить в гости обычную школьницу из России, но не из Москвы, а из Сибири, например. И выбрал её, такую симпатичную и неглупую, – по фотографии. Ведь неделю назад зачем-то к ним в класс приходил фотограф... Выдумывать было намного интереснее, чем пытаться разодрать конверт прямо на лестнице, к тому же руки у Альки были заняты ещё и портфелем, и мешком с обувью (который она сегодня уже чуть было не потеряла). Ничего, сейчас она дома аккуратно – как мама – вскроет его и

посмотрит, что же ей прислали. И гордо покажет бабушке, а вечером – маме, то, что внутри, и сам конверт с иностранными буквами.

Внутри оказался журнал с пёстрой обложкой, – словно ребёнок разными красками нарисовал всякие загогулины – на которой одно слово было напечатано крупно и опять по-иностранному. Алька попыталась его прочитать, но не поняла. Зато внутри всё было по-русски: стихи, рассказы, статьи. В содержании – её, Алькина, фамилия, а впереди – имя. Анна. Как – Анна? Почему Анна? Медленно в голове прояснились две вещи, первая – поразительная: мама пишет стихи, которые напечатали в иностранном журнале, а вторая – очень неприятная: Алька открыла мамин конверт – сама и без спроса. «Ну ладно, – уговаривала она себя, – я же не нарочно. А теперь, наверное, можно и почитать. Ведь журналы для этого и делают, и продают!» И она открыла мамину страницу.

Стихи были на русском языке. Алька это знала точно. Она даже знала все – ну, почти все – слова, которыми они были написаны, – и не могла эти слова сложить, чтобы понять, о чём они говорят. Вот так однажды, лет в шесть, она, читавшая уже бегло, решила, что хватит про Карлсона, пора посмотреть, чем там мама занимается, – и смело открыла лежавшую на маминном столе книгу «Булевы алгебры»... Но сейчас-то ей уже одиннадцатый! Алька чуть не разревелась от досады, но потом решила попробовать прочитать вслух. Получилось опять непонятно, но красиво: как будто барабаны и колокольчики, подумала она. Бабушке она решила не признаваться, а дожидаться мамы.

«Безобразие!» – сказала мама, и Алька виновато вздохнула. «Безобразия! Какое они имели право совать бандероль в почтовый ящик! Я и так жду этот журнал два месяца... Извини, Алька, это я не тебе – я на почту нашу сержусь. Так что, ты прочитала? Наверное, не поняла ничего, да? Не расстраивайся, понимать стихи тоже надо учиться, это не намного проще высшей математики. Что ты говоришь, барабаны и колокольчики? Как хорошо...»

В тот вечер мама сама читала Альке эти стихи. Голосом, паузами, интонацией расколдовала она непонятные строчки так, что у Альки щекотно задрожало под рёбрами, а по плечам пробежали мурашки.

С тех пор прошло семь лет. Алька окончила школу, легко прошла по конкурсу в университет на сложную, почти мужскую специальность – туда, где процесс проверки гармонии алгеброй приобретал вполне практическое воплощение. Она никогда не пыталась сочинять стихи, зато написание программных кодов доставляло ей истинно творческую радость.

Анна продолжала работать на кафедре высшей математики. И у неё стихи больше не хотели рождаться – родилась повесть, которую повзрослевшая дочь прочитала очень внимательно. К этому времени буйная фантазия в Альке не умерла, но уравновесилась ясным умом и чёткой логикой, – и судьба одной из маминих героинь открыла ей многое, очень многое из того, о чём мама так и не смогла ей рассказать, а она, уже не ребёнок, не могла теперь расспрашивать. Алька вычислила город, где когда-то жила мама, почти догадалась о причине, заставившей её уехать оттуда, и даже о том, почему она не смогла полюбить Алькиного отца. Но какие-то тайны остались – и мысли о далёком городе, который Алька мысленно называла не иначе как «запретный», хотя уже знала его название, блуждали в её голове, страдавшей от неполного знания даже больше, чем от его полного отсутствия.

И вот мама уже два дня ищет в сети каких-то людей в этом городе и внезапно звонит шефу, заявляя, что поедет в командировку. Времени поедания пирожка хватило Альке для анализа ситуации и принятия решения.

– Как ты считаешь, мама, человек, досрочно и отлично сдавший сессию, заслужил право на отдых?

– Заслужил, – осторожно и кратко ответила Анна, не сводя глаз с дочери.

– А как ты думаешь, совершеннолетний человек может самостоятельно планировать свои действия?

– Алька, не морочь мне голову. Что ты задумала?

– У меня каникулы. Дожди, судя по прогнозу, будут лить ещё две недели как минимум. Торчать в городе надоело, ехать на озеро бессмысленно. Вот и хочу я, как хорошая девочка и преданная дочь, съездить в кои веки с мамой в город её детства, почувать, так сказать, атмосферу, в которой возникает «Шум квантования», например... В общем, давай так: ты – в командировку, а я – с тобой, в прогулочном режиме, а?

– И я, – это бабушка вдруг высунула голову из кухни. – Уж не хотела тебя, Аня, тревожить, но если сама туда собираешься... Снится он мне – всё лучшее было там. Ну, кроме Алюшки, конечно.

Анна молча переводила взгляд с одной на другую.

Запахло горелым.

– Пирожки!!! – хором завопили Алька и бабушка и с одинаковой прытью рванули на кухню.

По дороге с работы Володя заехал в гипермаркет и купил запечённую курицу, огурцы-помидоры, большой пучок зелёного лука вперемешку с укропом, майонез и ароматный, ещё тёплый, круглый хлеб, по размеру и мягкости напоминавший подушку. Ужинать предстояло в одиночестве: сразу после маминной выставки они с Людой в очередной раз поссорились, да так крепко, что она начала собирать вещи. Раздражённо швыряла каждую тряпку в большую спортивную сумку и ископа поглядывала на Володю.

Конечно, она ждала его реакции – правильной реакции, и он точно знал, какой: дорогая... ну зачем... ну извини... А он молчал, с изумлением чувствуя радость освобождения и немного стыдясь того, что чувство это, пожалуй, сродни злорадству. Людмила желаемого не дождалась и наградила его самыми банальными из возможных эпитетов: бесчувственный, тупой, эгоист... пожалеешь! Последнее, впрочем, кажется, не эпитет, но ещё глупее, думал Володя. «Сказала бы, например, что я людоед. Или, если уж так любит определения, – стеклянный-оловянный-деревянный. Может, пошпелелась бы», – лениво размышлял он и не двигался. Ушла, хлопнув дверью, – какая пошлость...

Нельзя сказать, что он не переживал. Он пытался ответить себе на вопрос, почему вообще появилась Люда, а до неё – Катя, Лена, да, честно говоря, и ещё несколько совсем кратких эпизодов... Может быть, он соглашается на то, что само плывёт в руки? В лучшем случае это лень, а в худшем? А может, это нормально – он молодой здоровый парень, девушки никогда не обделяли его вниманием... То есть, получается, он сам и не выбирал? Нараставшее раздражение вызвало в памяти подробности последней ссоры. Вроде бы – ерунда, слово за слово... Но повод был серьёзный. Дёрнул его чёрт привести Людмилу на мамину выставку, а потом спросить: «Ну как?» «Ой, так красиво, – защебетала она. – Я даже не ожидала. Только названия какие-то странные и непонятные. А вот «Копшачий ангелочек» (она так и сказала – «ангелочек») очень милый, но такой печальный...»

«Ему всех жалко – и людей, и котов, поэтому он ангел», – вспомнил Володя маленькую глазастую девочку на выставке. И еле проглотил готовое сорваться с языка: дура! Тем не менее, всеми своими последующими словами, мимикой и движениями он постарался дать ей понять, что она дура, в чём и преуспел. Так что, получается, всё верно было сказано – бесчувственный. Тупой. А что – нет? Сразу-то не понял про неё ничего? Или понял, но – устраивало? А потом – перестало? И кто ты тогда? Верно, эгоист. Пожалел уже? Вот ещё!

Вообще весь год выдался нескладным. Когда диплом защищал – было чувство гордости: вот он, Вовка Авалов, не только придумал, разработал, но и соорудил... И с тех пор – сплошная тоска, ни радости, ни предвкушения. «Я работаю волшебником», – говорил он поначалу. Так называлось умение вернуть к жизни безнадежно, казалось бы, убитые приборы и устройства. Теперь он перешёл к другому определению: мусоропереработка. Первый год аспирантуры тоже не принёс ничего, кроме пары опубликованных статей, степень пустоты которых он сам знал лучше всех, и первого опыта преподавания. Два раза в неделю он вёл занятия у студентов своей же специальности и пытался дать им то, чего в своё время не хватало самому: понятие о новых технологиях и современных задачах. И не мог понять их равнодушия, пока не получил прямых ответов. «Нам это не пригодится, мы не будем в этой области работать», – сказал один. «Этого же нет в программе курса, так зачем лишнее, и так много учить», – добавил другой. И всё же он потихоньку продолжал, потому что сидели там, на второй парте у окна, два лобастых парня – и слушали.

К этой мало-помалу накапливающейся досаде добавилось то, что отдалились друзья, которых раньше видел каждый день. Да и с девушками всё как-то... С Леной они надоели друг другу через два месяца, с Катей – через три. Ладно хоть – без трагедий обошлось. Люда начала раздражать его через месяц. Он занервничал: может, это у него характер скверный? А может, всё намного хуже, и ему просто не дано любить? Ещё полтора месяца он терпел, а она ни о чём не подозревала, довольная всем на свете и собой – в первую очередь. А почему бы и нет – фигура прекрасная, кожа нежная, волосы длинные и густые, светло-каштановые – не девушка, а подарок. «Ангелочек», – пробормотал Володя с отвращением.

Он и не заметил, как разогнал свой «Рено», – в хмурый будний вечер узкая тихая улица была пустой, до дома оставалось всего ничего, пара кварталов. Впереди маячил зелёный светофор, и когда до него уже было метров десять, на дорогу выскочил грязно-розовый резиновый мяч. Ещё не разобрав, что это, Володя дал по тормозам – дупераздирающий их визг и чёрные полосы на асфальте не спасли мяч от печальной участи, а водителя – от острого, панического ощущения свершившейся катастрофы. Минуту, две или больше он стоял перед светофором, не соображая, что произошло, потому что за мячом бежал пацан лет десяти – и мяч был раздавлен, а мальчишка – нет, но Володя понял это не сразу. В ушах стучало, капли пота стекали со лба по вискам, пальцы рук ныли и дрожали – он с трудом отлепил их от руля. А мальчишка – из местных, район-

ных, полубеспризорников, не обременённых родительской опекой, – показал ему на пальцах фигуру выразительную и совсем не детскую, сплонул под колесо и ушёл вразвалочку к поджидавшим неподалёку приятелям.

...Как он без сознания проехал два квартала? Встал перед подъездом – и минут пятнадцать сидел в машине. Шевелиться не хотелось, думалось о какой-то ерунде. Завтра – на работу. Нужно пойти домой, поужинать. Проверить почту. Потом надо бы подготовиться: послезавтра он ведёт практику на четвёртом курсе. Там есть ребята с интересом, с живыми глазами. Не забыть: в среду у мамы закрывается выставка. Нужно будет помочь ей увезти работы. Между прочим, через полмесяца у неё самый что ни на есть наикруглейший юбилей – а он ещё даже не задумывался о подарке. У него самого день рождения в конце августа. Надо бы позвать Витю, Стаса – как окончили университет, так почти и не встречались. Нужно ещё...

Он очнулся: что-то ещё было нужно. Пусть неважное. Этими, не бог весть какими, верёвками (шнурками, хмыкнул Володя) как раз и оказываешься привязан к жизни. Он повесил на плечо рабочую сумку, взял пакет с едой и вышел из машины. Дома помыл овощи и зелень и накромял их большими кусками и лохмотьями (все его девушки, как сговорившись, резали так мелко, что и вкуса не почувствуешь). Разогрел в микроволновке добрую половину запечённой курицы и набросился на еду с жадностью молодого зверя.

Когда, наевшись и, вроде бы, успокоившись, он сел за компьютер, перед глазами вдруг снова пролетели зелёный глаз светофора, выкатившийся на дорогу мяч, хлопок под колёсами, злая и чумазая мордочка пацана... «Вырастет – убьёт меня. Почему – убьёт? Ну как же: я окончил университет, купил машину и раздавил его мяч. А ведь это я мог убить его сегодня – я, человек мирный и осторожный, мог стать убийцей. Не стал – хорошие тормоза. Это очень важно – хорошие тормоза». Голова продуцировала мысли произвольно: какая-то химическая реакция шла в мозге не по накатанному пути. Следующим её продуктом была неожиданно вспыхнувшая в памяти строчка: «Как всё меняется, и как я сам меняюсь...» – с какой стати, откуда? Слышал? Читал? Мама – та бы сразу сказала: Заболоцкий, а он читал гораздо меньше, чем она. Стоп: почему Заболоцкий? В самом деле? Он полез искать в интернете и удивился: так и есть! И подумал: теперь точно что-то изменится.

Зазвонил телефон. Мама, конечно, – кто ж ещё.

– Привет, сын. У тебя всё в порядке?

– Да, конечно, мам.

– Вовка, что случилось?

– Абсолютно ничего, всё нормально.

– Володя, я, может быть, много чего в жизни не понимаю, но когда у тебя что-то не так, меня не обманешь – я же слышу! Говори.

Вот ведь! Кому угодно соврёшь – и не заметит, а тут – как проколовшийся школьник, пойманный на слове. Ну не рассказывать же ей, что чуть не задавил ребёнка – она и так поначалу места себе не находила, когда он сел за руль, всё просила позвонить, когда доедет куда-нибудь...

– Ничего страшного. Распрощался с Людмилой. Осмыслил свою жизнь и решил стать серьёзнее. Читаю Заболоцкого.

Мама помолчала. Потом растерянно – или задумчиво? – произнесла: «Как всё меняется...», пожелала спокойной ночи и положила трубку.

6

По влажному блеску в его глазах она всегда безошибочно определяла: заболел. По чёткости фраз и уверенному тону догадывалась: врёт. Звенящая бодрость, излишне жизнерадостная интонация – плохо ему, что-то случилось. «Что с тобой, Володя?» – спросила Ольга у телефонной трубки. Трубка молча валялась на диване. Ну не ехать же к нему! И вообще – парень взрослый, самостоятельный.

Покоя не было. Она встала, побродила по комнате, всполошив дремавшего Ваську, который решил, что вот он, желанный час, – пить молоко и снова ложиться спать, но уже как человек, на постель, поближе к хозяйке. «Отстань», – сказала она, и кот, обиженно мявкнув, ушёл на кухню караулить свою миску. Ольга обвела глазами комнату. На столе валялись листы бумаги с набросками – уже несколько дней вертелось в голове название будущей композиции, но идея не имела формы и не ложилась на бумагу. «Чёрт с тобой», – буркнула она, сгребла листы и понесла выбрасывать в мусорное ведро. Мелкий сфинкс Вася с надеждой посмотрел на неё печальными глазами Копчячьего ангела. «Васька, не травми душу!» – Ольга этот скорбный взгляд выносила с трудом. Она вынула молоко из холодильника, налила в чашку и поставила на двадцать секунд в микроволновку.

Вернулась в комнату, опять беспечно покружила по ней. «Что это тебя так перекосило?» – спросила у портрета в рамочке, одного из множества снимков на стенах её комнаты. Увлечение фотографией с юных лет дожило до нынешних, оно же когда-то и занесло Ольгу в тот фотомагазин, где она впервые встретила Серёжу ...

Запищала микроволновка. «Иду, иду, не пищи», – сказала Ольга и подумала с горечью: «Что такое одиночество? Это когда разговариваешь не только с котом, но ещё и с фотографией, листом бумаги и микроволновкой». Она налила молока коту, остальное выпила сама. Мысли вернулись к Володе. Сколько месяцев он живёт отдельно? Она видит его не каждую неделю. Отдаляется потихоньку – ну что ж, это нормально. Что сегодня произошло? Её ли это дело? В конце концов, он уже дома – добрался...

Да, Серёжа тогда тоже доехал до дома, вошёл – и упал на пороге. Тьфу, почему – тоже? Вовка молод, здоров, всё у него пока нормально складывается. Почти всё. Какой-то надлом? Как у Серёжи?

Да что же это такое... Девять лет прошло! Тогда, девять лет назад, стояла жара, цвели липы, и недвижный душный воздух словно бы весь состоял из их густого дурманящего аромата. А потом была ночная гроза...

Нет, нет, конечно, она не живёт только этим! Она всё ещё слушает музыку – даже больше, чем раньше, и сейчас музыкой звучат для неё и стихи, и хорошая проза, и даже глина, когда она творит из неё свои откровения. Она видит, что прилетели стрижи и расчерчивают небо, и в их изломанных траекториях – свобода, нерв, угловатая виртуозность. Она не угрюма! Она по-человечески, с пониманием, а порой и с юмором, относится к своим студентам – и они откликаются, отвечают тем же, иногда, увидев, что она одна в преподавательской, заходят просто поговорить. Она замечает красивых людей любого возраста и пола, от ясноглазых детей с тонкими чертами лица и тщательно прорисованными самой природой бровями и ресницами, до редкой породы достойно состарившихся благородных женщин и ещё реже – мужчин. Она по-детски радуется, когда ушедший дождь превращается в раду, а вчера ей поднял настроение молодой парень, произнёсший в маршрутке слова «пожалуйста» и «будьте добры»... Но вот день гаснет, она дома, а дом пуст – разве что Васька...

Ольга посмотрела в окно. Сумерки, как будто уже поздний вечер, а всего-то девятый час. Это рыскающая по небу лохматая стая серых туч сожрала солнце. Как там, у Корнея Ивановича, – крокодил солнце в небе проглотил? Какой-такой крокодил? Волки! Мрачно, пасмурно, холодно. Правда, первый день без дождя. Начинается июль.

Теперь, проводя вечера в одиночестве, Ольга всё чаще думала о Серёже – и терзала себя: прожить шестнадцать лет вместе – и так и не узнать, что за туча грозовая висела над ним всю жизнь, что за событие довело его до последней черты, у которой она случайно его встретила – и не дала переступить, отвела. Но груз лежал на нём до конца, давил, давил – и придавил. Однажды она даже решила было поговорить с Алексеем, который, вернувшись в семью, продержался там недолго, всего пару лет, и теперь опять жил в квартире, оставшейся от матери. Увидела его как-то раз, выйдя во двор, и остановилась, поджидая. Уговаривала себя: спрошу, не я могу так больше, он знает, должен знать. Алексей приближался деревянной походкой, подойдя, сказал, как обычно: «Здравствуй, Оля», – и от него пахло крепким перегаром. Она, преодолевая отвращение, начала было: «Лёша, я хотела...» – но он прошёл мимо, как робот, и, сделав механический поворот, неловко вписался в подъезд.

И вот вчера произошло событие, о котором она как раз и хотела рассказать сыну, но разговор сразу пошёл не туда, она занервничала, расстроилась... Впрочем, может, и к лучшему, что не рассказала. Замечал ли он, что отец живёт под гнётом? Вряд ли. Вообще – интересуется ли Володю прошлое, пусть даже близких людей? Он никогда не расспрашивал её о детстве или юности. Правда, что-то она сама рассказывала. Было ли ему интересно слушать? Пожалуй, да, но она не очень уверена. Молодым важны сегодня и завтра. Когда, в какие годы проходишь этот пик, после которого завтра и вчера меняются местами, и воспоминания становятся дороже надежд?

За первую неделю выставки Ольга была в зале дважды: на открытии и, как договаривалась с организаторами, в тот день, на который была заявлена экскурсия для детей из городского летнего лагеря. Вчера и был такой день.

Бедные дети! Была бы погода – их могли бы сводить в парк, покатав на каруселях или даже американских горках. Вот было бы визгу! Или, например, в зоопарке они с шимпанзе и мартышками строили бы рожи друг другу и были бы безмерно счастливы. Но вчера опять был дождь, и их привели на выставку, где всё – «у самого края», и даже названия непонятны. Разве что старый добрый Кошачий ангел мог выполнить, как обычно, свою миротворческую миссию. А тут ещё и

«встреча со скульптором», с ней, то есть. Наверное, думают, как о некоторых учителях: «Хоть бы заболела!»

Она вышла, поздоровалась, оценила возраст – «средний школьный», выдержала небольшую паузу и спросила: «А что вы делаете, когда у вас какие-то неприятности или вы не знаете, как поступить?» Ольга понимала, что рискует, но решила дать им эту возможность – часто ли детей слушают? Они сначала растерялись. Потом началось...

Она выслушала всех. Всё как у взрослых. Свои меланхолики и оптимисты, скептики, жертвы, агрессоры и даже провокаторы. И одна из двадцати трёх, которая закрывается в комнате и рисует птиц. Ради этого стоило рискнуть. Ольга повела их от одной скульптуры к другой, говоря о том, как иногда кажется, что ты на краю, – и как это малодушно – шагнуть вниз, и как тяжело удержаться, и какое счастье, если понимаешь, что смог, не сорвался. И как тени давних гроз могут омрачать твой день, и как ты встаёшь утром, когда вставать не хочется, и берёшься за дело, которое ты можешь сделать классно, – и оно получается, и это твой голос в мире, и люди слышат тебя.

Конечно, слушали не все, а слышали ещё меньше, но всё же небольшая стайка сопровождала её по всему залу. Описав круг и устав, как после полной трудовой смены, она не без облегчения попрощалась с ними и увидела в опустевшем помещении эту женщину. Ольга знала, что видит её не первый раз, – на лица у неё была профессиональная память преподавателя и художника – но не могла сообразить, где и когда они встречались. Невысокая, волосы вьющиеся, похоже – от природы, когда-то, наверное, русые, а теперь пепельные из-за равномерно пробившейся седины. Мягкий (умиротворённый, подумала Ольга) взгляд светлых глаз. Женщина неспешно двигалась от одного экспоната к другому, пока не добралась до Кошачьего ангела. В его черты долго вглядывалась, словно пыталась узнать. Потом подняла взгляд. «Она была на похоронах Серёжи», – вспомнила Ольга. Тогда, правда, худощавая была, а сейчас немного поправилась – но ей идёт быть мягкой. Та единственная неизвестная, о которой Ольга потом мельком вспомнила и тут же забыла: до того ли было. Тень ушедшей грозы? Нет, в ней не было ничего грозного или рокового – ничего, кроме того, что она, видимо, знала Серёжу ещё в другой жизни, из которой он чуть не ушёл добровольно в двадцать пять.

– Здравствуйте, – сказала женщина и улыбнулась. – Какие они у вас все... живые, настоящие!

И Ольга почувствовала себя так, как будто они были знакомы много лет, может быть, вместе учились или даже дружили, делились надеждами и секретами, – и улыбнулась в ответ. И просто, естественно, без всяких предпосылок, спросила, сама от себя не ожидая:

– Вы знали Сергея?

– Мы пять лет учились в одной группе, были в одной компании до четвёртого курса.

– А потом? Ох, извините, как вас зовут?

– Алла. Но тогда все звали меня Алка, – сказала она и снова улыбнулась, и эта улыбка-воспоминание стёрла несколько лет с её лица. – Хорошие они были ребята – Серёжа, Алёшка, Аня. Женька... Да только жизнь иногда поворачивает всё как-то, да?..

Она вдруг погрузилась. Ольга замерла.

– А про «потом» я мало что могу рассказать. После того события – ну, он вам рассказывал, наверное, – Сергей совсем ушёл в себя. Он и так был не очень общительный, а тут и вовсе закрылся. Лёша попал в армию и восстановился через два года, когда мы уже окончили институт. Аня уехала – и пропала, вот и всё. Мы с Сергеем, правда, как-то раз случайно встретились в книжном – я была со своими мальчишками, а он рассказывал, что у него замечательная жена и девятилетний сын. Когда же это было – лет десять назад или пятнадцать, да?

– Тринадцать или четырнадцать, – механически подсчитала Ольга. – Алла, вы не очень торопитесь? Мы не могли бы посидеть, поговорить? Здесь есть комнатка...

У Аллы времени было немного: с младшей внучкой, Катюшкой, они с мужем сидели по очереди до возвращения родителей с работы. Илье сегодня нужно в университет – последний раз перед отпуском. Но отказать Ольге она не смогла. Вообще-то она и на выставку пришла только потому, что помнила и эту фамилию, и то, как эта женщина стояла у гроба, не сводя взгляда с застывшего лица Сергея, и сама походила на изваяние. Сейчас она была живой и вызывала какое-то другое воспоминание, но Алла долго не могла понять, какое именно, пока быстрый испытующий взгляд Ольги не отозвался догадкой: Аня! Нет, не то чтобы они были очень похожи, но – гордая посадка головы, излом бровей, свободные и естественные манеры и тот же острый взгляд, только не зелёный, а серо-голубой... Да, Серёжа остался верен себе, подумала Алла. Как о живом подумала.

Они пили чай с кунжутным печеньем. Продолжить разговор неожиданно оказалось не так легко, и Ольга собиралась с мыслями, пытаясь незаметно разглядеть новую знакомую. Симпатичная, в юности была хорошенькая, но не красавица. Вселенское дружелюбие – замечательное свойство натуры или же благоприобретённая черта? А ведь у этой женщины есть характер, она может

быть твёрдой и упорной. Как же спросить-то её о самом главном, да ещё и с места в карьер, при первом знакомстве? Но кто знает, будет ли другая возможность?

– Алла, простите, что я вас так сразу атаковала. Мы с Серёжей очень... дорожили друг другом. За всю жизнь он так и не смог рассказать, а я так и не рискнула спросить о том, что довелось пережить ему до нашего знакомства. Я знаю, произошло что-то ужасное, это мучило его всю жизнь и убило в сорок два. Он ни с кем не общался из однокурсников, и даже о том, что они знакомы с Алексеем, я узнала, вернее – догадалась, случайно. Вы первый человек из его прошлой жизни, с кем я могу поговорить. Я вас очень прошу...

У неё пресёкся голос и заблестели глаза. Ходим кругами, подумала Алла. Тридцать лет назад она пришла к Ане с глазами, полными еле удерживаемых слёз, и голосом, звенящим, как струна. Но тогда все были ещё живы и молоды.

– Ольга – извините, не знаю отчества. Можно так, да? Ну, хорошо... Я ведь мало что могу рассказать. Была у нас компания: Алексей, Сергей, Аня, я и ещё одна девушка (тёплый голос стал прохладнее), Ася. Мы собирались на вылазку после окончания третьего курса, да я завалила физику и не поехала с ними. Зато поехал Женька, хороший парень, но вроде бы никто из нас с ним особо не дружил, не знаю, почему его позвали в этот раз. Что и как там произошло – можно только догадываться, но факт, что Лёша и Женя выпить любили. Перебрали, думаю, – и дёрнуло их на лодке в грозу по озеру кататься. Хотя, в общем-то, при чём тут гроза! Лодка перевернулась, а Женька, оказывается, не умел плавать и утонул. Что делали остальные – не знаю. Была милиция. Несчастный случай... После этого Алексей загремел в армию, Сергей замкнулся, а моя лучшая подруга, Аня, слегла с пневмонией, и как только выздоровела – они всей семьёй переехали в Новосибирск. Ничего она мне тогда так и не рассказала, у неё, по-моему, был шок. Вот и всё, к сожалению.

– Он всю жизнь боялся грозы, – прошептала Ольга. – Скрывал это, но я догадывалась. Умер на следующий день после сильной ночной грозы. Я помню, вы были на похоронах. А... как вы узнали?

– Случайно. Я оказалась в ваших краях – мы, кстати, недалеко живём – и решила зайти в ваш гастроном. А там столкнулась с Лёшей, – Алла нахмурилась. – Он и сказал: завтра похороны, а я уж сегодня... эээ... помяну.

Она засуетилась, и Ольга поняла, что пора прощаться.

– Спасибо вам, Алла.

Взяла её за руки. Этот жест...

– Ольга, если что... Давайте, я вам телефон оставляю, да? А выставка у вас действительно замечательная получилась – и, кажется, я где-то видела такие глаза, как у вашего Кошачьего ангела.

7

Алексей в тот день ввалился в квартиру и как был – в ветровке, заношенных джинсах и кроссовках – плюхнулся на диван по диагонали. Ноги свисали, левая рука неудобно давила под ребро. Было скверно: мутило, разламывалась голова, зажмуренные глаза видели полыхание красных, фиолетовых и ядовито-оранжевых всплесков. Мысленно он несколько раз проделал спасительный путь до кухонного стола – там ждало его противоядие, облегчение, спасение, – ему казалось, что он пытается встать, но даже повернуться, чтобы освободить придавленную руку, было непосильным делом.

Время шло, хотя понять, сколько прошло, десять минут или два часа, он не мог. Его пробил холодный пот, начало знобить. Наконец, он смог сползти с дивана и каким-то образом доковылять до кухни. Там, на старом деревянном столе, покрытом выцветшей и порезанной клеёнкой с огромными поблекшими подсолнухами, стояла бутылка. На самом виду, в центре здоровенного сетчатого круга, обрамлённого жёлтыми лепестками. А что, Светочка, руки коротки вылить – это мой дом! Даже силы появились откуда-то, схватил бутылку и начал пить из горла – нечего время тратить, да и промахнёшься, чего доброго. Дрожь стала утихать. Ха, как он изоцрялся, пряча своё сокровище от жены и сына, пока жил с ними – вот ведь змеи, везде находили и сразу выливали! Но и он не лыком шит, умище-то не пропьёшь, нет. Дольше всего не могли открыть его последний тайник, очень удобный: пошёл человек по делам неотложным, а вернулся в хорошем настроении. Светка чуть пол не вскрыла в туалете – всё никак найти не могла. Сынок догадался, бачок открыл – а там она. Охлаждается. Нет, если бы не выгнали – сам бы ушёл. Не впервой. Ладно, будь здорова, Светка. И ты, Артёмка. Заходит сынок-то иногда. Небось, проверяет – не сдох ли папаша, наконец? Не дождётеесь!

Плохо, что деньги кончаются. Со старой работы не слишком вежливо попросили полгода назад. Какое – попросили! Выперли, конечно: не напишешь, мол, «по собственному» – уволим за

прогулы. А ничего, магазинов вокруг – до чёрта, и все готовы его дешёвой рабочей силой воспользоваться, и не надо с девяти до пяти пыхтеть. Ха, как начинал в КБ работать, так и продолжает, только КБ нынче другие, «Красное и белое» называются. Вот и ладно. «Уж если я чего решил, то выпью обязательно». Это этот, как его... Высоцкий. Уважжаю! Ну, и я ничего. Сам себе хозяин. Что там говаривал Ницше по этому поводу? Ненене, не по этому. Ниц-ше. Ницццц-пшшше. Алексей засмеялся: надо же, кого вспомнил. Взял стакан. Налил. Культурнее надо – за Ниццццшшше. Опять Серёга вспомнился. Эх, Серёга, вот ты не пил, а помер уже. Расслабляться надо было, а ты всё напрягался. Что-то сегодня твоя супруга вдовая хотела сказать. Ну, извиняйте, не мог остановиться, не мог. И так еле дошёл. Ничего, перебьётся.

Здравствуй, Оля, – за тебя. Кота тебе отдал – эта сволочь мохнатая, предатель, прижился. Теперь на твоём подоконнике восседает, ещё жирнее стал. Можно было бы его обратно забрать... Да чёрт с ним, кормить надо – самому не хватит. Живи с ним, Оля, тебе больше не с кем – графья да князья перевелись. Красивая, умная баба, одинокая. Так и ходишь одинокая – сколько лет уже? Дура ты, с Серёгой связалась, а он – давленный. Помер. Помяну тебя, Сергей Николаевич. Ты всегда прав был. И тогда говорил – нельзя. Нельзя в грозу на лодке. Прав. Женька утонул. Помяну Женьку.

Хорошо одному. Мамаша из ума выжила, тоже утонула – в ванне, ха. А ничего, квартира-то осталась, кто в доме хозяин? ...А маму помянуть – святое дело. Как она в последнее время всё спрашивала: а какое сегодня число? А какой день? А число какое? Интересно, какое сегодня число? А день какой?

...На пятый день не осталось ничего, кроме водопроводной воды. Он выл, рычал, стонал, изредка впадал в тяжёлое забытье. Выжил. Опять выжил.

8

Самолётом – всего два часа с хвостиком. Только взлетит, наберёт высоту – уже везут стюардессы минералку, соки, чайники. Анна чуть было не сказала: “Orange juice,” – это на внутренних-то авиарейсах! А всё потому, что в последние годы чаще летала в Европу, изредка притормаживая в Москве. В Европу она влюбилась с тех пор, как впервые решила позволить себе автобусный тур, семь стран за двенадцать дней, из которых четыре – во Франции. Ну а в Москву – по делам всё больше. Не только рабочим: когда оказывается, что литература стала для тебя такой же профессией, как и работа на кафедре, иногда в столицу выбираться необходимо. Но летать по стране... До неё дошло, что именно этот воздушный путь, но в противоположном направлении, она проделала с мамой и отцом тридцать один год назад. И вот рядом с ней мама и Алька. А отца нет уже тринадцать лет.

Да что такое, и подумать некогда – везут еду! У Альки отменный аппетит – с самого младенчества. И как она умудряется стройной оставаться? Не о том, не о том... Командировка – скорее, формальность: опять будет совещание, бесконечные выяснения, кому что разрабатывать. У них с шефом тылы прикрыты недавними публикациями – между прочим, вполне основательными. Не о том, опять не о том... Зачем она вызвалась ехать? С годами стала сентиментальной? Соскучилась? Конечно, в Новосибирске она осела, обросла знакомыми, коллегами, приятелями (и даже неприятелями – а как же, если есть успехи). Друзьями, правда, кого-нибудь назвать затруднительно – так это нормально, друзья обычно в детстве или юности заводятся.

Так что, билет в юность? На кого посмотреть – на седеющих полузабытых людей, когда-то близких? Зачем? Сергей, видимо, давно и удачно женат, сын взрослый – откуда-то уверенность, что эти женщина-скульптор и парень, недавний студент, – жена и сын. Хочется на выставку сходить, взглянуть на «Тень ушедшей грозь» да на некую Ольгу, которой счастье – или несчастье – выпало? Или вдруг вспомнилась Алла? Девушка с редким характером, которой было написано единственное «прощальное» письмо без обратного адреса, а потом и её адрес потерялся...

А не потому ли, Анна Михайловна, вяпалась ты на старости лет в авантюру, что давно не было у тебя сильных впечатлений? Заскучала? После удачной книги – ни строчки, если не считать статьи по разработке очередной математической модели. Ха, удачная получилась книга, ничего не скажешь. Дурак не заметит, умный не скажет, а ты сказала: «Шум квантования». Вся жизнь – под этим заголовком. Ошибки молодости? Неужто через тридцать лет собралась рассчитать их величины? Или, ещё смешнее, изменить прошлое? Кажется, получишь ты там. Нарвёшься. Да ещё мать и дочь твои, тоже авантюристки, добились своего, втянулись в эту историю – и вот, пожалуй-ста: сидят в соседних креслах.

Ну, маму ещё можно понять – в свои семьдесят четыре она не только сохранила живой, даже, пожалуй, жадный интерес к жизни, но и пару подруг из прошлого, с которыми до недавнего

времени переписывалась «по-настоящему»: бумага, конверт и десять дней в пути «Почтой России». И родственные отношения с троюродными или даже четвероюродными братом и сестрой поддерживала аккуратными звонками на Новый год и дни рождения, о которых никогда не забывала. А когда Алька приобщила её к скайпу, бабушка Эмма позвонила по телефону брату и одной из подруг, продиктовала им свои позывные, смешивая латинскую и английскую транскрипцию, заставила их завести себе такое же чудо – и совсем расцвела. Они звали её в гости, она – их, эти приглашения казались исключительно ритуальными. И – надо же, оказывается, её действительно ждут, хотят видеть и даже готовы принять на несколько дней вместе с внучкой.

Но Алька-то, Алька! Ей-то зачем лететь в город, который для неё ничего не значит? Родилась она через тринадцать лет после переезда, отец её – коренной сибиряк, всё это она узнала давным-давно, искать ей там некого – и вдруг такое упорство: поеду – и всё! В последние года два Анна опять почувствовала, что Алька отдаляется. Восемь лет мать и дочь, как близкие подружки, делились радостями и горестями, казалось, между ними установилось полное доверие – и никаких секретов. Алька после аварии не только восстановилась – она расцвела. Успокоилась, стала много читать и жадно интересоваться всем подряд: сама захотела заниматься с бабушкой музыкой, с подружкой Маринкой пошла в бассейн, потом вдруг увлеклась химией, переключилась на физику, и, наконец, на информатику. У неё всё получалось, и даже движения, в детстве неловкие и угловатые, стали уверенными и свободными.

И вот позади школа и первый курс университета – и, вроде бы, нет у них никаких секретов друг от друга, но Анна не знает, есть ли у Альки друзья (с Маринкой дружба увяла ещё в старших классах) и не замечает, чтобы она встречалась с кем-то из парней. Зимой был у неё кризис какой-то. Не рассказала. Авитаминоз, говорила, спать хочу. Может, и правда авитаминоз – всё прошло, вроде бы. А девчонка яркая... Нет никого подходящего? Или – Анна вспомнила себя в эти годы – страдает, но не хочет делать первый шаг? Глупости, сейчас всё по-другому. Да и не похожа дочь на страдалицу, нет. Ишь, с каким аппетитом уминает мясо и овощи. Так зачем она летит? И ведь сама – принципиально! – оплатила билет. Заработала, говорит! Анну чуть инфаркт не хватил за те секунды, что дочь, наслаждаясь произведённым эффектом, держала паузу, а потом уточнила: интеллектуальным трудом. Оказалось – репетиторством. Самостоятельная девица...

Эмма Аркадьевна смотрела в иллюминатор. Самолёт плыл в молочном киселе. Нет, скорее – в овсяном, неровном, сероватом и рыхлом, такой в больнице дают, когда другой пищи нельзя. Ничего не видно в иллюминаторе, а она смотрит. Миши давно нет на свете, а ей кажется – есть он где-то. Иногда вот так смотришь в небо – солнце зашло за лёгкое кучевое облако и просвечивает его изнутри. Позовёшь тихонько: «Миш?» Пролетит ветер, шепнёт: «Эмкин...» – и всё. А вот сейчас она сама – в небе, впервые за тридцать лет, но это небо пустынное, нет здесь никого. Глупости какие, она никогда не верила ни в бога, ни в жизнь после смерти, ни в переселение души. Материалистка до мозга костей! Не верит и сейчас. И только одно непонятно: как так, если души нет – что же тогда болит?

Вот не стало мужа – а в доме Алюшка маленькая, такая забавная, трогательная, умница, – вся в маму. У Ани работа на новой кафедре только начиналась, надо было укрепиться. Пришлось взять себя в руки. Раньше настоящий обед приготовить было для Эммы суровой трудовой повинностью, а тут, когда внучка крутится на кухне рядышком, вдруг стало в удовольствие. Даже пирожки стряпать научилась. Работать, правда, пришлось на дому, а пару лет назад и с этим покончила – артрит, перестала чувствовать клавиши. Ну, ничего – Алюша уже вон какая выросла, девчонка – загляденье, к тому же и мозги на месте, и характер легче, чем у матери. Хоть бы у неё жизнь сложилась счастливо. У Ани много в жизни необыкновенного происходит, а обычного женского счастья как не было, так и нет. Хотя – что это такое? Эмма знает: это когда он где-то рядом, только скажи: «Миш!» – а он тебе тихонько: «Эмкин...»

Почему Аня так захотела полететь в эту командировку? Неужели ждёт чего-то? Вот она, Эмма, ничего не ждёт – ей просто хочется напоследок побывать там, где когда-то была счастлива, не задумываясь об этом. Людей увидеть – тех, кто помнит её такой. Жизнь, как самолёт, идёт на снижение. Говорят, положительные эмоции её продлевают. Надо бы продлить немножко – хочется на Алюшкино счастье посмотреть. Будет оно, должно быть обязательно. Эх, Миш, а ты не увидишь...

Алька деловито намазала хлеб маслом и джемом. Её аппетит всегда был предметом маминых шуток и бабушкиной радости. Ну и пусть. Они все – лёгкие, худощавые, порода такая. К тому же у неё мозги хорошо работают, а это требует калорий. Правда, она сама не знает, хорошо ли они работали в этом случае. Решение лететь было мгновенным, а все попытки мамы убедить Альку в

том, что ей там нечего делать, только пробудили дух противоречия. Нет, конечно, Алька летит не из чистого упрямства. Было бы обидно свой первый серьёзный заработок – за полгода занятий английским с сестрой однокурсницы – потратить впустую. Правда, на поездку куда-нибудь подальше всё равно не хватило бы, даже в одну сторону. Хотя, вообще-то, конечно, жалко немного...

Но мама пыталась удержать их с бабушкой ещё и тем, что лететь втроём – дорогое (и сомнительное, всё время напоминала она) удовольствие. Вот тут-то бабушка и проявила характер: у меня, говорит, свои накопления – и на себя, и на внучку хватит. Гордо так заявила, как долларовый миллиардер, ей-богу. Ну, тут и Альку понесло. У меня тоже, говорит, накопления. Какое лицо было у мамы!

Мама, а ты-то почему напросилась в эту командировку? Хорошее название у твоей книги. Может быть, она и не совсем о тебе, но твои герои явно жили где-то рядом, а сюжет похож на твои сны. Помнится, ты рассказывала бабушке, что тебе постоянно снится одно и то же: ты куда-то едешь или идёшь, ты точно знаешь, куда и зачем, это очень важно, там ждёт тебя что-то самое желанное. И вот ты по пути то куда-то сворачиваешь, то что-то преодолеваешь, то кого-то ищешь, отстаёшь от поезда, догоняешь, опять идёшь, едешь, чего-то опасаясь – и никак не можешь добраться до нужного места раньше, чем проснёшься. «И хорошо, что не можешь», – проворчала тогда бабушка Эмма.

Может быть, и хорошо. Только бабушка всю жизнь учила детей играть на пианино. Она понятия не имеет, что такое шум квантования. Алька же будущий технарь, она знает: это ошибки, возникающие при оцифровке сигнала, – при его усечении или округлении. Ошибки, когда пытаешься что-то упростить – или отбросить. Может, что-то отброшенное, отсечённое мамой, было ошибкой, и она это поняла? А может, Алька опять, как в детстве, сама придумывает сюжеты, которых нет, но могли бы быть?

Нет уж, она вышла из того возраста, когда хочется разгадывать чужие «жгучие тайны» – она хочет иметь свои! Но только не жгучие, нет, не такие, как та, о которой и вспоминать не хочется. Может, и стоило с мамой поделиться – всё же нет у Альки более близкого и понимающего человека – но не смогла. А ведь с каким нетерпением год назад вглядывалась она в лица будущих однокурсников на зачислении – вот она, новая жизнь... Ох, чуть не вляпалась в эту новую жизнь!

Она, единственная из пяти девчонок в группе, спокойно кивала и вежливо-равнодушно говорила «привет» нереальному принцу с фигурой и профилем Бэкхема, но с тёмными, чуть выюпцимыми волосами, ресницами в сантиметр и бархатным голосом, от которого даже доценты, особенно женского пола, впадали в нирвану. Но не это, а то, что он, казалось, знает всё на свете и обо всём имеет собственное мнение, заставляло Альку особенно следить за безразличием собственных интонаций. Принца звали Игорь. Через месяц она обнаружила его постоянное присутствие в своём поле зрения. А перед Новым годом Игорь позвал к себе в гости некоторых однокурсников – и её в том числе.

Только ступив на порог, Алька напряглась. «Никогда нельзя иметь близкие – даже дружеские – отношения с теми, чьи доходы выше твоих на порядки», – говорила мама, и хотя Алька не слишком серьёзно относилась к подобным высказываниям, но тут вспомнила. Квартира в элитном доме на десятом этаже была роскошной – двухъярусной, с непонятным и невероятным количеством комнат и даже мини-сауной. Игорь вёл себя по-хозяйски, девчонок повёл на кухню, выдал им посуду, ножи, разделочные доски, выгрузил из сумок припасы.

Алька резала лук для салата и вдруг ощутила на груди хваткие, уверенные мужские пальцы. Она в бешенстве рванулась, отталкивая Игоря руками с прилипшими кусочками лука, а он презрительно бросил: «Да ладно девочку-то из себя строить!» – и ушел, ворча: вот, рубашку теперь стирать. Альку раздирали на части возмущение, гнев – и новое, волнующее чувство замирания воздуха в лёгких, пульсирующих токов в солнечном сплетении. Проще говоря, захватило дух. Она и не ушла сразу, как собиралась. К тому же и неудобно было – впервые собрались группой, ребята все свои...

За столом хозяин щедро подливал гостям. Алька халтурила, делала вид, что пьёт, – она терпеть не могла нечёткости сознания, но подозревала, что долго так не продержится: уж очень хозяин старался.. Потом Игорь предложил закурить и принес свои сигареты. Удивительно, но никто не отказался, даже девчонки. Алька, никогда не курившая, неожиданно для себя тоже согласилась – один раз не страшно, ведь как-то от этого люди даже успокаиваются, подумала она, и смело сделала затяжку. Дым был сладковатый, она не закашлялась и не задохнулась, даже решила повторить. И тут всё поплыло перед глазами, замелькали разноцветные пятна, слились в узоры. А свет померк. Она слышала чьи-то разговоры, из последних сил пыталась ухватиться за соломинку уплывающего сознания – и всё же потеряла его на какие-то минуты. Очнувшись в другой комнате на кровати – и увидела Игоря, неторопливо идущего к ней и на ходу расстёгивающего джинсы. Двух секунд его приближения до досягаемого расстояния ей хватило. Она лягнула его изо всех сил и в

ту же секунду, пока он, не ожидавший сопротивления, скорчился, перегнувшись пополам, выскочила из комнаты. Схватив в прихожей пуховик и сапоги, Алька выбежала на лестничную клетку и рванула вниз с десятого этажа. На третьем, не слыша погони, она остановилась. Ужас – блузка растёгнута, юбка задрана, колготки пустили стрелки – ведь она бежала по лестнице с сапогами в руках... Но – успела, вырвалась!

Они увиделись на первом экзамене – по высшей математике. Он почти опоздал, был угрюм, бледен и – впервые – даже немного неряшлив. Уже через пять минут прислал ей своё задание, сопроводив всего двумя словами: «Как решать?» Алька не ответила. Математику он не сдал. В шоке были все, даже преподаватель, пожилая стержовная Белла Борисовна, предложила ему прийти через день с параллельной группой. Но что-то произошло: Игорь исчез и больше не появился. Никто из преподавателей о нём на следующих экзаменах не вспоминал и не спрашивал – как не было. В группе поползли слухи: барыга... спалился...

Альке же стресс как будто на руку оказался: к сессии готовилась как проклятая, сдавала остервенело, яростно. «Яркая студентка, блестящая, давно таких не было», – говорил о ней один старый препод другому. «Есть в кого, – отвечал другой, – матушка у неё тоже звезда – будь здоров». А Белла Борисовна, старая меломанка, добавляла: «Знаете, что это мне напоминает? Когда Денис Мацуев, яркий, безусловно, пианист, садится за рояль и начинает играть, я каждый раз думаю: слышит рояль или нет? Такая энергия...» – и с сомнением качала головой.

Каникулы ушли на реабилитацию: она спала, ела, пялилась в монитор – и снова ела, спала... А в последний день, в начале февраля, вышла из дома – и удивилась: солнце так сияет, словно вырвалось из заточения и хочет немедленно наверстать упущенное. И небо – яростно-синее, чистое, высокое. Долой белёсую серость, да здравствует весна света! Ничего, что впереди ещё морозы и метели и до настоящей весны ещё больше двух месяцев, но день-то уже вырос – и вот сейчас он звенит и искрится от предвкушения.

...В группе к Альке прибились Маша и Полина. Подругами, вроде, не назовёшь, но уже какая-то компания. Увидев однажды, как Алька легко общается на английском со студентами-иностранцами, узнав, что она свободно читает и пишет по-английски, Маша уговорила её на регулярные занятия с младшей сестрой, на которых и сама, словно невзначай, почти постоянно присутствовала. Так Алька впервые получила работу. А учиться ей всегда нравилось. И всё бы ничего, да только вспыхивало иногда – в солнечном сплетении, в подвздошной области, – то самое звенящее предвкушение, словно опалевшее раньше времени солнце на опьянённом синевой небе, – задолго до настоящей весны.

Алька ждала лета. Ей казалось, что летом обязательно что-то произойдёт – вот придёт настоящее тепло, зацветут липы, воздух станет густым и сладким, а потом и кусты шиповника на зелёном бульваре распахнут яркие розовые бутоны, и весёлые разноцветные петунии распустят на клумбах свои граммофончики, – и что-то изменится, и наступит радость. Но лета всё не было, морсили дожди, гася все запахи, цвета и надежды. Закончилась летняя сессия, свобода уже безжалостно навалилась на Альку – и ничего, ничего не происходило. А тут вдруг мама встрепенулась, случился этот её разговор с завкафом, внезапно всплыло название «запретного города» – и снова зашевелилось в Алькиной груди беспокойное трепещущее ожидание перемен.

Самолёт приземлился ровно в 16-00 – точно по расписанию. Миг обретения твёрдой почвы под шасси пассажиры встретили аплодисментами – традиция уникальная, ни в одной стране такого не увидишь. Анну это страшно раздражало – она летала часто и посадку считала делом, для самолёта естественным. А Эмма Аркадьевна, не летавшая со времён переселения, – а в те времена приземление тоже не вызывало ни сомнений, ни сильных чувств – выпучила глаза и стала растерянно озирается.

Зал прибытия оказался тем же – маленьким старым павильоном, в котором прилетевших встречали напористые таксисты. «Погоди-ка, – сказала практичная Эмма Аркадьевна, – ещё не вечер, вещей у нас с гулькин нос. Может, автобусы ходят? Помнится, был тут когда-то – первый номер». «Есть, есть, – вмешалась суетливая толстая тётка. – Первый-то через пятнадцать минут будет по расписанию, а эти-то, кровососы, без копейки оставят!»

Они ехали в автобусе, жадно припав к окнам, хотя поначалу дорога шла мимо перелесков, озёр – маленького и побольше, садов с пыльными яблонями и старыми железными воротами. Потом пошли заводские трубы, какие-то промышленные постройки, корпуса, градирни, снова трубы. Анна и Эмма Аркадьевна вспоминали и наперебой называли все эти конструкции, а Алька с со-

мнением разглядывала провинциально-индустриальный пейзаж. Потом потянулись дома – панельные девятиэтажные вперемешку со старыми, врастающими в землю деревянными домишками, заурядные серые пятиэтажки – и, наконец, автобус выкатил на широкую улицу, обсаженную рядами лип. На этой улице дома тоже были старые, в основном, пятиэтажные, но светло-жёлтые, бежевые, бледно-бирюзовые и даже розовые, с белой лепниной, рельефами, колоннами, декоративными карнизами. «Проспект Ленина», – хором изрекли мама и бабушка, и Алька ухмыльнулась. Ну, конечно – у нас Красный проспект и площадь Ленина а здесь – проспект Ленина и, может быть, Красная площадь. Хотя нет, на Красную площадь, наверное, в стране имеет право только столица, а здесь какая-нибудь улица Красная или станция метро.

– Мам, а метро здесь есть?

– Должно быть – тридцать лет назад начинали строить, при нас ещё – город-то миллионный.

Услужливая толстая тётка, взявшая над ними шефство и пристроившаяся рядом с Анной – из-за её многочисленных сумок приходилось сидеть боком – тут же включилась:

– Как же, метро! Зарыли денежки-то. У нас во дворе – а я в центре живу, в самом центре! – двадцать лет долбили-долбили, весь двор перекрыли, перерыли, испоганили, да так ничего не построили, только трещины пошли по всему дому от их долбёжки. А теперь уж и не говорят ничего, и никто в него не верит, в метро-то.

– Хм, – начала было Алька и прикусила язык. В конце концов, для мамы и бабушки этот город родной, и она не будет их обижать, но даже по сравнению с её Новосибирском – провинция!

На следующее утро Анна, с трудом пережившая горячий приём с обжорством в семье дяди, хлопоты его жены, бесконечные и не всегда тактичные расспросы, утомившие её и смутившие Альку, и рёв байкерских гонок посреди ночи, отправилась в университет не в лучшем расположении духа. Университет находился на другом конце города – не тот, в котором Анна училась, а более молодой, видимо, тот, где работает старшим преподавателем госпожа Авалова Ольга, скульптор по совместительству. Интересно, а где работает её муж, Сергей Авалов?

Резкий гул, нарастающий сверху, перебил её мысли. Вздрогнув, она рефлекторно вжалась спиной в бетонный столб на остановке, опасливо посмотрела в небо и ничего не увидела. Когда гул стих, два военных самолета прошли прямо над ней на небольшой высоте – лёгкие, остроклювые, серебристые. Они почти скрылись из виду, когда снова рванулся за ними отставший рёв реактивных двигателей. Анна отлепилась от столба и смущённо огляделась: никакой реакции у людей, видимо, боевые самолёты, ревущие над центром города, здесь в порядке вещей...

Она вышла рано, чтобы поехать троллейбусом, хотя родственники убеждали: маршруткой в два раза быстрее. Не надо быстрее – ей хотелось разглядывать, узнавать, вспоминать. Вот слева остался поворот на вокзал – она вспомнила, как ехала туда с полным рюкзаком надежд, в тот же день похороненных у Чёрного озера. Воспоминание было отстранённым – как о персонаже какого-то романа. Эта часть города изменилась мало, разве что совсем не осталось тополиных аллей вдоль тротуаров, а редко посаженные липы прижились с трудом и уже в начале июля казались полусохшими. Троллейбус двигался неторопливо, а она смотрела по сторонам, узнавала и не узнавала. Дороги расширили, а тротуары сузили. Появились новые развязки, а деревьев стало намного меньше, и совсем исчезли кустарники вдоль дорог. Старые здания оголились и выглядят непривычно и неуютно, газоны заросли травой. Город серый, грязный, и когда открывается перспектива, видно сплошную свинцовую полосу пыли или дыма, нависшую над ним.

Анна вышла на конечной и растерялась: она знала, что до университета троллейбус немного не доходит, и придётся пройти, но не ожидала увидеть целый микрорайон, выросший на когда-то диком берегу реки на бывшей окраине города. Она шла, разглядывая новые дома и боясь пропустить свою цель, но вот впереди появился молоденький сквер с неокрепшими ёлками, хрупкими рябинами и яблонями, в центре которого издали просматривался корпус из красного кирпича. От него по дорожке навстречу Анне шёл мужчина, скорее всего, преподаватель – Анне казалось, что это уже какая-то порода, узнаваемая с первого взгляда, ну вот, например, как скотч-терьер – и она вдруг подумала: а что если это Сергей? Почему бы ему не работать в одном вузе с женой? И тогда, вероятно, на той самой кафедре, куда Анна сейчас направляется. Впрочем, теперь узнать его она сможет, наверное, только по фамилии.

Ей стало не по себе, она пыталась не смотреть, но против воли вглядывалась в приближающуюся фигуру. Мужчина поравнялся и поздоровался, она, машинально ответив, подняла глаза – и прошла мимо. Во-первых, глаза были карие, а не серо-зелёные, а во-вторых, это было вежливое приветствие одним скотч-терьером другого.

В фойе университета стояли две студентки с табличками «Проект МаМоНТ» («Математическое моделирование в науке и технике» – сокращение этого названия веселило всех своей «ископаемостью» и уже обросло анекдотами). Одна из девушек провела Анну мимо сумрачной вахтёр-

ши и двух охранников к нужной аудитории. По дороге Анна успела пробежать глазами стенд «Наша кафедра»: знакомых лиц не было, разве что пару фамилий она заочно знала по проекту. В аудитории – вполне солидном компьютерном классе – уже сидели человек десять-двенадцать, ждали остальных. Анна поздоровалась, но её голос потонул в нарастающем вое. Иногородние участники проекта засуетились, две женщины бросились к окну – и поначалу ничего не увидели. Анна тоже посмотрела в небо, хотя ответ уже знала: там острокрылые реактивные ястребы про-шли парой или красивым треугольником – так низко и шумно, что автомобили, припаркованные рядом с корпусом, приветствуют их сработавшей сигнализацией. А вот ещё два рассекли небо и пропали из виду, и метнулся им вдогонку запоздалый рёв.

– Что это? – пугливо спросила одна из женщин.

– А, это военное училище, – полёты отрабатывают, – ответил кто-то из местных.

– Прямо над городом и так низко? И часто они так?

– Да постоянно, по несколько раз в день, а иногда и по ночам, – начала было одна из преподавателей кафедры.

– Не будут летать свои – прилетят чужие! – сурово изрёк местный заведующий, и все притихли, а он глянул на часы и сказал:

– Опоздавших ждать не будем, пусть присоединяются. Начинаем.

И начал. Почти полчаса – о том, как напряжённо, без отдыха и сна, работает вверенная ему кафедра. Ещё минут пятнадцать – о переписке с зарубежными партнёрами, об их жлобской манере подсчитывать трудозатраты в часах и оплату – по местным зарплатам. В этой части ему активно вторила нарядная ухоженная дама, доцент кафедры. Они словно пели на два голоса – слаженно, отработанно, где в унисон, а где – каноном, и Анна, то глядя на экран с давно знакомыми таблицами, то обречённо внимая дуэту, подумала: спит он с ней. Или так: с ней он спит спокойно.

Не менее двадцати минут заняли претензии к коллегам из регионов, не спешивших с разработкой своих частей программы. Анна героически боролась с зевотой и потерпела поражение в тот самый момент, когда завкаф бросил на неё свой грозный взгляд.

– Я чувствую, что утомил вас? – ядовито поинтересовался он. – Ваш вуз и вы лично можете гордиться какими-то достижениями? Откуда будете?

Это почти хамское «будете» особенно разозлило её, но и вывело из полусонного состояния. Анна расцвела самой ослепительной улыбкой, на какую была способна, и ответила с королевским достоинством: «Из Новосибирска», – как если бы прибыла, по меньшей мере, из Букингемского дворца. К Новосибирску придумать претензии было невозможно: единственный участник, чьи разработки и публикации были реальными, – ими и отчитывались перед партнёрами за весь проект. Поэтому, выдержав очень короткую паузу, Анна добавила:

– Нам-то, как вы понимаете, действительно есть чем гордиться, – и снова по-королевски милостиво улыбнулась.

Ему пришлось проглотить пилюлю и даже изобразить подобие улыбки в ответ. Впрочем, через несколько минут он выдохся, объявил перерыв и вышел первым.

В перерыве Анна почувствовала, что завоевала симпатии: с ней знакомились, спрашивали, как добралась, где устроилась. Она поинтересовалась: что можно посмотреть в городе? Местные смущённо переглянулись.

– Ну, можно по центру погулять, у нас есть пешеходный бульвар...

– А театры, концерты, выставки?

Смущение коллег, кажется, только выросло. Та, что рассказывала про полёты, сообразила:

– Знаете, сейчас мёртвый сезон, театры все разъехались. Концертный зал у нас есть, даже второй недавно открыли – но там... эээ... ну, я не знаю, кто там сейчас.

– А вот я читала – в выставочном зале представлены работы скульптора, женщины, которая преподаёт в вашем университете на кафедре химии. Вы не в курсе?

– Из нашего университета? Не может быть! – заявила ухоженная дама-доцент и строго спросила: – Как её фамилия?

– Кажется, Авалова.

– Не знаю такой.

– Я знаю, есть там такая – Ольга Михайловна, у дочери моей преподаёт, – подал голос худощавый мужчина в очках с толстыми линзами. – Вот только не знал, что она ещё и скульптурой занимается.

Дама-доцент фыркнула, едва удержавшись от комментария. Анна подумала: самыми последними признают талант – если вообще признают – в ближайшем окружении. Дескать, как это, мой сосед Василий чего-то там понасосздавал? Да ну, ерунда, не может быть, я ж его вчера в магазине встретил, он колбасу покупал!

Анна вернулась в аудиторию, села за компьютер и, убедившись, что он в сети, быстро нашла информацию о выставке. Ох ты: закрытие завтра в семнадцать ноль-ноль! Что ж, сегодня с такими темпами ей не успеть, и завтра, в день закрытия, – последний шанс... А на закрытие, возможно, всё семейство Аваловых там соберётся. Что ж, значит, завтра. Завтра в четыре она будет там, чего бы это ей ни стоило.

Робкое заспанное солнце выглянуло из-за облаков неуверенно и застенчиво – как студент, прогулявший полсеместра и явившийся накануне зачётной недели. Ольга шла пешком – она любила пройтись пешком при каждом удобном случае, а уж сегодня, когда немного потеплело и посветлело после мрачных и дождливых дней, случай был подходящий. Тем более что весь день предстояло провести в выставочном зале – отдежурить последний раз. Чтобы не скучать, Ольга взяла с собой книжку, которую давно хотела перечитать. В пять часов выставка закроется, придет Володя, поможет собрать и увезти её творения, и опять она заставит ими все шкафы и верхние книжные полки. Хлопот много, а толку? Так, добавился пункт в перечень личных достижений. Кому это надо? Даже с кафедры ни один человек не заглянул, хотя бы из любопытства, посмотреть на её работы.

Солнце осмелело и вывалилось на простор. Серая листва зазеленела, серые дома стали розовыми и жёлтыми, серое небо – голубым, и даже у воробьёв обнаружили, кроме серых, светло-коричневые пёрышки. Серые тучи то ли растаяли, то ли стали белыми и пушистыми, а главное – начало таять серое настроение. Ольга выпрямилась – она совсем недавно приучилась ходить прямо, не горбясь и не наклоняясь вперёд в вечной спешке. Не всё так бессмысленно – она вспомнила девочку, рисующую птиц, и другую, понявшую что-то своё, важное, про Кошачьего ангела. А ещё – Аллу с её неожиданно юной улыбкой и решительной линией подбородка. Телефон Аллы она сохранила, даже на всякий случай переписала в домашнюю записную книжку.

На перекрёстке, пока она ждала зелёный, к ней неведомо откуда подскочил молодой человек с плоской картонной упаковкой в руках и запричитал:

«Извинитеразрешитедержитедержитеэтовам! Чудоножкерамическийтолькосейчасскидка семьдесятпроценто! Завтраоткрытиемагазинатамтакиенोजибудутужезасемьсотрублей! Лёгкийнетупитсяненадоточить! Вашмутотдыхает!»

Она успела понять только то, что ей навязывают покупку чего-то бесполезного, – и внезапно, неожиданно даже для себя, ответила чётко и членораздельно: «Мой муж уже пятнадцать лет отдыхает – на кладбище». У парня захлопнулся и снова, но уже беззвучно, раскрылся рот и выпучились глаза. Он издал булькающий звук, подавился словом «извините» и исчез – как ветром сдуло.

Почему она сказала – пятнадцать, если на самом деле девять? Да какая разница, уныло подумала Ольга. Будет и пятнадцать – будет. Будут и другие цифры, даты, бессмысленные юбилеи, празднования которых от тебя почему-то ждут, и на которые не знаешь, кого пригласить. И уже ничего не будет, всё – было. А ведь хотя бы ещё лет двадцать как-то надо протянуть...

Ну, вот она и на месте. Сейчас сядет в уголке и будет дочитывать нежную, щемящую, ароматную книгу, «Вино из одуванчиков». Чудесное вино – залпом пьётся в юности. Спустя годы оно настоялось, можно смаковать, наслаждаться. Вряд ли сегодня её потревожат до самого закрытия. И Ольга, пристроившись на стуле у окна, читала, не отрываясь, словно унесла её машина Лео Ауфмана в иной, забытый, когда-то существовавший мир.

В половине третьего лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года закончилось. Зал был пуст. Ольга ушла в ту небольшую комнатку, где неделю назад они беседовали с Аллой. Включила чайник, достала бутерброд. Подумала о том, что стала равнодушна к вкусу пиццы, и, оставшись одна в доме, почти перестала готовить. Нехитрый перекус занял не более десяти минут, но сидеть в комнатке было тоскливее, чем в зале. Она вышла – и увидела двух посетителей, мужчину и женщину, стоявших к ней спиной и рассматривавших «Тень ушедшей грозы». Мужчина был сед и сухощав – так жилистые и подвижные начинают «подсыхать» после шестидесяти. Осанка ли его, поношенный, но добротный кожаный портфель в руке, одежда или какие-то другие неуловимые признаки вызвали у Ольги догадку: наш брат, преподаватель, – доцент или даже профессор. Мужчины этой породы распознаются легко и почти безошибочно. С женщинами сложнее. Его спутница была моложе – невысокая, с вьющимися пепельными волосами. Не может быть! Да это же...

Алька неприкаянно бродила по бульвару. Поначалу она вглядывалась в населявших его существ, живых и бронзовых, но пешеходная зона оказалась небольшой, за полчаса она прошла туда и обратно. Да, надо признать: лажанулась она с этой поездкой. Первый же вечер с родствен-

никами вызвал твёрдое намерение побыстрее удрать от них, но весь следующий день они почему-то ходили по магазинам и таскали с собой Альку и бабушку. Но сегодня Алька заявила, что уходит «знакомиться с городом». Тётка всполошилась: «Куда ж ты одна, ты же тут ничего не знаешь, потеряешься!» Алька почти злорадно ответила: «Да где у вас тут теряться – проспект Ленина рядом, бульвар недалеко, а больше днём и пойти-то некуда. И потом – у меня навигатор». «Кто-кто?» – вступил в разговор дядя. Алька задумалась, как проще объяснить этим тёмным людям, что навигатор – это совсем не то, что они подумали, но бабушка Эмма её опередила: «Ну что вы прицепились к взрослой девушке! Не потеряется – не маленькая. А навигатор – это такая интерактивная карта в её телефоне. В данном случае – карта вашего города». Лихо! Пока мозги родственников скрипели, перемалывая слово «интерактивная», продвинутая бабушка победно подмигнула ей, и Алька выскочила на улицу.

Пыльный город. Грязный, неухоженный. На клумбах одни сорняки, тротуары кривые, все в трещинах – нужно всё время смотреть под ноги. И это на главной улице! А людей мало, и все угрюмые, не улыбочивые – хоть бы порадовались тому, что потеплело, солнце вышло после стольких пасмурных дней. Впрочем, на бульваре повеселее, народу побольше, много молодых. Но почему все они – абсолютно все, даже девчонки! – чуть ли не каждое слово приправляют вторым, причём – одним и тем же, употребляя его и как обращение, и как прилагательное или вводное? Конечно, и у них в Новосибирске не ангелы живут, и разговаривают они... ну, в общем, по-разному, но чтобы вот так однообразно, бессмысленно и в таком количестве... «Я испорчена безупречными формулировками и литературной речью мамы, так не годится», – ухмыльнулась Алька. Купила мороженое и присела на скамейку.

Ну вот, не прошло и двух дней, а она уже мечтает вернуться домой. Кажется, в этом городе вряд ли можно ждать чего-то хорошего. Эх! И почти весь свой заработок так глупо потратила – жалко и обидно. Лучше бы подкопила ещё немного и пошла учиться вождению. Чего её сюда понесло? А мама второй день в университете – неужели для неё это, действительно, обыкновенная командировка? Вот тебе и «Шум квантования»! И что – вся неделя так и пройдёт? А ей-то Альке, куда деваться? Сейчас, наверное, уже пора обедать, но идти неохота. Придётся обойтись мороженой. Интересно, сколько времени прошло?

Она полезла в карман за мобильником и чуть не выронила его – так неожиданно и резко он зазвонил. Мама?

– Алька, ты где, чем занимаешься?

– Сижу на бульваре. Как дура.

– Я так и подумала. Я сейчас еду из университета, собираюсь на одну выставку сходить. Не хочешь со мной?

Вот оно что! Ещё там, дома, мама присмотрела эту выставку, это точно, – мама, избалованная не только Эрмитажем и Третьяковкой (там и Алька побывала вместе с ней), но и Лувром, и Рейксмузеумом, и галереями Уффици. Но даже если бы она сейчас позвала Альку на лекцию про жизнь на Марсе или на курсы кройки и шитья, Алька бы согласилась!

12

– Алла, неужели? Здравствуйте! Как я рада...

– Здравствуйте! Не ожидали, да? Мой муж, Илья Андреевич...

– Очень приятно.

– Я и сама не ожидала. А вернулась тогда домой, стала наш разговор вспоминать – а перед глазами вот эта «Тень грозы» и ещё – «У самого края», только названий вспомнить никак не могла. Рассказала мужу – а он ведь у нас преподавал на трёх первых курсах физику (тут они синхронно улыбнулись друг другу, она – смущённо, он – с нежностью).

– Я хорошо помню Сергея, – вступил в разговор Илья Андреевич. – Глубокий был парень, основательный и в то же время разносторонний. Редкое сочетание даже в те времена. Очень жаль, что так рано... А на Ваши работы мне тоже посмотреть захотелось. Вот, уговорил жену сходить со мной ещё раз – впрочем, она не сопротивлялась.

Ох, не развеется бы – от счастья такого. Чужого счастья – но в непосредственной близости, когда физически ощущаешь тепло – и только тут начинаешь чувствовать, насколько замёрзла...

– Вы уже успели посмотреть? – спросила Ольга.

– Нет, мы пришли совсем недавно. Я только «Кошачьего ангела» успел увидеть, но хочу ещё вернуться к нему.

– Не буду Вам мешать, – Ольга отошла к окну. Пусть смотрят на глаза Кошачьего ангела, только бы сейчас её глаз не увидели.

Окно было почти над входом. Две стройных женщины вошли внутрь – она не успела их разглядеть. Кроме как на выставку, входить здесь некуда, но прошло время, а женщины не вышли обратно и не вошли в зал. Ольге стало любопытно. Она выглянула из зала в фойе. Они стояли у кассы. Одна – совсем юная. Очень похожи, несомненно – мать и дочь. Стройные, элегантные. Породистые – у обеих чёткий классический профиль, голова высоко поднята, густые каштановые волосы. У девушки черты лица более мягкие, нежные, мама построже, видно, что с характером. Глядя на них, Ольга почувствовала, как закручивается в голове идея для будущей работы. Эта пара сама по себе была как скульптурная группа...

– Я не понимаю: закрытие в пять, сейчас ещё нет четырёх. На каком основании вы отказываетесь продать билеты?

–...

– Разве это не наш выбор – в первый день прийти или в последний?

– Мы из Новосибирска, вчера прилетели, – подала голос девушка, но мама бросила на неё строгий взгляд: не оправдывайся!

–...

– Просто удивительно! В часы работы, за наши деньги... Ну что ж, не хотите продавать билеты, мы пройдем и так, – и она решительно отвернулась от кассы. Тут кассирша выскочила из своей клеточки с воплем: «Как это – так?» – и увидела Ольгу.

– Татьяна Васильевна! – не выдержала Ольга. – Вы считаете, что у нас, как в Эрмитаже, нужно ходить полдня? Почему вы отказываете? За час они спокойно всё успеют посмотреть.

Кассирша запрыгнула в будку, хлопнула дверью и почти выбросила два билета.

Ольга юркнула в зал. Алла и Илья Андреевич стояли около «Копачьего ангела», и негромко переговаривались. Пусть ещё походят, посмотрят. Ольга подождёт и понаблюдает – теперь уже за двумя парами. А эти двое – из Новосибирска? Как их сюда занесло? Новосибирск... Недавно кто-то упоминал Новосибирск – в связи с чем?

Мать и дочь вошли, немного взбудораженные неприятной сценой, и, увидев людей возле первой из скульптур, решили двинуться в противоположном направлении. Ольга, почти не таясь, не сводила глаз со старшей. Вспомнилось, как на открытии выставки журналистка спрашивала: «А когда вы лепите (Ольга усмехнулась), вы думаете о тех, кто будет на это смотреть?» «Нет, – кратко ответила Ольга и, заметив, как раздосадована журналистка, добавила из сострадания к ней, – но когда я обрабатываю почти готовую скульптуру, я представляю себе воображаемого ценителя». «И какой он?» «Он – или она – лучше меня. Умнее. Тоньше. Он понимает не только то, что я сказала, но и то, что хотела сказать»...

Сейчас перед ней был тот, воображаемый, ценитель. Эта женщина всматривалась в каждую работу так, как если бы перед ней разворачивалась вся драма её создания. Красиво очерченная бровь поднималась в изгибе, в глазах появлялся блеск, казалось, даже частота дыхания изменялась – и удивительно, что Ольга издали улавливала все эти тонкие движения и словно заново переживала акт сотворения... Так, стоп, это уже неприлично, сказала она себе в какой-то момент, очнувшись. Посторонние люди пришли на выставку, а ты пялишься на них так, как будто они сами – экспонаты! Воображение у тебя, Ольга Михайловна, разыгралось. А разыгравшееся воображение подкидывало ей: это не посторонняя, это свой человек, свой брат, вернее – сестра! И вдруг Ольга поняла, что они действительно немного похожи – даже внешне. Скорее всего, эта женщина не моложе её, но лучше, лучше! Красивая, стройная, умная, гордая. И ещё – проницательная.

Тем временем Анна добралась до «Тени ушедшей грозы», а быстрее переходившая от одной работы к другой Алька – до «Предвкусения», где встретилась лицом к лицу с другой парой. Супруги почти одновременно охнули, увидев её, – и уже теперь все пятеро подняли глаза друг на друга: Анна, раненая ушедшей грозой тридцать один год назад, Алла и Илья, перед которыми стояла оставшаяся юной девушка из далёкого прошлого, и недоумевающие Алька и Ольга. Алька растерялась и даже сделала шаг назад, а Анна, наоборот, не сводя глаз с супругов Филоновых, направилась к ним.

– Алла? – неуверенно спросила она и, переведя взгляд на её мужа, с некоторым усилием извлекала из памяти: – Илья Андреевич?

И впервые за десять лет, прошедших после аварии с Алькой, забытые, неожиданные и неуправляемые слёзы переполнили её глаза.

Они сидели в маленькой комнатке, где час назад Ольга проглотила свой бутерброд, и пили чай с космическими конфетами. Коробку Филоновы извлекли из портфеля.

– Ну – за материализацию духов! – поднял Илья Андреевич чашку с чаем. – Рассказывайте!

Алька пристроилась на подоконнике – перед ней разыгрывалась настоящая пьеса, где она была единственным зрителем, а мама из автора превратилась в главную героиню. Анна и Алла сидели рядом на старых разнокалиберных стульях и держались за руки, как дети. Они всё время поглядывали друг на друга, словно не могли поверить в происходящее, но взгляд Анны постоянно обращался и к Ольге, сидевшей напротив на табуретке. Эта женщина, думала она, всё ещё красивая, очень талантливая, пропускающая все грозы, все тени, всю боль через свои нервы, душу, мозг, – стала женой Сергея. Она лучше, чем я, размышляла Анна. Она мягче, тоньше, нежнее и, может быть, добрее. У неё есть гордость, но не гордыня. Наверное, она стала для Сергея настоящим счастьем. И вдруг Анну пронзила мысль, болезненная, но отчётливая: да ведь эта женщина одинока! Это её страдание кричит из каждой скульптуры, это оно залегло в складках у рта и между бровей. Неужели... неужели, подумала Анна, он поступил с ней так же, как со мной?

Тут Анна, наконец, поняла, что «рассказывайте» было обращено к ней, а она затянула паузу. Смутилась.

– Илья Андреевич, я немного ошарашена, извините, что, как выражается моя дочь, торможу. Кстати, её зовут Александра, но дома она – Алёка, и это имеет к тебе, Алла, непосредственное отношение.

Алла радостно вспыхнула, улыбнулась своей особенной улыбкой, словно омывающей лицо молодильной водой.

– А мы-то её увидели – дар речи потеряли, да? Как будто ты, но из другого измерения, где не было течения времени.

– Было, было – течёт, никуда не денешься. Ну вот, главное моё достижение здесь присутствует, а больше, в общем-то, рассказывать нечего.

Все снова повернулись к Алёке, и тут главное достижение подало голос:

– Как это нечего? А шум квантования?

Облачко досады и смущения пробежало по лицу Анны.

Физик, химик и математик, прекрасно знающие термин, но не понявшие контекста, смотрели на неё вопрошающе.

– Это всего лишь название повести. Алёка считает её удачной.

– Аня, ты продолжаешь писать, да? Как здорово! Я до сих пор помню твоё «дерево, похожее на ветер»!

– Помнишь? – Анна вложила в это слово всё то, что постеснялась бы спросить по-другому, и Алла поняла. Улыбнулась:

– Помню! Я ведь благодаря тебе – помню! Это ты мою голову работать заставила, да. А уж потом, когда мы с Ильёй... Когда всё сложилось... В общем, не надо нервничать – и жизнь налаживается. Ты скажи: а математику – бросила, да?

– Вот ещё! Это мой путь, хлеб и крест, если угодно. Я доцент кафедры высшей математики и, между прочим, здесь в командировке по работе.

– Вы ещё и диссертацию успели? Потрясающе. Молодчина, – сказал Илья Андреевич.

А Ольга всё молчала и поглядывала на них, а в глазах – то ли ожидание чего-то, то ли вопрос.

– Да что вы всё меня спрашиваете, расскажите сами лучше, – начала было Анна, но тут в дверь коротко постучали, и она сразу же распахнулась. Вошёл молодой мужчина, растерянно замер, с секундной задержкой поздоровался. Фигура, рост, движения, весь облик (черты лица Анна поначалу не разглядела – её взгляд притянула рука с длинными пальцами, протянутая навстречу руке Ильи Андреевича) были настолько из её неутраченной памяти, что она выдохнула: – Сергей? – прежде, чем успела подумать про злосчастные тридцать лет.

– Владимир, – представился вошедший.

– Это мой сын, – сказала Ольга. – Володя, познакомься: Анна Михайловна и Алла Петровна учились вместе с твоим отцом, а Илья Андреевич у них преподавал.

Холодок пробежал у Анны между лопаток – предвестником нехорошего.

– Анна, Сергей умер девять лет назад от инфаркта.

Две женщины, юная и пожившая, шли под руку по проспекту Ленина и молчали. Алёка прижалась к маме, как в детстве, и её молодое живое тепло не давало Анне впасть в полное оцепенение от дробного беспрерывного барабанного боя в голове: «Сергей умер. Сергей умер. Сергей-у-мер...»

Они шли медленно: возвращаться к родственникам не хотелось, тем более что и бабушка должна была сбежать от них после обеда к какой-то старой подруге. Альке очень хотелось сказать маме что-то нужное – или нежное, но она боялась, что получится грубо, и мама уйдёт в себя – это бывало очень редко, но очень тяжело и для неё самой, и для Альки, и, особенно, – для бабушки.

Обе вздрогнули от звонка Алькиного мобильного.

– Бабушка, – удивилась Алька, а Анна почему-то заволновалась:

– Что такое? Дай-ка мне трубку.

– Мам, ну она же мне звонит! Не волнуйся, если что – включу громкую связь. Да, бабушка?

Алька вдруг расцвела довольной и чуть-чуть ехидной улыбкой, нажала кнопку громкой связи и переспросила:

– Что-что?

– Я сегодня ночевать не приду, не ждите. Скажи маме – заночую у подруги.

Алька расхохоталась: ай да бабушка, вот ведь зажигает! Анна выхватила у неё телефон:

– Мама, ты где? С тобой всё в порядке?

– Анечка, – мурлыкал из трубки довольный голос Эммы Аркадьевны, – не знаю, сохранились ли у тебя подруги юности, а я совершенно счастлива видеть в добром здравии и прекрасном здравом уме свою дорогую Вероничку! Мы с ней никак наговориться не можем и не хотим этот процесс прерывать на самом интересном месте.

Анна грустно улыбнулась трубке.

На той стороне Эмма Аркадьевна уловила наступившую паузу и мгновенно переключилась от радостного возбуждения к тревожному:

– Аня, ты меня слышишь? У тебя ничего не случилось?

Больше тридцати лет назад случилось. Была огромная глупость, прожитая как трагедия. А трагедия случилась девять лет назад – и даже не у неё...

– Мама, ну что может случиться? Всё замечательно, мы с Алькой сходили на интересную выставку, там я встретила старых знакомых, нас тоже пригласили в гости, только завтра. Так что развлекайся, дорогая, – она усмехнулась и понимающе переглянулась с дочерью, – но имей в виду, что если завтра ты придёшь слишком поздно, то рискуешь нас не застать и примеешь на себя утроенную жажду общения твоего брата и его супруги.

Этот звонок оживил их обеих.

– Ну что, мам, будем жить? – вспомнила Алька фразу из одного из любимых Анной фильмов. Анна благодарно улыбнулась дочери: будем, обязательно.

– А как ты считаешь, Ольга Михайловна на завтра меня всерьёз пригласила или так, из вежливости? И кто в итоге у неё будет – я не очень поняла? Только мы или и эта твоя давняя подруга, и её муж, и Владимир?

Заметила ли мама лёгкий Алькин вдох? Там, в служебной комнатке выставочного зала, Владимир подал ей руку, когда она собиралась спрыгнуть с подоконника, и улыбнулся. У него были серо-зелёные глаза, точь-в-точь как у Альки, а лицом он очень походил на Ольгу Михайловну, даже странно, что мама его спутала с кем-то другим. Кстати, Ольга Михайловна – очень симпатичная женщина! Алька оперлась на поданную руку – сильную и по-мужски красивую, с длинными пальцами, – и снова почувствовала мохнатый ветерок где-то в грудной клетке. Вежливо-равнодушно сказала «благодарю» и подошла к женской компании...

– Владимир? – удивилась Анна и тут же изменила интонацию: – Ах, да, конечно, Владимир...

– Мама, – возмутилась Алька, – у тебя такая же банальная реакция, как у дяди Бори, когда я сказала, что у меня есть навигатор! И ты мне не ответила.

Анна попыталась вспомнить, как выглядело приглашение Ольги прийти к ней завтра вечером. Похоже, именно им обем, в первую очередь, страстно этого хотелось. Что Ольга знает про неё? Имя знает, скорее всего, от Аллы. С Аллой они уже были, видимо, знакомы, но насколько хорошо? А вот Илью Сергеевича она, кажется, сегодня видела впервые. Итак, Ольга пригласила всех вместе и каждого персонально. Филоновы переглянулись и начали говорить что-то о внучке, с которой сидят днём, но речь-то шла о вечернем визите. Казалось, они поняли, что Ольге и Анне нужно пообщаться наедине. Сошлись на том, что они подойдут немного позже. «Но – обязательно, мы будем ждать вас!» – сказала Ольга. Про Альку, как и про Володю, уточнений не было.

– Аль, я думаю, тебе можно и нужно прийти. Единственное – мне кажется, лучше это сделать хотя бы на полчаса позже, а не вместе со мной. У меня создалось такое ощущение и, по-моему, у Филоновых – тоже. Ты без проблем найдёшь дорогу, даже навигатор не потребуется. Улица Смоленская, дом девять, это отсюда три остановки по проспекту и один квартал налево, – легко вспомнила Анна. И задумалась. Кто-то жил тогда на Смоленской из их ребят. Не Сергей, нет. Кто?

А Серёжа – умер...

Если сейчас не сходить в магазин, то до утра он не дотянет. Сунул лицо под кран, потом подставил под струю рот и начал жадно глотать попахивающую болотом водопроводную воду. Немного полегчало. Надо идти. Чёрт, денег-то с гулькин нос, не хватит. Неужели в доме совсем ничего не осталось, даже вещей таких, чтобы Машке-продавщице из отдела загнать? Он ей старый мобильник продал – за копейки, конечно, но тогда хватало. А ведь где-то были неплохие часы наручные – те ещё, настоящие. Он их давно не носит – может, уже продал и забыл? Или потерял, урод? Где, где?.. Нееет, вот они, в кармане зимней куртки завалялись. Можно бы и куртку, но грязная, Машка не возьмёт. А часы возьмёт. Она добрая, Машка, не даст подохнуть.

На слабых дрожащих ногах Алексей спустился по лестнице. Мелкие капельки пота выступили на лбу и, сливаясь, поползли по вискам. Знобило. Вышел во двор. Пять часов вечера в самые длинные дни лета – подходящее время, чтобы показать людям себя, красавца, синего и опухшего, в изгаженных штанах, мятой и мокрой рубашке. Ещё год назад было бы стыдно так выйти. Сейчас – наплевать. Дойти бы. О, народ потянулся навстречу. Что, Нина Пална, не нравлюсь? Ты последняя из старой гвардии ещё жива, подружки-то, змеюки, померли – не с кем и кости перемыть. Брысь! А это что за фифа идет – пусть пройдёт, ну её, я тут пока за дерево подержусь. К Ольке, небось, идёт – больше не к кому в их подъезде пойти такой... такой... Кто это, господи? Кто это, а? Крыша едет, призраки какие-то...

Ольга нервничала. Пять часов, вот-вот должна прийти Анна. По этому случаю стол уже накрыт, не поленилась. А в духовке на медленном огне печётся курица. Хорошо, когда окна во двор. Не идёт? Нет ещё. Умная она, правильно должна была понять – есть о чём им поговорить наедине. А уж потом Ольга будет рада и Алле с мужем, и этой красивой смышлёной девочке, дочери Анны. Если Анна такая была в юности, Серёже она, наверное, нравилась – не могла не нравиться. В одной компании были... Да она и сейчас ещё очень привлекательная женщина.

Вовка вчера весь вечер на Алё поглядывал. Он, конечно, тоже придёт, но его Ольга попросила немного задержаться. Остальные должны сами догадаться – хотелось бы. Ну как, не видно, ещё не идёт?

Из соседнего подъезда выполз какой-то бомж, тощий, грязный, с седой щетиной, и медленно, с усилием, поплёлся по двору. Как они доходят до этого? А ведь были когда-то дети как дети, в школе учились, дружили с кем-то, может, даже нравились девчонкам – никому такое будущее и в страшном сне бы не привиделось.

Вот старушка Нина Павловна что-то ему выговаривает – зачем? Кто знает, что творится в этой отравленной и загубленной голове? Нет, он, вроде, мирный – отмахивается как от мухи. Что?! Это... Это Лёшка? Нет, не может быть! Эх...

Ольга так расстроилась, что не сразу увидела, точнее – не сразу узнала в женщине со стремительной лёгкой походкой Анну – стройную, одетую со вкусом: туфли-лодочки, юбка-карандаш красивого терракотового цвета, кремовый джемперок и с элегантной небрежностью повязанный пёстрый шарфик в тон юбке. Лёшка тоже посмотрел на неё – и вдруг схватился за ствол единственного во дворе не вырубленного клёна. Она же скользнула по нему взглядом – и тут же отвела. Ольга пошла открывать дверь.

...Путь до магазина – всего ничего, два двора и дорога – занял у него минут пятнадцать, если не двадцать. В соседнем дворе пришлось посидеть на скамейке, распутав мамаш с детёнышами. Сердце колотилось, ноги подкашивались, рубашка прилипла к спине. Отсидевшись, Алексей почувствовал, что замёрз. С трудом встал и пошёл дальше. Добрался. Машка была на месте, но не в духе. Часы брать не хотела. Он просил, умолял. Из недр магазина вышел крепкий бритый мужик в рубахе с закатанными рукавами, постоял, посмотрел, двинулся к Лёшке. «Убьёт? Или только вышибет? Одно и то же...» Мужик взял часы и ушёл с ними туда, откуда появился. Опалевший Лёшка стоял ни живой, ни мёртвый минуту или две, но, как ни странно, мужик вышел снова – без часов – и сунул ему бутылку водки. Самой дешёвой. Самой драгоценной. Эх, руки дрожат! Открыть бы прямо сейчас, да, не дай бог, разобьёшь – был один раз кошмар такой. Ладно, как-нибудь – до дома.

Уже в своём дворе у него так закружилась голова, что снова пришлось сесть на лавочку рядом с Ниной Павловной, досиживающей ежесекундный «час на свежем воздухе». Что-то она ему опять выговаривала – он не слышал ничего, кроме шума в ушах. Наконец, она махнула рукой и ушла. Алексей поднял голову и увидел девушку, пересекавшую двор. «Я сошёл с ума. Аня. Опять Аня – двадцатилетняя! Бред. Нет, это галлюцинации! Нееет!»

Алька с отвращением и опаской взглянула на старого грязного алкаша на скамейке и ускорила шаг.

...Они сидели за столом, но еда оставалась нетронутой – до неё ли? Два осколка судьбы, расколотой июльской грозой тысяча девятьсот восемьдесят недоброго года, встретились в маленькой квартире на втором этаже старого дома. Квартира была похожа на музей – не только потому, что на книжных шкафах и верхних полках стояло множество глиняных фигур. Стены были увешаны замечательными фотографиями в рамках, словно настоящими живописными полотнами: вот предзакатное солнце, прикрытое полупрозрачным облаком, сделало его похожим на пион. Вот настоящий золотой дождь – серёжки на ветвях ещё безлиственной берёзы. Вот отражение города в реке – словно град Китеж, только современный, каменный и стеклобетонный. А над столом, на снимках меньшего формата, – молодой Серёжа в тёмном костюме и Ольга в скромном белом платье, с белым веночком в волосах. Гордый и счастливый Сергей с малышом на руках. Сергей, Ольга и первоклассник Володя в чёрном с атласными лацканами костюмчике и чёрно-вишнёвой бабочке. Сергей с паяльником в руках и Володя с какими-то проводами... Сергей продолжал жить в этом доме, и эта женщина пыталась удержать в своей, несомненно, одинокой жизни каждую вещь, каждую мелочь, связанную с ним.

– Вы хотите знать... – начали они одновременно и обе смутились. «Чёрти-что. Как перед зеркалом», – подумала Ольга. «Альтер эго», – мелькнуло у Анны. Обе понимали: чтобы услышать вторую часть истории, нужно рассказать свою. Первой решилась Ольга – о магазине фототоваров, где она впервые встретила и сразу разоблачила Сергея, о том вечере, когда они спатались по городу, словно пытаясь таким образом вывести из его организма яд страшного намерения. О его последнем дне и часе. О том, что она так и не посмела расспросить мужа о страшном событии его юности, не отпуская всю жизнь – такую короткую. И вот она хочет знать...

Анна слушала не шелохнувшись. Что бы она ни думала о Сергее, каким бы – долгим или кратким – ни представляла себе его раскаяние, но то, что он мог себя приговорить к высшей мере и попытаться привести в исполнение, её потрясло. Да, эта женщина его вытащила – и все годы тащила.

Искренний и откровенный рассказ требовал взаимности, Анна понимала это. За всю жизнь лишь одному человеку – маме, и то в порыве отчаяния, поведала она о случившемся. Но это было много лет назад, и это была мама. А сейчас на неё смотрели глубокие и всё ещё красивые, но усталые глаза женщины, которую почему-то хотелось назвать сестрой. Забавно: у них даже отчество одинаковое... Ну что ж, в омут так в омут.

Анна говорила отстранённо и без эмоций, но Ольга отчётливо, как на экране, видела картины происходящего. Вот вокзал. Две девушки и три парня. Электричка. Тропинка, утопающая в разнотравье, тёмный лес, расступившийся перед круглым озером. Серёжа, её Серёжа, конечно, влюблён в эту девушку, и она готова ответить ему – гордая, прекрасная. Нет, Анна не говорит напрямую, но это очевидно: до сих пор имя Серёжа она произносит совсем не так, как другие имена. И вот – лодка, крепко подвыпившие парни, Сергей, взывающий к благоразумию. А дальше – какой-то сбой. Они обе понимают это – и обе молчат. Ольга должна догадаться, прийти на помощь. Так. Двое парней – в лодке. Расстроенная Аня бродит вокруг поляны, даже себе не признаваясь, что ждёт Сергея. Где он? А где, кстати, та, вторая девушка, почему о ней больше не упоминалось?

– Я думаю, Ася оказалась исключительно опытной и умелой молодой особой, так? Сегодня, с высоты нашего жизненного опыта, это уже не кажется столь фатальным, но тогда...

Анна облегчённо вздохнула. Умница, какая умница! Эх, если бы тогда можно было так сформулировать произошедшее – глядишь, и не пришлось бы отрезать по живому всё, что дорого. Что ж, надо закончить историю. Дальше – ужас: чёрная поверхность Чёрного озера, и где-то там, внутри этой черноты, – Женька, большой, здоровый, жизнерадостный парень, не умеющий плавать. Молнии над водой. Оглушительный треск раздираемых небес. Серёжа, откачивающий Лёшку. Три обессиленных скрюченных фигуры на берегу

– С тех пор я не видела никого из них. По возвращении попала в больницу, а потом мы уехали отсюда – героизм, конечно, со стороны моих родителей и бессовестный эгоизм – с моей.

Они помолчали.

– Через пять лет после этого я встретила Сергея, – задумчиво произнесла Ольга.

– А я больше уже и не встретила никого... такого. И через тринадцать лет надумала родить Альку, – улыбнулась Анна.

В этот момент зазвонил домофон.

Сразу вслед за Алькой пришли Филоновы. Ольга вытащила из духовки притомившуюся там курицу под ананасом и поняла, до какой степени голодна: обедать ей было некогда, а после разговора с Анной она чувствовала себя марафонцем, добежавшим до финиша. Собственно – да, добежала.

За столом, с трудом пытаясь сдержать свой зверский аппетит, она заметила, что и Анна, и, особенно, Алька встретили еду с большим энтузиазмом. Филоновы ели мало, зато постоянно по очереди спрашивали Анну о жизни в Новосибирске, Альку – о делах студенческих, Ольгу – о рождении скульптуры, от замысла до воплощения, а ещё – о сыне. «Да он скоро сам придёт, расскажет», – улыбнулась Ольга. Наконец, и сама Алла по просьбе Анны рассказала о том, как пришла передавать Илье Андреевичу физику. «А Вы знаете, Аня, не помоги Вы тогда Алюше – куда могло не произойти», – подал голос Илья Андреевич.

– Да, Анечка, не подай ты мне тогда блестящую идею, не подготовь по-настоящему, – я бы на него не произвела такого неизгладимого впечатления! – рассмеялась Алла.

Когда Ольга ушла на кухню, а Алька, немножко чувствующая себя не на месте, отправилась вслед – предложить помощь, как хорошая девочка, – Алла сказала:

– Знаешь, как только я окончила институт, мы поженились. Сашка, мальш, принял меня сразу – и я его сразу полюбила. И то ли оттого, что больше ничего не надо было учить и сдавать, то ли потому, что сбилось в моей жизни самое главное, – у меня и с памятью стало намного лучше. А особенно – после рождения Коли, да. Я ещё подлечилась немного – и продолжаю раз в два года, но это уже такие мелочи... А сейчас ещё одна радость – Катюшка растёт, внучка, да. Это Колина. А у Саши сынишка уже школьник, во второй класс перешёл.

Илья Андреевич застенчиво улыбался.

Это были люди, счастливые тихим нежным счастьем. Незвезданным.

Щёлкнул дверной замок, и в проёме открывшейся двери появилась фигура, вновь ускори́вшая у Анны сердцебиение. Физиология, необоримая физиология. Срабатывает раньше мозга.

– Здравствуйте! – сказал Володя, заглянув с порога в комнату. Гости поздоровались, а из кухни высунулись Ольга и Алька и дружно сказали: – Привет!

– О как! Не нужна ли вам в помощь грубая мужская сила?

Алька помрачнела: шутка, и без того заезженная, внезапно вызвала отвратительное воспоминание. Это было неожиданно и неприятно: ей казалось, что она смогла не только преодолеть, но и выбросить его из головы, даже немного гордилась собой – и нате вам.

– Грубая сила нынче не в тренде, Вовка. Или ты собираешься перебить все тарелки, перемытые Алей? Спасибо, Алюша, уже и делать-то больше нечего. Идите оба к гостям, я сейчас тоже приду, – сказала Ольга Михайловна, вытирая последнее блюдо. Кисти рук у неё были маленькие, пальцы споровистые и, в то же время, хрупкие, беззащитные – ещё и без маникюра. Мизинец казался и вовсе детским.

Алька, уходя с кухни, краем глаза увидела позади какое-то движение, обернулась – и охнула. Неизвестно откуда выполз огромный серый котяра. Кратко и скрипуче мявкнув, уселся на проходе, не сводя глаз с Ольги Михайловны. «Не выдержал, Васька, голод не тётка?» – улыбнулась она, насыпала ему корм и вместе с Алькой отправилась в комнату.

На некоторое время кот послужил темой для разговора, после чего Алька умолкла окончательно. Володя искоса поглядывал на неё. Чёрт возьми, хороша девчонка, но, похоже, он ей совершенно не интересен. Сама даже не пытается общаться, только отвечает – вежливо, немного рассеяно. Наверное, избалована вниманием. А ведь молоденькая совсем. Но, похоже, не глупа. Что-то вчера она такое необычное несколько раз говорила – там, на выставке. А сегодня молчит. Ну и ладно, всё равно укатит скоро в свой Новосибирск. И вдруг ему стало очень досадно и оттого, что она уедет, и оттого, что ей он не нужен. Он разозлился: а зачем ему эта Алька – опять ухватить то, что само в руки идёт, поставить в ряд после Люды, Лены, Кати? Или, наоборот, захотелось, потому что «само не идёт» – из спортивного интереса? Чёрт возьми, ему просто хочется с ней поговорить! Докатился: поговорить – с красивой девушкой! Ладно, он потом попытается. Между прочим, есть о чём, имеется у него один козырь, расширил он вчера свои горизонты, слава Гуглу. ...О чём её спросил этот Филонов?

– Пытаюсь освоить современные технологии программирования.

– И как их вам преподают?

– Да, вообще-то, не особенно... Базу дают хорошо, а это самим рыть приходится. Ну, кому интересно, конечно. Мне – интересно.

– Англоязычные первоисточники?

- В основном – да.
- Языком владеешь?
- Да, конечно.

Филонов переглянулся с женой:

- Мамина дочь.

– Ну, что вы! Мама – человек разносторонний. Я вот никогда бы ни стихов, ни прозы не написала, одни программы. Хотя, мне кажется, в них тоже бывают неожиданные повороты и остроумные решения.

Эх! Володя сердито укусил пирог. Вот соберутся уходить – попробует пойти проводить. Как школьник сопливый. Давай портфельчик донесу. Смешно? А ничего, не отпадёт от него. В конце концов, уедут они – и пусть себе там посмеиваются. И снова зануло что-то внутри, даже есть расхотелось.

17

«...Если бы не та гроза – или если бы я смогла её пережить – мы могли бы быть счастливы с Серёжей. Но тогда не было бы Альки. И Ольга не узнала бы его. А ведь они действительно любили друг друга. Может, со мной он и не был бы счастлив?»

«Интересно: мама в юности любила Володиного отца. Что же тогда случилось? Из-за него она убежала из этого города? А не убежала бы – может, и была бы счастлива с ним. Но тогда не было бы меня!»

«...Если бы не та гроза, он был бы спокоен и счастлив. Но не со мной – с ней, с Анной. Он жил бы дольше, а я бы никогда его не встретила. И Володи бы не было...»

Они ушли – все сразу, – оставив Ольгу в одиночестве, состоянии привычном, но особенно остро осознаваемом после ухода гостей, в последнее время редких в её доме. Обычно, моя кучу тарелок, чашек и, самое противное, вилок-ложек, она испытывала усталую опустошённость пополам с горечью: руки заняты, а голова-то свободна для невесёлых мыслей. Но сейчас Ольга ничего подобного не чувствовала – скорее, было ощущение, как после окончания долгого и кропотливого, но созидательного труда, когда – вот оно, творение. И даже не надо его сегодня пытаться оценить. Главное – оно сделано. Завтра она осмыслит всё, что сегодня здесь было сказано. А сейчас – вымыть чашки. Все тарелки с вилками перемыла девушка, с которой сын весь вечер не сводил глаз. Провожать пошёл. Эх, Вовка, это тебе не Люда... Ладно, сам разберётся, не маленький. А у неё, Ольги, сегодня есть ещё одно занятие – подарок Анны. Лежит на диване, дожидается. На чёрном фоне обложки бьются бешеные пульсы, бирюзовый и изумрудный, с изломанными – спланными! – верхушками пиков, и под стать им нервный, рваный шрифт надписи: «Шум квантования».

...Гости вышли на улицу, Володя тоже. «Давайте, я вас провожу», – сказал, обращаясь, скорее, к Анне. Алька вспыхнула. Филоновы, ещё не успевшие попрощаться, вдруг стали уговаривать Анну зайти к ним – «хоть на минутку, мы тут недалеко живём». Анна колебалась: взгляд, который бросила на неё Алька, был какой-то неоднозначный.

– Анна Михайловна, не беспокойтесь, я доставлю Александру, мирно и аккуратно, до самой квартиры, – сказал Володя.

- Я, вообще-то, сюда сама пришла, не заблудилась, – фыркнула Алька.

– Заблудиться – это, конечно, вряд ли. Но город у нас небезопасный. Хотя – если вы категорически против...

– Ну, почему же категорически, – равнодушно протянула Алька. – Мам, я вижу, что тебе хочется ещё пообщаться. Если так – за меня не беспокойся, а сама тоже долго не задерживайся. Тем более – город... небезопасный.

Они шли молча некоторое время. Под ногами – великолепными стройными ногами в изящных туфлях на каблучке и другими, самыми обыкновенными, в среднестатистических джинсах и кроссовках, – полз пыльный, обезображенный мелким мусором, выбоинами и жирными чёрными трещинами асфальт. И Володе было неловко за этот асфальт, за поросшие уже опущившимися одуванчиками заброшенные клумбы, за тех парней, что привычным бессмысленным матом общались сзади них, когда пришлось у перекрёстка ждать светофора, – он бы и не заметил в другой раз, дело-то обыкновенное. Но рядом была такая девушка, что у него мелькнуло: повёл принцессу на экскурсию по трущобам. Принцесса ступала легко – как по паркету, была невозмутима и словно погружена в свои мысли. У неё был точёный стремительный профиль, прекрасные каштановые волосы, гордая посадка головы – и, похоже, много чего в этой самой голове. «Отвык. Отвык общаться с теми, у кого мозги. Да и не было таких девушек у меня. Докатился: разговор за-

вязать не могу. Так и дорога закончится», – нервничал Володя. Наконец, решил разыграть козырную карту.

– А как вы думаете, Аля, персонажи в «Шуме квантования» имеют реальных прототипов?

Она резко остановилась.

– Вы что – читали?!

– До конца не успел. Только вчера вечером скачал журнальный вариант – после нашего разговора в выставочном зале.

Она задумалась. Потом посмотрела на него с интересом – словно впервые увидела.

– Для вас это имеет значение? Я не знаю точно, но думаю, что некоторые события реально происходили когда-то. Или могли бы происходить. Наверное, и люди были – похожие или с какими-то из описанных черт и качеств. А...

Она не позволила себе спросить, удержалась. Но глаза спрашивали. Глубокие, без всякой краски чётко очерченные, оттенённые тёмными ресницами зелёные глаза.

– Давай по-человечески, а? Без «вы». А то с этими любезностями... – он не договорил, огорчённо махнул рукой. И она рассмеялась. Володя тоже улыбнулся, но тут же посерьёзnel. Да, читать он начал из любопытства и, честно говоря, не без задней мысли: пусть будет информация – или повод. Но в какой-то момент...

– Аля, там один из главных героев, мужчина, очень подробно описан. Не только портрет, но и руки. Ты не помнишь? – Володя посмотрел на кисти своих рук, на длинные, сильные, красивые пальцы...

Алька вспомнила. Руки по описанию были точь-в-точь как у Володи! Она почти с испугом посмотрела на него.

– Нет, ты не так поняла. Руки у меня – как у отца. Цвет глаз – тоже. Но у меня другой цвет волос, форма носа, даже овал лица. У отца волосы были тёмно-русые, нос прямой, без горбинки, – классический, а на правой скуле, ближе к уху, маленькая, почти незаметная, тёмная родинка. Но кто-то её заметил?

– Опасно надевать своих героев внешностью реальных людей, – задумчиво сказала Алька. И тут же, словно спохватившись, уверенно заявила:

– Не знаю, как насчёт черт характера, но в поступках этого Виктора я бы точно не стала искать параллели с твоим отцом. Поступки персонажа, как я понимаю, всегда плод фантазии автора, иногда желанный, иногда нет.

«Как чётко формулирует! Как будто подготовилась. Хотя, наверное, она тоже пыталась, читая, что-то для себя выяснить или определить».

– Ладно, поверим в художественный вымысел, – с готовностью сказал он. – Хотя – что такое вымысел? Всего лишь творческое преобразование одной реальности в другую... А знаешь, когда-то мне мама сказала: не строй иллюзий, что живёшь в реальном мире, наш тонкий, почти плёночный, слой – это, практически, не пространство, а плоскость, и даже на ней мы формируем своё рафинированное окружение.

– Дети зубров твоих не хотят вымирать, – пробормотала Алька.

– Не понял?

– Песенка такая, из детства или юности наших мам. Захожу как-то домой – телевизор заливается, Градский там с хором... Музыка красивая, а слова смешные. «Как олени с колен...», или вот это, дети зубров. Кто их спрашивает, зубров и их детей, хотят ли они вымирать?

– А, ну да, слышал. Я раньше думал, что всё поколение наших родителей – такое, уходящее, с какими-то редкостными качествами. Потом на других посмотрел – ничего подобного! Мама – да, нелегко ей с этим живётся. А вчера и сегодня понял: Анна Михайловна той же породы. И ещё Филонов, пожалуй. Они встретились впервые, а друг друга сразу узнали: свои.

– А мы? Разве не наследуем? Почему бы и не сохранить эти редкости в своём микромире? – прищурилась Алька.

– Да пожалуйста, на здоровье. Только иногда тебя выбрасывает в реал, где идеальные модели не работают, и ты сталкиваешься лоб в лоб с другими законами (тут перед глазами у Володи всплыла физиономия пацана, который чуть не угодил ему под колёса). А у тебя нет опыта противодействия и мало времени на понимание.

Он неожиданно почувствовал, что попал в болевую точку. Алька вспыхнула, напряглась – даже кулаки сжались на секунду – и стала в этот момент недостижимо, нечеловечески прекрасной: дрогнули и взлетели длинные, с изломом, брови, румянец очертил скулы, глаза полыхнули зелёными искрами. У Володи дух захватило. «Жениться бы на ней», – подумал внезапно – и сам испугался. Наваждение, да и только. А она сказала решительно:

– Ничего. Опыт противодействия приходит в процессе. Был бы характер.

Он чуть не принял это как выпад. Но нет – она думала о чём-то своём.

«Пожалуйста... Не надо мне противодействовать! Я не враг. Я хочу... Не знаю... Знаю, чего не хочу. Не хочу, чтобы ты уезжала...»

Он молчал. Взгляд его мог бы высказать это, но она, конечно, ещё не умела читать в его глазах.

– Пожалуйста...

– Что?

– Дай мне свой скайп и мейл. Прямо сейчас. Прошу тебя...

... Анна вернулась поздно и застала дочь в смятении. Старшее поколение уже расплодилось, готовясь ко сну, но Алька явно её дожидалась.

– Мам, пожалуйста, не сердись... Я очень хочу спросить... Не обижайся, а?

– Ну, спрашивай.

– Мам, только, пожалуйста, не обижайся...

– Ну, говори уже!

– Мам... Я точно не сестра Володе?

Дочь покраснела, глаза заблестели.

– Алька... дурочка моя, ну чего ты ревёшь? Нет, конечно! Ну правда, правда. Господи, да как тебе это в голову пришло? Двадцать лет мне было, когда я сбежала отсюда. Ничегошеньки не успело между нами произойти. И не видела я его никогда больше, Аля. А с Павлом, отцом твоим, познакомилась уже в Новосибирске, когда и аспирантуру окончила, и диссертацию. Я ведь после защиты и до твоего рождения в другом университете работала – там и встретились. Парень был вполне симпатичный, очень неглупый... и очень здоровый: то на лыжах, то в бассейн, то в баню, – Анна усмехнулась и почти беззвучно прошептала:

– Ничего общего с Серёжей.

Но Алька услышала.

– Так что, Алечка, всё, что я тебе когда-то рассказала про твоего отца, – правда. К сожалению.

«К счастью», – подумала Алька. И вздохнула. До отъезда оставалась ночь и двое суток.

18

Книга лежала на коленях у Ольги, но читать она уже не могла: дошла до строк, где длинные пальцы Виктора коснулись маленькой тёмной родинки на правой скуле, – и всё расплылось перед глазами, и капля упала на страницу. Сколько раз трогала она эту родинку – руками, губами, сколько раз его длинные красивые пальцы касались её руки, щеки, тела... Серёжа! С двадцати трёх лет, никого не любив до него... И уже столько лет никого – после... И вот он, родной, узнаваемый под любым именем, оживает в книге женщины с несбывшейся первой любовью – возможно, единственной, потому как через всю жизнь пронесена. Книга-то всего год назад вышла. Хотя – кто их, этих писателей, знает: носят что-то в себе, накручивают, примеряют. А потом раз – и «над вымыслом слезами обольюсь».

Вот и Ольга сидит в слезах. А разве не такими же слезами политы её собственные творения? Ведь, по сути, и то, и другое – памятники. Ну и что? Люди уходят – памятники остаются. Некоторые даже на века, причём по какому принципу – не всегда предсказуемо. А ещё остаются дети, они вырастают. Некоторые – помнят. Володя помнит. А Альке, интересно, есть кого помнить? Она, видимо, выросла без отца – поздний ребёнок, мамино утешение. Хотя слово «утешение» как-то плохо сочетается с Анной – она отлично выглядит, многого добилась, производит впечатление человека состоявшегося, уверенно идущего по жизни. Производит впечатление. И только имя «Серёжа» ей произносить противопоказано – в картину не вписывается.

Ольга встала, подошла к большому зеркалу в коридоре – обычно она бросала в него короткий взгляд один раз в день, перед уходом на работу, чтобы не допустить какого-нибудь случайного безобразия. Так, глаза красные – это понятно. Но выглядишь ты, Ольга Михайловна, постарше, чем Анна, хотя на самом деле на год или два моложе. Конечно, её бронзовые волосы сейчас уже не подарок природы, а нормальное правильное поведение пятидесяти-с-чем-то-летней женщины. А тебе кто мешает хотя бы покраситься – на твоей тёмной голове седина блестит как изморозь. Соль с перцем, говорят французы. Яркие краски были у тебя, только ничто не вечно. Правда, глаза остались ясными – ну, если не зарёванные, конечно, – и ресницы всё ещё длинные и черны без всякой туши, и летящие брови с изломом. Но лицо бледное и выглядит измученным, щёки впалые, на лбу и у рта резкие вертикали прочерчены. А вообще-то, между прочим, красивая женщина. Была. Хотя всё ещё некоторые говорят... Оглядываются... Э, да что нам некоторые – зачем? Ладно, надо бы книгу дочитать – и дать Вовке. Узнает?

В распахнутую форточку влетел ветер, перелистал страницы. Ольга подошла к окну. Раньше двор утопал в зелени, но два года назад спилили почти все деревья, полдвора отдали под стоянку, а голая середина стала сценой для ночных спектаклей. Вот и сейчас во дворе собирался, на ночь глядя, местный молодежь: тощие коротко стриженные парни в темных спортивных костюмах, все – с жестяными банками пива, и крашенные девичьи с сигаретами. Погода наладилась – значит, они тут долго будут... расслабляться. И вдруг – что это? Что заставило не только её, но и эту компанию вздрогнуть – вопль? вой? Человеческий или звериный? Но он прилетел вроде бы даже и не со двора. Молодежь наострила уши, все повернулись в одном направлении – куда-то к углу дома. Ольга посмотрела туда, но ничего не увидела. Звук больше не повторился. Она ещё немного постояла у окна – и вернулась к «Шуму квантования».

Через полчаса её отвлек новый шум: к соседнему подъезду подъехала скорая. Ещё минут через десять она услышала, как под окном зазвонил мобильник. Выглянула: водитель скорой, ругнувшись, метнулся в подъезд. Вскоре они с молодым врачом вынесли оттуда – ей сначала показалось, что мешок. Нет, не мешок: одеяло или покрывало, в котором, как в гамаке, кто-то лежал. Его без особых предосторожностей погрузили в машину и уехали.

Было, было... То же самое, лет пять назад...

На следующее утро Нина Павловна дежурила во дворе чуть ли не с рассвета. Никто не прошёл мимо, не получив исчерпывающей информации, и Ольгу, направившуюся было за молоком, – как же Ваське-то без молока! – не миновала эта участь.

– Вот ведь хорошо, что я ему соседка. Услышала – перепугалась, конечно, как он заорал-то. Как резаный! Ну, подождала чуток – и давай к нему стучать. А дверь-то, смотрю, и не заперта! Прямо сама и открылась. А он уж синий, посреди комнаты валяется. Хотя – синий он ещё вчера был, так ведь нет же, не хватило ему, пошёл и ещё одну взял. Может, поддельная какая? И вот ведь – жена есть, сынок есть, живут рядом, а я к нему скорую вызываю. Поздно уж, конечно, было – дак а чего делать-то? Приехали да увезли. Ведь говорила я ему вчера: Лёша, посмотри на себя, был мужик нормальный, умный только больно, это тоже ни к чему. Ну и жил бы да радовался, а ты всё пьёшь! А он рукой машет – как муха я ему. Вот и домахался...

Не дослушав этот поток, Ольга вернулась домой. Раскрыла записную книжку и долго смотрела на телефонный номер Аллы. Закрывает. Подумала немного. Всё же взяла трубку.

Поговорили по-деловому.

– Я не скажу Ане – они улетают через день, зачем тревожить, правда?

В ритуальном зале живых было шестеро. Светлана и Артём, скорее, усталые, чем убитые горем, вопросительно поглядывали на незнакомую им пару: пожилого худощавого мужчину и невысокую женщину с вьющимися пепельными волосами. Они принесли и положили в гроб темные розы с длинными стеблями. Ещё была Ольга – с охапкой гвоздик – и вездесущая Нина Павловна. Потом пришёл поп, начал отпевание. Ольга и эти двое не крестились и в какой-то момент тихо исчезли. Нина Павловна героически съездила на кладбище и была вознаграждена поминальным обедом – в квартире Светланы. «Хорошо хоть – кафе заказывать не стали», – изрёк Артём. Так втроем и просидели: мать с сыном – молча, а соседка – бесчётное число раз пересказывая то, как выговаривала Лёшке накануне и как вызывала скорую. Впрочем, когда нехитрая поминальная еда закончилась, хозяйка ускользнула на кухню, а Артём медленно встал, выпрямился во весь свой немалый рост – и Нина Павловна, не боявшаяся делать замечания пьяному Лёшке, почему-то занервничала, завернула недоеденную булочку в платок и, пробормотав: «Пойду уж», – почти выбежала из их квартиры.

Артём закрыл за ней дверь, с облегчением сказал: «Ну, наконец-то», – и, обернувшись, увидел, что мать плачет.

– Привет, дорогая!	19:55
Солнышко, ты где?	20:12
Аля!!!!!!!!!!!!	20:49
– At last... Здравствуй, Володя	20:50
– Почему at last? Я тебя уже час дозваться не могу	20:50
– Ну, я сомневалась	20:51
– В смысле?	20:51
– Именно – в смысле: дорогая, солнышко... абсолютно безадресно	20:53
Чуть не спросила: имя-то помнишь?	

– Аля. Алюша. Алюшка 20:55
почти год ты не выходишь у меня из головы
и всё такая же колючая

– Гм. Алюшка – это хорошо. По поводу остального могу сказать: 20:59
не бери в голову – не придётся жаловаться, что не выхожу оттуда.
За «колючую» отдельное спасибо: где шипы, там и розы.
Ну, или наоборот...

– Я хочу тебя видеть. 20:59

– Скайп позволяет – звони, я вполне одета и выгляжу прилично))) 21:00

– Да, скайп позволяет, на днях виделись, можно и сейчас 21:00

Но я хочу видеть тебя, а не картинку. Приезжай, а?
Аль?? 21:41

– Не могу: я ещё не поужинала:-) А послезавтра – зачёт. 21:49

Ну ладно, не сердись. Сам подумай, что поешешь? Как – приезжай?.. 22:15

– Понял. Надеялся, но, видимо, ошибся. Извини. Дурак. 22:30

– Володя! 22:31

– ??? 22:51

– Спокойной ночи. 22:52

Это у вас одиннадцать, а у нас уже полночь.

Ну почему, почему она не может с ним по-другому? Вышла из сети – и заревела.

Две недели пустовал глазок скайпа возле его имени. Поделом тебе, язва сибирская, поделом! Найдёт он себе девушку и поближе, и помягче – проблем-то...

Тем временем заканчивалась сессия. Возможность на время забить себе голову была кстати: Аля снова готовилась и сдавала экзамены с остервенением и отчаянием. Сдав последний, облегчения не почувствовала – не потому, что через три дня начиналась практика, а потому, что эти три дня обещали быть абсолютно свободными, пустыми, печальными...

– Александра, вы уже освободились? Будьте добры, по дороге отнесите это в деканат, отдайте лично замдекана, он на месте, – профессор Чебаков, трясая седой козлиной бородкой, сунул ей в руки листок, на котором наименование, набранное капсом, сразу бросалось в глаза: докладная записка. «Довожу до Вашего сведения», – шло далее подробное перечисление имён и грехов особо нерадивых студентов. Алье было очень неприятно нести эту бумагу, но она знала: через пять минут Чебаков обязательно позвонит замдекана и проверит доставку.

У распахнутых дверей деканата тусовались «лучшие люди»: двоечники, должники, не допущенные до сессии. В приёмной две секретарши отбивались от представителей этой братии. Аля поздоровалась, постучала и заглянула во внутреннюю комнату – замдекана не было на месте, кабинет был пуст. Она стояла и раздумывала: положить бумагу ему на стол или оставить секретаршам – и то, и другое не соответствовало требованию «отдать лично» – и услышала сзади, в проходной комнате голос, безумно похожий на...

Аля рассердилась: вот ведь – как ребёнок! Выдумщица! Ну, похожий голос, мало ли. Прислушалась.

– ... добры, подскажите – мне нужно разыскать студентку вашего факультета и передать кое-какие... эээ... бумаги. Она второй курс заканчивает, но группу не знаю. Александра...

– Она из двести сорок третьей, у них сегодня последний экзамен, возможно, она уже ушла, – сказала Лариса Петровна. Обычно она, сосредоточенная на своих документах, мало что и кого замечала, но кто из какой группы – помнила наизусть.

– Да вот же она только что прошла в соседний кабинет, какой-то листок принесла, сейчас выйдет, – вмешалась Елена Ивановна.

Аля тут же выскочила с докладной в руках:

– Несла от Чебакова Юрию Анатольевичу, а его нет, – торопливо заговорила она (Чебакова никто и никогда не называл по имени-отчеству). Изво всех сил старалась смотреть только на Елену Ивановну, ей и протянула бумагу.

– Здравствуйте, Александра. Как хорошо, что я вас так быстро нашёл, – сказал молодой мужчина с голосом Володи. – Пойдёмте, я всё вам принёс.

И он вывел её, пойманную врасплох, ничего не понимающую, в коридор, увёл подальше от посторонних – в небольшой закуток около лифта, взял за руки и сказал, не сводя с неё глаз:

– Здравствуй, Алюшка. Я приехал.

Доли секунды хватило ему, чтобы увидеть то, на что он в глубине души надеялся. А может, показалось? Может, слишком сильно хотел – и поверил в желаемое? Нет, не показалось: он дер-

жал её запястья и слышал разогнавшийся пульс. Пускай теперь сколько угодно подкалывает его своими шипами.

– В командировку?

Ах, так? Ну, держись, колючка!

– Так точно. На три дня.

И помолчать минутку – резвись, если хочется. Нет, молчит. Ай, Вовка, не зря, не зря ты прилетел. Ага, вот она собралась с мыслями.

– И куда именно ты командирован?

– В ваш университет. Представляешь, всего три часа назад прилетел, а половину задания уже выполнил.

Алька совсем растерялась – и спросить бы, да в голову не приходит, как бы это...

– Ладно, пока ты мысленно формулируешь, я тебе уже отвечу. Задача была такова: во-первых, разыскать в миллионном городе с кучей вузов и двумя крупными университетами девушку, у которой я знаю только имя-фамилию, курс и примерно – специальность. А во-вторых, сказать этой девушке... – и он вдруг умолк.

Наконец-то она подняла глаза! Ох...

– Аля... Я весь этот год... Правда – сам поверить не мог. Слушай, я тебя на пять лет старше, я серьёзно... В общем, я приехал... если это не одностороннее движение, конечно... Всё, сейчас не смей шутить! Я приехал – пока, действительно, на три дня, но с надеждой на наше совместное будущее. На любых твоих условиях насчёт времени и пространства. Готов ждать, что-то менять, чего-то добиваться.

Она опустила голову, помолчала. Он ждал, с каждой секундой всё больше нервничая и всё глупее себя чувствуя. Наконец, Алька посмотрела на него – так любители конкретного смотрят на полотна модернистов, пытаясь понять, что на них откуда берётся и к чему относится – и сказала:

– Я чего-то не поняла... или пропустила? Ты что же, – тут она сделала паузу, – любишь меня?

20

Букеты, букеты – розы всех цветов и размеров, огромные головы хризантем, вызывающе яркие герберы и опять розы, розы. Вот эти уже вянут, можно выбросить. Завтра останется половина – розы долго не стоят, да и герберы тоже. Стоят хризантемы, осенние цветы, крепкие и выносливые.

Был бы Васька, он бы тут навёл порядок – вон любимая ваза, Серёжин подарок, склеенная стоит. Это он тюльпанами когда-то поинтересовался. Но Васька, прожив достойный кошачий век, шестнадцать лет, в прошлом году вдруг почти перестал есть. Ольга таскала его по ветеринарам, но они все говорили одно и то же: что вы хотите, пришло время. И однажды он забился в угол, уснул – и не проснулся.

Ну вот, Ольга Михайловна, тебе пятьдесят три, и у тебя, когда ты не на работе, – полная и абсолютная свобода: осознанная необходимость что-то готовить, есть, посуду мыть, раз в неделю делать уборку. А в остальном, прекрасная маркиза, можешь теперь заниматься чем угодно в своём розарии, который, улетаая, оставили тебе дети.

Хорошая у ребят была свадьба: весёлая, но не разнузданная, не слишком многолюдная, но у Вовки приятели – Ольга их много лет знает – очень приятные парни, неглухие, остроумные. И две подружки Альки прилетели, молодцы. А уж с Анной встреча была – не всегда родные сёстры так встречаются. Три года они не виделись, но иногда переписывались и даже по скайпу общались. Ольга помнит, как была потрясена два года назад, когда, отвечая на звонок Анны, увидела на экране лицо сына. Он даже не сообщил ей накануне, что летит в Новосибирск. «Не сердись, пожалуйста, мама, боялся, что говорить будет не о чем», – сказал он тогда, сияя и светясь так, что в дальнейших комментариях необходимости не было. А когда вернулся – словно заново родился: последний год аспирантуры отработал за все три, и через полгода вышел на защиту. Ольга всё это наблюдала: Вовка отказался от съёмной квартиры. В апреле он защитился, а перед самой свадьбой получил корочки.

За год до свадьбы, прошлым летом, на неделю прилетала Алька. Она стала ещё красивее оттого, что тоже светилась. Глядя на счастливых детей, Ольга и радовалась, и страдала от осознания неизбежного: уже было ясно, какой из двух городов они выбрали для жизни. «Мама, поедem с нами, а? Устроишься там на кафедру», – звал Володя. «Правда, Ольга Михайловна», – вторила Алька, и в её голосе не было слышно фальшивых нот. «Без степени? В предпенсионном возрасте?» – усмехалась Ольга. Нет уж, доработает она тут, сколько сможет, а там видно будет. Ничего,

вон, у её коллеги дети вообще за границей, да ещё и в разных странах, живут. А тут – подумаешь, два часа лёту...

Бодрилась она, конечно. А вчера, когда улетали, не выдержала – разревелась. Эх, зря – не справилась. Рано утром это дело было. Проводила. Им бы, наверное, даже в голову не пришло, куда она поедет из аэропорта. Домой, конечно, куда же ещё. Только по дороге завернула она туда, где не была давненько, всё только собиралась. Загрузила два пакета под завязку и с трудом дотащила их до дома. Тяжеленные! И вот, застелив пол старыми газетами, она вывалила содержимое пакетов посреди комнаты. Глина была бледно-жёлтая, даже немного золотистая, и Ольга уже видела, как из этих комьев вылупляются на свет, растут, встают на крыло птицы – и улетают за горизонт. Птицы улетают, а человек на земле провожает их взглядом – он бы полетел вслед, да вот незадача, это земное притяжение...

...У птиц были красивые сильные крылья – с такими высоко парят и далеко летают. И – сложно было понять, как этого удалось добиться, и почти невозможно разглядеть точки опоры – они летели! А внизу рвалась им вслед человеческая фигура, словно тоже готовая взмыть над землёй, но в её лице не было ни горечи, ни отчаяния, только светом лучились глаза, увидевшие что-то прекрасное, тайное, неземное.

Ольга Авалова. «Летите, птицы!» Вершина творчества зрелого мастера. Обожжённая глина.

РАИСА ШИЛАЛИМАТ



СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ

Рассказ

Студенческая вечеринка утопала в сигаретном дыму. Душой компании был первокурсник Дмитрий, недавно демобилизованный моряк. Парень сыпал матросскими байками, девчонки хохотали, одна залистее другой. Студентов музыкального училища, конечно, пением и гитарой не удивить, но парень брал обаянием, темой и экспрессией исполнения. Ах, как он пел! Струны звенели металлом, наполняя помещение романтикой дальних походов:

*Моряк, покрепче вяжи узлы¹ –
Беда идёт по пятам.
Вода и ветер сегодня злы,
И зол, как чёрт, капитан.
Пусть волны вслед разевают рты,
Пусть стонет парус тугой –
О них навек позабудешь ты,
Когда придём мы домой.*

¹ Песня А. Городницкого

Разумеется, волн с разинутыми ртами никто из присутствующих (за исключением исполнителя) отродясь не видел, поэтому девчонки, сбжавшиеся со всего общежития, слушали песни бывалого морского волка именно так – открыв рот. Лёля в том числе. Очаровал моряк. Через год расписались. Поселились в оставшемся от бабушки домике на окраине города, почти у опушки леса. Портрет мужа в матросской форме красовался на стене, на самом видном месте, молодая жена с удовольствием слушала его воспоминания о лихих похождениях, а после рождения второй дочери пошутила, что теперь у них не семейная лодка, а корабль с женским экипажем на борту. Муж довольно засмеялся: жена повысила его в должности, теперь он капитан, и семь футов под килем своему кораблю обеспечит! Да Лёля и не сомневалась, что с любимым, весельчаком и подающим большие надежды музыкантом, никакие бытовые шторма не страшны. За штормами дело не стало. Жили предельно скромно. В их небольшом городе на сонатах, сарабандах и тому подобных тонких музыкальных материях не разжиреешь. Своё профессиональное мастерство Дмитрий дополнительно «отгачивал» в сплочённых рядах похоронного оркестра. Кроме этого подрабатывал в ресторане. Пел про бублички, про вишни, что созрели в саду у дяди Вани, и жалостное, без малого в яблочко бьющее «подойдите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босы...». Но мысли о большой сцене не оставляли. Чтобы иметь успех, утверждал Дмитрий, ему нужен настоящий инструмент, он ведь серьёзный музыкант и нарабатывает классический гитарный репертуар Анидо, Сеговии и прочих великих. И вот свершилось! Дешёвую «деревяшку» с металлическими струнами сменила большая, пышнобёдрая красавица, сделанная известным мастером на заказ. На эту, как выразился Дмитрий, инвестицию в будущее, ушли деньги, собранные за все годы шабашек. И ещё пришлось занять столько, что теперь, чтобы расплатиться с долгами, лабать¹ ему до конца дней своих.

Постепенно Лёля начинала понимать: капитан медленно, но прочно сажает корабль на мель. Сердце сжималось, когда думала о детях. В их души не хотелось вносить сумятицу, поэтому убеждала: нужно ещё немного потерпеть, всем вместе. Шли годы, а большой талант Дмитрия продолжал пробуксовывать где-то на уровне средних способностей для внутреннего пользования: по настроению впадая в творческий экстаз, капитан играл ночами напролёт. Засыпал утром, когда команда, очумелая от ночной «музыкальной табакерки», просыпалась.

Однажды поздним зимним вечером Дмитрий пришёл домой не один, а с одноклассником, которого встретил в ресторане. Тот, в модном полушубке и роскошной ондатровой шапке, эдаким козырным тузом ввалился в прихожую их жилища, по-хозяйски оглядел «хоромы» и бесцеремонно заявил:

– Хреновенько, брат, живёшь!

– Не в дублёнках счастье! – парировал Дмитрий.

Представил гостя:

– Лёлька, у нас сегодня очень дорогой гость! Петька, собственной персоной! Друг старых игрищ и забав, бузотёр и разгильдяй!

– Что-то не очень он похож на разгильдяя, – улыбнулась Лёля.

– Накрывай на стол, мать, мы лет сто не виделись, сейчас по коньячку шаранхнем.

Лёля для приличия немного посидела с друзьями, потом сказала, что ей завтра рано вставать и ушла в спальню. На спокойный сон женщина не рассчитывала, по опыту знала – посиделки будут долгими. Мужчины, разгорячённые спиртным, не замечали, что говорят громко, и Лёля, хочешь – не хочешь, слышала весь разговор.

После воспоминаний о школьных годах, Пётр снова вернулся ко дню сегодняшнему:

– Слушай, Димон, можешь на меня обижаться, но я скажу. Вот ты меня назвал бузотёром и разгильдяем. Не отрицаю, бывало всякое, но я давно вырос из этих штанишек. А ты? О твоих достижениях могу судить по твоей хибаре. Честно говоря, когда шёл к тебе, ожидал другое увидеть.

– Много ты понимаешь! Стены не самое главное, ты мне в душу загляни!

– И что же там?

– Там большая музыка живёт! А музыка – великая сила! Что ты понимаешь в музыке? Ты – самый, что ни на есть, филистёр.

– Ну, если тебе от этого легче, называй меня так. А ты, надо думать, самый настоящий интеллигент, цвет нации?

– Да, и не боюсь в этом признаться! Для меня самое главное богатство – духовное!

– Да, ну ты! Объясни мне, олуху, что это такое.

– Самопознание и самосовершенствование!

¹На жаргоне музыкантов лабать – играть для ресторанной публики.

– Вот этого не надо! Словооблудием ты можешь заниматься с кем-нибудь другим. Духовно богатый человек, по-моему, прежде всего окружает заботой и любовью близких, а на твою избушку на курьих ножках и на жену смотреть больно.

– Ишь ты, сердобольный какой! А ты не знаешь, что настоящему таланту всегда трудно пробиваться?

– Ты уверен, что у тебя настоящий талант?

– Хочешь, сыграю?

– Не хочу, твоё семейство спит. Я в прошлом месяце был на концерте Пако де Лусии. Лучше расскажи мне нормальным человеческим языком, почему ты живёшь вот так, как последний м...к.

– Ты ничего не знаешь, я выхожу на старт. Приезжай через пару лет, посмотрим, что тогда скажешь! У меня ещё всё впереди!

– Зачем ждать пару лет? Я тебе, дураку, сейчас скажу: впереди если что-то и светит, то не тебе, а твоим детям. И то, при условии, если батя перестанет дурью маяться.

Лёля лежала, едва сдерживая слёзы. Пётр словно услышал и озвучил её мысли. Под утро он ушёл, а Дмитрий всё сидел на кухне, курил и рассуждал вслух о том, что Петька, как был дубиной стоеросовой, так и остался, а туда же – жить учит.

С того момента что-то в поведении Дмитрия изменилось. Он и без того был неуравновешенным человеком, а тут появились новые странности: то останавливал взгляд на жене так, что ей становилось неловко, словно она в чём-то виновата, то вдруг напористо спрашивал, о чём она сейчас думает. Застигнутая врасплох неожиданным вопросом, Лёля на какое-то мгновение замолкала, чтобы восстановить ход мыслей. В момент, когда к человеку кто-то внезапно обращается, внимание его переключается с внутреннего монолога на собеседника и мысль теряется. Тут же следовал новый вопрос: почему ответила с промедлением, есть что скрывать? Лёля ничего не могла понять, неизвестность вещь неприятная. Не выдержала, осторожно поинтересовалась:

– Объясни, в конце концов, что происходит?

– Видел я, как ты на него смотрела, – тихо сказал Дмитрий и недобро посмотрел на жену.

– На кого? – не поняла Лёля.

– Не прикидывайся! На Петьку, на кого же ещё!

– Господи, что ты несёшь? Я даже забыла, что он у нас был!

– Так ведь и он на тебя запал!

– Дима, ты совсем идиот?

Разговор замаяли, но осадок остался. Вечером, взяв гитару в руки, Дмитрий вдруг вспомнил свой флотский репертуар. С чего бы это? Пел, не сводя глаз с Лёли:

*Не верь подруге, а верь в вино,
Не жди от женщин добра:
Сегодня помнить им не дано
О том, что было вчера.
За длинный стол посади друзей
И песню фрамко запой, –
Ещё от зависти лопнуть ей,
Когда придём мы дамой.*

Женщина чувствовала себя так, словно её вываляли в грязи. С грустью подумалось: похоже, «друзья за длинным столом» незаметно стали привычной средой обитания Дмитрия и как ему казалось, настоящими ценителями его таланта. Единственными.

Наступала весна, светило солнце, таял снег, из-под него проплешинами выглядывала прошлогодняя трава. Лёля вышла на крыльцо и восхищённо воскликнула:

– Боже, благодать-то какая!

Вслед за ней слегка щурясь от солнца, вышел Дмитрий:

– Хорошо! Пахнет свежестью.

Из-под крыльца вдруг выбежала пушистая рыжая крыса. И откуда она взялась? Животное направлялось к протекавшему в нескольких метрах от дома ручью.

– Смотри, смотри, это же ондатра, первый раз вижу! Ой, как интересно! – всплеснула руками Лёля.

– Ещё как интересно! Сейчас я её... – глаза Дмитрия недобро сверкнули.

– Ты что, с ума сошёл? Зачем она тебе?

– Шапку сошью.

Жена подумала, что муж шутит, ну какая может быть шапка из шкурки животного величинной меньше кошки? Что это с ним?

Дмитрий заскочил в сарай и быстро вернулся с лопатой в руках. Лёля оторопела. Он не шутил. Пытаясь отобрать лопату, женщина потянула черенок на себя, но муж толкнул её с такой силой, что она едва удержалась на ногах. Дмитрий погнался за ондатрой. На крыльцо выбежали дочери, наперебой закричали:

– Папа! Что ты делаешь?

– Папа! Перестань!

– Уйдите отсюда! Не мешайте! – зло огрызнулся отец.

Лёлю трясло. На побледневшем лице мужа хищный азарт, зрачки расширены.

Расправа была не долгой: удар настиг несчастное животное, оно заверещало и заметалось, пытаясь уйти от преследования. Ещё удар – из носа хлынула кровь, ондатра, теряя ориентацию в пространстве, успела сделать пару неверных шагов. Следующее попадание довершило дело.

Старшая дочь выкрикнула:

– Папа, ты же убийца!

Потом закрыла лицо руками, прислонилась к перилам и тихо заплакала. Младшая ревела во всё горло.

– Замолчите! Развылись тут..., а то и вам сейчас достанется...

Лёля обняла детей, чтобы они не видели, как довольный отец с демонически-победной ухмылкой пронесит мимо них бездыханную тушку в сарай. Капитану и в голову не пришло, что крыса, несколько минут назад выбежавшая из-под крыльца, покидала их корабль.

АЛЕКСАНДР КРАМЕР



ИЗ ЦИКЛА «АРЕСТ»

Рассказы

АРЕСТ

1

– Ты кто? И – чего – ты – трезвонишь?! Ну, висит же табличка: «НЕ БЕСПОКОИТЬ». Слепой, что ли?

– А я и не беспокою. Напрасно вы так. Я по делу. Вы – арестованы. Вот постановление об аресте.

– Как – арестован? За что? Я ж приехал только неделю назад. Пять раз за все время из гостиницы и выходил. Даже жильё постоянное еще подыскать не успел. Когда?.. Что?..

– А я и не говорю, что вы что-то сделали. Вы в превентивном порядке арестованы как житель ниже поименованной в постановлении Территории.

– То есть? Как это – в превентивном? Вы что, с ума сбрендили?! Какой такой еще Территории?

– Слушайте, дурака-то кончайте валять. Повестку вы два дня назад получили? Получили. Значит, что ваш срок пришел, знаете? Знаете. Вам в повестке всё разъяснено было. Так что вещички свои по-быстрому собирайте и – на выход. А не то конвой вызову!

– Да я посчитал, что это прикол местный какой-то. Думал, фальшивка, розыгрыш чей-то дурацкий. Да и что мне конвой ваш сделает? Ведь не виновен ни в чем!

– Никакой не прикол, не фальшивка. Все правильно там написано. Все очень даже серьезно.

А будет, коль добром со мной не пойдете, позор. До самой тюрьмы под конвоем в наручниках поведут. Вы новенький в наших краях, неужели охота с первого дня перед всем честным людом позориться? А вдобавок к позору полтора срока сидеть будете. Как пить дать, на всю катушку Совет припаяет. А так спокойненько недельку всего отсидите, да на волю и выйдете. Порядок у нас здесь такой, понимаете? Зато преступности почти нет, потому что каждый и всякий в положенный ему час – сидит. И судов тоже нет. Без надобности. Все точно и просто, без крючкотворства – Совет все вопросы решает.

Так что вы фанаберию и любопытность свои на потом оставьте, а сейчас давайте время тянуть не будем. Живой человек вас ждет, срок лишний мается. Совесть надо иметь. Да, вы вещички теплые захватите. Топить в камере еще только через несколько дней начнут, прохладно там пока будет. В общем, хватит лясы точить, собирайтесь.

2

– Скажите, ну кто все-таки эту штуку у вас придумал? Мы пока добираться будем, может, вы мне хоть что-то расскажете?

– Да нечего мне рассказывать. Не помнит никто. Документы все уничтожили. Любое упоминание порешили считать преступлением. Поэтому ничего не сохранилось. Даже архивов нет. Даже секретных. Известно только, что когда-то у нас жуткая преступность была. Невообразимая. Что только не предпринимали: вводили смертную казнь, заменяли пожизненным, приговаривали к немислимым срокам, под домашний арест сажали, ссылали на рудники всякие... Ничего реально не помогало: мздоимствовали, насильовали, убивали и грабили – хоть кол на башке теши. Вот однажды и порешили, что каждый – без каких-либо льгот и поблажек – сидеть должен. Сделал что нет ли – сиди! Никаких привилегий. Скидка малая единственно для губернатора сделана: полсрока всего только мается, но по графику и регулярно – нет исключений. И оказаться каждый с кем угодно в камере может. Так что если ты кому гадость какую сделал – пеняй на себя. В камере тебе все честь по чести предъявят, за все расплата наступит.

– А как же свобода? Ведь это...

– Как сказал один, теперь подзабытый, спец по тюремному делу, «свобода – это осознанная необходимость». В каждой камере плакатик такой висит. А губернатор наш говорит: «Раз у общества имеется надобность в вашей временной несвободе, то должна эта надобность быть осознана, и стать вашей насущной необходимостью». Сильно сказано, правда? Вот и осознавайте!

Зато теперь нет у нас почти никаких преступлений. Как вы видели, вырваться за Территорию никакими путями нельзя – колючка, охрана... Отсиди положенный срок – лети на четыре стороны. Только так! Оттого всякий остерегается.

И искать тебя, если ты что совершил, тоже запросто, потому как сидел уже, значит, с головы до пят запротоколирован. Вмиг тебя опознают – малейшей зацепки хватит.

Вот и вы – посидите немного – нашим духом проникнетесь. С людьми в камере познакомитесь. Может, друзьями-приятелями на новом месте обзаведетесь. Ничего страшного в этом нет. Даже нравится некоторым. Кой-какой народ сам, повестки не дожидаясь, к воротам тюрьмы приходит. Для того график посадок открыто висит, всем известен. Даже меняются некоторые, чтобы с кем-то определенным сидеть. Но такая потачка – только по специальному разрешению. Тут не просто, тут отношения всякие, заслуги нужны... Случается изредка, что и на лишний срок люди просятся, но такое пока еще редко кому позволяется – с этим строго.

Курьезы также случаются. Однажды молодоженов прямо со свадьбы забрали. Так подошло как-то, что у обоих срок сидеть подошел.

– И что, в одну камеру?

– Да вы что! Да кто ж такое позволит?! Понятное дело, по разным помещениям развели. Но тогда Совет довольно-таки лояльно к обстоятельствам подошел, специальным постановлением поблажку им, как губернатору, сделал.

Да, чуть не забыл. Беременным женщинам с пятого месяца до рождения ребенка срока всего два дня полагается. Так что они на короткое время делаются поважней губернатора. Все, как видите, по справедливости.

Только это всё правила для заурядной отсидки, а если ты набедокурил серьезно где... Ну, к примеру, морду кому с пьяных глаз начистил. Тут другой разговор. Тут тебе сразу срок утраивают – на год целый. И будешь ты свой утроенный срок не как все, а в одиночке, в специальной тюрьме сидеть: ни удобств тебе никаких, ни удовольствия...

А уж если ты что подлинно мерзкое совершил – то, как я уже говорил, судов у нас нет, волюнтаризм такое на Территории не предусмотрено, получаешь без промедления – по указу Совета – пожизненный срок. Так что сам каждый репшай, как вести себя в цивилизованном обществе.

– Так, а дети как?

– А что – дети? Учатся, безобразничают... Дети, как дети. Но понемногу, конечно, и их приучаем. К порядку. Нет, на младших школьников, разумеется, это не распространяется, только на старшеклассников – всему свое время.

В выпускном классе есть раз в месяц – внеклассный урок. На экскурсии их в различные тюрьмы везут. И к пожизненным тоже. Рассказывают, объясняют... В камере – по желанию – на пару часов оставляют – чтоб, значит, посмотрели, примерились... А как же, ведь они постепенно должны в жизнь нашу, в общество вращиваться.

Ну, вот мы и добрались. Теперь я вас, честь по чести, нормально конвою сдам. Так что – рад был знакомству. Увидимся. Мягкой посадки.

ВЫБОР

– Заходи, Шарун, заходи, садись, познакомься, Верник Виктор Германович. Виктор Германович хочет тебе преинтересное предложение сделать.

– Я, гражданин начальник, не гомик, чтобы мне мужики предложение делали. Если надо что, говорите, только без дальних заходов.

– Да ты, Шарун, не гоношись, не подпрыгивай, человек пятерик тебе может скостить. Неужто, не заинтересует?

– Он кто: папа римский или судья верховный, что пятериками расшвыривается?

– Да нет, вы погодите сразу в штыки меня принимать. Я не папа и не судья, а физик, изобретатель, но пять лет из ваших тридцати сбросить и вправду могу, если предложение мое примите. Ну, так что, будем общаться?

– Ладно, выкладывайте, если что дельное. В камеру я успею.

1

– Вы про синдром Хатчинсона-Грилфорда ничего, разумеется, не слышали? Редкий недуг это, неизлечимый и страшный. На сегодня им всего сорок восемь детишек во всем мире страдают. К десяти годам такие больные выглядят глубокими стариками, а до пятнадцати никто из детей не доживает. И не существует пока что науки, которая смогла бы объяснить это стремительное старение.

Это вступление. Теперь суть. Мы в лаборатории геронтологии пытались разобраться с причиной болезни. Не разобрались. То есть управлять обратным ходом болезни так и не научились. Но зато знаем теперь по крайней мере, как это работает, и умеем запускать сам механизм старения, потому что открыли поле, которым можем любой живой организм состарить настолько, насколько необходимо. С точностью до одного года. Точней, к сожалению, управлять полем пока не в состоянии. Но это, если удача вас любит, может не только в плюс, но и в минус сработать.

Животных – от мыши до шимпанзе – уже протестировали. Знаем, что поле безвредное, никаких органических отклонений у зверушек за два года не обнаружили. И теперь подошли к тому, чтобы поле старения испытать на человеке. То, что я вам хочу предложить, со всеми ответственными инстанциями уже согласовано. Нужно лишь ваше добровольное согласие на участие в эксперименте. Никто вас неволить не станет. Не захотите – другой кто-нибудь согласится. Но вы, честно сказать, идеально по всем параметрам для эксперимента подходите. Потому к вам первому и пришел.

И вот я предлагаю: вас доставляют к нам, вы входите в лабораторную камеру, включаем поле на двадцать пять лет старения (не на тридцать, а на двадцать пять!), вы выходите и... идете домой. Потом, сколько понадобится, будете приходить на анализы и обследования. Судимость ваша нынешняя погасится, да еще пять лет вам простится. Это все. Я к вам через недельку наведаюсь, чтобы ответ ваш услышать. Теперь думайте.

2

– Ты, Шарун, что такой тарарам здесь устроил? Чего надо?

– Твари вы, твари! Я ни есть, ни пить, ни спать не могу. Голова скоро лопнет. Твари!

– Ты не ори и кулаками не грюкай. Когда подельника своего заказывал, тоже с переполоха на стенку лез? Или только сейчас так расчувствовался?

Сядь, нормально разговаривать будем. Верник тебе все путем разъяснил. Чего ты кобенишься? Во-первых, добровольно все это: не хочешь – не надо. А во-вторых, неужто тебе на нарах тридцатник приятней сидеть? Ну, меркуй дальше. Три дня еще срока. Надумаешь – кликнешь.

3

– Доктор, хреново мне. Не передать, как хреново. Спать совсем перестал. Ем через силу – противно. Два раза в обморок падал. Может, дадите лекарство какое, чтоб полегчало мне?

– Вы садитесь, Шарун, не кричите, садитесь и успокойтесь. Давайте мы с вами сначала все мирно обсудим. Я про то, что вам физики предложили, вкратце знаю. Понимаю, что непросто приходится. Может, вас на несколько дней в больничку тюремную положить? Так это запросто. А может, вы просто выговориться хотите, отвести душу, со мной вместе решение попытаться принять? Так я буду вас слушать столько, сколько вам надо. Рассказывайте.

– Да нечего мне, доктор, особенно и рассказывать. Вы же знаете, мне мою жизнь взамен срока тюремного предлагают продать. Ну не могу я никак, никак, понимаете, выбрать, чему цена выше – жизни скотской возле параша, но чтобы все в свой срок, все как надо, хоть с какими-то радостями-удовольствиями, ведь не все же чернуха; или свобода, но чтобы мох на мне за пять минут вырос, чтобы остался я с житухой сворованной, конченной, никому на фиг не нужной, навряде окурка жеваного. Просвистит недоля мимо в долбанном поле... а потом чего? А может, я в этом поле загнусь, потому что мне не двадцать пять, а всего двадцать лет, кем незнамо, отпущено! Кто такое сказать- знать может? Никто! Что же они мне взамен предлагают? Пятерку говеную, которую надо еще из колоды крапленой вытянуть...

А тут? Тут сами знаете, что за жизнь! Полова это, эрзац, как дед мой говаривал. Мне тридцать восемь всего. Или уже?! Вся и надежда, что вдруг какая амнистия выйдет. Только вот прикол – по моей статье амнистий никаких не бывает. Разве что чудо случится. Только надежда-то, пусть и на чудо, остается всегда. Никто отобрать надежду не может. Она сердце греет, срок проклятый подталкивает. Все, все за жистянку эту цепляются, все, за любой ее мерзкий чекан. Инвалидам без рук, без ног – и тем запросто с ней не расстаться. Если б не так, давно б уж...

– Знаешь, Шарун, к сожалению, по-разному это и на воле бывает. У меня друг прошлым летом на машине разбился. А ведь здоровый мужик какой был! Кто ж подумать мог, что ему всего сорок девять годов и отмеряно!

– Так не знал же, не знал он про то, что умрет. И что умер – не знает. А я своими руками жизнь свою сократить должен. Своими руками!

Только, если не соглашусь, весь тридцатник свой обязательно помнить буду, что был шансик, малюсенький шансик, но ведь был же!.. А еще жуть как понятие давит, что могу в своей жизни все изменить. Сам могу изменить. Хоть чуток не в тюрьме вонючей, а нормально, на воле пожить. Откажусь, а завтра кирпич на меня с крыши сверзится, руки-ноги от болячки какой откажут, в башке помутится... Печет душу, доктор, печет... Худо мне. Нечем пожар загасить!

4

– Господин полковник, караул выстроен в полном составе. Во время несения службы заключенный Шарун найден в камере со вскрытыми венами мертвым. Других происшествий не было. Старший по смене прапорщик Громов.

ПЕРФЕКЦИОНИСТ

Ну, гражданин хороший, хватит что ли мордой стенку тереть. Подымайся давай! Да что ж ты так телишься, прытче-то можешь? Поздному гостю – гладать, знаешь, кости. Только со мною сроду такого не было, чтоб я кости гладал.

Ну ты и копаешься, право. За каким таким чертом занялся ты шнурками? За каким, говорю я, чертом?! Почти ведь завязаны! Да и подмастерья мои, не бойсь, не дадут тебе рожу разбить. А и разобьешь – так в твоём положении-то – не велика беда.

А вы чего рты поразинули? Хреново, ясное дело, присужденному. И вам, натурально, хреново было бы. Подсобите страдальцу. Да не волоките вы его так-то. Живой пока! Спокойненько бедолагу переставляйте. Спокойненько. От так-то получше будет. А то вроде как на пожар. Нужда будет, передвинем, кто следом за ним, маленько. Делов куча! Главная функция – на помост присужденного неупустительно возвести, а там уж, была бы шноровка, метод всяческих кой-чего изменить в катавасии этой – хватает.

Ты, мужик, сопишь-то чего? Трусишь что ли? Так это ты зря. Ты это зря совсем. Я в том году губернаторский главный приз получил. Этот раз, есть грех, немного не задалось, четвертым всего. Но ошибки-то я теперь все понял, всё осознал. На тот год непременно своё возьму. Потому как мастер я, не то что которые-некоторые! Так что честь для тебя. Не абы кто, не абы как заниматься тобой, мазуриком, будет. Усвоил? Ну так и не трясись ты, как студень. На высшем уровне тебе все устроим, на высочайшем. У меня шнур для тебя припасен английский, ручной работы. И мыло, чтоб узел первоклассно скользил, сам варю, по старинным рецептам, проверенным...

Мне топор, если хочешь знать, наипервейший кузнец городской ковал. Деньжищ выложил!.. Но оно того стоило. Первостатейный, доложу я тебе, инструмент получился. Залюбуешься!

А дознавательный инструментарий? Я ж его целых шесть лет подбирал. Никаких средств не жалел. Кой-какие приспособления у знаменитостей иноземных заказывал. Зато теперь в нашей местности исключительно ко мне по всем таким делам обращаются. Потому как если надобен дознавателям скрежет зубовой, истинно душу рвущий, – тут, думаю, мало равных мне не только в округе същется.

Ну, ты, кажись, совсем у меня расквасился. Так-то я тебя и до места не доведу. У меня тут в запасе эликсирчик имеется. Сам варил. Сам на травках настаивал. Замечательный, доложу тебе, эликсирчик. Как раз под твой случай. Хочешь глотнуть? Получишь тебе маленько. Кой-чего просветлет, кой-чего затуманится... Глядишь, в лучшем виде перед скопищем площадным и предстанешь.

Это тебе только кажется, что я ерунду мелю. Думаешь, если ты в таком виде пришибленном на эшафотку взойдешь, запомнит тебя хоть кто? Кто ты есть, чтоб тобой одним публичку потчевать? Пятеро нынче! Можно сказать, на все вкусы. Вот труды мои к концу подойдут, да честной народ расходиться станет, про увиденное растабаривать, обстоятельства да подробности пережевывать... а тебя, вахлака, и не вспомнит никто, потому, как ты, телепень, никакого удовольствия сообществу не доставил. А удовольствие – наипервейшее дело, чтоб тебя знали и помнили.

Опять же ж, меня возьми. Всяк в народе тебе тотчас скажет, кому лиходея позорного отдать в руки надобно, чтобы он приговор неминуемый нутром всем своим прочувствовал, всеми жилками; дабы муку телесную долго и трудно вкушал, и в закатный свой час, может, и не желал, а раскаялся... А народец чтоб ушлый, на мастерство мое гляючи, заранее что положено на ус свой хитрый наматывал.

А за то, что подолгу щекочет потом площадную ораву ужас липкий, что аж кровь у толпы в жилах стынет от невиданных преживаний, и угоден весьма я и черни, и власти, хоть, понятное дело, и обиняками.

Тебя, например, беззаконника, вон к нам из дали какой отрядили. Не спроста же так? Имелся, знать, в том у власть и закон предержащих веский резон. И сдается мне, что и я в том резоне учтен – беспременнейшим образом.

Ну и дурак, раз хлебнуть мое снадобье чудодейное избегаешь. Видать, ни черта ты, лишенец, так и не понял. Во всем класс держать надобно! Во всем без изъятия. Жалко, времени нет, а то б я тебя на истинный путь-то наставил, обратил, как пить дать, в свою веру маленько.

Ладно, чего уж там, прибыли мы, однако. Самое время тебе видом своим внешним заняться. Вот теперь ты шнурки-то давай завязывай, почисться немного, одежонку в порядок какой-никакой приведи – в самый раз сейчас. Чтоб ажур во всем был, чтоб самый что ни на есть перфект!



ЗАПИСКИ БУКИНИСТА

Отдав погонной службе ровно четверть века, я в 2002-м, в возрасте сорока семи, уволился «на заслуженный отдых». Впрочем, пока позволяет здоровье, всяк отставник стремится подработать к пенсиону. Только мало кому счастливится найти приличное место. Вакансии для пожилых скудны по всем параметрам – смешное вознаграждение за «топить» или «сторожить», либо «требуется опытный менеджер по рекламе», на деле же чаще это – торговый агент на кабальных условиях. Пообивав десятка два порогов разных учреждений, я было, оставил бесплодные попытки трудоустройства, но именно тогда жена угодила под сокращение. И вот, оплатив в следующем месяце «коммуналку» и проев за две недели остаток моей пенсии вчистую, наша среднестатистическая семья из четырех человек (дети тогда учились) встала перед проблемой выживания. Что было делать кормильцу?

Увы: пришлось срочно учинять ревизию большой личной библиотеки, любовно собираемой еще со студенческих времен, а ряд подписок достался мне от деда. Отобрал тома-двойники, случайные приобретения, еще какую-то литературу, к которой душа не лежала. Упаковал книг пятьдесят в сумку «мечта оккупанта», водрузил ее на одноосную тележку и вывез на приоткрытый пятак перед входом в небольшой сквер. Отлично помню, что за неполный рабочий день тогда реализовал двенадцать книжных единиц и сразу пустил выручку в дело: купил хлеба, молока, вареной колбаски и колбасного сыра, пряников... А пока стоял с бумажным товаром, аж четверо из мимо проходящих изъявили желание сбыть мне свои библиотеки. И еще молодой мужчина задал придарить наследственную, доставшуюся вместе с жильем от бабушки: иначе, мол, он книги просто выкинет.

Назавтра тремя рейсами забрал привалившую «халяву» плюс сделал закуп – по чисто символическим ценам. Так и началась моя временная карьера букиниста. Общаться доводилось с разными людьми, и порой нетривиально. Вот, например...

«С КАКОГО ХРЕНА?»

С утра разложил на клеенках литературу, сам присел на складную табуретку, что-то почи-тываю. Мимо народ спешит. Кто-то приостановится, кинет беглый взгляд на книги – и дальше, по своим делам... Смотритель... Другой подымет какой-то роман, полистает – и молчком назад, на клеенку. Листатель... А кто-то лениво и поинтересуется: почему, значит? Но тоже приобретать не спешит. Спроситель... А нередко еще и Предлагатель появляется, который свою литературу мне впарить желает. Да, как правило, почему-то по астрономическим ценам... Но вот наконец состоявшийся клиент отсчитывает денежку. Покупатель! Ур-ра! «Может, еще что присмотрите? В другой раз? Ну, заходите еще. Цены-то куда ниже магазинных...» А помимо названных категорий встречаются – и нередко – Ругатели. «Какие полста рублей? Да эта книга и двадцатки не стоит! Вот и давай... за червонец!»; «То есть как «нет»? Ну и торчи тогда здесь впусую, чтоб тебе... Жмот! Спекулянт! Сволочь! Милицию б на тебя наслать!»

Та-ак. А этому фрукту что здесь надо? Нездоровая бледность физики, бомжеватый прикид. Вяло свисающие руки, часто облизываемые губы... Не-ет, этому дядьке неопределенного возраста сейчас явно не до чтения. И...?

– Слышь... Ну ты можешь понять меня как мужик мужика? – уныло бубнит он, заходя издали.

– И в чем, собственно, проблема?

– Да вот, вчера переупотребил без меры, а с утра трубы горят... Ну дай сто рублей на пиво!

– Вот если убедишь меня, что именно я, именно тебе и именно столярник, а не, допустим, рубль или «штуку» «зеленью» вручить обязан... Дерзай! Слушаю...

– Ну ты что: сам не мужик? Не нажирался никогда, что ли? Не понимаешь, плохо мне! Подыхаю! Ну дай на поправку!

– А вчера-то много наличмана ухлопал?

– Офигительно!

– Так чего ж хотя бы столярник для опохмела и не значил?

– А у меня натура русская, широкая! Гулять, так уж на все, до копы!

– Да-а-а... Небось вчера-то, когда гудел, про меня и не вспоминал. Мол, стоит там мужик на улице с книжками, мерзнет, надо бы столярник ему для сугрева поднести...

– Да с какого это еще хрена? – прямо выскрикивается Клянчитель. – Ишь, размечтался! Столярник ему! Еще и поднести! Да я тебя вообще в первый раз вижу!

– Что и требовалось доказать! – усмехаюсь я. – Как ты мне, так и я тебе...

– Брателла! Да ты ж меня совсем не так понял! – спохватывается упоривший большой косяк. – Ты что, реально не дашь? Не мужик, что ли? Говорю: подыхаю!

– Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!

– Гад ты тогда! Гад и сволочь! – теряется надежда сшибить с меня деньги.

– Да с какого это еще хрена?

– С такого! С огромного! Во весь земной шар! У-у, чтоб тебе! – бессильно сжав костлявые кулаки, грозит «широкая натура» и уходит клянчить на опохмел у других. Через час вновь бредет мимо, уже выписывая непослушными ногами кренделя. На морщинистом лице довольство, губы причмокивают, руки движутся по сложным траекториям. Возле меня счастливцев приостанавливается.

– А вот с какого хрена мне опять хорошо?

Раз за день я троих Клянчителей отваживал. Медом у меня намазано, что ли?

«ГДЕ МИЛИЦИЯ?»

Весь рабочий день на табуретке не высидишь; время от времени разминаюсь, прогуливаясь вокруг своего «магазина на газоне».

Поглядеть на него останавливается плотная бабуля лет шестидесяти. Рядышком приплясывает шустрый мальчуган годков эдак пяти. Внук, надо думать. Вот про таких-то и говорят: шило в заднице.

Пока Смотрительница изучает ассортимент, внук занимает позицию у дальнего от меня конца клеенки и неожиданно – р-р-раз! – бегом проносится по всей длине разложенных томов. Бабуля довольно улыбается и, адресуясь ко мне, с гордостью произносит:

– Мужчина! Вы только посмотрите, какой у нас активный мальчик растет!

Активный мальчик, услышав похвалу, на полном серьезе собирается пробежаться по книгам вторично. Я спешу удержать его за плечи. Бабуля, с хищным оскалом лица, бросается ко мне и обеими кулаками тычет в грудь. Между прочим, довольно ощутительно! Так, что от неожиданности я едва не упал.

– Милиция! Где милиция? – истошно орет Нападательница. – Ребенку все руки поломали!

– Я ему ничего не сломал, – возражаю. – А вот он по моим книгам бегаёт. Вы-то куда смотрите? Да еще и руки распускаете... не по возрасту.

– Не тебе о моем возрасте судить! – не снижает тона бабуля. – Бегаёт, понимаешь... И что с того? Разве он что-то порвал?

– Так испачкал же...

– Небось вытрепшь, не облезешь! Ты один черт здесь баклуши бьешь – никому твоя макулатура не нужна! Вот и попрыгай! И вообще: чего ты сюда со своими книгами выперся? Здесь торговать не положено! Милиция! Где милиция?

– Скажите, а у вас дома телефон есть? – интересуюсь я.

– И что с того? – пока не понимает Нападательница.

– Продиктуйте-ка мне номерок...

Я вытаскиваю из кармана листочек и авторучку.

– А это еще зачем?

– Так звонить по утрам буду. Вы сегодня на прогулку идете? Всё, понял, сижу дома, чтобы активному мальчику не мешать на газоне резвиться. Хотя, к слову, это ведь тоже запрещается. Ну а уж коли подопрет, что последний хрен без соли доем, – извиняйте. Тогда уж вы дома покукуйте, а я поторгую. На хлебушек...

– А-а-а-а! Гад! Сволочь! Я твой лоток завтра же прикрою! Милиция! Где милиция?

«ТЫ ВЫГОДЫ СВОЕЙ НЕ ПОНИМАЕШЬ!»

Жарким июльским днем к моему торговому месту подбредает ветхий дед. В руке – алюминиевая трость, на голове – мягкая соломенная шляпа с высокой дырчатой тульей. Такой модный с полвека назад головной убор, помнится, носил и мой отец. Разговор визитер начинать не спешит: отдуваясь, цепляет трость набалдашником за локтевой сгиб, снимает шляпу, обмахивается... Потом вытирает блестящую лысину огромным носовым платком и наконец вкрадчиво предлагает:

– Купи у меня дефицитную подписку.

– Это какую же?

– Пятьдесят пять томов Ленина.

Становится даже интересно: совсем дед меня за лоха держит. Дефицитной подпиской-то объявляется чистой воды неликвид. Ладно, старый гриб, пошуткуем.

– И сколько же просишь?

– Да почти что задарма отдаю. По двадцать рублёв за том.

– Итого, значит, тысяча сто «деревянных»?

– Так и быть, пуцай будет ровно «круглая». Цельных сто рублёв тебе от щедрот скидываю, – сопровождает дед собственное великодушье широким взмахом руки. – Ты их здесь за пять тыщ продашь! А ежели полежат, так лет через двадцать пять вообще этим станут... как его... Ларипетом!

– Вот и обожди четверть века, потом озолотишься.

– Я столько не проживу, – сокрушается старый гриб.

– Это не ко мне. Это вон туда, – тычу пальцем в небо. – А не хочешь ждать, вставай рядом и сам продавай. Поглядим, когда и сколько тебе «тыщ» отслают.

– Я за корыстью не гонюсь. Зато тебе шанс козырный даю. Ты выгоды своей не понимаешь!

Так. Пустопорожняя беседа надоела. Переходим к решительным действиям.

– Это ж ведь темно-синие тома, с профилем вождя на обложке?

– Ну...

– Переплет твердый, тяжелый, а бумага офсетная, плотная, высшего сорта?

– Наверное... Да что я, в ейных сортах разбираюсь, что ли? Хорошая! Белая!

– Значит, все пятьдесят пять томов купно «кэгэ» на тридцать точно потянут?

Дед недоуменно-негодующе вперяется в меня. Заплесневело соображает...

– Ты Ленина – и на килограммы мерять?

– Я? Да ни в коем разе! А вот в пункте приема макулатуры – ага. Принимают ее в центре по пятьдесят копеек за кило. Адресок подскажу. Загрузишь книги в две сумки – в одну все явно не поместятся – и на троллейбус. Проезд у нас в нем (дело происходило в 2005-м) нынче шесть рубчигов, но у тебя, пенсионера, половинный. А вот за груз, извиняй, сдерут по полной. Значит, шестью два и плюс три – пятнадцать. Сдашь все «мысли вождя» – ровно столько же назад возвернешь. Ну а уж обратно, пардон, поедешь в минус, за свой кровный троак. Как перспективка?

Дед разом неосознанно расставляет ноги – так самцы человекообразных обезьян пытаются утвердить господство, когда опасаются вступить в драку: без нее победителем считается тот, у кого более внушительный член, – сводит брови, учащает дыхание и наконец негодующе орет:

– Дур-рак! Ты выгоды своей не понимаешь! И трижды три раза дур-рак! Я... Ему... А он! Затупок! Глуп, как гусь! И выгоды своей... Дур-рак!

– Слышь, дед, шел бы ты отсюда подобру-поздорову, – советую я.

– Не понимаешь! Не понимаешь! Не понимаешь! – заклинило старого гриба.

– Зато понимаю, что ты сам плоскостью ума подобен таракану.

– Че-его? – И обладатель «дефицитной подписки» стучит тростью по асфальту. – Ты! Старого человека! Оскорблять? Да я на тебя в милицию! Гад!

– И еще сволочь, – подсказываю.

– Да! И выгоды, выгоды своей ни хрена не понимаешь!

Восвояси дед удалялся долго. То и дело оглядывался, грозя тростью и бисиряя:

– Дур-рак! Выгоды ни в зуб не понимаешь!

«ЧТО, ЖАЛКО, ДА?»

На самой первой клеенке, внизу, обычно раскладываются так называемые «одноразовые» детективы: мягкие, в половину от стандартного формата книжицы. Покупают из их числа преимущественно авторов-женщин. И в основном дамы же. Кому Устинова особенно нравится, кому Полякова или Шилова... Но больше всего любительниц Дарьи Донцовой. Книги этих же писательниц, изданные в классическом формате и твердой обложке, расходятся неважно.

– «Одноразовую» я прочту – и выкинуть не жалко. Или кому-то подарю, – объясняла однажды мне постоянная клиентка. – Да и цена у «мягких» подешевле.

– Хотите, в твердой обложке за столько же отдам? – предложил тогда.

– Не хочу. Мягкий вариант и легче, и в сумочке места меньше занимает, и от начальства на работе прятать удобнее. Не-е, не хочу.

И вот однажды к «одноразовому» товару подошла девушка – по виду студентка-старшекурсница. Перелопатила его весь, а потом осведомилась:

– Мужчина, а вы поменяться не хотите?

– Что на что?

– А вот, вы мне Донцову и Шилову, а я вам Маринину и Устинову. У меня их книг по двадцать.

– Не хочу.

– Ну почему?

– Неравноценно. На Донцову с Шиловой спрос больше, да и продаю я их пусть ненамного, но подороже.

– Какой вы, однако, меркантильный...

– На том и стоим. Моей семье тоже кушать надо.

– Ну хорошо, хорошо, а если Донцову на Донцову?

– Приносите. Но – более старые издания поменяю на изданные примерно в те же годы, а свежие на свежие. И, разумеется, два к одному.

– Не поняла...

– Чего ж тут неясного? Вы мне – две книги, я вам – одну.

– А почему это не одну на одну? – яростно возмущилась «студентка».

– Да потому... Ну, ваша выгода понятна – за бесплатно новое чтиво получить. А моя в чем? Впустую день простоять? Вообще-то я книги продаю. Точнее, пытаюсь продать. Вы же трагиться не желаете, а рыбку чтоб съесть. Идите тогда в библиотеку. Кстати, там этот жанр уже давно платным сделали.

– Но у вас же их вон сколько! – не отлапала «студентка». – Хотя бы разочек штука на штуку можно? Десяточек... Я быстренько, недалеко живу.

– Девушка, вы лучше пойдите туда, где свою литературу покупали, и попытайтесь там эдаким макаром поменяться. А потом ко мне придете и расскажете, выгорело ли, – пытаюсь завершить пустой разговор, предлагаю я.

– Что, жалко, да? Жалко? Ну, так и скажи! – моментально переходит обманутая в надеждах халавы «студентка» на «ты». – Жмот! Крохобор! Сквалыга!

– Ага. И еще гад и сволочь.

– Он вдобавок и насмехается! Завтра же пойду и в милицию на тебя заявлю!

– А можно узнать, за что именно?

– Там найдут! Не отвертись!

«БЕЙ ЕГО!»

Однажды к книгам подрулила молодая супружеская пара с сидячей коляской, в которой спал пристегнутый мальчуган полутора-двух лет. Папа остался при транспортном средстве, а мама – жгучая брюнетка со стрижкой под мальчика и солидным бюстом – заинтересовалась четырехтомником Маршак: издательство «Правда», 1990 год выпуска, бумага-офсет, цветные иллюстрации.

Самым читабельным в нем был первый том, именованный «Произведения для детей». Туда входили и «Детки в клетке», и «Друзья-товарищи», и «Сказочный домик», и другие классические вещи, на которых воспитывалось не одно поколение малышей. Именно его-то брюнетка и рассмотрела.

– Сколько? – задала она мне вопрос, выпрямившись с приглянувшейся книгой.

– Женщина, она отдельно не продается. А подписка стоит двести рублей.

– Мне вся не нужна. Мне только этот том. Так сколько?

– Женщина, я повторяю: Маршак реализуется только в комплекте.

– А я повторяю, что меня весь комплект не интересует. И вообще: какая вам разница? Остальное кому-нибудь другому продадите. Сколько?

– Женщина, или покупайте все четыре книги, или положите эту на место, – уже с раздражением произнес я.

Не тут-то было. Брюнетка вынула из сумочки пятидесятирублевку и заявила:

– Ну, так. Считать и я умею. Двести разделить на четыре – получается пятьдесят. Возьмите. А книгу я забираю.

– Да что вы, в самом деле, не слышите, или как? Я три раза уже вам сказал, что она отдельно не продается! Положите немедленно к остальным томам!

– Может, пойдем? – нерешительно подал голос папа. – Ведь он же прав...

– А тебя не спрашивают! – рявкнула в его сторону брюнетка и швырнула купюру поверх разложенной литературы. – Всё! Мы в расчете!

Я метнулся к наглой мадам прямо через ряды романов и повестей. Не с первой попытки, но выдернул-таки из ее рук чуть было не осиротевшего Маршака. Быстренько схватил и остальные тома подписки, унес их к своему табурету, сложил книги попарно на его крышке и уселся сверху.

– Я передумал, решил себе это собрание оставить, – заявил я.

– Ты! Отдай! Я купила! Я заплатила! – бесновалась брюнетка.

Супруг ее уныло смотрел на асфальт.

– К вашему сведению, процесс купли-продажи считается завершенным лишь тогда, когда не только покупатель получил товар, но также и продавец – оплату за него и, если потребуется, вручил сдачу. Я же до ваших денег не дотрагивался. Не согласны? Скатертью дорожка в суд!

– Ах ты, гад такой! – еще громче взывала брюнетка. – Ты мне руку вывихнул! Чего смотришь? – Это уже мужу. – Твою жену на твоих же глазах чуть ли не жизни лишают, а он хоть бы хны! Бей его! Бей!

Сынишка от маминого крика проснулся и заплакал.

– Послушай, ведь он же прав, – не поддался на провокацию супруги папа. – Вот, еще и ребенка разбудила. Пошли отсюда!

– Ну, погоди! – не хуже волка зайцу из культового мультика и по-звериному оскалась, пообещала мне брюнетка, поднимая неотоваренные деньги. – Ты у меня скоро за всё ответишь! Сейчас вот в милицию заявление напишу! А с тобой – опять переключилась она на мужа, – мы дома по полной программе разберемся! Ты у меня теперь долго на голодном ночном пайке сидеть будешь! Да я тебе!.. Тряпка! Мокрая курица! Душа коротка! Жену защитить не в состоянии! А я на него свою молодость угроблять должна!

Пока семейство удалялось от меня, мама так и продолжала орать, сын кричать, а отец молчать. Ох и не завидую я этому папе...

«ОПУЩЕННЫЙ»

Как-то раз в конце марта к моему развалу подошла женщина лет семидесяти на вид в явно дорогом пальто нежной салатной расцветки. С минуту обозревала литературу на клеенках, затем решительно начала разговор:

– Мужчина, вот мне подарили большую книгу. Прямо энциклопедия... Салаты, закуски всякие. Словом, холодные блюда. Там и цветных иллюстраций много, и бумага такая... очень хорошая. А мне эта книга не нужна. Продайте ее.

Ага, всё понятно. Очередная Предлагательница явилась. Возьмите, стало быть, товар под реализацию.

– Хм. Попробовать, конечно, можно. Только для начала издание-то само где? Надо же поглядеть, когда оно выпущено и каким издательством, содержание, состояние... С ценой опять же определиться следует...

– А чего с ней определяться-то? – недоуменно пожимает плечами Салатная – как я ее уже окрестил – дама. – Она на ней сзади указана. Пятьсот пятьдесят рублей. А книга новая, этого года, я ее только раз и полистала.

– Женщина, – в свою очередь удивляюсь я. – Так вы на полном серьезе желаете, чтобы я ее здесь по такой дорожной цене сбыв?

– Я же не виновата, что на ней именно столько указано, – с обидой в голосе парировала Предлагательница. – И потом: у вас что, со слухом проблемы? Сказала же: новая она!

– Вы бы еще разваливающуюся принесли, – не без сарказма усмехаюсь я. – А со слухом у меня всё в порядке. Только по цене больше чем за полтысячи «деревянных», у меня здесь никто ничего покупать не будет. Развал, он на то и развал, что цены здесь, можно сказать, бесценочные.

– Но она же совершенно не читанная! – гнет свою линию Салатная. – И бумага гладкая-гладкая. И иллюстрации яркие, колоритные.

– Ладно... Мой-то процент с продажи какой будет, если удастся-таки ваш товар пристроить? – любопытствую, уже практически предугадывая ответ.

– Какой такой процент? – враз возвышает голос собеседница. – Вы меня что, ограбить хотите? Ни стыда, ни совести! Здоровенный мужик, днями на табуретке баклуши бьет; нет чтоб где-то за станком материальные ценности производить! А он на пенсионерах наживается! Да у тебя их здесь сотни томов, так что, еще один много места пролежит?! – возмущенно переходит она на «ты».

– Женщина, не надо так кричать, – морщусь я. – Итожим: ваше предложение меня не заинтересовало. Вношу встречное: подходите хоть завтра со своей едовой энциклопедией и реализуйте ее на здоровье хоть за тысячу евро. Вон сколько еще на газоне места свободного! Только газетку захватите, не на землю ж книгу класть.

– Нет! – уже почти кричит Салатная, а для убедительности еще и отвергающее простирает руку.

– Что «нет»?

– Да чтоб я до такого опустилась! Самой, на улице, книжками торговать?! Да не бывать этому никогда!

Гневный жест демонстрируется вторично.

– А я что, по-вашему, выходит, уже опущенный?

– А ты уже здесь стоишь! И давно! – злобствует Предлагательница.

– Понял... Одну секундочку тоже постоит, я сейчас...

Обхожу развал, сблизаясь с нахалюгой и слегка, быстрым движением, пожимаю кончики ее наманикюренных пальцев правой руки.

– Ты что себе позволяешь? Извращенец! К старой женщине приставать?! – испуганно отпатывается она. – Где милиция? Люди добрые! Помогите!

– Да уймитесь вы! Чтоб я до такого опустился – к вам и приставать... Размечтались... – усмехаюсь я. – Тут дело в ином. В местах лишения свободы есть неписанный закон: кто поручается с опущенным – это низшая, всеми презируемая категория заключенных, – сразу же сам становится таким. Опарфиненным, офоршмаченным, короче – позорной масти. Теперь дошло?

Я неспешно возвращаюсь на свой табурет. Салатная торопливо вытаскивает из сумочки носовой платок и брезгливо начинает вытирать им пальцы, соприкоснувшиеся с моей ладонью.

– Не поможет! – едко комментирую я. – Это теперь на всю оставшуюся жизнь. Теперь вы тоже опущенная, а если точнее – зашкваренная.

– Ты-и-и! – визгливо орет отвергнутая Предлагательница. – Ты мерзавец, убогодок, подлец!

– Ага. Присовокупите еще – гад и сволочь, – любезно подсказываю я.

– Да! Именно так! И я завтра же... сейчас! Милицию! На тебя! Натравлю! Они т-те покажут! Люди! На нем же клейма ставить негде! Ему в тюрьме место!

– Да травите на полное здоровье, мадам Опущенная. А по поводу клейма и тюрьмы... Не забывайте, отныне ведь и вы в той же бочке квашены...

– Милиция! Ну почему тут рядом нет милиции?

«ДУРАК! ГОВНО! ПЕДЕРАСТ!»

Май, середина дня... Прохаживаюсь перед своими клеенками по тротуару. Рядом останавливается мужчина моих лет с незажженной сигаретой в руке и кожаной сумочкой в виде сундучка в другой. Похоже, клиент подшофе.

– Дай прикурить, – сразу же на «ты» просит он, обдавая меня перегаром.

– Не курю. И другим не советую, – поморщившись, отвечаю я.

– Тоже, советчик нашелся! – ни с того ни с сего вскипает мужчина. – Жену поучи щи варить! Дурак! Говно! Педераст!

На последнем ругательстве я с правой въезжаю оскорбителю по скуле. Не очень удачно: на спину он не падает, а оказывается в «раковой» позе. Отпыхиваю в сторону. Выпивший с усилением встает, поднимает свой «сундучок». Нет, в драку не лезет. Зато громко обещает:

– Ну, подожди! Ты здесь постоянно стоишь – так я еще вернусь! И не один! Посмотрим тогда, кто здоровее! Морду в ж... превратим!

Угроза вполне реальна. Не сегодня завтра явится сюда в компании двоих-троих приятелей, да еще и вооружившись какой-нибудь арматуриной, и быстро стану я тогда бедным... Посему, пытаюсь себя хоть частично обезопасить, подсказываю к агрессивному обзывателю и выдергиваю у него из нагрудного кармана рубашки виднеющийся краешком документ. Отбегаю на несколько шагов – мужчина в драку не кидается, топчется на месте, продолжая ругаться и восклицать: «От-

дай!» – и раскрываю красную «корочку». Оказывается, это пенсионное удостоверение офицера запаса Вооруженных Сил России. Отставной майор, да еще и с фамилией одного из прославленных русских полководцев.

– Слышь, деятьель! – захопываю я документ. – Ты чего же это на своих наезжаешь? На штаны-то мои посмотри!

Одет я был тогда в старые армейские брюки защитного цвета сшитым цветным кантом. Обыватель оценивающе пялится на них, а потом начинает каяться:

– Брат, ошибочка вышла... Не признал, прости, извини...

Вопрос о сатисфакции уже не поднимается.

– Ну и ты меня извини, – возвращаю я удостоверение владельцу. – Что не сдержался. Но слова-то вдругорядь выбирай, а то ведь за подобное и на нож нарваться можно... Особенно если сцепишься с тем, кто зону топтал.

– Да я... Сам не знаю, как оно... Вырвалось...

Недавний агрессор чуть ли не лезет целоваться.

– Ты ж здесь еще немного постоишь? – интересуется он.

– А куда я с подводной лодки денусь? Мне только книги по сумкам не меньше часа рассовывать.

– Да я... Уже через пять минут вернусь! – срывается с места новоявленный приятель.

Возвращается он, правда, только через четверть часа – оказывается, бегал в ближайший магазин за пивом. Принес две бутылки, усиленно пытается угостить.

– Ну не пью я на работе, – отбиваюсь от сменившего гнев на надоедливую милость «полководца», – и не проси.

А он, запасшись вместе с пивом и спичками, торчал в тот день рядом со мной еще долго, пока не выхлебал в одиночку обе «Балтики». Еле-еле домой его спровадил.

М-да-а... У нас в России зачастую именно так: либо черное, либо белое; либо враг, либо друг. А иных цветов и знать не хотим...

ПЯТЬ ИЛИ ПЯТЬДЕСЯТ?

Случилось это, помнится, в апреле 2005-го. Едва в тот день разложился, как ко мне подковыляла бабушка – божий одуванчик. С лицом, сморщенным как печеное яблочко. В белом платочке, в выгоревшем до неопределяемого цвета старинном болоньевом плаще, мужских суконных ботах «прощай, молодость» и толстых вязаных чулках. В руках старушка – на вид лет под восемьдесят – держала толстую клюку.

– Сынок... – голосом умирающего лебедя произнесла она. – Ты тока продаешь али как?

– И «али как» тоже, бабуля. А у вас что, книги имеются?

– Ой, сынок! – частит божий одуванчик. – У мене от деда стоко много их осталось, стоко много... Старый пенек, всё покупал, идиёт малахольный. Они мене не нужны, я их выбросить хотела... Почем возьмешь?

По опыту я уже знал, что, когда изначально утверждали, будто бы предлагаемые книги собирались выкинуть (отдать в детский дом, госпиталь, школу), а потом резко переходили к «почем возьмешь?», передо мной почти наверняка оказывался жадный человек. Что ж, сейчас и проверим...

– Бабуля, я по дорогой цене книги не покупаю, да притом еще и беру с разбором. Если так устроит – что ж, тогда могу подойти, пересмотреть, выбрать.

– Сынок, а вот ежели ты усё возьмешь, гамузом, я так задешево отдам, так задешево!

И божий одуванчик для пущей убедительности прижмуривает глазки.

– Ну и почем же конкретно?

– Ой, сынок, да хотя б уж по пиддисят рублёв за книжку дашь – и господь с тобой...

– Да ты что, офонарела? – изумляясь эдакой наглости, на автомате перехожу на «ты». – Я сам по двадцать-тридцать рублей в среднем за книгу торгую, а чтоб по полста покупать... Потом-то по какой же цене реализовывать?

– Сынок, да что ж ты так теряешься-то! – возвышает голос бабуля. – Да я ж специально племянницу в магазин посылала. Она мене и сказала, что там важная книжка – по сто рублёв и боле. Вот ты у меня по пиддисят-то возьми, а сам по сто рублёв опосля продавай, в большой выгоде будешь.

– У меня по магазинной цене литературу никто приобретать не сподобится, – хмыкаю я. – Да там и книги все новые, а у тебя небось одно старье, да еще и макулатуры полно. Ей же в скупке вся цена – пятьдесят копеек за килограмм.

– Побойся Бога! Мои старые куда лучше новых! Сделай доброе дело, помоги старому человеку... По пиддисят рублёв...

– Бабуля, становись рядом да и торгуй на здоровье. Хоть по сто пятьдесят, хоть по тысяче – никто не запрещает...

– Я больная, книжки чижелые, да на их продажу документов нет! А ты должен, ты обязан! – убеждает старушка. – Бабушку пожалеть. По полста рублёв...

– Ну, знаешь... Я такой же пенсионер, как и ты. Насчет жалости же и обязанностей – это давай вон к государству обращайся.

– Ты не такой! – вскрикивает божий одуванчик. – Ты здоровый! Эвон скоко книжек кажин день тягаешь! А мне не сегодня завтра на погост отнесут... Помоги! На хлебушек! По пиддисят!

– Слушай, иди отсюда! – окончательно лопається у меня терпение. – Что я тебе, благотворительное общество? Своей бы семье на хлебушек подзаработать...

И тут бабуля на глазах распрямляется, а из печеного яблочка враз проглядывает злоющая баба-яга. Мгновенно окрепшим голосом с угрожающими нотками она уточняет:

– Ну так что, не возьмешь, значит, усё по пиддисят?

– Сказал же: нет...

– Чтоб твои книжки огнем сожгло! – поняв, что дело не выгорело, грозит мне баба-яга косявым кулаком. – Чтоб их водой залило! Чтоб тебя лихоманка разбила! И всех твоих сродственников тоже! Чтоб ты чирьями оброс, идиёт треклятый! Чтоб тебе снить заживо, гад ползучий!

Секундная пауза – и характер ругательств меняется, а крик усиливается:

– Спикуль! Мошенник! Ворюга! На моем горбу в рай въехать хочет!

– Бабка, мне единственно от тебя надо, чтоб отсюда свалила побыстрее. А в рай – это как раз ты сама на мне «по пиддисят рублёв» въехать собиралась. И вообще: не ори так громко, а то паралик хватит, в момент на Северном кладбище пропищешься.

– Не дождеся, сукин ты сын! – уже вопит баба-яга. – Я еще твоих унуков переживу! – И демонстрирует мне комбинацию из трех пальцев. – Фиг тебе! На! На! На! Получи!

Не удовлетворившись одной дулей, сует под мышку клюку, и вот уже в мою сторону хищно выставлены два кукиша, оканчивающиеся желтыми, давно не стриженными ногтями.

– Выкуси! Выкуси! Эвон я чичас до милиции-то дойду, они те живо в бараний рог скрутят! Ишь чего удумал! Мне на Северный! А тебе – в кутузку!

...Божий одуванчик еще долго бесновался около клеенок. Потом в бессилии ткнул клюкой в воспоминания маршала Жукова и поковыляла своей дорогой...

А после обеда в тот день букинистику своим вниманием почтила другая бабушка – возраста начинающей пенсионерки и весьма плотненькая. Конкретно ее заинтересовал «отдел детской литературы». Переглядев с десятков книг, женщина выбрала солидный том сказок Андерсена. Разогнула, держа его в руке.

– Сколько просите?

– Тридцать рублей.

– А это еще почему так дорого? У вас книжки старые, они должны быть дешевые, – делается упор на слово «должны».

– Однако ведь не сто рублей я заломил. И потом, состояние тома отличное, обложка твердая: даже не картон, а ледерин, плюс иллюстрации имеются. Черно-белые, правда, зато немалым числом... Ну, хотите берите за двадцать пять.

– Все равно дорого.

– Хм. Сколько же, по-вашему, за это издание было бы в самый раз?

– Ну... – задумывается Плотненькая, и на лице ее отражается сложная гамма чувств. – Ну... Десять рублей... А лучше бы за пять.

– Ага, конечно. У нас проезд в автобусе уже дороже стоит. Это, выходит, если с советскими ценами сравнить, дешевле пятака? Нет, не спору: была лет сорок-пятьдесят назад такая серия «Мои первые книжки». Брошюрки в мягкой обложке, листов на десять-двенадцать. Все именно по пять копеек и стоили. А издание вроде того, что вы в руках держите, тянуло тогда от полтинника и выше.

– Ну, мне тут лясы-балясы рассусоливать некогда. За десять рублей отдаете?

– Нет, конечно.

– Подавись тогда ей! – с размаху швыряет Андерсена поверх других книг Плотненькая. Однако не уходит, а начинает «говнить» товар: – У тебя книжки старые! Они грязные, рваные, противные! Ты их у бомжей скупаешь! Ты их на помойке собираешь! Ты их в библиотеках ворует! По тебе давно решетка плачет!

– Ясное дело, рыдает. А вот продавай я литературу по пять рублей, так и от бомжей, и с помойки, и краденая – в опте бы всё за счастье пошло?

«Говнятельница» секунда пять трудно размышляет, а затем, боевито всхрапнув, харкает на ближайšie тома:

– Тьфу на твои книги! Тьфу! Гад, скотина, сволочь!
– Мадам! А ведь за такое я тебя саму оплевать могу! – делаю я к ней шаг.
– Милиция! – сиреной взревывает Плотненькая. – Спасите! Помогите! Убивают!
– Совсем сблындила? – удивляюсь я. – Чтоб я об тебя руки марать стал?
– Что, испугался? – сбавляет она голос. – Вот завтра с ментурой сюда приду, так небо с овчинку покажется! Ты меня еще попомнишь, негодяй!
...Вытирая влажной тряпкой книги, размышляю, что всем мил был бы, разве покупая литературу с рук по пятьдесят рублей за том, а продавая оную потом по пять. Или и тогда недовольные нашлись бы? «А почему не по сто и не по рублю?»

«ТЫ КНИГИ БЕРЕШЬ?»

Стою возле книг и раздумываю: начинать ли уже их укладывать в сумки, либо еще с полчасика обождать – выручка нынче ну просто никакая. Подле меня останавливается мордатый небритый мужик неопределенного возраста, в камуфляжных брюках и грязно-белой майке-безрукавке.

– Ты книги берешь? – с места в карьер панибратски обращается он ко мне.
– Извините, а что именно вы подразумеваете, употребляя в данном случае глагол «берешь»? – переспрашиваю я нарочито интеллигентным тоном.

– Ты чё, блин, туго всасываешь? – повышает голос мордатый. – Я еще раз спрашиваю: ты книги берешь?

– А я еще раз желал бы уточнить: какой смысл вы вкладываете в данном конкретном случае в глагол «берешь»?

– Ты тупой или нерусский? Я, так и разэдак, последний раз спрашиваю: ты книги берешь?

– Берешь в смысле на реализацию; берешь в смысле покупаешь; или, может, вы просто мне какую-то литературу подарить хотите? – продолжаю вежливо конкретизировать я.

– Ну ни хрена себе, раскатал губенки! – возмущается мордатый. – Подарить ему, как же! Разогнался на последней скорости! Да конечно же, продать!

– Не интересуется, – коротко отвечаю я.

– А это еще почему?

– А тебе, блин, не один хрен, так и разэдак, по какой именно причине? – резко перехожу я на тон Предлагателя-грубияна. – Тупой, что ли, или нерусский? Туго всасываешь? Да я те сейчас десять пальцев загну, и всё будет «не беру»!

– Ну ты хоть одну причину назови, – сбавляет тон мордатый.

– Одну? Без проблем. Скажи, вот у меня литературы здесь много? – тычу я пальцем в сторону клеенок, решив немного пошутковать.

– И что с того?

– Да то самое! Всё это мне люди принесли бесплатно, а я вдобавок выбирал, что взять, а от чего отказаться. И еще несут, несут, несут... Сумками, мешками, ящиками! Так какого же кляпа мне что-то за деньги у тебя приобрести?

Мордатый озадаченно приоткрывает рот: дубинисто сообщает. Затем, натурально, негодует:

– Ни фига себе, олигархом устроился! Сидит здесь, понимаешь, как именинник и на говне сметану сбивает!

– Становись со своим говном рядом, а я погляжу, много ли сметаны добудешь, – предлагаю я.

– Я пока не вольтанулся, чтоб с макулатурой посередь улицы сутками торчать!

– Вот и иди тогда своей дорогой. Топай, да помни: у нас нынче в стране демократия, так что сам выбирай, куда именно сейчас прогуляешься: на три буквы, на пять или к соответствующей матери.

– Ах ты!!!

...Диалог наш завершился сплошными непечатными выражениями с обеих сторон. А вот угрозы насчет обращения в милицию в тот раз я почему-то не услышал.

«ЧТО-ТО НИМБА НЕ ВИЖУ!»

Сиротливо сижу на табуреточке, что-то почитываю. Покупателями даже и не пахнет. Неожиданно возле клеенок останавливается мачо лет тридцати, в костюме, при галстукe и с бородач-эспаньолкой. В руках – черный и, похоже, недешевый «дипломат». Но затеплившаяся было во мне надежда что-то реализовать оказалась ложной. Поскольку бородач вдруг беспричинно разразился упреками:

– Вот сидишь здесь без толку? Сидишь? А жизнь-то мимо проходит! Впустую!

– А ты кто такой, чтоб мою жизнь судить? – рефлекторно вырвалось тогда у меня. – Гоподь Бог, что ли?

– Да! – гордо и, по-видимому, тоже рефлекторно заявил Эспаньолка.

– Одну минуточку!

С этими словами я встал, подошел к бородачу поближе и начал его внимательно разглядывать с ног до головы.

– Что такое? – непонимающе нахмурил он сросшиеся брови.

– Да вот... Нимба почему-то не вижу, – пояснил я. – Зато хвост, рога и копыта в наличии.

Эспаньолка немедленно зашелся в потоке матерной ругани. Я молча ждал, когда поноситель выдохнется. Затем менторски растолковал:

– Если кто-то по ходу спора начинает сквернословить значит, он абсолютно исчерпал аргументы. Несмотря на галстук и «дипломат». Теперь же продолжайте, пожалуйста: эти звуки ласкают слух. С удовольствием развлекусь, а то сижу здесь, понимаешь, без толку, а жизнь-то мимо проходит. Впустую! Итак, весь внимание...

Бородач глубоко вздохнул, буркнул сквозь зубы что-то неразборчивое и удалился быстрым шагом.

«БОГ ТРОИЦУ ЛЮБИТ»

Позади и чуть сбоку от моего «магазина на газоне» – проход под аркой в большой внутренний двор, окруженный несколькими девятиэтажками. Вот оттуда-то и появляется сильно небритый малорослый дядька примерно моего возраста. В руках у него – приличных размеров картонный ящик, набитый книгами. Дядька бухает его у моих ног и объявляет:

– Ну, так... Здесь всё только первосортное! Пальчики оближешь! А мне некогда, поэтому давай двести рублей, и я пошел.

– Котов хоть в мешках, хоть в ящиках не покупаю, – не согласился я. – Сейчас проверим, какой там действительно сорт, тогда общую сумму и подоцтем.

– Ты чё, не врубаешься, что ли? Говорю же: спешу! Деньги давай!

– Конечно, разбежался прям... Впрочем, коли уж так спешишь, можешь пока книги оставить, а за результатом попозже подойти. Я все одно до вечера тут торчу. Или назавтра с этим ящиком подгребай, когда время изыщешь...

– Ага, буду я его туда-сюда таскать... Ладно, давай тогда хотя бы столярник!

– Не катит. Сначала я товар посмотреть должен – не макулатура ли...

– У-у-у... Недоверчивый какой, черт тебя дер! Ну, смотри, но только живо!

Игнорируя это указание, начинаю проглядывать предлагаемую литературу.

«Мать» Горького, «Избранное» Маяковского, «Что делать?» Чернышевского, «Педагогическая поэма» Макаренки... Сплошной неликвид. Дальше – старые школьные учебники, городской телефонный справочник двадцатилетней давности, сборник ленинских работ, журналы «Коммунист» позднебрежневских времен... Из той же серии: «Маде никому не надо». А дядька всё потирает меня:

– Ты скоро? Русским же языком говорю: времени в обрез! Гони столярник!

Выпрямляюсь с тремя очередными книгами в руках: «Материалами XXV съезда КПСС» – в яркой алой обложке, с золотым тиснением названия, – тощим томиком «Я – советский человек и не знаю другого образа...» авторства некоего Георгия Гачева и устаревшими «Правилами дорожного движения».

– Ну, кто и за сколько у меня это купит?

– А чего? – с умным видом бросается дядька в наступление. – Вот у кого-то новые «Правила» есть, а потребовалось вдруг посмотреть, как что-то по старым было, так в магазинах их уже нет, а у тебя – пожалуйста! Еще и путем наварить!

– Брехать – не пахать, – усмехаюсь я и продолжаю оценку бумажного товара.

Несколько «бестселлеров Голливуда» (кроме «Сёгуна», книги этой серии совсем непродажны), вновь куча учебников, разрозненные голубенькие тома из подписки Станюковича... «Словарь иностранных слов» – правда, с оторванным корешком. Ну, это еще полбеда... А вот и полная: словарь-то без начала и конца. Уф! Наконец хоть что-то достойное внимания: «Два капитана» Каверина, «Уральские сказы» Бажова – увы, в мягкой обложке – и «Тимур и его команда» в картонном переплете, из серии «Школьная литература». «Тимура» еще время от времени спрашивают: в некоторых школах вновь в программу включили.

Больше в ящике ничего ликвидного я не обнаружил.

– За эти три книги честь имею предложить десять рублей, – показываю я отобранное продавцу.

– Ты чё, прикалываешься? Даже на пиво не хватит! Полтинник хотя бы дай!
– Не факт, что я за них сам столько выручу. И когда еще.
– По хрену, твои проблемы. А мне сейчас хотя бы тридцатку, на «Балтику».
– Не катит. Так червонец берешь?
– Да пош-шел ты со своим чириком знаешь куда?
– Это тебе туда дорога. Короче: не устраняет десять рублей – навьючивай свою макулатуру на горб и проваливай!

– На фига она мне сдалась? Я ее у мусорки только что подобрал! Вот сам туда и волоки... За червонец!

И дядька спешно отваливает по своим делам, а на мой возглас вслед: «Куда пошел, книги забери!», не оглядываясь, трижды отмахивается обеими руками.

Что ж, воленс-ноленс, а приходится оттащить забракованное к ближайшему мусорному ящику. Проходит с полчаса – покупатели не объявляются, читать неохота – словом, скучно... Подремываю на табуретке.

– Дяденька, вам книги не нужны?

Перед клеенками стоят двое мальчишек лет по тринадцать. С уже знакомым, полегчавшим на три отобранных мною книги картонным ящиком с макулатурой. Золотоискатели, блин! Развlechься, что ли?

– А это у вас откуда? Не украли случаем?

– Да что вы, дядя! Это из дома...

– Ага, а потом родители с милицией придут: мол, у несовершеннолетних литературу скупаешь... К чему мне лишние проблемы?

– Да нет, дядя, никто не придет! Папа с мамой разрешили! – с жаром уговаривают школьники.

– Ну ладно... Посмотрим, что тут у вас, – для вида начал я перебирать книги. – «Педагогическая поэма!» О-о, да еще какого старого издания! Подписные тома Станкоковича! Как раз эти номера мне так нужны! О-о-о, «бестселлеры Голливуда!» И много! Словарь иностранных слов! Редкая вещь, однако! И сколько же за все вместе хотите?

На лицах подростков легко читалось желание: «Как бы не продешевить!» Они переглядывались друг с другом, никак не решаясь назвать конкретную цифру. Наконец один сподобился-таки открыть рот:

– Триста...

– Заткнись, дурак! – оборвал его второй. – Пятьсот... Нет, тысяча!

Мечты, мечты, где ваша сладость...

– Ну... – делаю вид, что сомневаюсь и пытаюсь торговаться: – А за восемьсот не пойдет?

– Да вы что, дядя! Такие редкие книги! Они куда больше стоят! Мы и так по дешевке отдаем! – убеждал (себя и приятеля) второй подросток и кидал на первого гневные взгляды: мол, идиот, из-за тебя чуть было такую кучу деньжищ не упустили! А тот виновато потушил взор.

– Что ж, ладно... – притворно неохотно согласился наконец я. – «Штука» так «штука». Вам как, в «баксах» или в евро?

«Золотоискатели» застыли с открытыми ртами.

– Чего молчите?

– Ну... В евро, наверное, – пробормотал уже почувявший неладное «штучник».

– А в фунтах стерлингов не желаешь? Или, может, в золотых слитках? Быстро забрали эту макулатуру – и назад ее, на мусорку! Надо же! Не успел один раз избавиться – они тут же эту непродажную ерунду назад приволокли!

– Ты сам дурак! Я же тебе говорил! – неожиданно подал голос первый подросток, адресуясь ко второму, и... задал стрекача. Секундой позже «штучник» помчался за «трехсотником» следом. Мне же пришлось прогуляться до мусорного ящика вторично. Чертовы сеголетки!

Прошло еще полчаса. Я обозленно прохаживался вдоль клеенок. И тут:

– Привет, отец. Тебе книги не нужны?

Возле меня, все с тем же ящиком макулатуры, топтался бомж. Вот тогда-то я весьма эмоционально и без каких-либо предисловий высказал всё, что думал о содержимом картонной тары. И о том, где ему место. И бомжа туда же послал.

– Чего орешь? Можно было и без ругани объяснить, – заявил он, поначалу было оробевший от моей обличительной речи. – А раз дерьмо, назад не поташу.

Шмякнул ящик оземь, так что он частично порвался по одному из стибов, и гордо удалился на поиски пропитания.

Есть такое присловье: «Бог Троицу любит». После очередного рейса к мусорному ящику я высыпал содержимое картонной тары внутрь его, на дно. А саму тару разодрал на плоские куски и замаскировал ими книги-неликвиды. Слава Богу, в четвертый раз мне их никто не принес.

«ССАТЬ НА СВОИ КНИГИ БУДЕШЬ!»

Иным постоянным покупателям я мысленно приклеиваю прозвища. Так, одну телесистую бабу, при ходьбе переваливающуюся как утка, давно окрестил Квашней. Да, кое-что она у меня время от времени действительно приобретала. Но с уже набившим оскомину предисловием! Примерно эдаким...

– Ну что вы такое говорите? Какие там сорок рублей? – умело возмущалась она как-то раз, потрясая облюбованной книгой. – Двадцать – и то за нее много! Самая красная цена – десятка! Ну уступите, ведь вы же можете! Небось сами за пятерку купили, а перепродаете трижды втридорога! Ну я же вас постоянно выручаю!

– А хоть бы и за рубль приобрел или даже вообще бесплатно. Мое сугубо личное дело. Но вот чтоб цену продавца и сразу на четыре делить... Такой торг, извините, неуместен. За тридцать пять забирайте – и разошлись, – возражал я.

– Пятнадцать...

– Тридцать...

– Пятнадцать...

– А почему это дальше только я должен уступить?

– Пятнадцать...

– Стало быть, сегодня кина не будет. Положите книгу на место!

– Пятнадцать... Ну что вам стоит! Каких-то десять рублей больной пенсионерке скостить! Я знаю, вы хороший! Ну пожалуйста!

– Это вы по какой арифметике счет ведете? Пупкина? Ладно, двадцать пять – и никаких гвоздей!

– Ну почему не пятнадцать? Ведь хорошая же цена за такое старье...

– Плохая. А раз старье, верните на место. Кому другому за те же пятьдесят продам, – упорствовал я.

– Ну... ну... – Язык у Квашни прямо-таки не поворачивался, но наконец она через силу выдавила: – Двадцать... Вот же скряга! А думала – человек...

– Так неужели не похож? Зверь, стало быть? Ладно, черт с ним, забирайте, только уж чтобы разговор закончить! Надоело!

– Вот видите – и договорились! – И книга была спешно упрятана в объемистый ридиколь, а мне женщина протянула... пятнадцать рублей.

– Не понял... – не спешил брать я десятку и мелочь. – Уговор дороже денег!

– Ну что вам, эти пять рублей погоду сделают? У вас же покупателей много, на них и наворачтаете...

– Ага, конечно... Аж очередь стоит! Зато все как на подбор прижимистые.

– Да будет вам приbedняться-то! Прямо не по-мужски! И не стыдно?

Тьфу ты, да пропади оно всё пропадом!

– Давайте! Но в следующий раз подобный номер не пройдет!

– Ну что вы такое говорите! Я вам вполне нормально заплатила!

– Да, конечно! Идите уж...

Но вот однажды Квашня появилась возле моего развала на пару с худощавой девушкой, а скорее, еще девочкой лет пятнадцати.

– Ой, бабушка, смотри, новая Донцова! У нас такой нет! – углядела внучка свежий томик, только что выменянный мною на две более ранних изданиях книги той же сочинительницы дамских детективов.

– И без тебя вижу! – неожиданно резко окоротила Квашня внучку. – Нечего на всю ивановскую орать, чего дома есть, а чего нет! – И даже замахнулась на наследницу отечной ладонью с увеличенными суставами пальцев (ревматоидный артрит?). – Ну и почему эта Донцова?

– Пятьдесят рублей, – ответил я, впервые, но не без основания предположив, что моя постоянная покупательница приобретает книги и в магазинах, причем там-то совсем не по бросовым ценам.

– Ско-олько? – выкатила Квашня глаза. – Да что же это творится-то на белом свете? Да откуда такие бешеные цены взялись? Она и двадцатки не стоит!

– Знаете что! В магазине она как раз не меньше стольника, а прочли ее только раз! – недовольно парировал я. – Всё, сегодня никаких скидок! Ни рубля! Не хотите – не берите! У меня ее через час-другой за полста с руками оторвут!

– Не надо мне сказки рассказывать! И подержанная она вовсе – вон, уголок подмят!

– Вот за уголок и единственную читку целый полтинник и сбрасываю. Цена окончательная, обжалованию не подлежит!

– Бабушка, ну он же правду говорит. В магазине точно не дешевле ста рублей будет. Так и давай возьмем, за пятьдесят-то, – вклинилась вдруг внучка.

– Ну, ты! – рявкнула Квашня на нее, явив свое второе, вовсе не уговаривающее лицо. – Молоко еще на губах не обсохло бабку учить! А ты давай не выпендривайся! Двадцать рублей – и радуйся, что сбавил!

– Могу и за двадцать, – усмехнулся я тогда. – Только предварительно давайте до рыночка прогуляемся, это ж рядышком, а там, в мясном ларьке, выберете колбаску – рубликов этак по полтысячи за кило. Да и начните возмущаться: откуда, мол, такие бешеные цены? И потом предложите продать вам палочку по двести рубчиков. А я тем временем в сторонке постою да послушаю, что именно вам продавец в ответ скажет.

– Дюже умный нашелся, да? – мгновенно покраснев, взревела Квашня. – Вот, в следующий раз ссать на свои книги будешь!

Внучка прыснула. Я ничего не понял.

– А это еще к чему?

– А к тому, что помнишь, как с месяц назад просил свою макулатуру покараулить, пока сам в сортир на рынке бегал? Помнишь? Вот я и говорю: ссать! Будешь! На свои книги!

– С какой стати мне собственный товар портить? Уж лучше тогда я тебя оболью. От морды до ж... – отбросил я вежливость.

М-да-а... Лучше бы уж промолчал. Разве может человек так громко визжать?

– А-а-а! Хулиган! Свинья! Мерзавец! Люди, вы слышите? Он меня обоссал!

– Бабушка, – засмеялась внучка. – Что ты, в самом деле? Пошли отсюда!

– Заткнись! Яйца курицу учить! А на тебя я быстро управу найду! В милиции! Ты у меня завтра же с утра здесь стоять прекратишь! Гад, debil, идиот!

Хохочущая внучка с трудом утянула Квашню в направлении рынка.

Но, как оказалось, это была лишь первая серия конфликта. Примерно через полчаса скандалистка, уже с полными сумками, опять проходила мимо. Только теперь одна. Сделал вид, что ее не замечаю. Как бы не так! Квашня замедлила шаг:

– Дурак! Тьфу! Идиот! Тьфу! Свинья! Тьфу! Скотина! Тьфу! – награждала она меня многочисленными ругательствами, сопровождая каждое смачным плевком: еще хорошо, что не на книги, но все одно: это она уже перехватила.

Я быстренько обежал свой магазин на газоне и преградил бранящейся дорогу. Она враз заткнулась и испуганно замерла с сумками в руках. Возможно, ожидала, что сейчас ей врежут по физиономии? Не-ет, за эту холеричную пузанью рисковать срок получить... Оно мне надо? Мы пойдем другим путем. Соглашательным, как учил меня знакомый психолог.

– Так что вы мне сообщить-то хотели? А то издали плохо расслышал. Повторите, пожалуйста... – вежливо попросил я и даже игриво поклонился.

Квашня взбодрилась, поняв, что бить ее, по крайней мере, не собираются.

– Ты гад, дурак и идиот!

– Тоже мне, новость! Это я и сам прекрасно знаю. Но вы-то ведь умная...

– Да! – подставилась не подозревающая о «соглашательном варианте общения» и явно сбитая с толку несостоявшаяся покупательница.

– Так чего ж тогда с дураком связались? Известно ведь: с кем поведешься... И не заметите, как сами тоже идиоткой станете.

– Да ты... Ты не только дурак! Ты еще и жид вонючий!

Ага, что-то новенькое – национальное. Ладно, продолжаем в том же духе.

– Разумеется. Смердящий и злоуханный. Разве не чувствуете: от меня за километр таким смрадным амбре несет, что люди в обморок падают! А вы стоите здесь рядом и тоже активно прованиваетесь.

– Да ты вообще больной! Тебе лечиться надо!

Так. Выходим на новый уровень общения.

– Целиком и полностью согласен! Завтра же не выхожу на торговлю, а укладываюсь на полное обследование в лучшую американскую клинику!

– Тебя уже только гробовая доска и вылечит!

Накал беседы возрастал в геометрической прогрессии.

– Какие проблемы? Завтра же поспешаю заказывать гроб, могилу и памятник. Помянуть придется? Усиленно приглашаю. Как же, наилучшая клиентка! А я вам еще из домовины улыбнусь и ручкой помашу...

– Ты-и-и! – На побагровевшем лице Квашни отчетливо проступили сизые пятна. – Надо мной издеваться? – орала она до хрипа в голосе. – Я всюду пойду! Я до президента дойду! Я все равно твою торговлю прекращу-у-у!

Голос Угрожательницы сорвался на высокой ноте, перейдя в надрывный кашель. Я поспешно ретировался к книгам: еще даст дуба прямо на тротуаре, доказывай потом, что не верблюд... Квашня, тяжело дыша, плюхнула полные сумки на асфальт и судорожно обтерла лицо и шею носовым платком. Потом молча погрозила мне пухлым кулаком, подхватила поклажу и, тяжело ступая, удалилась восвояси.

Больше она к моему развалу никогда не подходила.

НЕОБХОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

За время торговли подержанными изданиями у меня было достаточно времени подумать, почему именно возле моего развала столь часто возникают конфликтные ситуации. На роль истины в последней инстанции не претендую, однако кое-какие соображения на означенную тему имеются.

Начнем с того, что абсолютное большинство россиян живут в двадцать первом веке в условиях постоянных стрессовых ситуаций. Которые столь же постоянно требуют разрядок, «сравливания пара». А моя торговая точка для этого подходит чуть ли не идеально.

И в самом деле: у той же Квашни наверняка хватает сообразительности понять очевидное. То бишь, начни она скандалить по поводу «бешеных цен» в любом супермаркете, требовать, чтобы ей продали продукцию дешевле указанной стоимости, всячески оскорблять продавца, да притом еще плюясь перед прилавком, – и на месте распри быстро появятся охранники магазина. Сама же вздорщица в этом случае наверняка угодит в ту же милицию – ныне полицию – и отнюдь не в роли пострадавшей. А вот на меня, уличного продавца с земли, не имеющего службы собственной безопасности, почему бы и не попробовать наехать?

«Ах, ты со мной не согласен, второе не уступаешь? Так я тебя хотя бы на словах изничтожу!»; «Ах, в том же духе еще и отвечать посмел? Да кто ты такой, что со мной себя вздумал равнять!» И итоговые пустопорожние угрозы: «Там с тобой разберутся!» – или же: «Прекращу-у-у!»

Что ж, действительно: книжная торговая точка на газоне уважения изначально не внушает. Бумажный товар бэушный и мало кому интересный: прошли его лучшие времена. Тот же, кто «опустился» до попыток перепродажи худлитературы, по укоренившейся точке зрения, – скорее всего ботаник (на сленге – человек, заикленный на науке), неспособный постоять за себя. Вот, мол, я ему сейчас и покажу, где раки зимуют! Тем паче покупатель (да какая разница, что несостоявшийся!) всегда прав! А начальные оскорбления – «ты гад, дурак и идиот!» – схожи, поскольку человек в повседневной жизни не очень-то оригинален. «Дурак» здесь почти обязателен.

С результатами дюжины эдаких «показательных схлестов» вы уже ознакомлены. Но за несколько лет их было куда больше.

И еще. Положим, дальше оскорбительных слов дело чаще всего не заходило, однако поверьте: драться на своем развале мне случалось тоже не единожды.

А милицию (к слову «полиция» наше общество привыкает трудно) уличные скандалисты на помощь чаще призывают инерционно. Это – второе, что им, как правило, помимо оскорблений, приходит на язык. Она ведь везде должна правопорядок поддерживать, причем еще и не за счет конфликтующих. Ей государство платит. Вот «Бандиты, на помощь!» инициаторы подобных ссор отнюдь не взывают. Хотя криминальные структуры – в частных случаях и собственными методами – согласитесь, тоже способны «восстанавливать справедливость». Однако уж в этом-то случае «обиженному» придется солидно раскошелиться, а большинство россиян продолжают предпочитать халявный способ сведения счетов. Впрочем, это – сугубо личное дело каждого.

И по поводу неадекватных, эгоистичных людей типа бабушки, которая топтание ее внука на чужих книгах оценивала фразой: «Вы посмотрите, какой у нас активный мальчик растет!», или молодой мамы, требующей от мужа физической расправы со мной за отказ продать отдельный том из собрания сочинений... Тут, полагаю, имеет смысл припомнить старую русскую поговорку: в хлебе не без ухвостья, в семье не без урода. Но ведь не по уроду судят о народе.



БЕГСТВО

Печальное повествование

*Роман
(окончание)*

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Как обещал, зашел проститься перед отъездом. Намеревался попрощаться за день до этого, когда заканчивал чтение, но хозяйка, застенчиво улыбаясь, попросила заглянуть перед отъездом. Не понимая зачем – последнее время этот вопрос прочно к нему привязался, он не мог отказаться. К тому же, десяток минут, отделявший гостиницу от ее дома, не был проблемой. Собравшись и попросив портье (ею оказалась та тетка, которая была, когда он приехал) заказать такси в аэропорт, отправился знакомой дорогой. Снег растаял, остались лишь черные подгнившие кучи, которые язык не поворачивался назвать белоснежным словом «сугроб». Кое-где из грязного снега торчали травинки, не сухие – зеленые, нежные, словно не было ни зимы, ни снега. Позвонил – его уже ждали. В гостиной на столике стоял знакомый кофейник.

– Вам без сахара?

– Да, пожалуйста.

Налила ему и себе, положив в свою чашку чуть-чуть сахара, на краешке чайной ложки. Этот стеснительный краешек, как ему показалось, был очень точной деталью характера. Сделав глубокий первый глоток (так когда-то делал первую затяжку), стал произносить относящиеся к случаю слова благодарности и уверения, мол, сделает всё зависящее, чтобы дать делу надлежащее, так сказать, развитие. Она слушала, не перебивая, но – очевидно, в ожидании паузы, чтобы что-то сказать. Заметив, он округлился, точнее, словно себя перебив, сказал:

– Спасибо за помощь. За всё большое спасибо. Второе «спасибо» сопровождал жестом, обозначающим соседнюю комнату – кабинет, и подвал, в котором его герой провел долгие годы и откуда в одночасье исчез неведомо как, не знамо куда. Конечно, время исчезновения явственно позволяло судить о том, что случилось. Но одно дело, полагаясь на обстоятельства, знать почти наверняка, другое – факты, которых не было, отыскать которые за давностью лет и туманностью обстоятельств не представлялось возможным.

– Спасибо. За добрые слова. Спасибо за Вашу работу. – Каждое спасибо у нее отделялось от общего потока слов, отчего становилось самодостаточным, делая сказанное как бы вдогонку несколько что ли излишним.

Стал подниматься, но был остановлен:

– Позвольте отнять у Вас еще несколько минут.

– Конечно же, с удовольствием. – Сел и, подчеркивая, что торопиться некуда, налил себе кофе. – Позвольте? – Он занес кофейник над ее чашкой.

– Благодарю. Мне достаточно. – И без паузы, словно одергивая себя за украденное у гостя время, продолжила. – Во время войны, когда немцы стали наводить свои гнусные порядки, он исчез. Вы знаете, конечно, об этом. Но вы не знаете, что вскоре после этого в город приехала Анна, его невеста. Ее путешествие из оккупированного Парижа было предпринято с единственной целью спасти жениха, который, как Вы знаете, был наполовину еврей. Адреса не знала, ей было известно, что в доме недалеко от рынка, но она отыскала дом, в подвале которого он жил эти годы. К сожалению, его самого уже не было: исчез, никто никогда его судьбу не узнал. Анна поселилась в этом доме. Она переписывала тексты в общие тетради. Длилось это долгое время, а потом, уже после окончания войны она вернулась, во всяком случае, так говорила, в Париж. Живя в Городе с мостом, она искала его следы: связывалась даже с гестапо, но ничего не нашла. Вот и всё, Вам большое спасибо.

Она встала, а вслед за ней он.

– И еще напоследок... – Она протянула ему записную книжку в изящном кожаном переплете. – Уезжая, она это забыла. Или – намеренно, может, оставила, я не знаю. – Возьмите, возможно, это поможет.

Поклонившись, положил записную книжку в карман, и через полчаса ехал в аэропорт. Проезжая мимо костела, деликатно выключив радио и сняв фуражку, шофер перекрестился правой рукой, а левой бережно, слегка прикасаясь, словно в эти мгновения полностью доверяя себя Божьему попечению, держал руль.

На мгновение показалось, что время повернуло вспять, и он, прилетев, едет в город, на встречу подвалу. Но во время приезда шел снег, а сейчас машина, пролетая по лужам, разбрызгивала грязную воду, да под фуражкой шофера была не лысина, а вполне приличествующая месту и времени прическа.

Очнувшись, он поглядел вслед удаляющемуся шпилю собора. Из включенного радио посыпались одна гнуснее другой последние известия. На Гаити после землетрясения свирепствовали мародеры, что было неудивительно. Если воруют до землетрясения, то почему надо прекращать это делать после? Количество жертв подсчитать не брался никто. В отличие от приезжих – спасателей, солдат, врачей, журналистов, местные власти не знали, зачем это делать. Некая знаменитость, певица или актриса, не разобрал, выставила себя на аукцион. Победитель в ее обществе мог поужинать при свечах, и, конечно же, телекамерах. Реклама была обеспечена обоим. Заработанное отправлялось пострадавшим на острове. Наконец, гадкое кончилось, и, словно раны врача, зазвучал легкий и радостный Моцарт, более подходящий морозу и снегу, чем грязи и слякоти. Но, что поделать, погоду, равно как и новости, не выбирают.

Когда подъезжали, снова передали новости. Первой была смерть Сэлинджера. Радио рассказало, что его единственный роман «Над пропастью во ржи» был опубликован в 1951 году, а после 1965 года Сэлинджер бежал, прекратив публиковать свои произведения и появляться на людях. На вопрос, куда бежал или откуда, ответа не было. В литературу он вошел со скандалом, его герой Холден Колфилд заговорил на таком языке, на каком печатно говорить было не принято, и в некоторых штатах и странах роман был запрещен. Исчезнув из поля зрения публики, писатель следил, чтоб его авторские права не нарушались. При этом само исчезновение провоцировало скандалы. Одним из них был иск Сэлинджера с требованием запретить публикацию сиквела его романа, который назывался «Шестьдесят лет спустя: пробираясь сквозь рожь», поскольку это чистой воды воровство его сюжета и его героя. Что Сэлинджера заставило замолчать, что побудило его затвориться? Он продолжал писать, более того, как заявила дочь, оставил указания, что публиковать без редакции, а что – после. Теперь мир будет ждать с нетерпением, что же прятал писатель более полувека.

Через несколько лет после Сэлинджера то же проделал Набоков с «Лолитой», единственным скандальным романом, который принес ему славу. Насытившись славой, Набоков бежал в гостиничный номер в Монтрё, где теперь в бронзовом не слишком пристойном виде выставлен на всеобщее обозрение перед входом в гостиницу «Montreux Palace». Впрочем, может, самым рождением было предопределено его бегство. Набоков был подвержен (или лучше сказать: обладал) синестезией, при которой при раздражении одного органа чувства возбуждается и другой. Человек слышит звуки, и – видит их, осязая предмет, чувствует его вкус.

В самолете решил просмотреть отчет, чтобы переслать его в контору Голядкина. Всё было изложено ясно и четко, с акцентом на престиж, который обретет благодаря изданию рукописей контора. Вывод был однозначный: рукописи приобрести, издать, организовать по этому поводу шум. Выяснение обстоятельств жизни и гибели непременно продолжить. Написано было в голядкином вкусе, без противопоставленных стилистических изысков. После этого впервые за несколько дней он включил телефон. На автоответчике было одно сообщение. Говорил секретарь Голядкина: «В связи с изменившимися обстоятельствами просим прекратить работу и возвратиться». Скверно. Теперь, когда убедился, что игра стоит свеч, более того, обстоятельства требуют внимания и заботы, этот дебил, не задумываясь, всё прикрывает. Ладно, поборемся, хотя, конечно, обидно.

Было обидно, но не было больно. Он с удивлением прислушивался к себе: неужели не ранило, неужто его не задело? Ответ был ясен и однозначен: нет, не ранило, не задело. От Голядкина можно было ожидать любой, самой подлой пакости. Эта была не из худших. Удивившись странностям собственной психики, открыл записную книжку. Несколько первых страниц были испещрены отрывочными записями: счетами, телефонами, адресами. Всё почерком четким и аккуратным, в котором графолог наверняка распознал бы владельца характера покладистого, уравновешенного.

Сегодня спала долго и безмятежно. Впервые за долгое время. Сон был чистым и ясным, а через пропасть – серое, мутное утро. Вспомнила, как он, просыпаясь, вскакивая с постели, голый, растрепанный, бросался передо мной на колени и, руки целуя, шептал, театрально, ходульно, напыщенно:

*И вы о жизни бедного Гуана
Заботитесь! Так ненависти нет
В душе твоей небесной, Дона Анна?*

С этими словами моя небесная душа возвращалась на грешную землю. Это было тогда, а теперь – серое, мутное утро, в котором неволею моей небесной душе.

Прожили мы вместе недолго: в грустных радостях, благословенных печалях, но – началась война. Он уже тогда писал, публиковал в журналах и альманахах, которых было немало. Говаривал, перефразируя Петрарку: «Я не хочу, чтобы меня через триста лет любили. Я хочу, чтобы меня читали». Вообще, он любил жонглировать поговорками.

Я переписываю каракули. Почерк у него всегда был ужасный. А здесь к тому же условия: сырость, темь могильного склепа, как он выражается. Но я доведу до конца. Зачем? Этот вопрос не задаю. Если бы задала, то, наверное, ответила б «незачем». Нет, для меня, этого вопроса нет. А на нет, нет ответа. Как с переписанным поступить, я не знаю. Сейчас ничто никому не нужно. Все заняты выживанием. Но когда-нибудь, пусть не верится, настанут иные времена. Как сказано в Елеонской проповеди: «Терпением вашим спасайте души ваши». Так что надо терпением запастись – надолго, хоть сроки не ведомы, ощущение, что пройдут века, прежде чем что-то кому-то будет зачем-то нужно. Кроме еды.

Переписка меня утомляет, правду сказать, истощает, отбирая последние силы. Но пусть это будут две вдовьи лепты мои: не от избытка, от скудости. Вот так, женой ему не была, зато стала вдовой. Господи, позволь и мне подняться хоть раз на Елеонскую гору и Город, где Ты проповедовал, хоть краешком глаза увидеть. А если будет милость Твоя, приведи меня в монастырь: я людям, как умела, уже отслужила, теперь позволь Тебе послужить. Его невестой была. Приведи стать невестой Твоею!

Я от него бежала из России в Париж, потом – к нему из Парижа, а теперь снова, не найдя его, от него убегаю – пока в Париж, а дальше – не знаю, хоть и уверена, что не задержусь. Вопрос – если бежать, то куда? Но не важно, главное, что всю жизнь я убегала: то к нему, то от него, и теперь, когда его нет, зачем мне бежать?

Спрашивала себя не раз: зачем убегаю? И каждый раз отвечала: не знаю. Такой, видно, дурацкий характер. Он говорил: неуклюжий. И, правда, как можно устать от безмятежности, тихого счастья, которое снизошло на меня перед войною с германцами, там, в чистой и тихой Сулимовке. Нет, заскучала, перемен захотелось – и, неуклюже, бежала. Вернулась к нему, проводить на войну, а потом, не выдержав, снова – в этот раз не от счастья, от голода, горя и страха, бежала в Париж.

Несытая, непрочная жизнь. Но знала: он тоже в Европе, полночи поездом – снова мы вместе. Ждала – позовет. Не позвал. Не позвал – и не надо. Тем более Шарль подвернулся, и кончилась несытая жизнь. Вместо нее – большая квартира недалеко от Оперы, гости по пятницам, авто и манто. Все замечательно, и Шарль не урод, не стар, обходителен. В мои русские отношения не вникал. Поначалу пытался, но понял: не его, не поймет, пытаться не стоит. Из денег своих (Шарль ежемесячно уделял мне немалую сумму от гонораров, адвокатских и литературных), как могла, помогала совсем безнадежным. Таких в Париже было немало. О нем ничего не знала. Догадывалась, что один, голодает, но не зовет – значит, забыл, а может, и раньше была не слишком нужна. С Шарлем спокойно, уверенно и натужно. Натужно улыбаюсь, натужно интересуюсь его здоровьем, делами и планами. Веселюсь натужно с гостями по пятницам. Не натужны тоска и печаль, не нужные никому, по совести, мне самой. Только избавиться от них невозможно.

Как-то дошел о нем слух: жив, остальное – глупые сплетни (как оказалось потом). Но тогда прошел слух, что он, мол, женился на хозяйке своей квартирной, и теперь владелец немалого дома в самом центре не слишком дешевого города. Тогда я решилась. Когда в очередной раз Шарль преподнес букет белых роз (я белые никогда не любила, но ему не говорила) и торжественно, ни на что не надеясь, предложил мне руку и сердце (он это делал регулярно раз в несколько месяцев на протяжении нескольких лет), я сказала: «Согласна». Шарль удивился, но, взяв себя в руки, задал вопрос, где будем венчаться, в церкви или костеле? Мне, наполовину полячке, было совершенно без разницы. Через несколько дней он представил меня своим близким, а через месяц уехали в свадебное путешествие по Италии. Правду сказать, Италия была великолепина настолько, что я думала лишь об одном. Раз так, то вот тебе, получай: я веселюсь, мне хорошо, небо удивительно голубое, солнце ласково, фонтаны прелестны. И все это тебе, милый, назло. Живи со своей домовладелицей, пей чай-кофе, жри булочки, пей вино. Короче, делай, что хочешь, меня позабудь, точно так же, как я тебя позабыла. В таком настроении я вернулась в Париж и словно от дурмана освободилась. Шарль окунулся в свои дела (за время отсутствия много чего накопилось), вечера по пятницам возобновились, как никогда раньше, я занялась русскими сплетнями, ссорами и раздорами. Тогда главным яблоком, которое никак не могли поделить, была свара между Мережковским и Бунинным, точнее, не ими самими, а камарильей с обеих сторон: кому достанется лакомый Нобеля кус. Кстати, Бунина он в те допотопные времена не любил, говорил о его прозе: сухая, старческая, без цвета, без запаха, потрескивающая в суставах. О Мережковском отзывался без слов, пофыркивая.

И тому и другому нужна была слава, обоим нобелевка виделась билетом в элиту французскую, значит, по тем временам – европейскую. Конечно, и Мережковскому нужны были деньги, но куда как нужней они были Бунину. Одним словом, качнувшись туда-сюда, я попала в пробунинскую партию, хотя его самого за желчный характер не слишком любила. Правда, надо заметить, что и Мережковского я не жаловала. Одно было понятно. Писатель Мережковский с писателем Бунинным был несравним: Мережковский порой был хорош, но гений был Бунин. Когда это было? Премия Бунин получил в тридцать третьем, значит, что-то около того. Тридцать третий: Гитлер приходит к власти. Никто тогда и предвидеть не мог, во что всё это выльется.

Крысы – хозяева города. Кто в дудочку свистнет, кто из города их уведет? Чем дальше, тем больше я уверяюсь в мысли: он покинул подвал, свой склеп, чтоб не подвергнуть хозяев опасности. Куда ушел? На этот вопрос может дать ответ только он, если жив, если захочет. А крысы тевтонские рачительны, бережливы, хозяйственны. Говорят, они свозят со всей Европы награбленное: картины, серебро, фарфор – всё еврейское им годится. Говорят, собираются создавать Музей исчезнувшего народа. Цель? Показать, кого они победили, кого уничтожили? Но ведь этот музей станет памятником преступления. Или надеются саму мысль о преступности выкорчевать, словно гнилое дерево? Господи, дай мне сил пусть не понять – пережить. Господи, прокляни их *in saecula saeculorum*, во веки веков.

Странная вещь память. В этом который раз убедилась, разбирая его заметки. Ему вспоминается многое, но из нашего общего почти ничего, а самое интересное, что ни словом не обмолвился о тех месяцах счастья (правда, мы тогда оба счастливы были), которым Господь наградил незадолго до германской войны, как бы напутствуя перед испытаниями и муками. Были деньги (у него гонорары, у меня небольшое наследство), обеспечивавшие относительную независимость и свободу. И мы закутили. Под кутежом понималось жизнь беззаботная, без мелочного расчета: куда велит сердце, туда и летим. Перво-наперво полетели в Москву, где к тогдашнему ощущению ясной, нестыдной радости (нестыдной, ибо не за чей-либо счет) примешивалось ощущение благочестия и распутства. Благочестие – это веселый, святочный Василий Блаженный, о восьми куполах

в память о восьми днях осады Казани Иваном Грозным. А распутство – это, конечно, Стрельна и Яр, Вера Панина, старая, в черном, с голосом низким, щиплющим душу. Незадолго до смерти вышла она, говорят, замуж за восемнадцатилетнего, а, умирая, просила брата сыграть на гитаре «Лебединую песню». Доиграл – умерла.

После Москвы – Крым. Беззаботность, веселье, море, горы, прогулки, мгновенно находились общие интересы, знакомые. А вокруг всё цветет, благоухает, фрукты – без счета, без меры – вино. Татары вокруг все молодые, веселые и красивые, смуглокожи, черноволосы и яркоглазы. Косovorотки, кафтаны с золотой вышивкой, галифе, высокие сапоги, широкополые шляпы. Женщины в длинных пестрых широких юбках, на плечах – паль, на голове – платок. И золото, серебро: браслеты, мониста. Походка легкая, копящая грация.

Впрочем, тогда среди безудержного, легкого счастья, возносящего над землей, бывали минуты, потом и часы, когда внешне всё славно, всё хорошо, но что-то не так, будто часы идут вразнобой. И такие часы компрометировали само понятие времени, а для верующих в него – время поклонников, прогрессистов, они его оскверняли.

И – вдруг, словно что-то с небес позвало. Всё бросили: и сады, и вино, сорвались. Помчались на извозчике в Севастополь, оттуда на пароходе в Одессу, а там пожилы не больше недели – пароход с паломниками, в Яффо, на Землю святую. Жаркая земля оказалась, пыльная. Арабы норовят бакшиш урвать, делать при этом ничего не желают. А если и делают, то лучше не надо. Да, ладно ехали не за комфортом. В Великую субботу пошли мы в Храм Гроба Господня. Давка, гомон и толкотня. Все в ожидании: сойдет ли огонь. И знают, что быть такого не может, что не сойдет. А всё равно, как дети, волнуются, иные в ожидании просто трепещут. Тут-то и понимаешь: христианство – апокалипсический конец света, свернувшийся свиток, торжество смерти; иудаизм – конец света, возрождение мертвых, торжество жизни.

Во главе процессии к запечатанной накануне двери святилища идут патриархи: армянский и греческий. Прокладывая путь сквозь толпу, *каввасы*, стражники в турецкой форме, стучат посохами о каменные плиты. Все скандируют: *аксиос, аксиос*, достоин по-гречески. Патриархов обыскивают мусульмане, чтобы видели все: нет ни спичек, нет ничего, чтобы зажечь огонь. Они заходят в Кувуклию, часовню внутри Храма, возведенную над каменным ложем, на котором покоилось снятое с креста тело Христа. Если патриархи выйдут с зажженными свечами, то – это небесный огонь благодатный. Они вскрывают печати, скрываются внутрь, и через несколько долгих, бесконечных минут – зажженные свечи. Теперь всё превращается в буйство огня: все веселятся, все поздравляют друг друга, свечи горят, и вскоре загорается город. Кажется, луна и звезды сияют ярче обычного и веселей. Там, на Святой земле мы познакомились с Шарлем. Он был один, и в день отъезда мы вместе ходили по Иерусалиму, ездили в Вифлеем. Собственно, подружился он не со мной. Но так уже вышло. Ладно, что теперь прошлое ворошить. Теперь, когда смерть оказалась в шаговой доступности, он начисто всё забыл: и Москву, и Крым, и Святую землю. А я помню: и счастье помню, и горе. В Париже я оказалась случайно, после Берлина, где тогда всю большевики продавали краденые вещи. Не один раз бывшие владельцы опознавали их. Были случаи, когда суд запрещал аукционы по их продаже. Всё в Париже показалось серым, будничным, скучным. И это в Париже. Даже Сена показалась мне маловодной, едва ли не ручейком. Но было засушливое лето. Да и разве судят поэта по неудавшемуся стихотворению? Париж был полон русскими, которые ссорились и забрасывали друг друга грязью. Больше, пожалуй, всех доставалось весельчаку, проказнику, святейшему гомосексуалисту князю Юсупову. Говорят, что этот самый богатый человек России нуждается и открыл модное ателье. О времена! Некоторые вдруг вспомнили, что он убийца, и руку ему подавать перестали. Господи, найдись в России еще несколько десятков таких убийц, всё, возможно, было бы иначе. Да что теперь прошлое ворошить.

Тогда же по Парижу прошел слух об Анастасии, великой княжне, будто бы от большевиков убежавшей. Только разоблачили одну – пожалуйста, и другая. Но вот, что серьезней. Рассказывали о странной находке, сделанной следователем Соколовым в подвале Ипатьевского дома, где была расстреляна царская семья. Говорят, были найдены на стене две надписи. Одна – на древнееврейском, другая – по-немецки. Древнееврейская надпись гласила: «Здесь казнили вождя Веры, Народа, Отечества. Казнь свершилась». Немецкая – последняя строфа из гейневского «Валтасара»:

*Был Валтасар убит в ночи.
Рабы – его же палачи.*

С Шарлем я встретила в театре. Он был не только умен, но – остроумен, когда хотел – просто обворожителен со своим легким раскатистым бархатным «р», с взглядом глубоким и мягким. Правда, таким он был не всегда. Когда не старался понравиться, говорил глухо, гутниво, а глаза его, близко и глубоко посаженные, были издали почти не видны. Знал множество языков, утверждая, что о спорте необходимо говорить по-английски, об искусстве, конечно, по-итальянски. На русском, как он утверждал, лучше всего звучит афоризм Блаженного Августина: «Обладающий излишним владеет чужим имуществом». Наша официальная совместная жизнь с Шарлем началась необычно. В самом деле, молодые пары нередко проводят медовый месяц в Венеции, ну, а мы с Шарлем провели там медовых три дня, из которых весь первый был занят похоронами. Шарль должен был ехать на похороны тетки, завещавшей похоронить себя на острове Сан-Микеле, на греческом участке которого нашел последнее пристанище Дягилев. Говорили, что он ненавидел всякую воду, и в его венецианском номере с видом на море всегда были опущены шторы. Вот так. Дягилевская могила привела воспоминания о Нижинском, боге танца, который запомнился мне в светлом парике с кудрями до плеч, белом трико, креплешиновой рубашке и черном бархатном жилете. Он взлетает над сценой, приземляется, снова летит, и кажется, ему трудно, совсем невмочь возвращаться на сцену. Помню его Арлекином, Петрушкой, Шопеном, прекрасным принцем в «Видении розь», помню скандал с «Послеполуденным отдыхом фавна», который Нижинский сам и поставил. Фавн-Нижинский, проснувшись от смутных желаний, видит в саду девушек. Пытается их ласкать, но те убегают. Фавн поднимает покрывало, утерянное одной из них, вдыхает запах, и в его воображении возникает женщина, носившая его в чреве. Он покрывало целует, и ассоциации, навеянные им, удовлетворяют его желание. Говорят, что этот фетишистский балет стал разрывом Нижинского с Дягилевым. С этого момента начинается гетеросексуальный период его жизни, вскоре завершившийся безумием. Впрочем, кто его знает. Тут своя душа потемки, что уж говорить о чужой. Да чего только не рассказывали о Нижинском. Что его в позе микеланджеловского Давида собирался лепить Роден, со своей обнаженной моделью общавшийся за отсутствием общего языка при помощи рисунков. Что после премьеры «Синего бога» один из авторов либретто Кокто подарил Нижинскому, зная его страсть к сапфирам, золотой карандаш с этим камнем, а Дягилев при каждом приезде в Париж дарил ему сапфировый перстень от Картье.

Сейчас, когда он от всего этого, славного и порочного, скрылся, сбежал в безумие, дай, Господь, этой душе-страдалице немного покоя.

Шарль жив, и, слава богу, здоров. А его, я уверена, его больше нет на свете. И больше всего меня мучает мысль, что умер один, без помощи, без напутствия, без поддержки. А самое страшное, что в мгновение, когда душа отделилась от тела, она, одинокая, была совсем незащищена. Не защищенная покаянием и молитвой при жизни, стала жертвой бесчисленных бесов. Закрывают глаза и вижу мелких, пакостных, злых бесенят, как комары на кровь, набрасывающихся на его душу. Он умер – я в этом уверена, без молитвы, без покаяния; над ним не было совершено таинство причащения и соборования. Никто о нем сорок дней не молился. Никто. И я среди этих «никто».

Купила на рынке два огурца. Сделала из них, из лука и капли масла салат. Когда резала огурец, вспоминала. У него совершенно мне незнакомая память на вкус. Он нигде не мог съесть огурец или вишни, которые страшно любил, чтобы, сделав кислую мину, не выплеснуть: «Не то-ооо», имея в виду сулимовский идеал. Иногда добавляла: «Жизнь стала тягостной, как приснившийся сон». При этом воспоминании он причмокивал, словно вспоминая забытое мгновение бытия. Вот и я, ем салат, вспоминаю его и Сулимовку и причмокиваю: «Не то-ооо».

Здесь, на огурцах записи прерывались, и следовало несколько чистых страниц, отделяющих, словно большое многоточие, записи совершенно другого периода. Лишь на одной из них, размашисто, во всю страницу, печатными буквами:

В покоищи твоём, Господи, идеже вси святии Твои упоковаются, упокой и душу раба Твоего, яко един еси Человеколюбец.

Какая же сволочь Голядкин! Нет, подождать бы, когда вернется. А, может, оказалось бы, что заниматься там нечем. Непотопляемая скотина! Вечная. Его нельзя даже гадким назвать – га-день-ким.

Начинало темнеть. В горах ночь падает вдруг и внезапно, в долине она напоззает медленно и упрямо. На кладбище было тихо и пусто, как только может быть тихо и пусто в давно оставленном, заброшенном доме. Анечку хоронили быстро, кого можно было, известили, брата в Америке не разыскали, никого специально не ждали. Позвали на опознание. Верхняя губа слегка изогнулась, обнажая белые зубы: улыбается, насмешничает. Он, видимо, задержался дольше положенного, всматриваясь и прощаясь. Легко ждали локоть: опознание, мол, не прощание, и через минуту все двинулись вслед за ней, вниз по широкой дороге, затем свернули, и вместо асфальта под ногами зашуршал мелкий гравий, и вскоре – острые камни. Один из них впился в подошву, идти было неудобно, но нагнуться, вытащить камень было совсем невозможно. Так с камнем в подошве он вслед за Анечкой пропетлял меж могил, вспоминая, как они набрали на старинное кладбище.

Это была их первая совместная вылазка в мир. Анечка подготовилась, всё заказала, купила путеводитель и вела его по чужим улицам, сверяясь с ним. Вела правильно, но приходили они не туда. Так всегда, чем больше знаешь, куда идешь, тем меньше вероятности, что дойдешь. Вышли к серым послевоенной постройки домам, за которыми внезапно, вдруг обнаружилось кладбище, которое раньше искали, и, отчаявшись, оставили на потом. За домами, поваленный, лежал забор, парадный вход был в другом месте, сюда мало кто добирался. Переступив, пошли, петляя, между могил, давно сровнявшихся с землей, из которой росли кривые шатающиеся памятники, словно карие зубы. Это были ее слова. Отметил: запомнить и записать.

Они знали, что это старое еврейское кладбище. Надписи на камне в сумерках почти не читались, разобрать можно было лишь отдельные буквы скрижального языка («Иврит для того, чтоб выбивать на камнях», – она сказала, а он запомнил). Ясно различались и символы, из которых следовало, что это могила кофена или левита. Когда-то кофенов хоронили отдельно, на особом участке, но спустя века, оказалось, что всё перемешалось. С тех пор, как на месте древнего «Еврейского сада» (так оно называлось когда-то) возникло кладбище, именуемое Старым Еврейским, прошли столетия. Часто буквы на памятниках спирались: имя не разобрать. Зато оставались нетронутыми символы профессии: ножницы, рыба и молотки. Она говорила: «Восстанут из мертвых – вернуться к ним имена».

Тогда они с Анечкой за путеводителем вслед искали могилы похороненных там знаменитостей. Не нашли, и, расстроившись, Анечка засунула путеводитель в свой рюкзачок подалее. Наказала. Могил они не нашли, но можно было купить в любом магазине самого великого Рабби и его Создание: из дерева, из металла, стекла.

Похоронили Анечку на Масличной горе, там, словно трезубец, растут три вершины, на одной из них две тысячи лет назад стояли покорители-усмирители Иудей – Десятый легион. Здесь хоронили редко, никто из смертных не знал, кого Погребальное братство удостоит высокой чести первым воскреснуть из мертвых, когда в конце дней Мессия взойдет на Масличную гору, место престола Господня, и будут ноги Господа на Масличной горе, и в тот день света не будет, но будет холод, мороз, и гора расколется надвое, и загремит *шофар*. И тогда, по слову пророка, «вернутся к людям их имена»: смерть вспять обернется, в засохшие кости Господь вдохнет дыхание жизни, и на них вырастет плоть, покроется кожей, и мертвые оживут, встанут на ноги, и пойдут.

И Анечка первой восстанет, пойдет навстречу, будет идти долго-долго, но сил у ней хватит, она подойдет, и камень могильный повалит, поможет подняться, раскроет путеводитель, и вместе пойдут досматривать то, что тогда не успели. Только на месте кладбища будут не камни могильные – Сад: одни деревья в цвету, другие приносят плоды, и змей добрый, совсем не коварный, в траве шелестит, странный и бесполезный, словно балкон, дверь на который заложена давно-давно навсегда.

С кладбища поехал домой. Весь следующий день слонялся по дому. Жена была на работе, дождавшись ее возвращения, собрав вещи, кивнул, как всегда на прощание, ушел из дому. К ней. К вечеру стало холодно, вдруг и внезапно. Единственный обогреватель, когда он включил, грохнул, пыхнул дымком. Надо было согреться, но бар был пуст. Сел в кресло, набросив халат с головой, плед, одеяло. Поначалу трясло, но – удивительно, он согрелся.

Бессонная ночь дала себя знать. Сопrotивляясь подступающей дреме, он бежал в сон, обретая наказание или спасение: она приснилась ему такой, какой впервые увидел ее – в белом хитоне, играющей жизнь девушки с тихим голосом, умершей, возродившейся, безымянной – время стерло буквы с серого камня, а затем имя свое обретшей.

Ему казалось во сне, что это было на пленке. Поднимаясь из гроба, она озирается и никак не может понять, где она, что приключилось. Но самое страшное – не помнит имени своего. Темь и сырость. Он зажег факел. Пахнет смолой. Свет разгоняет мрак, уничтожает склизкую сырость.

И тогда он делает шаг ей навстречу, подходит и шепчет на ухо, словно ребенку или больному: «О-фе-ли-я». И она, повторяя за ним, говорит ему: «Я – Офелия». Всё. Дальше уже знакомый театр. Она оживает, живет, любит, не может понять, что творится с отцом, что происходит с принцем, влюбленным в нее. Отец погибает. Принц сходит с ума. Что ей делать? И главное – зачем жить? А когда – она знает это прекрасно, когда задают такой вопрос, тогда отвечать на него бесполезно. Никто никогда не сумел ответить на этот вопрос. Спасение – не задавать.

И он, просыпаясь от холода – одеяло и плед упали, вдруг ощущает силу, которой никогда не был он наделен. Он – повелитель холодной стали, которая способна на расстоянии вырезать из языка любое. И это слово, которое он хочет расцечь, уничтожить, это слово «зачем». Он вгрызается в словари, во всех языках к утру, когда он проснется, этого слова не будет. Нет слова – нет и вопроса. Она его не задавала, если так, что за глупость этот диагноз.

Он во сне радуется, он счастлив. Ему тепло и спокойно. Он с ней, с Анечкой. Жаль, что с женой попрощался он буднично, скверно. Она ведь ни в чем не виновата. Напротив, терпела его уходы-приходы, а когда-то, пусть не голод, но и – безденежье, месяцы, годы, когда ни на что не хватало. Неправильно. Скверно. Надо с ней попрощаться по-человечески. А лучше всего пусть выйдет замуж. Вот так устроить свадьбу-прощание. Прощание с ним, а свадьбу, хотя бы с тем, невысоким, с косою и мохнатою грудью.

Вот. Они сидят за столом. Он с одной стороны, с другой – новый муж. И он стучит ножом по бокалу, призывая всех слушать, он скажет тост, он говорит, благодарит и желает. Но что-то во сне в этом сюжете его задевает. Что-то не то. Силится уяснить, исправить, направить в нужное русло, и тогда сюжет сам потечет, разовьется. Но что-то мешает. Господи, как понять, что же мешает?

И тут происходит совсем неожиданное. Подходит она. Откуда взялась она, Анечка? Никто ведь не звал. Бестактность. И вдруг он понимает, что Анечку никто ведь не видит. Только он. Она подходит к нему и шепчет, холодом обжигая: «Забыл? Ты ведь тосты не то, что не любишь, ты их ненавидишь. Забыл?»

Эта деталь так правдива и так точна, так не ложится на характер героя, то есть на него самого, что он понимает: глупость и гадость, этот текст надо тотчас же уничтожить, чтобы не было искушения этот сюжет когда-то поднять и продолжить. Он понимает, что этим решением обязан отнюдь не себе, потерявшему ощущение правды и вкус, хотя это, похоже, одно и то же. Что этим он обязан ей, Анечке. Ищет ее, чтобы это сказать, рыщет между могилами, подошву острое колет. Отодвигает огромные камни, они покосились, но сдвинь – попробуй: въелись в землю, соединились с ней, не понять, то ли были посеяны, то ли выросли сами.

Он ищет ее на улицах Рима, Константинополя. Он летит за ней в Город, но нигде ее нет. Везде – холод и снег, стужа, пурга, сугробы. Они вместе хотели этого – снега и льда, и пара из уст на морозе. Но нет ее, только... Они спорили долго, как это по-русски сказать. Суета сует, всяческая суета: от этого мельтешение в глазах, а не выдохнутая из уст пустота, не та, которую можно наполнить – бессмысленная, невосполнимая, с постоянным, вечным «зачем»?

На это ведь нет ответа, кроме разве передозировки. Вспомнил, как-то прислала ему письмо, подписав: Передозов Василий. Тогда он жил византийским сюжетом, который периодически отступал, но, видимо, передумав, к нему возвращался. Отсюда – крутилось имя Василий, обезображенное и оскопленное. Как вернуть имени подлинный смысл и значение? Гордую величавость?

Снова сползли плед, одеяло. Теперь уже сам выдохнул Аничкино-Экклезиаста:

Ничтожное ничто, всё – ничто.

Возвращаясь с кладбища, сказал себе, что с ее уходом закончился самый светлый и самый печальный сюжет его жизни. Сказал – и ошибся, не зная, что случившееся вопреки здравому смыслу было всего лишь завязкой. Печальный сюжет теперь его вел, диктуя мысли, поступки, слова. Им овладело стремление узнать всё, что было связано с ней, что было ею. Раньше она в его мыслях всегда была Анечкой, теперь он редко, почти никогда по имени ее не называл. «Она» – значит «Анечка». Кто же еще?

Словно добросовестный следователь, он обыскал крошечную квартирку: вещей было мало, и те – молчаливые. Или он не умел вещам задавать вопросы? Наверное, не умел. Всегда, сколько помнил себя, жил в мире мыслей. Вещи были необходимой, некуда деться, докукой. Она была совершенно другой: любой клочок ткани могла обыграть, словно великую мысль, гениальнейшую

из идей. Его обычный сюжетный ход – из настоящего развернуть, сочинить прошлое, в этом случае плохо работал. То ли она прошлое тщательно отсекала, то ли он его воскресить не умел.

Встретился с теми, с кем она делала представления. Как их назвать? Актерами? Но они в спектаклях с ней не играли – подыгрывали, и делали много других вещей: грим, свет, декорации. Оказалось, что вскоре после «Офелии» она сказала, что из театра уходит, и они, покрутившись, поискав новую приму, как-то сами собой разошлись. Никто на нее зла не таил: в их среде такие уходы-приходы, часто вопреки здравому смыслу (и впрямь, ну какой в уличных здравый смысл?) были не редкость. Но все, как один, с горечью вспоминали, что больше не будет ни ее, ни Офелии, ни еще одного представления, в котором она играла клоуна. Это был клоун особый: на одну половину – рыжий, на другую – белый. Словно выбирая подходящий к случаю ракурс, она играла то одного, то другого. Порой они смешивались, налезая один на другого. Спектакль, по мнению уличных, был тонок, не всем понятен. Но лучше всего его понимали дети. Вспомнилось: взгляд, который она бросала, встречая детей, жалкий, безнадежный, скулящий. Ей, милой и славной Анечке, самой почти девочке, был нужен ребенок. Ни разу, даже намеком она этого ему не сказала. Он не спрашивал. Не интересовался. Спросил лишь теперь. Сейчас – поинтересовался.

Он всегда долго вставал: ворочался, кашляя и чихая, кряхтел, сутулясь и ежась. Анечка открывала глаза – и вспархивала, мгновенно умытая, свежая и причесанная. Иной ее и не помнил. Теперь, когда ее не было, он просыпался по-бунински с мыслью о смерти и живой Анечкой перед глазами. Казалось, что жила она по своим часам, что даже времена года были у ней свои. В самые жаркие дни куталась в некогда роскошную шаль: знобило. Или же забивалась, словно в норку мышонок, под одеяло. В эти минуты он не мог от нее отойти, оторвать от нее взгляд. Его пронзал холод, его трясло. Словно волна холода, исходившая от нее, его догоняла. В эти минуты он отрекался от прошлого, предсказуемого будущего, отрекался от памяти, словно входя в тесный туннель, в котором с ознобом исчезало время.

Но в холодные дни бесконечных дождей и диких ветров она, одевшись легко, прозрачно, бегала по улицам, от холода не страдая, не промокая. То серенькой мышкой шмыгала в норку, то изумрудною змейкой блистала на солнце. Ее тяготило то, что М.Гершензон называл «фабричными вещами». Любила всё, что несло на себе печать, пусть даже ущербной, неповторимости. Позднее он понял, что это не ее индивидуальная черта. Такими были все уличные. Его встречи с ними были не частыми, обычно – случайными. Но людьми они были приметливыми, и однажды Анечка рассказала, что некоторые из них высказались о нем в том смысле, она запнулась, что он (она не сказала: сноб) на многое смотрит свысока. На что он заметил, что есть вещи, на которые не смотреть свысока, есть подлость.

Размышляя над тем, почему они стали уличными, пришел к выводу, что виною всему был не укладывающийся в готовые рамки талант, читай: свобода в его проявлении. Актерство – бегство: от себя к другому. А бежать, как известно, из лагеря или же от себя, лучше всего в команде.

Они называли себя *Ла Баррака*, то есть, барак, хижина, балаган по-испански, присвоив имя передвижного театра, созданного Федерико Гарсия Лоркой. И поскольку дата их первой встречи забылась, отмечали Восемнадцатое июля – день святого Федерико.

У них у всех было чувство команды, но особое – как инстинкт. Сбиваясь в стаю (так называли), не жертвовали свободой – ее обретали. Всё это «вычислить», аргументировать было совсем невозможно, да они не то, что с презрением, с каким-то непониманием относились (это тоже их было словечко) к исчислениям-вычислениям. Играя и вне игры даже мысленно не обсуждали, правильно ли партнер поступил, они подхватывали реплику или жест, продлевая ее своим словом, жестом своим. Можно сказать, что друг другу они доверяли. Но лучше сказать: верили.

Однажды кому-то пришла в голову странная мысль, которая по обыкновению стала примеряться и обсуждаться. На его вкус, мысль была вовсе не странная – дикая, невозможная. Мысль была в том, чтобы вынести зрелище не просто на улицу – дело обычное, но на – пляж.

Предвечернее солнце, жара уже спала, и вот, они на узкой полоске между водой и сухим, куда не достигает волна, песком. Из декораций – пезлонг, на котором сидит седой, умудренный опытом и годами, не заемною мудростью господин. А перед ним – юное создание, воплощенная предмужественная красота, полуполяк-полубог. Одним словом, речь шла об инсценировке – без слов, пантомима, «Смерти в Венеции». Полубога, красавца должна была играть Анечка, за это был и ее давнишний опыт трагедии. Самое смешное и несуразное было в том, что кем-то на роль умирающего писателя был предложен он: в самом деле, играть ему нечего, сиди да на Анечку гляди пристально, неотвязно, а потом тихо сползи, умирая. Посмеиваясь, полусхутя, Анечка передала ему предложение, и он возмущился совсем не на шутку: слишком пошло – на пляже, показалась ему инсценировка одной из величайших в мировой литературе смертей.

Соединялись уличные надолго. И соединение это, впрямь, не было стечением обстоятельств, которые пусть с трудом можно и развести, это было неразмыкаемое сцепление, которому невозможно не подчиниться. Перефразируя Мандельштама, они в один голос все утверждали, что их любят дети и они нравятся женщинам. Издали они были подобны картине импрессиониста, но картине живой, движущейся. Подходишь ближе – импрессионизм исчезает, и на его месте возникают тела и лица – стилей разнообразных, порой неведомых. Но, так уж случилось, он их не слишком тогда различал. Всех заслоняла она. У каждого было прозвище, накрепко приросшее и заменившее имя. Только у Анечки прозвища не было. А-неч-ка. Запах мимоз, ласковый и щебечущий.

Уличные, как на подбор, все внешности неудобной, любили и умели опарашивать, делая это одной деталью, единым точным штрихом, таким, как белоснежная манишка, кощунственно выпирающая из нестираной затрапезы. Они не смеялись, они – гоготали. Не плакали – но рыдали. «Мы витаем в облаках, прикованные к земле», – сказал кто-то из уличных.

Их любимым словечком было «запахло», имевшее значение нравственного императива. Любой разговор, любая дискуссия прекращались с произнесением этого приговора. Если кто-то в своих размышлениях вольно или невольно разбивал о «запахло» лоб, другие, отпрянув от темы, ставшей удушливой и чадающей, словно жареный лук, начинали ушибленного лечить, пользоваться, как Анечка один раз сказала, словом и жестом. Таким жестом могло быть поданное в обычном ведре со льдом не пшпучка дешевая, но – шампанское, веселящее сердце, разрывающее самую застарелую грусть. Как говорил один из уличных: «Если пшпучка, то шампанское, если зеркало – венецианское».

Излюбленной похвалой было слегка проничное: «Ты, брат, Моцарт». Комментируя, посвящая его, Анечка сказала: «Не родиться Моцартом не зазорно, подло его убить». Любимым ругательством было «утомительная личность». Раз кем-нибудь произнесенное, оно становилось их общим, не подлежащим обжалованию приговором.

3

Брат на похороны не успел. Не нашли, сообщить не успели. Раз в несколько месяцев, когда выпадает несколько свободных дней, он забивается в угол, отключая все телефоны. Он приехал через пару недель. Заранее не сообщил. На кладбище поехал один, согласившись встретиться вечером – ночью он улетал. Брат был известным гастролирующим пианистом с расписанием на два года вперед. Вундеркинд, он с раннего детства жил вне семьи. С Анечкой виделся редко и мельком. Он требовал пристального внимания. Вундеркинд был мальчиком не простым, не раз выкидывал фортели. Анечку оставили на бабушку-дедушку, а мама до самой смерти – рак, сторела за несколько месяцев, нянчилась с ним. Тогда он только входил в моду, только начинал гастролировать. На один из первых громких концертов приехала Анечка. Взяли мать из больницы, и они вместе сидели в директорской ложе. Он тогда играл Рахманинова и Шопена. Успех кружил голову. Мать счастлива была тем, что он состоялся, что ее жизнь была не напрасной. После концерта мэр устроил прием. Ни матери, ни Анечки на нем не было. Анечка отвезла мать в больницу и оттуда улетела домой. Потом они встретились на похоронах матери и с тех пор больше не виделись.

Нет, на сцене ее он ни разу не видел. Хотел, но жизнь расписана. Редкие несколько дней подряд – для сна, для секса, пальцам тоже необходимо отвлекаться, конкуренция сумасшедшая, публика забывает мгновенно: сегодня овация, завтра – пустые залы. Сегодня талантливых пианистов пруд пруди. Зато импресарио наперечет, пианистов штампуют, а те делают себя сами. Была б его воля, стал бы не пианистом, но импресарио. Впрочем, всё впереди, кто знает, как сложится жизнь, ни от чего никто не застрахован. Он ее очень любил. Она еще в раннем детстве представляла что-то детское, он это помнит. Но мама отдала все силы ему, Анечку это, конечно же, обижало, впрочем, это он думает так, как думала Анечка, он представить не может.

У него был высокий голос. Не видя говорящего можно было подумать, что говорит женщина. К тому же слегка шепелявил и фразы свои выпевал, скверно артикулируя окончания. Говорил без пауз и без эмоций, словно исполняя один длинный, безумно сложный пассаж: десятая доля секунды задержки – и всё насмарку, обвал. Весь вытянут: длинные руки, длинные пальцы, длинные волосы, залысины еще больше удлинляли лицо, пианист говорил сбивчиво, путаясь в языках, в трудных случаях барабанил пальцами по столу, по коленям, помогая себе вернуться в знакомую, привычную с детства стихию. Попросили – рассказывал о сестре, только получалось, что о себе. Винить его было совсем бесполезно. Анечку он знал действительно мало, а о нем с ранних лет ведь твердили: призвание, миссия, гений.

Они сидели в гостиничном ресторане. Пианист попросил вызвать такси, и, глотнув на прощание кофе, забыв расплатиться, пожал ему руку. Вначале он следил за его гастролями, где-то

пути пересеклись, и он пришел на его концерт, после которого не дал о себе знать. Брат был талантливым пианистом, модным, успешным, но говорить им было, собственно, не о чем.

Когда брат уехал, он, словно закончив исследовать первый круг, попытался собрать воедино всё, что узнал. Деталей, мелких и незначительных, оказалось немало, но они никак не складывались воедино. Сюжетные линии не сходились, но разбредались в разные стороны. Сюжет не давался, и чем скорее забудет, займется другим, тем лучше.

Но хозяином положения был не он. Не он сочинял сюжет, сюжет сочинял его. Оглядываясь в прошлое, он ловил воспоминание: он – Пигмалион, Анечка – Галатея. Разница в возрасте, жизненном опыте, в конце концов, кто знает ее, актрису уличного театра, а он – писатель, широко известный не в таких уж узких кругах. Хотя, конечно, писателям нынче рассчитывать на широкую популярность никак не приходится. Только всё это в прошлом. Теперь, похоже, совсем по-другому: Пигмалион – это Анечка, а он – Галатея.

Ей, живой, сюжет предлагал он. Теперь она навязывала сюжет жизни ему. И этот сюжет был печальный.

Накануне тридцатого дня, когда согласно традиции проводится поминальная церемония, ему позвонили. Уличные решили поехать на кладбище, а затем вместе поужинать. Позвонивший, помявшись, сказал, что ужинать будут вскладчину, они люди отнюдь не богатые. Он был тогда при деньгах и хотел предложить заплатить за ужин, чтобы ребята не выуживали гроши на непредвиденные расходы. Хотел, но вовремя прикусил язык: человек при деньгах в этой компании изначально ощущался чужим. Решили собраться в центре, и он предложил заказать минibus, мол, пригласит знакомого, с ним рассчитается сам, по-свойски. Для ужина выбрали нечто среднее между забегаловкой и ресторанчиком. Их уютно устроили на веранде, в углу, подальше от остальных посетителей. Водку они принесли с собой, молча выпили, оставив одну рюмку нетронутой. Были немногословны и по-актерски косноязычны. Привычка к заученному чужому тексту не способствовала красноречию. После второй бутылки речи, не став осмысленной, удлинились, и в одной из них почти из одних междометий, прозвучала некая мысль, которая, сперва отпугнув, наполняясь разными голосами, становилась всё тверже, обретая совсем не пьяный остов.

Он давно водки не пил. И теперь бы не надо. Сквозь туман в глубине веранды он увидел Офелию-Анечку в белом хитоне, а может быть, саване, а затем вслед за ней выползла мысль, принявшая в крикливых кривляющихся междометиях вполне явные формы, которые они, уличные, ему предлагали вербализовать. Кто как не вы? Писателю – карты в руки. В конце концов, это ваш долг.

С водкой покончили, всё съев подчистую, и заказали кофе. Слегка протрезвев, решили: он пишет сценарий, они собираются, играют спектакль, фестиваль скоро, не пригласят – сами поедут, не выгонят. Ну, а дальше – будет день, будет и пицца.

Кроме междометий, они любили готовые штампы: пословицы, поговорки соскакивали с языка, заменяя порою нужное слово, а часто – и мысль. Как все театральные, уличные усвоили твердо: публика – дура, и хоть потакать ей они не любили, но помнили: дура капризная.

Такой вот заказ. Первый в жизни. Чего только не приходилось делать за деньги, но такое было впервые. Отказаться никак не возможно. Исполнить – тем более. Никогда не писал для театра, для уличного – тем более. Что делать? Потихонечку увильнуть? Попытался, но тотчас сам схватил себя за руку. Через неделю один из уличных позвонил, поинтересовался, как у него дела, про уговор деликатно не вспомнил, но было понятно: хотел узнать, но стеснялся.

Вообще – он открыл для себя, уличные были людьми деликатными. Не выбившись в большие артисты, с именем, мельтешением на экране, они берегли друг друга: честь, самолюбие, никогда никого не сравнивая ни с кем. Приезжая на место, рассыпались мгновенно, словно стайка мальков в теплой воде у лодыжки. Когда дело касалось спектакля, действовал принцип: всё или ничего. Если чувствовали: не поднять, отказывались. Если репались: то без компромиссов, не жалея ни времени, ни себя.

Из Леночки актрисы не получилось. Точнее, она не смогла выучиться на актрису, а без диплома даже большому таланту пробиться было почти невозможно. Конечно, всегда следует оставлять некий зазор на чудо, которое бесспорно может случиться, но редко, да и не с нами.

В театральная Леночка поступила, что само по себе было совсем невозможно: заоблачный конкурс плюс куча блатных. За что ее приняли? Таких, как она, на сцене всегда было мало: характерная простушка – ампула не для красавиц, которых в театральном пруд пруди, ампула для неброских, некрасивых, но ярких. Вот такой она и была: не красивой, но яркой, способной повернуться, что-то в прическе поправить, улыбнуться, и вдруг на глазах лепился образ, яркий, запоминающийся. Еще Леночка пела, неброско, негромко, но характерно и опять-таки ярко. Пела – образ лепила. А может, он сам у нее создавался? Лепился сам по себе? Всё было хорошо целый пер-

вый семестр: всё сдала, всё успешно, стипендию дали. А в начале второго Леночка заболела. Подробности никогда не рассказывала, никто и не спрашивал: окружали Леночку люди тактичные. Итог был прост, безутешен: Леночка стала хромать, и надежда на исправление походки, без которой актрисе никак, не было никаких. Предложили перейти на кукольное отделение. Заплакала и отказалась. Отчислили, вернулась домой, поступила осенью на филфак, и пела под гитару, друзьям. Больше всего ему в Леночкином репертуаре нравилась «Галатея», вывезенная из театрального института. Когда Леночка брала в руки гитару, он просил «Галатею», и та не ломалась. Автор песни Александр Городницкий, может, пел ее лучше, всё-таки автор, но ему нравилась Леночка. Особенно ей удавалось голосом грубо-ироничным и одновременно возвышенным (редкое сочетание) прорисовывать процесс превращения мрамора:

*Позабыв про еду и питье,
Он вял ее нежно и грубо.
Стали теплыми бедра ее,
Стали алыми белые губы.*

В этот момент ее не слишком широкие бедра сами собой раздвигались, источая уже не тепло – жар; губы адели, и Леночка преображалась – из затурканного скульптора в роскошную, манящую взор пышнобедрую алогубую Галатею, которой пофиг какой-то там скульптур, эллин несвоевременный, только и может, что слезы и плач. И в этот момент, словно спохватившись и сбросив с себя наигранную пышнобедроту и алогубость, Леночка тихо и безнадежно внимала упреку:

*Не сиди же – печаль на челе, –
Принимайся, художник, за дело:
Много мрамора есть на земле,
Много женского жаркого тела.*

Наконец, в последнем куплете наступал апофеоз. Оказывалось, что всё это – и эллинтворец, и блядь Галатея, всё это глупость, пустое, а вечное вовсе не в том.

*Бродят греки веселой толпой,
Над Афинами песни и гомон...
А у скульптора – мертвый запой:
Галатея уходит к другому!*

Леночка пела, весело, звонко, пела, издеваясь над всем и вся: над скульптором, которого было жалко, над глупой моделью, над всеми, над которыми возвышался, низко к земле пригибая, словно бабочку иголкой пришила, далекий Олимп в Кремле, где восседали верхом на клипирных трубках небожители, не успевшие разложиться на атомы. Что было делать? Смеяться, петь, издеваться. Что и делала – несомненно, лучше их всех, несостоявшаяся актриса.

4

Так появился сюжет с Галатеей. Поговорил с уличными, им понравилось. Но чего-то ему не хватало. Неделю промучился, пока не понял: Галатея – славно, но не достаточно, ее надо чем-то дополнить, уравновесить. Творение слишком многообразно, чтобы свести к одной Галатее. Как-то, возвращаясь домой, зашел в лавку. Собрав покупки, уже уходя, услышал:

– Никому еще не удавалось превратить голема в человека. Иное дело человека – в голема.

Всё было верно. Только Анечка была способна превратить голема в человека. Теперь путь был обозначен. Осторожно, словно боясь зацепить неосторожным движением и – разбить, стал продираться сквозь наслоения к чистой, прозрачной тайне Творения. Вместе с великим рабби он кочевал по Европе, изучал Тору и учил других, занимался теологией, этикой, познавал тайну изгнания и избавления, занимался делами общины, писал книги и тайно, ночами, убегая от всех, готовился к главному в жизни. Вместе с рабби обретал свободу, познавал совершенство, читал великих мыслителей всех народов и разных религий, и, наконец, вместе с Иегудой Лива постиг, что от причинно-следственной закономерности убежать сможет лишь тот, кто избавится от тяжести бытия, пригибающего к земле.

Избавление, результатом которого становится сотворение голема, было вторым сюжетом, который решил предложить уличному театру. Главное было в том, что оба сюжета должны были

реализовываться одновременно. Человека творили великая сила искусства и великая сила веры: они не сливались, но действовали одновременно, синхронно. Две пары актеров (Скульптор и Галатея, Рабби и Голем) творили на глазах зрителей при помощи пластики. Слово, он полагал, при творении инструмент слишком грубый, неточный.

Сомневался: оставить ли жизнь творцам при сотворении или они, передав жизнь творениям, должны расстаться с земным бытием? Так, ничего не решив, оставил решение уличным, полагаясь на их интуицию. Отослав по электронной почте сценарий, который точней бы назвать либретто, решил: на представление не пойдет. Резон был простой: то, что он мог увидеть, было в любом случае далеко от задуманного. Навязывать же свое представление актерам было делом заранее обреченным, к тому же чреватым разладом.

Минуя младенчество, мраморная Галатея и глиняный Голем обрели с жизнью свободу выбора, а потому их бунт был неизбежен. Удивленные, пораженные, оскорбленные, Скульптор и Рабби уходили в запой и молитву, потеряв то, что должны были потерять: власть над творениями. Они отдали всё, и теперь неоставало ни сил, ни мудрости быть рядом с ними, искушенными змеем свободы в мгновение, когда дыхание жизни коснулось их уст.

Что оставалось творцам? Запой и молитву лучше всего, как ни печально, совершать в одиночестве, вдалеке и от своих творений, и от Господних. В последней сцене, оставшись одни, без творений Рабби и Скульптор, молящийся и запивший, удаляются в разные стороны, исторгая себя из мира живых: то ли в лес, непроходимый, дремучий, то ли в пустыню, безжизненную, недоступную.

Когда посылал текст, вспомнилась картина, то ли купленная, то ли подаренная. Анечка принесла, повертела, повесила, словно продлила комнату – за окно, за город, в пустыню. Коричнево-желтый песок, солнце заходит, еще светло, но вот-вот хлынет тьма, поглощая пустыню, следы, ведущие к входу в пещеру. Следы, яркие, отчетливые у пещеры, ступеньваются, блекнут, теряются, пропадая задолго до горизонта. Пещера – темный клочочек пространства на невысоком холме, который, словно надгробие, слегка возвышается в голой пустыне.

Что там в пещере? Не сказано, не написано. Зритель не знает, но чувствует: знает художник, а не заглядывает – из скромности или от робости. В конце-то концов, анахорет (иудейский, христианский, мусульманский, буддийский или какой иной) отшельничает в пустыне не для того, чтоб к нему в пещеру подглядывали. Да и какой художнику толк, что там глядеть: темно – ничего не увидишь, а что заметишь – как это напишешь, серое, блеклое, никакое. Иное дело, отшельничий лик, только он для тебя ведь на свет Божий не выйдет. Получается: выпишешь – ложь получается, грустная, скверная.

Приближалось столетие бегства графа Льва Николаевича из Ясной в Астапово. Бегства из жизни, скверной, натужной, – в смерть, покойную, светлую. Позвонили (задолго, боялись, наверное, опередят):

– Неужели сто лет?

– Именно так.

– Правда.

– Будет несколько материалов: философский, публицистический. От писателей – Вы.

– Спасибо. Польщен. Постараюсь.

– Только, – замаялись, – о Софье Андреевне плохо не надо.

– Ее причислили к лику святых?

– Не обижайтесь.

– О ней ничего я писать не смею. Наталья Николаевна, Софья Андреевна да Анна Григорьевна – не по моей это части.

– Мы рассчитываем на Вас.

– Постараюсь. Спасибо.

Это и впрямь по всем признакам было бегство. С одним только нюансом, но – меняющим всё. Бегство на глазах миллионной публики больше смахивает на театр (если в понятиях того времени), телешоу (забава для миллионов). Отсюда вывод: публичное бегство не есть бегство вообще. А уход графа Толстого хорошо бы одним емким словом, которое – в заголовок, определить. Заголовок-концепция, заголовок-идея: запоминается, вгрызается в память. Но такой заголовок слишком большая удача, чтобы на него полагаться. Если есть, по совести и писать ничего не нужно. Представил: заголовок, а за ним ничего, пустота. Славно, хоть раз попробовать. Только кто на это пойдет?

Ясная всегда представляется белой, в снегах; занесенный прешпект, над домом – дымы, вокруг него корабли. Вокруг не волны – снега, и дуб, словно на площади памятник, посреди заснеженной ясной от солнца и снега поляны. Знал: не так, бывал и не раз, а вспоминается так, ничего не подделаешь.

Написать о Толстом приятно, самолюбие теплит: гений и ты. За такие статейки (большинство из них можно свести к имени автора и о ком; остальное жвачка жеваная и выплюнутая) платят, однако, неплохо. Некоторые кормятся: в каждом месяце кто-то родился, а кто-то умер, многие громко и юбилейно. Поставщики дат кормят неплохо, даже те, кто окормлять перестал. Но не до жиру ведь.

Бегство бывает двух видов: от людей – значит, к Богу; от Бога – соответственно, к людям.

Давид бежал – в страхе, отчаянии, гонимый тоской и сыном, объявившим себя царем при живом царе и отце.

*Господь, моих врагов не счесть,
воставшие неисчислимы.*

*Не счесть твердящих:
душе моей нет спасения в Боге
(Псалмы 3:2-3).*

Спасался бегством Давид, как все в безвыходном положении. Бежал, не полагаясь на силу, не уповая на хитрость? Нет, хитрил, собирал и, уповая на Бога, бежал: вначале в пустыню, затем – за Иордан, в Маханаим, где праотец Яков боролся с посланником Господа и победил, добыв в поединке имя новое Израиль себе и потомкам своим, в том числе рыжеволосому, румянному юноше, младшенькому в семье. Ему-то назначил Господь царствовать в Израиле и бессмертные песни слагать.

Ему повелел Господь – и Давид спасается бегством, заметим, не в первый раз. Бежит он от сына, бежал от царя Шауля. Но бегство никогда никого к радости не приводит. Давид не только спасется, Давид – победит, и вслед за радостной вестью, вслед за первым гонцом примчится второй с вестью о гибели сына. Встанет Давид, разорвет одежды свои, вновь обратится в бегство – не от гонителей, от друзей-победителей.

Вся жизнь его – бегство. Как знать, от кого? Куда как важнее – куда.

*Твой дух – куда от него я уйду?
Твой лик – куда убегу я?*

*Достигну небес – Ты там,
в преисподней постель постелю – и вот Ты.*

*Вознесусь на крыльях зари,
поселюсь ли за морем,*

*И там Твоя длань ведет,
держит Твоя десница.*

*Скажу: только мрак сокроет меня,
и ночь светом мне будет.*

...

*Боже, познай меня, мое сердце узнай,
Испытай, думы изведай.*

*Смотри, печален мой путь,
веди дорогою вечной*

(Псалмы 139:7-11, 23-24).

Глядя на Анечку, можно было понять выражение «взгляд витает». Попробуй описать, изобразить на холсте, на бумаге эту самоуглубленность и отстраненность от окружающего. Попробуй передать взгляд, соскальзывающий в пустоту, попробуй передать нездешность, в которой и мука от окружающего и презрение к нему, и еще много чего, словами не выразимого.

Иллюстрируя еще одно расхожее выражение, она безжизненно замирала, словно отделяясь от взгляда, буравящего невидимое, взору эвклидову недоступное. Выражаясь научно, «витающий взгляд» можно было бы назвать гипостазированием: взгляд наделялся самостоятельным бытием, обретал ипостась – очень ее, не похожую ни на что у других. И что самое странное: ее витаю-

щий взгляд словно передавался другому, она покрывалась тончайшим флером, окутывалась дымкой – не туманом, но дымом догорающих, исходящих дымом белесых костров. Когда же взгляд Анечки возвращался в покинутый мир, ежилась и вздрагивала, в ее глазах загорались ушлые бесенята, привлекательные, наглые и проворные, словно эфебы-мальчишки, готовые всё высмотреть, всё подметить, искрами выскакивая из зеленой гадючьей шкуры.

5

Со смертью Анечки, с ее последним, окончательным бегством отправился в бегство и он, словно отключив связь с сегодняшним днем. В этом времени и в этом пространстве делать ему было нечего. Он не обрывал связи, они сами собой отмирали. Оставались лишь те, без которых физически существовать он не мог, и те поддерживались натужно, с тягостным осознанием обязательности. Так безнадежно больному нагнетают в легкие кислород. Зачем? Потому что велит закон. Отменить этот закон нельзя: с жизнью не шутят. Тем более что бывают и чудеса. Но закон далеко не всегда разумен и справедлив.

Он начал скитаться: по стране и по миру. Любая поездка была желанна, в любую дорогу собирался мгновенно. Бегство в пространстве можно было понять и объяснить – себе и другим. Куда сложнее было понять бегство во времени. Потеряв интерес к настоящему, он ощущал – свято место пусто ведь не бывает, как в его остывшую кровь вливаются токи иной, не своей, но не вовсе чужой. словно давно ушедшие предки принимают его, беглеца, в свое время, вливая в него горячую, свежую кровь. Это не было развоением личности, когда alter ego проецируется в далекое прошлое, проваливаясь в него. Напротив, прошлое поднималось к нему, его собой наполняя. Давно ушедшие, они приходили к нему во сне, в странных дневных видениях, когда незнакомые вдруг на бегу всматривались в него пристально, понимающе. Это были взгляды не добрые и не злые. Они были не здешние, не сегодняшние. Он понял, что так же, как время, эпоху и место можно определить по множеству внешних признаков, даже снимки с прохожих одежду, обнаженные, они будут свидетельством времени и пространства, так – отдели взгляды от тел, и тогда всё равно отличишь эпоху одну от другой.

Имена двух его прадедов – Авраам. Один смотрел на него из желтой степи, окаймленной морем. Другой – из желтой степи, сухой и безводной. Что он знал об этих степях? Никогда он там не был, и скорее всего, не будет. Но даже если бы и хотел, от этих степей не смел отвязаться, не мог спастись бегством. Потому он не мог, что она, желтизна, была его бегством, его спасением. Это была не полная жизни желтизна бесконечной Ламанчи, поразившая, ставшая символом полноты жизни. Родная ему желтизна была совершенно иной: искореженной, как саранчой, изъеденной пылью до основания, до нутра.

Куда и зачем он поехал, запряг кобыленку в повозку? Выхода не было: детей кормить надо всегда. Революцией и войной хорошо баловаться бездетным. Аврааму надо кормить детей, вот, и рискнул, а, рискнув, нарвался на пулю – белую, красную или зеленую, бог весть, никто никогда не узнает. Хватило ли сил, кобыленка ли довезла – и этого никто никогда не узнает. Не узнает, потому что о прошлом мы знаем только лишь то, что они, сбежавшие в вечность, приобщившиеся к народу своему, нам сообщают. А – что, им виднее.

Доехал Авраам. За спиной осталась пыльная, мертвая желтизна, скрипящая – сколько колеса не смазывай, заглушающая редкие птичьи крики – то ли повымерли, то ли повыбили их.

Внешность прадеда ему было трудно представить. Фотографий не сохранилось, может, и не было никогда: в те времена в медвежьих нищенские углы фотографы добивались не часто. Но он всё-таки пытался представить его, согбенного горем, заботами – не по годам, с бородой густой, заметно тронутой сединой. Главное – облик изгоя, несущего на плечах два тысячелетия изгнания, из которого три раза в будние дни в молитвах совершал бегство домой, на родину, в Иерусалим, возносящийся в синеву и его возносящий. Прадед прожил недолгую жизнь, убитый пьянью и рванью в желтой безводной бездушной степи.

Придумать правдоподобную внешность совсем не трудно. Одежду – тем более. Десяток фото (территориально и социально близких) того времени: пошив состоялся. Да и судьбу досочинить не сложно, если знаешь, где и когда он родился, где и когда он умер. Остальное: хедер – Ноев ковчег изгнанничества, орава орущих мальчишек (рабби ушел), смиренных, с чертиками в глазах (рабби пришел). А дальше – выбор совсем не велик: парикмахер, портной, стекольщик; везучему – лавка. Раз не уехал в город, то выбор сужается: замкнутый круг. Затем – сватовство, шумная свадьба, дом, деньги, дети.

Ерунда. Сюжет для скверного сочинения. Главное – те мгновения, которые не восстановить, не постичь. То, что рвало душу и бессвязными звуками уходило в бессонное звездное небо, быть может, великим, никем из людей не слышанным текстом: молитвой одинокого человека под одиноким небом.

Что за слова он направил в звездное небо? Что он Богу сказал? В синагоге можно говорить заученными с детства словами. То, что не помнишь, прочитаешь в молитвеннике. Но здесь не синагога, здесь чужими словами говорить невозможно. Можно даже без слов. Но это сложнее. Слова нужны, чтобы легче сказать: каждое слово произнесено другими, и это тебе помогает.

В глазах ни ненависти, ни удивления. Устал ненавидеть, перестал удивляться. От всего убежал. Впереди – голубая вечность, сапфировое видение, хоть краешком глаза. За тот день или два, которые умирающий провел в этом мире, его взгляд стал витающим. Он с трудом различал черты Леи-жены и троих ребятенков, самый маленький – мальчик, две старшие девочки.

И наступил момент, когда даже они исчезли; глаза устремились к правнуку, которому он призван помочь бегством спастись. Спасшийся бегством обязан помочь спастись бегством другому. Это он знал давно. Он помогал спастись. Он вместе с ним заходил в дом, в котором что-то скрипело, взвизгивало и шуршало, то ли стены, а может быть, мебель, а может, сам дом, возведенный в те давние времена, когда дома прежде жильцов населяли духи и домовые.

Он вел по болоту: с кочки на кочки; нога проседала, но ровно настолько, чтобы ощутила опасность. Он вел вокруг, обводя гибельные места, лишь прикрытые травкой, а на самом деле в любое мгновение готовые утянуть его вглубь.

Когда трепещущее пламя, разгораясь сильнее, уже приближалось к нему, по пути поглощая людей и животных, деревья и здания, когда от огня спасения не было, внезапно ветер стихал, и пламя бессильно останавливалось, мелея и угасая. Прадед отводил его от гибельной степной желтизны. Видимо знал, что для их рода ничего не бывает опасней.

Ему было ведомо будущее. Потому – вел и спасал.

Теплое, светлое утро – после темной холодной ночи. Мгновенное ощущение жизни. Счастливейший редчайший миг бытия. Цветущий снежный миндаль, за ним в глубине, вдалеке – купола золотые. Легкая предвечерняя дымка. Далекий слегка щекочущий ноздри дымок. Тихо, неудобно и бесконечно. Это – здесь, у него и сейчас. А там, у того и тогда...

Анечка играла всегда, играла везде, при любых, с его точки зрения, не всегда благоприятных для этого обстоятельствах. Играла интеллектуалку или простушку, Красную шапочку или Кармен, кого и почему – без объяснений. Не всегда могла объяснить этот выбор, да и ни в каких объяснениях не нуждалась.

К его аксиомам отнеслась серьезно и настороженно. Похоже, поиск незыблемых истин ее напугал. Но свыклась, привыкла, заинтересовалась и стала вникать. Вначале читала его заметки, потом напросилась на встречу с читателями. Но всё это кончалось каким-нибудь случайно возникшим и всегда – по его пониманию, не ко времени, разговором. Он возникал, как и всё с Анечкой связанное, совершенно спонтанно. Вдруг – приподнявшись в постели, или в шумном кафе, она могла ухватиться за слово, да где там слово, за краешек, случайно отмотавшуюся ниточку речи, и тогда спасения не было, всё на полном серьезе. Оборвешь, отвертишься – потом не ублажить, прощения не выпросить. Ухватившись за краешек, она вопросами, простыми, наивными, детскими, вытягивала всю душу. Любимый конек – избранность евреев или Мессия. Она растаскивала великие, совсем не простые понятия на ниточки, словно разматывала клубок, от которого оставалась, как от костра, кучка золы и обугленных, не прогоревших поленьев.

Она вытаскивала из машинки колесико, и получалось: машинка без колесика и колесико без машинки совсем бесполезны. Не понимала или не достаивала, что любое понятие, аксиоматическое тем более, совсем невозможно, глупо, ненужно без окружающих и скрепляющих его связей. Что оно – часть системы, которую, даже отвергая, нужно, прежде всего, проследить во всех возможных, доступных связях. Странно, в искусстве, в игре, она чувствовала систему. Если меняла что-то там, в антураже, реагировала изменением мимики, жеста. Но это – в искусстве, в среде, в которой она родилась, выросла, которую любила и знала. Может, потому что любила, – понимала и дорожила. А его аксиомы были чужим. Понять хотела, старалась – не по любви. Они были ей любопытны, потому что они – его. А его – об этом не говорила, она любила. Приходил – была рада. Играя простушку, вскакивала, кружила, обвивала руками шею, валила, дурачась в постель, одним махом сдергивая с себя одеяние. Играя суровую даму, интеллектуалку, не позволяла дотронуться ни до единой пуговицы строгой одежды. Правда, и здесь всё кончалось взмахом и вздергом.

Всё мгновенно валилось – под ноги, на пол, из-под лягушачьего одеяния вспыхивало нежно-розовое сияние. Розовые соски вздрагивали, и он ловил их губами, жадно, как последнюю в жизни надежду на свет, на то, что это последнее бегство принесет умиротворение и покой. Когда уходил, облачко розоватого светлого счастья тянулось за ним, постепенно выветриваясь: городские ветра, запахи пыли и гнили облачко разгоняли. Шел медленно, стараясь не расплескать, но счастье просачивалось, словно в дырявом сосуде, и утекало. Становилось тягостно: не умеет хранить, память его не способна запомнить и не отдать на разор. От осознания этого было невмочь – идти, есть, жить. И он снова пускался в бега, зная прекрасно, что единственный выход – назад, к Анечке.

Чем больше он привыкал к этим несчастным мгновениям блаженства, тем тяжелее давалось ему похмелье, долгое, тягостное, мучительное, исполненное ощущения безнадежности. Как-то была дикая жара, на улице подбиралось уже к сорока, в квартире, несмотря на тяжело дышащий кондиционер, всё равно было жарко, она показала ему фотографии. Юное розоватое создание с нежной, детской грудью на фоне окна: снег подбирался к окнам первого этажа. Она улыбается. Едва прикрываясь руками: одной внизу, другой – сверху. Он всматривается, пытаясь на фотографии различить хотя бы след маленькой юркой змейки, голубовато мелькающей от верхней части груди и прячущейся подмышкой. Но змейки нет. Спряталась? Затаилась?

– Тебе тогда не было холодно?

В ответ улыбнулась.

– Сколько тебе здесь лет?

Промолчала.

– Фотографировал кто?

Ответом не удостоила.

Больше не спрашивал. Смотрел, стараясь запомнить.

Странно, для актрисы, тем более, актрисы от Бога, в ней не было ни на гран стремления к славе, даже простого тщеславия. Преодолевать себя, ехать куда-то, делать то, что прикажут, было для нее нестерпимо. Она не терпела – и, понятно, не терпели ее, долго, по крайней мере. Он пытался свести ее с режиссерами репутации ангельской. Поняв бесполезность, сводничество прекратил, признав ее право, если же не на бегство, на – отделенность, добавляла: врожденную.

Кто, как не он, знал, что не столько важна судьба, сколько точка в конце. Как ни прискорбно, но именно она задним числом выстраивает судьбу. Страшно представить, что удался бы Пушкину замысел (искренний или мнимый, кто знает) уехать в деревню, и его красавец-пушин Дантес-Геккерн не выстрелил столь (для тогдашних врачей) неудачно. Зажил бы, брат Пушкин, в деревне: моченые яблоки, ядерные девки, мороз и солнце, ни балов, ни любви. Так что памятник ставить надо не Пушкину, а Дантесу. Он выстрелил – и солнце русской поэзии закатилось (иначе, кто бы узнал, что взойшло?). Иное дело, что Пушкин, как говорили в детстве у них во дворе, сам нарывался. Не глуповатый красавец к нему приближался. Пушкин бежал по направлению к дымящемуся пистолету, а это в бегстве решающий аргумент, последняя точка.

Он шел, с трудом поднимая ноги в снегу, по направлению к мосту, по которому шел когда-то, проникаясь шумом, весельем и беззаботностью. Он искал этот мост, с которого каждый год несколько человек прыгает в реку. Он шел, представляя себе, как это будет. С трудом перелезет – даже если снимет пальто, через перила. Перелезет – и белая бездна.

Снег и лед. Ночь. Тело найдут к утру. Лужа крови, черная на снегу. Гора развороченного мяса. Надо бы что-нибудь написать. Записку. Предсмертную. Иначе и неудобно.

Стало знобить. Писать было совсем не охота. Утреннее зрелище на снегу показалось ему отвратительным. Но выбора не было. Его быт не предполагал ни пистолетов, ни ядов. Резать вены столовым ножом было еще более омерзительным. Получалось, что точка никак не выписывалась. Приходилось из эстетических соображений выбрать единственное, хоть и скверное продолжение – жизнь.

Это было не весело, не забавно. Постоял полминуты. Поправил на шее шарф и запагал от моста в обратную сторону – то ли к площади, то ли к рынку. В этот момент это было неважно.

Время от времени, сперва с удивлением, затем с ужасом, он обнаруживал, что происходящее в Стране и в мире всё меньше его волнует. Каждый год, да что год, каждый день приносила всякие новшества, но ничего не менялось: зависть, глупость, жадность и злость правили миром, как тысячи лет назад. Казалось, жестокости стало меньше, что опровергали полицейские сводки. Человечество бежало быстрее, прыгало выше, метало дальше, но всё это было ужасно скучно. Ее

настроение, ее игра, ее проказы были важнее самых смелых решений властителей мира. Он не мог долго прийти в себя, обнаружив, что знаменитый манифест цинизма «мне ли чаю не пить, или миру провалиться» вполне разделяет.

У Анечки была мания: она избавлялась от ненужных вещей, точнее тех, которые считала ненужными. Этим заразила его, прежде обраставшего вещами, как днище корабля ракушками.

Анечка смеялась громко, заливисто, словно выбалтывая секрет, свету лицо обнажая. Она плакала тихо, украдкой, словно тайное охраняя, лицо прикрывая тенью. Она играла – жизнь проживая, и жила – не играючи, но – играя. Лицедействуя, становилась косноязычной, словно мимика, жест уничтожали способность выражаться словами. Сама смеялась над этим, бравировала. Да, собственно, слова ей не слишком были нужны, они зачастую даже мешали.

Ей достаточно было провести рукой возле лица, словно снимая маску, и, вот, другой человек. Играла Анечка истово, самозабвенно. Он старался, как мог, очертить грань между жизнью и между игрой, но, под ее власть подпадая, подыгрывал, неумело, нелепо, как получалось. Если она была Клеопатрой, то ему приходилось становиться Антонием. Становилась Лолитой, он – Гумбертом Гумбертом. Когда вырядилась Антиноем, ему ничего не оставалось, как стать Адрианом. Он был ей партнером и единственным зрителем в этом абсурдном живом театре.

Порой казалось: они бегут вместе, бегут в какой-то далекий, нелепый старинный город по имени Бежецк, которому, наверное, по заслугам, определила место в хрупкой женственной вечности Анна Ахматова:

*Там белые церкви и звонкий, светящийся лед.
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.*

6

Радио, телевидение, интернет и газеты захлебывались слюной: одни от неумело скрываемой радости, другие – от ненависти. В Дубае уничтожили террориста. Уничтожили тихо, без шума. Но уничтожили – значит, шум будет поднят. Это было неизбежно, как и то, что лица уничтожавших были зафиксированы телекамерами слежения в гостинице и аэропорту. Одни по этому поводу сказали: провал. Другие же промолчали, недоумевая, соображая, что фиксация камерами слежения не могла не приниматься в расчет. Это было то ли не слишком важно, то ли входило в накладные расходы, подсчет которых затраты оправдывал: деньги, люди, престиж. Толстомордый полицейский в чалме рассказывал на экранах, любуясь нежданно-негаданно нахлынувшей популярностью, как его служба во всём разобралась. Защита приезжих, видимо, в его функции не входила. Он слушал всю эту свистопляску, слушал, соображая. Фото подозреваемых – необходимая плата или что-то другое? Не могли ведь не знать, что камеры их сохраняют для потомства? Знали – не прятались. Не могли? Но даже когда шли по пустынному коридору и могли прикрыть лицо чем угодно, да хоть бы рукой, не прятали. Значит, за этим кроется что-то иное. Не выполняет ли чалма то, на что и рассчитывали? Похоже, его просто использовали: словно глупому котенку, подбросили клубок ниток, он его и разматывает, не ведая, что и по чьей воле творит.

Это ход. Не слишком изъезженный. Может, стоит сочинить детектив. Не липовый – настоящий. Минимум психологии. Темп. Движение. Сюжет: тыканье в тушиках, блужданье в потемках, следы истинные и ложные. И, наконец, финал: сюжет несетя, как истребитель, оставляя белый туманный след. В результате всё с устранением террориста задумано с одной-единственной целью: вытащить чалму на экран. Для чего? Придумать цель – не маленькую, глобальную. Если уж детектив, то чтоб спасти мир.

Анечка проходила мимо, не оборачиваясь на сенсации, чудеса, всё выдающееся из ряда. Останавливалась в удивлении перед простым, обыденным, очевидным. Свойство философов. Кто это сказал? Многие говорили. Прошло время: привык и останавливался вместе с ней, всматриваясь в очевидности, главным из которых была сама Анечка. На злаковом поле была тем сорняком, от которого взгляд было отвести невозможно, прекрасным и бесполезным. Иные добавляли: и вредным. Людей прочитывала с первой же встречи. На отвергнутых морщила нос, словно пригнохивалась, изрекала: «Мягкое и...», дальше по обстоятельствам, иногда добавляя: «вонючее». В людях не ошибалась.

Холод Анечка не любила. Любила тепло. Холодные дни оправдывал дождь (его она очень любила) или же снег (обожаемый до самозабвенья) – за редкость и неожиданность: снег прогнозы угадывали не часто. Поначалу казалось, что Анечка – зыбкая фантазия стареющего джентльмена. Но время шло, доказывая обратное. Анечка была для него той пчелой, которая по слову Ортеги, умела собирать мед и жалить. И жалила она по-особому: молчанием, гулким, звенящим, отдававшимся у него в голове. В такие звенящие дни он спасался, про себя повторяя Августина Блаженного: «Amor meus, pondus meum; illo feror, quocumque fero», любовь моя, бремя мое; влекомый им, я иду повсюду, где я иду.

Денег у нее не было никогда, даже если случался какой гонорар или он ей давал. Счет в банке давно закрыли, а наличные разлетались, как птицы: то в теплые края, то обратно, ее непременно минуя. Он перевел на свою кредитную карточку все ее постоянные траты: она не заметила. Шекели, то ли ласкательно, то ли презрительно, у нее не поймешь, называла шакалы, и те, возможно в отместку, ее и впрямь не любили.

У него никогда не было вкуса к идеологии: пусть расцветает сто или тысяча (подзабыл) разных цветов. Главное, чтоб ему не мешали существовать. Именно так, по мнению Анечки, долго и нараспашку он произносил это слово. Понятно, что идеологий, не мешающих жить человеку, вовсе не существует, поэтому допустим компромисс, устанавливающий границу вторжения и насилия. Но так было когда-то. С появлением Анечки он, видимо, заразился тем, что называл самостийностью. Об ее анархизм, как о скалу волны морские, разбивалось всё, что угодно. При этом в защите она не нуждалась. Лучшей защитой для Анечки было соитие с ролью, которую сама выбирала. Когда речь заходила о левых, правых, ее фарфоровость сменялась твердой упругостью: идеологемы отскакивали, как мячики для пинг-понга, стремительно, потягивая, как щенки.

Он давно не принимал никого дома: ни в квартире с женой, ни тем более в их с Анечкой жилище-избушке. Если – некуда деться, надо было с кем-то встретиться (обычно он удовлетворялся интернетом или же телефоном), то свидание назначалось в соседнем кафе, днем обычно пустом. Хоть он бывал здесь в последнее время не часто, его столик в углу, между окнами (одно на типичнейший в городе переулочек, другое – на площадь, вечно запруженную-загаженную машинами) был свободен. Никогда об этом он не просил, да и официантов хозяин менял беспрерывно, но когда ни придет, столик пуст, казалось, томится, ожидая клиента. Он усаживал гостя с видом на площадь, сам притискиваясь к переулочку. В нежаркие дни даже днем из открытого окна доносилось немудреное пенье: птички развлекали себя, а заодно и его.

Когда-то, в давние времена он приходил с утра, вначале с блокнотом, затем с ноутбуком: избывал домашнее, самое скверное, одиночество. Порой получалось, работал, время от времени награждая себя заказом: несколько чашечек кофе (заказывал всегда маленькие, как наперсток), а бывало, к полудню и скромный обед: готовили здесь немного, но одно-два блюда можно было заказывать не глядя.

Повар был старый, неторопливый. Еду не готовил – творил в свое удовольствие и во славу Господню. Никто из посетителей повара никогда не видел. Зато все знали о его легендарной судьбе. Что было легенда, что был, установить возможности не было. Да и никого это не волновало. Он был мулат. Из Южной Африки. Говорили, что у его белой матери, еврейки из победителей-буров, внезапно родился темнокожий ребенок. С кем, как, от кого – об этом легенда молчала, рассказывая о том, что рос он с другими братьями-сестрами в многодетной еврейской семье. Подрос – попросился в Париж, где учился в кулинарной школе, вернулся домой, женился. Но что-то случилось, то ли она изменила, то ли он почему-то взбесился. Жену нашли мертвой со следами насилия. Его долго мурыжили, но оправдали. То ли не был он виноват, то ли сработали семейные связи. Едва отошел, наступили тяжкие времена, белые разбежались по миру. Он разбежался в Израиль, примкнув к хасидам, из самых суровых – браславских, на жизнь, зарабатывая стряпней. Секрет старика был прост и изящен: он не мудрил, необыкновенных соусов не изобретал. Печень жарил на углях – и всё. Добавляя какие-то травки, стручочки, а может, цветочки. Кто знал. На вопрос Анечки официант промышчал, а он ей объяснил, что о поварских тайнах даже хозяин не ведает.

Жизнь булькала, пузырилась, словно кто-то невидимый курил, наслаждаясь, кальян. Раньше он каждое утро сюда приходил, часто думая о Городе с мостом в центре Европы, пропитанном мистикой, и о стране, в которой периоды озверения сменялись эпохами омерзения. И не было периодов этих страшней, эпох этих гаже.

Приходил каждое утро и, завидев в противоположном углу приятеля, шел вначале туда поздороваться, под настроение – посудачить. Приятель, в иные эпохи почти даже друг, приходил

всегда раньше. Порой на его глазах хозяин снимал замок, огромный и допотопный. Писательское ремесло, кормящее скверно, со временем он забросил, продал душу телевизионному дьяволу и прославился циклом, в котором главным героем была жратва, по большей части обильная и разнообразно этническая. В кадре ел, смаковал, вкушал, лопал и обжирался. Прикол, как говорят молодые, был в том, что мог просидеть в постный день (не на съемках, вестимо) с чашечкой кофе, за целый день не спросив ни сэндвича, ничего. В кадре, насилая себя, жрал, и, надо же, это нравилось, потому с каждым годом обжирался всё веселее: гонорары росли вместе с известностью. Но аппетит так и не появился.

Его отец с матерью – романтическая история, странно, что он еще не продал сюжет, восемнадцатилетними в последний миг ускользнули. Вслед за ними Германия с треском захлопнула дверь. Убежали, выжили, родили ребенка, а все остальные, оставшиеся, погибли. Погиб старший брат отца, уехать никак не мог – надо было допечатывать еврейские книги. Он выполнил долг, напечатал книги, которые потом фашисты сожгли. Остались считанные экземпляры. Ни одного нельзя было купить ни за какие деньги. Однажды отец тележрущего попросил одного коллекционера посмотреть, подержать в руках. Ушел он, рыдая и унося подарок: две книги, изданные в Берлине в 1940 году.

Сюда каждый приходил не только с прошлым – приносил благословения и проклятия рода. Одни знали проклятия и учились остерегаться: их жизнь была тягостной. Другие знали благословения: их жизнь была беззаботной, веселой. Третьи знали и то, и другое: у них светлые полосы сменялись печальными. И, наконец, – их было совсем немного, тех, кто не знал, кто он, откуда. Эти безвольно, бесцельно порхали, над собственной мотыльковой судьбой насмехаясь. Они всюду несли прошлое рода, как Америка свое европейское прошлое, как доллар в своем мутном шуршании серебристый звон талера.

Утренние визиты в противоположный угол сменились приветствиями: он поднимал руку, а тот, из угла, кивал головой. Потом приветствия прекратились, разве что сталкивались нос к носу. Но то ли сталкиваться перестали, то ли еще что, но теперь, завидя друг друга, они разбегались, словно шары в бильярде – упруго, звонко, без сожаления.

Поселившись в ее берлоге, он втиснулся в это пространство осторожно, бочком. Незамысловатое, почти пустое при жизни, оно зияло провалом, черной дырой. Оказалось, в этом пространстве ему почти не досталось места: провал, зияние, а где-то у плинтуса, на обочине – случайно забытый клочок, словно загодя заготовленный для него. Странно, не замечаемый раньше у берлоги обнаружился стиль. Сводчатый потолок поднимал стены в заветную точку, где пространство – четыре стены смыкались, устремлялось за стены, за крышу, через тернии – к звездам, ярко вспыхивающим безоблачной ночью в небольшом высоком оконце.

Лежал, всматриваясь в сводчатый потолок, и казалось, что это ее средостение сводит в новую единую душу его прежнюю, разделенную на отсеки, как подводная лодка ради непотопляемости, живучести. И впрямь раньше успешность компенсировала домашнюю отчужденность, а Анечка – всё на свете. Теперь перегородки исчезли: он чувствовал легкость и цельность, и никогда прежде неведомую незащищенность. Чудилось: Константинополь, Босфор, Дарданеллы, Троя, начало начал, и конец пути – Третий Рим. Европа перетекает в Азию, а та впадает в Европу. Ксеркс, царь восточный, вступает в Европу. Царь Запада Александр продвигается в Азию.

Ее пространство распаивало себя, приглашая с ним слиться. А может, правильней: выражало готовность слить себя с тем, что там, за окном, там – над сводом. Впрочем, кто способен определить, откуда следует начинать, с какого угла угадывать. Это пространство было покрыто дрожащим безмолвием, словно озерной рябью, под которой – внутри, в глубине, разливаются потоками родники.

Она была Анечкой, но не Анной. Анна – твердое, протяжное, бескомпромиссное, не смягчаемое, замкнутое в себе, палиндромное. Анечка – твердость, протяжность, бескомпромиссность, несмягчаемость, утишенные ласковым, не взнузданным жеребенком: играет, мягкими губами покусывает, бьет копытом нетерпеливо.

В первые дни опустошенный, измочаленный бессонницей, он засыпал под утро. Светало, кружилось в воздухе щебетанье, он проваливался в небытие, темное, жадное. Затем ему стали сниться чужие сны: не ее – чужие. Не сны даже: во сне он сознавал, что проживает чужую жизнь. Просыпался – она обрывалась. Может, остушившись, неосторожно он падал в пропасть, где в заточении сны томилась? Может, сны прежних жильцов берлоги остались ему в наследство? Тогда почему не было ее, Анечки, снов?

Словно мистик, отринувший всё и вся на пути к Богу, он бежал от изувеченного привычками бытия, бежал к ней, не находя и отчаиваясь. Зримых следов присутствия Анечки было немного. Вещи – для роли, сыгранной или нет. Остальное – безымянное, просто безликое, без отменности, без зазубрины. Смахни пыль и поставь в магазине на полку: не заметят, не отличат.

Всё было наполнено ею. Это «всё» определить было непросто. Точней – невозможно. Его можно было наполнить тишиной – звезды в окне; птичьим гомоном – то глуше, то громче; запахом утра – день-деньской, постоянно. Как-то так получалось, что утро смыкалось здесь с ночью. А что может быть прекрасней утра и ночи? Кто-нибудь сказал бы, что здесь, в этом пространстве, взмахивая крылами, проносятся белые ангелы. Кто-то наверняка обронил бы, что здесь почует благодать. Но это были отнюдь не его слова, совсем не близкие образы. Поэтому он молчал, сообразив, что определения бесполезны.

Поначалу ему было не слишком уютно. Определить – значит понять. Как жить – не понимая? Притерпелся. Свыкся. Привык. Наконец – немало минуло времени, догадался: это всё была Анечка, которую он любить продолжает.

Он понял, зачем среди ненужных предметов ее пространства обнаружился где-то в углу флажок Южной Кореи. На нем герб: красное пространство и голубое, отъединенные границей-изгибом, соединенные воедино окружностью. Инь и янь, сонитие неба с землей. Вспомнилась скороговорка: «Люблю любить, любя, когда любят любить». Замыкая круг, Анечка могла повторять скороговорку множество раз: семантика испарялась, и оставались мягкие «л» и «б», порхающие в пространстве, словно светлые бабочки. Анечка утверждала: стрекозы – приправляя жестом, воздушным, скользящим, в котором была мгновенность рождения-смерти.

С трудом смирившись с неопределяемостью, он с удивлением обнаружил в Анечкином компьютере файл, озаглавленный: «Любовь. Определения». Первым следовало замечание: «Почему философы только мужчины?», а затем подзаголовок «Ортега», за которым – выписки.

По своей направленности психологическая природа желания противоположна очарованности. В первом случае я стараюсь поглотить объект, во втором – объект поглощает меня.

Коль скоро речь идет о жизни, нет ничего более неточного, чем точность.

Поэтому если Бог создал человека равным себе, то тем самым мы признаем, что он наделил его способностью сознавать себя существующим вне и помимо Бога.

Не существует любви без полового влечения. Любовь использует его как грубую силу, как бриг использует ветер.

В сущности, любовь и ненависть – это близнецы-недрузи, тождественные и антагонистические.

Тут же был файл, озаглавленный «Искусство вопрошания, или Искусство сладкой лжи, или Искусство совращения. Интернетовские диалоги с комментариями». Но ни диалогов, ни комментариев не было. Была лишь странная выписка.

Мальчик – картинка, глянцевая обложка. Такого – десертной ложкой, по крошкам, с пальчиков слизывать, являться по вызову или капризу его величества сучьего. Мальчик – фарфоровая статуэтка, марионетка. С витрины – в клетку. Мальчик – цветной карамельный фантик. Мальчик – сладкий ликер, с голубыми глазами-стекляшками. Напомажен, как манекен раскрашен, в кружево ряжен.

Сколько ни руби благоухающий терновник, за ночь он прорастет.

Здесь, надо думать, имелся в виду терновник, который за ночь перекидывался от могилы Тристана к могиле Изольды. Его рубили, а он прорастал, пока король, не узнав о чуде, запретил терновник рубить.

Жена вела образ жизни полезный и правильный. В меру сил он старался не отставать и, вообще, пробовал жить и писать в прустовском изнемогающем от мелких подробностей бытия, от

медово тягучих фраз ритме, стремясь выжать из времени чистые капли вечности, словно из оливо – чистое масло. Пробовал – не получилось.

Как-то внезапно, вдруг с ними ездить дочь перестала, исчезая с друзьями, на смену которым пришел долговязый переламывающийся в пояснице очкарик, умный, задиристый и ленивый. Сразу после этого в жизни жены появились два четко очерченных круга, которые с его жизненной геометрической фигурой не пересекались. Бассейн, фитнес-клуб, сауна – круг, лишь частично пересекавшийся с другим, несомненно, более важным, в котором отмечались дни рождения и другие семейные даты, возведенные в ранг публичности. Особое значение придавали в этом кругу юбилеям – датам круглым, обкатанным. Кто-то брал на себя роль (очень быстро это стала всё чаще делать его жена) организатора и вдохновителя. Место и время определял сам юбиляр (впрочем, разнообразия в этом было немного: пикники устраивались на расстоянии часа машиной для самого отдаленного гостя), а, вот, поздравления (общие) и подарок (совместный) было делом отнюдь не простым, творческим, нередко и с подковыркой. Потому как любое (даже самое добровольное, безусловно, спонтанное) объединение человек вызывает то, чего он не терпел: от-но-ше-ни-я!

Своих знакомых жена встраивала в придуманную ей же самой иерархию. Были лидеры и болото, свой спичрайтер и свой загонщик, свой мудрец и свой же паяц. С городским сумасшедшим поначалу была проблема: пробовался профессор-геолог, специалист по вечной, как он утверждал, хихикая, мерзлоте. Но тот был слишком печален, и его заменил немолодой гинеколог, который общим мнением объявлен был слишком вульгарным, и приглашать его перестали. Однако публика тосковала недолго. Первое появление толстого программиста с бабьим лицом всех убедило: он. В программисте пропадал несомненный талант говорить всё не ко времени и не к месту. Выбор был сделан, и покатило по маслу: юбилеи, пикники и подарки, речи, дети, собачки, мусор после себя не оставляем, вот мешки, по дороге назад у первого поворота мусорный ящик. Наполним его до краев! Ура!

На пикниках он не появлялся, но одним из них манкировать было вовсе уж невозможно. Был ее юбилей. Надо отдать ей должное: ничего делать ему не пришлось, ни резать салаты, ни закупать и мариновать горы мяса. Ему было назначено сесть в машину, приехать на место и пару часов послоняться, стараясь не портить никому настроения. Он честно отыграл свою роль: аплодисментов, разумеется, не сорвал, но и освистан не был. От него ожидался тост (кому как не ему сказать теплые слова в адрес столь всеми любимой). Но он промолчал, что было одними расценено как снобизм, другими – оригинальничанием не слишком уместным. Зато вместе со всеми выпивал из пластмассовых стаканчиков (чего не терпел), пачкаясь, ел шашлык: кусок мяса – лука кружок – половинка маленького помидора. Было плохо прожарено, страшно невкусно и неудобно. Но все нахваливали. Он молчал. И взорвался лишь раз, когда городской сумасшедший стал спрашивать, что он сейчас сочиняет. Так и сказал: сочиняет.

От общего круга отделялись в самостоятельные кружки любители пива (раз в две недели вместе ходили в бар, выбранный давно и надолго); любители вина (фестивали вина, презентации бутиков и просто субботний наезд на отдаленные винодельни); создатели парка. О парке жена рассказывала громче обычного: в ее восторженной речи выросла, словно дуб (он напевал: «Дуб ты мой опавший, дуб заледенелый»), стальной пафосный столб. Группа товарищей (иронию жена пропускала мимо ушей, может, и не чувствовала вовсе, за годы совместной жизни он так и не понял) решила насадить лес. Не просто парк, но лес настоящий, ну ладно, роцца, на территориях, которые враги (он добавлял: «сожгли родную хату») называли оккупированными. Официальные древосажаяющие организации были туда ни ногой. Вот эту лакуну они и заполнили: сами выращивали саженцы, устраивали день посадок (он предложил назвать это днем насаждений и порождений; был не понят, отвергнут). Он принял разок участие: грязными руками принял пластмассовый стаканчик с отвратительным бренди.

Всё, что она делала, было, безусловно, полезно, благородно, законно.

– Даже субботние автопробеги по винодельням?

– Представь себе, даже они. Во-первых, полезность вина доказана давно и неоспоримо. Во-вторых, это гораздо лучше, чем корчиться целый день в душном городе.

Дискуссии подобного рода быстро вышли из моды. Жена была всегда и безусловно права. Он всё реже и реже где-либо с ней бывал. Вскоре понял, что она его присутствием тяготится, и с радостью освободил себя от повинности бывать с ней, изображая супружество, многолетнее, почти безупречное. Однажды к их плотно сколоченной, отвергающей чужаков стае волной, странной, неведомой, прибило необычную птицу. Кто-то куда-то того пригласил, и вечерний опрос вынес вердикт: принят, с испытательным сроком, конечно. В их кругу, тесном и без лакун, подобного уже

давно не бывало. Обычно вердикт бывал однозначен: не наш. За неопфита были два обстоятельства. Во-первых, он был несчастен (таких любили): после развода, шумного, с грязнотпой, жена-стерва решила отвоевать все, что можно, оставив его без штанов. Во-вторых, у него за плечами была история. Наполовину польский еврей (это по матери), наполовину сефард (по отцу). Это было в их кругу неожиданным. Говорил на всех мыслимых языках, иногда – одновременно на нескольких. Но решающим было то, что предки его отца были с острова Родос, и он, однажды там побывав (родственников не осталось: одних отправили в газовые камеры оккупировавшие остров немцы, другие успели сбежать), решил поддерживать местную синагогу. Она и впрямь была великолепной. В древности евреи, прибывшие на остров, за пять минут (в карете), за пятнадцать минут пешком добирались туда от порта.

Греческие власти выделяли какие-то деньги на ремонт и поддержание в синагоге порядка. Помогали туристы. Но этого было совсем не достаточно. И он решил организовать товарищество. Идея была немножечко сумасшедшей, но сплоченной и несколько уже выдыхающейся стае она была в самый раз. Несколько вечеров у телефона, и товарищество спасателей Родосской синагоги пополнилось группой членов. Касса товарищества (крайне скудная даже в жирные годы) распухла, и решено было отправиться всем миром на Родос. Проблема была в том, что коль речь идет о синагоге, надо как-то молиться. Этого в стае никто не умел. Но такой пустяк преградой, конечно же, быть не мог. Нашли раввина, разослали тексты, необходимые и достаточные. Вскоре назначили дату отъезда. Геллер (он носил фамилию матери) был счастлив. И впрямь, затеянное было делом несомненно благим. Нечего говорить, что жена была в первых рядах спасателей Родосской синагоги. В ее речи всё чаще стала мелькать фамилия Геллер, и он подтрунивал:

– Как поживает твой Пфенниг?

– Почему ты не можешь спросить по-человечески?

Она была, как всегда, права. По-человечески он ни спрашивать, ни говорить не любил. По-своему норовил. Иногда получалось. Как с пфеннигом, немецкой монетой, в древности предшествовавшей геллеру.

Жена всегда ко всему была готова: к Родосу, к падению метеорита, к визиту сантехника. Вооруженная знанием дела если не всегда до зубов, то в степени совершенно достаточной, вступала в переговоры, заранее зная подвохи и выдвигая условия. После первых же фраз сраженные мастера, позабыв все свои трюки, замолкали, внимая ее наставлениям. На ее переговоры с мастерами людьми, его бы воля, можно было и приглашать. Это был мастер-класс.

Впрочем, не менее поучительными были ее хождения в магазины, чему предшествовал предварительный сбор информации. Большие магазины она не любила: наемным продавцам было не до нее. Купит – отлично, не купит – не страшно. Дотошной покупателя сыскать было трудно. Но хозяева магазинчиков ее обожали, верно, за то, что она ценила их ремесло. Одного старичка, владельца какого-то магазина, умершего от старости, она поехала хоронить. Старичок был одиноким, и к похоронам были привлечены члены стаи. Они слетелись на кладбище, удивив тех немногих знакомых, которые в конце жизни поддерживали отношения со старичком.

Одним словом, его жена (он говорил это без оттенка иронии) была чудо-женщиной. Беда была в нем: он изверился в чудесах, предпочитая реальность, серую, неприбранную, живую.

Когда всё определилось, она (заметила: нервничала слегка) мимоходом спросила, сколько билетов заказывать, мол, полетит ли он тоже? Успокоил, к сожалению, занят. Пусть летит без него, снимет, расскажет. Всё было правдой, кроме вежливого сожаления. Стаю он не любил, хотя внятных аргументов против нее не имел. Но разве всегда нужны аргументы?

Из поездки жена вернулась счастливой и окрыленной. Всё удалось как нельзя лучше. Было весело, много успели: расчистили сад, освободили от хлама какое-то помещение, теперь там можно проводить уроки, конечно, осталось еще много работы, главное в следующий раз покрасить забор и расчистить чердак. Теперь это уже называлось не просто «съездим на Родос», напелся библейский термин: восстановление удела вдовицы. Что в корне меняло дело, придавая поездке нужную глубину и актуальную значимость. Это было сказано на полном серьезе (на что у него с давних времен, а может, и от рождения была аллергия). Раньше жена подобного избегала, а тут от радости и в запале проговорила. Бывает.

– Представляешь! В день приезда шел снег! Такое там раз лет в десять бывает!

– Специально к приезду! Природа от вас просто в восторге.

– Опять шуточки? Мы еле добрались! Таксисты боялись ездить. А снег просто великолепен!

– Снег сыпался педрыми хлопьями.

– Можно сказать и так.

Однажды Анечка застала его за работой. Они были в гостинице. Она вышла пройтись, и он сел за компьютер. Что-то тогда накопилось, и он едва успевал, мучая клавиатуру. Подошла незаметно, встала у него за плечом. Походка у Анечки была кошачья, не удивительно, что не заметил.

Всё когда-то кончается. Кончилось накопленное, вдохновенье иссякло. Он вытянул руки – наткнулся на Анечку, которая, встав в позу юного Пушкина на репинской картине перед Державиным, продекламировала из Тарковского:

*А я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.*

С тех пор его пребывание за компьютером называлось на их языке выбором сетей.

Непоседливая, иногда она застывала: у окна, взглядом вцепившись в одной ей видимое в банальном пейзаже; в кресле, бабочкой пригвожденной – мыслью, видением, воспоминанием. Вернувшись в реальный мир, Анечка никогда не отвечала, что ее зацепило. Говорила, не знаю. Ей можно было поверить. Никогда не врала, просто не могла словами объяснить свое состояние.

Однажды проговорила: «Я словно проваливаюсь во времени». Сказала – и осеклась. Ни понять ее, ни поверить было совсем невозможно. Объяснять бесполезно, потому и молчала. Когда Анечка, как он говаривал, уходила, у нее леденели ладони, и он отогревал их своими. Грея ладони, он видел только ее лицо, вырезанное молнией из темноты. Черно-белое, резкие линии носа и губ, черные впадины глаз. В эти мгновения он называл ее Грушенька, моя inferнальница. Была в имени этом ирония, за которой скрывалось словами не объяснимое, что приоткрывалось лишь на мгновение, в громе и молнии.

Дальше всего и на дольше Анечка уходила, прилепившись к окну в ливень, когда потоки воды низвергались с небес в сопровождении молнии, огромной чайкой, прорезавшей темное, мутное небо, грома, разрывающего полотно тишины на куски. Вслед за молнией она подавалась вперед, вздрагивая вместе с громом. Иногда, словно не выдержав, открывала окно и вдыхала, дрожа, мокрый, цветами пахнущий воздух.

С тех пор, как ее не стало, он с нетерпением и страхом ожидал грозу. Гром гремел – вздрагивал. В проблесках молнии – чайкой-зегзицей, ему виделся черно-белый, лишенный деталей Аничкин профиль. Молния была мгновенной, и он долго пытался представить мелькнувшее в ожидании новой вспышки. Но вспышки были всё реже, слабее, его воля творить слабела, с каждым разом профиль размывался сильнее. И больше всего он боялся однажды не суметь в грозу его повторить.

Чем больше хотел увидеть ее в грозу у окна, тем хуже ему удавалось. Вместо черно-белой в слепящем разрыве она приходила в своих воплощенных и не случившихся ролях, вытесняя единственную, которой он дорожил больше всего. Во всех ролях ее взгляд оставался одним: из угловатости выступающий; как сказала Ахматова, беспомощный и жуткий; как говорил он, смиренно-надменный.

На Пурим была работа – на неделю Анечка пропадала. Их приглашали в каньоны, на площади, на базары – уличные соглашались на всё. Тем более, это был их праздник: всё переворачивающий карнавал. Садились в свой шарабан, когда-то и кем-то разукрашенный на века, колесили по всей стране, ночевали, где ночь наступит – на крайний случай в шарабане была палатка. У них были костюмы, бывшие вечно в работе: подшивались, ушивались, подкрашивались и пришивались, словно пришивками, платочком ли, шарфиком, лентой на шляпе. Точно также обстояло дело с сюжетом. Сюжет для уличных был скелетом, на который они от представления к представлению, словно мясо на кости, или – игрушки на елку, навешивали репризы, экспромты. Каждый раз кто-то солировал, задавая мелодию, другие подхватывали, подыгрывали, развивали. Чаще других – он это знал, мелодию, тон задавала она, порой – под настроение, ставя друзей в тупик.

Один раз Анечка повела сюжет и вовсе с конца к началу: опарашенные уличные встрепнулись, но делать нечего – публика в действие включилась. Разыгрались, распрыгались, распутилились. Публика их конфетами забросала: на ужине сэкономили.

Возвращалась Анечка после недельного буйства, словно на плаху: неделю-другую ничего не играла. Она остывала, казалось, поднимается пар. Но всё проходит. Как некто заметил, жизнь в том числе. Анечка просыпалась, бралась за привычное – сочинение жизни, новой и увлекательной. Воспоминания о Пуриме оставались где-то там, позади – то ли летним утренним паром-

туманом, то ли листьями желтыми, то ли паровозным свистком, срывающимся, далеким. Кстати, теперь, когда паровозов нет и в помине, остались свистки?

Сон был липкий, привязчивый. Проснулся – тянулся, не отпуская, прорастая в реальность дневную ночными, ржавыми метастазами. Он бежит, но не трусцой возле дома – было время, что бежал, бежит во всю мочь, места странные, не знакомые. А главное, бежит не один – в толпе, в стае, разновозрастной и чужой. Поначалу, помнилось, стремится опередить, вырваться. Но только удастся, и он бежит, наслаждается одиночеством, отсутствием рядом чужого дыхания, как только расслабится – раз, и чужая спина перед ним, а слева и справа – сопенье, кряхтенье, утробные звуки, неприятные до омерзения. Побегал, подышал одним воздухом, попробовал обогнать, вырваться на простор, не вышло, наверное, подустал: ноги налились тяжестью, дыхание стало тяжелым. Одним словом, бежать еще может, но вырваться, обогнать – не получится.

Судьбу не обманешь, и чтобы омерзение преодолеть, стал, отвлекаясь от гнусности бытия, вглядываться. Сперва бежали леском, реденьким и загаженным. Не лесок, а так, видимо, парк для пикников-пашльков, чадающих мангалов. Потом стали мелькать домишки: покосившиеся, необитаемые. Рядом с домом – трава в рост ребенка, как сказал кто-то: трава забвения. Может быть, их специально сюда притащили, чтобы запомнили, не забыли? Эта мысль долго его занимала, отвлекая от рядом бегущих. Но додумать не довелось. Его кто-то догнал, высокий, худой, одетый в лохмотья, пестрые, клоунские. Догнал и, дыша прямо в ухо, сильным голосом простонал:

– Хоть знаешь, куда нас бегут?

Не раздумывая, крикнул в ответ:

– Понятия не имею.

Услышав, тотчас отстал. И тогда лишь он начал соображать, что значит «куда нас бегут»? На каком таком языке? За мысль эту он зацепился. Кто эти они, что они «нас бегут»? Обернулся: за ним, сколько выхватывал глаз, бежали люди, молодые и старые, женщины, дети, хромые, убогие, инвалиды, красавцы, уроды. Выпрыгнул, чтоб лучше увидеть: впереди бесчисленное множество, бегут, обгоняя друг друга. Время от времени и другие, его догоняя, задавали тот же вопрос:

– Хоть знаешь, куда нас бегут?

Странно, но вскоре и вопрос и безграмотность удивлять перестали. Тогда испугался: а что если сам начнет его задавать? Тогда он решил схитрить. Не удалось вырваться, всех обогнать, поступит иначе: делая вид, что бежит, на самом деле будет перемещаться улитой. Наберется терпения, ясно, ждать долго придется. Но когда-нибудь его всё же обгонят, все, до единого. Поразившись, что так это просто – мудрость всегда проста, сбавил скорость, потихонечку, незаметно. За ним, верно, следят. Потом перешел на шаг и поплелся, делая вид, что ногу зашиб. Только ни он, ни его нога никого не интересовали. Конечно, многие обгоняли, но, присмотревшись, заметил, что и плетущийся черепахой он быстрее иных. Наблюдение это прищпорило, и он, позабыв свою мудрость, бросился резво, расталкивая локтями, пробираясь сквозь кряхтенье-сопенье. Так повторялось несколько раз: то срывался в галоп, то плелся улитой. Но ничего не менялось, ни пейзаж: чахлые елочки и покосившиеся избушки, ни окружение: медленное, торопливое, надоедливое (хотя никто больше не приставал с вопросами), воняющее потом, чужое. Потом появились улочки, поначалу песчаные, затем асфальтированные. Асфальт был в трещинах и колдобинах, но всё-таки бежать стало легче. Пробежали рынок, затем мимо кладбища и выбежали на площадь.

Рынок и кладбище – древнейшие городские места, с них начинается город, не слишком меняясь, они столетиями остаются на месте. Только рынок растет вширь, захватывая новые и новые пространства, а кладбище – вглубь, настилая на старых покойников новых. Так укладывают один слой за другим сельди в бочке. Собственно, отличие небольшое: мертвые люди – мертвые сельди. Между рынком и кладбищем – площадь. Красива, широка, обрамлена домами. За ними – шпили храма, ратуша, посредине – конная статуя: камни постамента травой поросли, конь и всадник позеленели.

Когда прибежали на площадь, неожиданно врубил радио. Последние новости.

Найден способ восстановления планетной экосистемы!

Нужно, чтобы человечество на тысячу лет покинуло поверхность Земли. Компьютерная модель развития земного шара подтверждает: в случае полного избавления планеты от человека, Земля избавится от его следов, которые будут полностью устранены через два миллиона лет. Ученые уверены, что этот процесс мог уже неоднократно происходить на Земле, существующей более пяти миллиардов лет, однако следов цивилизаций, живущих на этой планете до нас, мы не находим,

поскольку планета избавляется от них слишком быстро. Специалисты предполагают, что в ближайшие несколько сотен лет состояние Земли будет ухудшено настолько, что человечеству придется либо покинуть планету, либо погибнуть.

На пути к бессмертию

Современной науке удалось доказать факт существования на планете организма, способного поддерживать вечную молодость и являющегося бессмертным. Таким существом является медуза (латинское название, которое он не разобрал), естественная среда обитания которой – теплые воды тропических регионов. Исследования подтвердили: организм медузы постепенно стареет, однако запускается механизм омоложения, который может возобновлять функции организма бесконечное количество раз, что гарантирует вечную жизнь.

Эвтаназия

Опубликованы новые правила относительно тех, кто попытается помочь своим безнадежно больным близким достойно уйти из жизни. Надежды тяжелобольных британцев, которые давно отстаивают свое право на эвтаназию, не оправдались. Так называемый ассистированный суицид разрешен не был. Единственное послабление для безутешных родственников заключается отныне в том, что полиции рекомендовано рассматривать каждый случай индивидуально и расследовать чистоту намерений помогшего больному уйти из жизни.

Тенденция, однако

Сейчас необычные имена дают своим детям не только публичные люди, но и самые простые родители, стремящиеся, чтобы их малыш не был ни на кого похож. Ученые считают, что тенденция выбора непопулярных имен говорит о той важности, которую приобретают в культуре индивидуализм и уникальность. Последние исследования ученых США говорят, что происходит своего рода смена приоритетов, в том числе и при выборе имен. Если раньше, в 50-е годы прошлого века, среди первоклассников в каждом классе с 30 учениками был хотя бы один Джеймс (самое популярное имя тех лет), то к 2013 году понадобится собрать 6 классов, чтобы найти хотя бы одного Джейкоба, чье имя в 2007 году было самым популярным.

Археологическая находка

Египетские археологи обнаружили фальшивую дверь в могиле древнеегипетского сановника, похороненного 3500 лет тому назад в Луксоре. Видимо, она обозначала переход из нашего мира в потусторонний, который должен был совершить дух умершего. Такие ложные двери – характерный для древнеегипетских могил символ. Дверь высотой около 1,75 метра сделана из розового гранита и покрыта религиозными текстами.

Он бежал вместе со всеми. Он слушал новости вместе со всеми. Он давно понял, что, как бы не хотел убежать, ничего не получится. Обречен вместе со всеми бежать. Перестал спрашивать себя: куда и зачем. Знал ответ: нас бегут. Если бы только его одного – с этим можно смириться. Но бегут нас – и это невыносимо.

Вскоре его размышления были прерваны. Было вначале сухо, не слишком солнечно, мутно. Затем пошел дождь, вначале крапывал. Он, как все, продолжал бежать, голову рукой прикрывая. Потом дождь припустил, и прикрываться было бессмысленно. Они бежали, дождь припускал сильнее. Казалось, что вот, дальше некуда, настоящий потоп, а он всё сильнее, порывы ветра метали в лицо тяжелые капли, большие. Похолодало, на смену дождю пришел град, колючий, пронзающий. Ноги утопали в грязи. Он плелся, вспоминая славное время: тусклое солнце, тепло, сухо, можно бежать, то быстрее, то медленней. Листья отзеленели и, желтые, падают в грязь. За размышлениями не заметил: вместо града – шел снег, по подмерзшей земле можно было опять бежать, не так быстро, как по сухой, но всё-таки легче, чем по грязи, которой в иных местах по колено.

Было снежно и вьюжно. Он бежал по снегу, морозный воздух вдыхая. Снег валил разнузданно, пьяно. Затем стал ложиться женственно и вальяжно. Снег падал и собирался в сугробы, они росли, город собой поглощая, заметая дома, ратушу, синагоги, церкви, костелы. Вскоре лишь шпили торчали из снега, гордые, не подвластные. А снег продолжал. Казалось, что не только в стихах – наяву он идет снизу вверх, не падает – но восходит. Странно, бежал посуху, по грязи – ни

разу не вспомнил, а пошел снег – с ним пришла Анечка, тиха и задумчива. Она давно убежала, и, увидев ее, он понял, зачем он бежит.

Снег безумствовал, носясь и взвиваясь. Надо было сквозь это безумие протиснуться, прорваться, пробиться. Выхода нет: заметет, завьюжит, завалит. Безумие закружит, нежным голосом усыпит, бесовскою лаской заманит. Пропадешь, сладким сном уснешь – не проснешься. Оплетет, опутает, обратит в белый кокон. На кону – жизнь. Спасение в бегстве.

Из Индии Анечка вернулась с косой. Тонкий (он говорил: буддийский) ежик, с затылка – тонкая змейка. Она голову стригла, змейка росла, извивалась. Ею она оплетала ему шею: не убежишь. И в этом было спасение. Ежеутренне заплетая косу, Анечка сочиняла свой новый день – новую роль в новых, придуманных обстоятельствах, где не было места обыденности, неотличимости от других дней. Свои сочинения Анечка прерывала вопросом: «А па-че-му?», и сама же на него отвечала: «А па-та-му». Между вопросом и ответом могло пройти время, иногда – целый день, они могли следовать один за другим, но слова не менялись, менялась лишь интонация, и этого было довольно, чтобы вопрос и ответ были каждый день совсем не такими, какими были вчера.

Даже змея-косичка и та день ото дня, соответствуя новой, сегодняшней роли, менялась, то зарываясь в нору, то беспрестанно сверкая на солнце, то прячась между камней, терпеливо снося бесконечное ожидание. У змеи цель – добыча, охота лишь средство. У Анечки нет разделения на средства и цель: неразделимы, один без другого не мыслимы. Замкнутый, самое себя защищающий и порождающий круг.

9

Выйдя из рукава, соединяющего самолет с аэровокзалом, неожиданно вспомнил громкоголосую, юноязыкую стайку, на которую наткнулся перед отлетом. Угловатые, прыщавые ракурсы, уместившиеся между чудом рождения и таинством смерти. Живое, хохочущее, чешущееся, грызущее, кашляющее, сморкающееся, выпирающее из одежды, светлое, милое и беспечное. Он глядел на эту гогочущую стайку, демонстрирующую, что ей на всех и вся наплевать, что кроме самих себя им никто не нужен. И в то же время украдкой каждый из них поглядывал, какова реакция окружающих.

Юная речь изобилует междометиями. Со временем к восклицательным добавляются вопросительные, затем «хм» и «мм». После чего, похмыкав и помяукав, юное сознание или же замолкает, осознавая невозможность отобразить себя в звуках, или, продираясь через колючки, находит слова, значением своим превосходящие звуки.

В этой необузданной стайке он вдруг увидел пародию на себя: сколь бы окружающее не отвращало, он с ним связан помимо воли. Даже эта неумная стайка была, в отличие от него, дома. А он всю жизнь беженец, да и каким иным ему быть, если ни одно поколение его семьи в обозримом прошлом не прожило на одном месте всю жизнь. Кольнуло, и он бодро шагнул в сторону паспортного контроля.

Шел снег, бесконечный, сияющий. Он перемещался в белоснежном, застывшем, колючем пространстве, и рядом с ним – псом верным и ласковым, тащила, прыгала тень, то длинная, то короткая, то узкая, то широкая, издеваясь и пересемешничая, а вдалеке за ними тянулась луна. С ними, с луной и тенью, было не так пусто, одиноко и страшно. Это только в толпе не страшно. Одному страшно всегда. Подумалось: хорошо, чтобы кто-то был рядом. Стал думать, споткнулся, вспоминая пивные лица из бара, оглянулся на тень – она тоже споткнулась. Оба на ногах удержались и продолжали бороться с порывами ветра – надо выбрать момент, когда ослабеет, тогда, наклонившись, рвануть, протапывая тропинку в снегу.

Если бы кто-то шел за ним следом, тому было бы легче, да и ему не мешало пристроиться за кем-то, идущим впереди его. Но ни впереди, ни сзади не было никого, не считая луны и тени. Стал думать: кто бы мог идти перед ним, сильный, уверенный, мощный, такой, чтобы не стыдно, в его следы попадая, идти вперед, не боясь ни ветра, ни снега. Яростный порыв прервал размышления, словно ветер, подслушавший мысли, решил наказать за трусость, за попытку бежать. Остановился, к забору прижался, пережидая, по опыту зная, что ярость, чем сильнее, тем скоротечней. Пережидая, аккуратно вдохнул через шарф. Тот тотчас намок и больно тер подбородок. Попробовал шарф отодвинуть – другая беда, холод проник внутрь, кожа шеи скукожилась. Ясно: лучше не трогать, будет, как будет, главное – быстрее добраться под крышу, в тепло. Но думать об этом нельзя. Ни о чем лучше не думать. Тупо двигаться, совершая движения, не останавливаясь, к цели, вперед. Даже коль

не уверен, что цель выбрана правильно. Движение – самое главное в бегстве. Стоя и размышляя, не убежишь. Но без цели двинуться невозможно. Замкнутый круг. Но раз люди спасаются бегством, значит, они его размыкают. Размышляя, про себя рассмеялся. Вот, спасается бегством и не в состоянии сделать ни шагу. Стоит, а другие, они ведь бегут, спасаясь.

В аэропорту его удивили лица, одежда, правда, лишь поначалу. Приглядевшись, он понял, люди собрались из разных стран (что не слишком задело), из разных эпох (это его взволновало). Но что-то у них было общее. Попытался понять, взглядом обвел – не смог. Что-то внимание отвлекло (кажется, объявление о посадке), а затем осенило: все они собрались с единственной целью, но странно, она их не единила. Цель была как бы единой, но очень у каждого неповторимой.

Вежливо пропуская друг друга, поднялись в самолет. Хуже всего было дамам давних веков: на их одеяния нынешние самолеты рассчитаны не были. Все как всегда суетились: укладывали вещи, доставали книги, газеты, лорнеты и веера, отстегивали шпаги, одним словом, готовились к бегству. Возбуждены, но стараются демонстрировать хладнокровие. Для многих полет явно впервые: не летали ни разу, но явно наслышаны. Но и те, кто летал, возбуждены не меньше. Бегство, о котором всю жизнь размышляли, вот оно: крутанет пилот несколько рычажков, на кнопки нажмет. И, странное дело, столько раз проигранное в мечтаниях бегство было не в радость. Нет, нет, неправда, оно было радостным и одновременно печальным. Каждый думал, как назвать это странное чувство, ощущение совершённости, за которой – цель и пустота, каждый думал, по-своему нарекая. Он же сказал про себя: радость-печаль. Неуклюжее, тяжелое слово, но из всех слов языка оно было только его. Этаким эксклюзив.

Подумалось: спасение бегством вещь дорогая. Даром не достается. Так что корявые, неуклюжие, прости его Бог, лексемы, словно кусачий воротник школьной формы из детства, плата не слишком высокая. На них, малых детей, растущих ежеминутно, надевали синий мундир, твердый, как средневековые латы. Цель была совершенно понятна: чтоб никуда не бежали и думать о бегстве не смели. Но надевающие были глупы: не понимали, что чем смирительная рубашка тесней, тем сильнее желание убежать.

Самолет напоследок затрясся, вздрогнул, и вот, набирающий высоту, он взмывает, под крылом проплывает всё, что проплывает под крылом самолета, набирающего высоту. Свершилось. Впору бы разразиться аплодисментами, если уж не умеешь выражать свои чувства более естественным способом, но, в конце концов, это не так уж и важно. Взлетели, быстро поднялись над облаками, и в это мгновение он вдруг познал, что чувство общности с беглецами, пусть случайное, мимолетное, его покидает, лопаюсь, как пузырьки газировки, весело и безжалостно. В его детстве тетеньки на тележках за монетку – стоило потрудиться добыть, наполняли стакан водой с пузырьками. Потом тетенок сменили железные автоматы: пузырьков стало меньше, они стали не слишком веселыми. Ну, а ныне ни тетенок, ни железных, ни пузырьков, ни монет.

Она сидела на соседнем сиденье: хитон белоснежности пугающей, страшной: малейшее пятнышко – апокалипсис; слегка запрокинутая голова, узкие колючие плечи, высокий и бледный лоб, греческий нос, рот большой и губы, алеющие на фоне набеленных щек. Она была явно нездешней, несовременной – тональностью: поздний Рим, ранняя Византия.

Это была, несомненно, она, но странно, не Анечка – Голем, Офелия, Галатя. Это была она – его видение юности, даже детства, она – предвосхищение и мечта. Ученые люди, особенно читавшие Юнга (а кто из ученых его не читал?), назвали бы это видение (он про себя всё-таки думал: женщину) первообразом, архетипом. Он пристально смотрел на нее, и определения занимали не слишком: так, пронеслось и угасло, мало ли мыслей, досужих и разных, ежеминутно проносятся в голове. Он смотрел и не мог наглядеться, в памяти возникали и гасли лица и имена, а порой – обстоятельства, за которыми не угадать ничего: всё исчезло, угасло, оставив лишь смутный след, тянущийся через жизнь – вплоть до самого бегства.

Понял: его и их пути разошлись, теперь, в одном самолете летя, каждый своим бегством спасался. И впрямь, не успели взлететь, как снова: «Пристегните ремни». Из аэропорта поехал на железнодорожный вокзал на такси. Радио тарыхтело: новости, музыка. Но это не беспокоило. Главное было успеть: электричка была последней. Успел, добежал, автоматические двери со скрипом замкнулись. Было холодно и пустынно. В одном углу спали, положив под головы мешки. В другом – резались в карты, но тихо, почти беззвучно, невесело. Вспомнилось: играли в доме за кремовыми шторами на Алексеевском, читай, Андреевском, спуске. Играли громко, весело, разнообразно, вкладывая в движение карт характер и душу. Но там было тепло, хоть за окнами холод и снег. А здесь – холодно, что за окнами – не понять.

С возрастом большинство обретает спасительное качество не додумывать до конца: увидел – ужаснулся – отвернулся – дальше пошел, не сев на пенек, не съев пирожок. Анечка на пенек садилась, тотчас надкусывала пирожок. Она не выросла. Никакие шумы не были способны заглушить ее нагой, белоснежный, с голубоватыми прожилками голос. Анечка переступала через мучительные вопросы, словно через исподнее графиня-княгиня, идущая в паре с царем. Царственное небрежение росло непринужденно, естественно, как манихейство – из гностицизма.

Волнуясь, Анечка двумя руками, крест-накрест охватывала горло, перебирая пальцами, словно – глоток за глотком, проталкивая судорожное дыхание.

Познакомившись с Анечкой, он впервые почувствовал, что идет по тропе, протоптанной среди цветов, благоухающих, переливающихся всеми цветами радуги. Тропа скользит над обрывом, над темной, не имеющей ни цвета, ни запаха бездной. Банька? Пусть будет банька. Среди мягких, ласковых холмов Иудейских гор. С паутиной и пауками? Паутину можно смести. Пауков можно прогнать. Баньку можно назвать, в звуки облечь, запершись, отключив телефоны, слушая Бетховена, Шенберга, Шостаковича, Шнитке. А то, вокруг чего скользила тропа, не имело ни вкуса, ни запаха, ни даже названия.

Электричка гремела, трещала, пролетала одинокие полустанки. На перронах – следами измаранный снег. Может, электричка бегством спасалась? Предметы, как люди, спасаются бегством? И то подумать, ясно, что если спастись, то – бегством, а если бежишь – то спасаешься. Вот и вещи, предметы бегут, спасаются – от людей, они ведь их портят. Спасаются электрички, хотя их, конечно, вещами не назовешь. А как?

– Как? Как? А – никак.

– Так? Так! Нет, не так!

В голове тарахтело, то ли считалка детская, то ли электричка на стыках.

Полусонный, вслед за другими – конечная станция, прошел по перрону: в руках огромный, еле замок закрылся, набитый вещами и снедью портфель. Протиснулся в вокзальную дверь, портфель вперед заноса: вместе им не протиснуться. Протерся через вокзал, пустой и холодный, оказался на площади, заснеженной и кривой. Здесь не было ни высоких домов, ни статуи конной, лишь памятник, понятно кому, дешевой, серийный. Потолкавшись на остановке, понял: автобуса ждать бесполезно. Один за другим пассажиры, отчаявшись, уходили, поклажу таща, безнадежно, смиренно.

Он задышался, не понимая: от недостатка воздуха или же от избытка. Гулкое, полое одиночество, безмолвия полное втягивало в себя, как в воронку. Водоворот тащил и кружил, и всё вокруг снежным метельным столбом вращалось, кружилось.

В воздухе что-то несло, трепетало, жужжало. Бабочки? Снежинки? Стрекозы?

Чувствовал себя в огромном сутробе. Знал: нужно двигаться, нужно идти. Но хотелось иного: тепла, покоя, Анечкиного дыхания. Снег, черноту пеленающий снег нежил, умиротворял. Сквозь клубы дыма проступали ветви с краснеющими гранатами и желтеющими лимонами, и среди листьев слова – взлелеянные и замызганные.

Вцепившись в остатки сна, он пытался вытащить его на поверхность, скользкую, противящуюся. Изю всех сил он тащил, и, пролив почти всё, с удивлением глазел на капли, стекающие по стенкам ведра. Прошлое воплощалось в смутные образы, распавшаяся на блики, странные, не постижимые.

Подумал, взвесил в руке портфель и пошел: не стоять же здесь до утра. Никто еще, стоя на месте, не спасся. Нагнулся – навстречу ветру, зачерпывая холодный воздух. Что было делать? Не обращая внимания, надо идти, и он шел, с каждым шагом взрослея, старея, дряхлея, шел свету навстречу белее самого белого снега, шел, пока то ли ветер, а может, снег его унесли, занесли.

Что еще могут ветер и снег?

БРЕД ПОЭЗИИ СВЯЩЕННЫЙ





ПОЧТИ ВОСПОМИНАНИЕ

На севере – тихо, на юге – тепло,
Промышленный гул – на востоке,
На западе – пусто, – вот солнце взошло, –
Безвременья годы жестоки.

Да помнишь ли ты, как, смеясь у реки,
Мы влагу в ладонях держали –
И ночи бывали всегда коротки,
И дни никуда не бежали?

На лодке – весло, да над лодкой – крыло,
Взлетавшие к облаку птицы, –
Так вот оно, сердце, и вот ремесло,
Забывшее вовсе о страхе!

Крыло надломилось, и лодка худа,
И облако тучи сменили –
И маску с обличья срывает беда,
И вёсла гребцы уронили.

И Дантова тень, в зеркалах отразясь,
Как эхо, давно многократно –
И с веком прямая осознана связь,
И поздно – вернуться обратно.

И есть упоенье в незримом бою
С исчадьями тьмы и тумана! –
У бездны алмазной на самом краю
От зрячих таиться не стану.

И так набродился я в толпах слепых,
И с горем не раз повидался, –
В разорванных нитях и в иглах тупых
Погибели зря дожидался.

Сомнения – нет, и забвения – нет,
И смерть – поворот карусели,
Но свет изначальный, мучительный свет –
Вот он и бессмертен доселе.

Всюду люди – и я среди них, –
Никуда от юдоли не деться –
Только б сердцу в пути обогреться,
Отрешиться от козней земных.

Так пестра по вокзалам толпа –
Нет нужды ей до всяких диковин! –
Что там в небе – Стрелец или Овен,
Иль копьё соляного столпа?

Принц заезжий, стареющий маг,
Очевидец срывающий маску – –
Кто ты, юноша, ищущий сказку, –
Совершишь ли решающий шаг?

Непогоды, грехи, племена,
Поколенья, поверья, обряды,
За последним обрывком бравады –
В ненасытной земле семена.

Отыскать бы по духу родных,
Оглядеться вокруг, разобраться, –
Да нельзя от судьбы отказаться,
Оказаться в полях ледяных.

Целовать бы мне стебли цветов –
Хоть за то, что бутоны подьемают,
Что речам в одиночестве внемлют,
Что везде привечать их готов.

Не зависеть бы мне от забот! –
Что за невидаль – видеть страданье,
Удержаться опять от рыдания,
Оправдаться – авось и пройдёт.

И с невидимых сотов стечёт
Мёд воскресный – целебное зелье, –
И справляют вдали новоселье
Под шатром неизменных высот.

ОКТЯБРЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ

I
Немало мне выпало ныне
Дождя, и огня, и недуга,
Смиренье – не чуждо гордыне,
Горенье – прости мне, подруга.

Дражайшее помощи просит,
Навесом шурша тополиным,
Прошедшее время уносит
Кружением неопалимым.

Внемли невесомому в мире,
Недолгому солнцу засмейся.
Безропотной радуйся шири,
Сощурься и просто согрейся.

Из нового ринемся круга,
Поверим забытым поэтам,
Прельстимся преддверием юга,
Хоть дело, конечно, не в этом.

Как будто и вправду крылаты
Посланцы невидимой сметы,
Где отсветы наспех примяты,
Отринуты напрочь приметы.

Как будто, подвластны причудам,
Невинным гордятся примером
Стремленья магнитного к рудам,
Служенья наивным химерам.

Где замкнутым шагом открытыя
Уже не желают собраться,
Но жалуют даже события –
А молодость жаждет остаться.

II
Скажи мне теперь, музыкантша,
Не трогая клавиш перстами, –
Ну что тебе чуть бы пораньше
Со мной поменяться местами?

Ну что тебе чуть поохрипнуть,
Мелодию петь откажется,
Мелькнувшее лето окликнуть,
Без голоса вдруг оказаться?

Ну что тебе, тихий, как тополь,
Король скрипачей и прощений,
Разбрасывать редкую опаль
По нотам немых оболещений?

Ну что пощадить тебе стоит
Творимое Господом чудо,
Когда сотворённое стонет
И воды влечёт ниоткуда?

Ну что за колонны белеют –
Неведома, что ли, тоска им?
И мы, заполняя аллеи,
Ресницы свои опускаем.

А кто поклоняется ивам,
Смежает бесшумные веки? –
Да это, внимая счастливым,
На редкость понятливы реки.

И племя младое нежданно
К наклонным сбегает ступеням –
И листья слетаются рано,
Пространным разбужены пенем.

И хор нарастает и тонет
В безропотной глубине тумана,
И голубем розовым стонет,
И поздно залечивать раны.

И так, возникая, улыбка
Защитную ищет заминку,
Как ты отворяла калитку –
А это уже не в новинку.

III
Бывали и мы помоложе,
И мы запевали упрямо –
И щурили очи в прихожей
Для нас флорентийские дамы.

И мы нисходили на убыль,
Подобно героям Боккаччо, –
Так что же кусаю я губы
И попросту, кажется, плачу?

А ну-ка, скажи мне, Алеко, –
Неужто зима недалёко –
И в дебрях повального снега
Венчальный послышится клёкот?

И что же горит под ногами,
И разве беды не почуют,
Когда колдовскими кругами
Цыганское племя кочует?

О нет, не за нами погоня,
Нахлынет безлиственно слава –
Покуда она не догонит,
Земля под ладонью шершава.

Коль надобно, счёты откинем,
Доверимся этой товарке –
Покуда ведь только такими
Опавшие вспомнятся парки.

Томленьем надышимся ломким,
Уйдём к совершенствам астральным,
Октябрь не в обиду потомкам
Сезоном закрыв театральным,

Где свёрнуты без опасений
Над замками мавров и троллей
Затёртые краской осенней
Афиши последних гастролей.

НОЧНЫЕ ЦВЕТЫ

I
Из темноты, увенчанной цветами,
Явилось мне смирение – но в нём
И таинство, и шествие с дарами
Сопутствуют общению с огнём, –

Измучен глаз – и век жестококрылый
Состариться успел и не в чести –
Но обретать насущное в пути
Мы начинаем с новой силой.

II
Дворы пусты, как выходы вельмож,
Закат автомобильный страшен, –
Стигийских стражей и кремлёвских башен
Содружество томит, – и ты не вхож
Ни в шелест, возвышающий листья,
Ни в двери, –
И вещи до наивности просты
В предвестии потери.

III
Вино бездомицы в стакане ледяном
Хрустальным плеском сковывает веки,
С ночлегами в безумной картотеке
Торжественно знакомясь за окном,
Где голуби над храмом пролетят –
И вместе с колоколом гулким
Из райских новостей, из царских врат
Прольётся свет по переулкам.

IV
Не жертвуйте им нежности язык,
Доступности и лести – двум сестрицам, –
Никто ещё в коварстве не привык
Ладони прижимать к ресницам,
Зрачки терзая пыткой пустоты
С поклоном и полунамёком, –
И только незабвенные черты
Помогут в испытании жестоком.

V
Пусть ветер предпочтителен другим –
Но вы, цветы, наперсники покоя,
Из кротости к намереньям благим
Питаете доверие такое,
Что, птичьему подвластны волшебству,
Звериному началу пробужденья,
Предчувствуем во сне и наяву,
Когда оно пройдёт, уединенье.

VI
Из музыки смолою золотою,
Из улья пчёл –
Янтарь и мёд, – и холодной золою,
Чрез козни зол,
Меж казней и помилований редких,
Идти во тьме
Без мотыльков на яблоневых ветках –
Туда, к зиме.

VII
Но вы, цветы, воздушны и легки
В полночи, где месяц не огниво,
Зане перекликаетесь на диво
Лишь с теми, кто тихи и далеки, –
Пусть вестники разлуки захотят
Войти сюда, в чертог нерукотворный,
В неизмеримости склоняясь непокорной, –
И нам, отверженным, поверят и простят.

ВЕЧЕРНИЙ ДОЖДЬ

Не только с мокрою листвою
Он власть натешится высоко,
Играя с нею, как с плотвой,
В необозримости потока.

Не только в лоне тишины
Он вмиг подметит разногласья –
И посчитав, что не нужны,
Её нарушит в одночасье.

И, на щедроты не скупой,
Звеня воздушными цепями,
Зовёт сады на водопой,
Согнав их в стадо со степями.

Течёт живьём по желобам
Благословенная водица –
И барабанит по столбам,
Где фонарям пора гнездиться.

Струясь отвесно по стене,
Прохладу стёкол ощущая,
Он сам доверится вполне
Тому, кто смотрит, защищая.

Тому, кто в памяти своей
Его оставит, как событие,
Он впрямь поверит плотью всей,
Лишь суть нащупывая нитью.

Он так хотел бы перестать
Смущать отшельника слезами –
И, чтобы вечер скоротать,
В сирень зароеется глазами.

Но там – чего там только нет! –
И только зеркало вздыхает
И отражает силуэт,
В котором страсть не утихает.

И различаешь ты вне тьмы:
Черты, не тронутые болью,
Алмазом врезаны в умы,
Морской забрызганные солью.

И если исподволь извлечь
Неприхотливую цевницу.
Похитить – не предостеречь –
Дерзнёшь спартанскую царицу.

Пред нею разве устоишь? –
И, отмахнувшись вдруг от кары,
Её истомой напоишь –
О, всеобъемлющие чары!

Не говори, что хороша, –
Ей похвалы твои не лестны –
Пусть соглашается душа,
Что вам обоим в мире тесно.

Не говори, что никогда
Тебе любви её не хватит, –
Она в соблазнах, как звезда,
С другим зрачки ещё закатит.

Благодари за свет, за связь, –
Да воздадут хвалу Елене,
Губами оба наклоняясь,
Сирень к дождю – и дождь к сирени.

Листве никак не улететь
За рассудительными птицами –
Ей остаётся шелестеть,
Взмахнув зелёными ресницами.

Своим несходством не кичась,
Над нею облачная вольница
Витает, радостью лучась,
И торжеством пространства полнится.

Такого нет ни у кого,
О том и ветер скажет реюший –
Но золотое волшебство
Листве даровано редеющей.

Ну кто же станет отрицать,
Что у неё – права особы?
Чтоб словом лишним не бряцать,
Я это выразить не пробую.

Она придёт к тебе сама
Недальновидною подругою,
Уже сводящею с ума,
Со всей знакомою округою.

Она возникнет наяву
И сновидением останется –
И свет, которым я живу,
За ней в грядущее потянется.

Твоих ли, осень, здесь владений нет,
Правительница области безбрежной?
Зачем тыходишь тенью неизбежной
В сокровищницу таинств и примет?

Пускай зажжёт над бездной Скорпион
Светильник свой, – давно ли ты внимала
Тому, кто в жизни значил слишком мало
И совершал деянья, как сквозь сон?

Знать, сам Господь велел тебе найти
Того, чей дух был высветлен тобою, –
И, властвуя упрямо над судьбою,
Вставала ты звездой на пути.

Явилась бы ты, может, на пиру
В безмерном блеске, в облике чудесном,
В земном уборе, в золоте небесном, –
Да веку ты пришлась не ко двору.

Тому, кто жизнь отстаивал плечом
И гибели отринул притязанья,
Твоё – сквозь явь – привычное дерзанье
Не притчей даровалось, а лучом.

Но мне всего дороже каждый раз
Твоё – сквозь грусть, отшельница, – смиренье,
В котором есть высокое горенье
Для душ людских, для ждущих наших глаз.

НА ЗАКАТЕ ОКТЯБРЯ

Не взглянуть ли мне на лица
на закате октября?
в них зимующие птицы
пробуждаются не зря
в них затронута негласно
захолустная струна
в запустении опасна
и в заре отражена

там зарёванной ровней
старожилам и холмам
запредельное подробней
чем хождение по домам
чем землистые таблицы
здравомыслящего дня
где заступницей столицы
служит жёсткая стерня

где затворницы из башни
расчесали волоса
злоумышленное пашни
и яснее голоса
и дыханье вдохновенно
запрокинутых раки
и признанья откровенны
незабвенных волоки

золотую середину
миновали до поры
и поэтому едины
упования и пиры
где отзывчивые квиты
злаязычие в ходу
и языческое скрыто
в ясновидческом бреде

где вы добрые богини
запоздалого тепла?
где намеренья благне –
не луна ли унесла?
не замолвили ль словечко
за неловкого меня
чтобы лёгкое колечко
выручало из огня?

не губили бы таланты
не забыли бы тихи
застеклённые веранды
замолённые грехи –
только нам в любви и вере
недосуг смиряться там
где едины в старой эре
земно кланяемся вам.

ПОЧТИ ВОСПОМИНАНИЕ

В дожде в дожде его ищи
тот мир нескладный и могучий
где доли города живучи
и людям отданы плащи

чтоб лист приподнятый рукой
не обручил тебя с тоской
благословляя и алая
уводит из дому аллея

где дом? где лист? и где рука?
рука прохладна и легка
прозрачен лист а дома нет –
но ясен дождь и близок свет –

о том ли вспомнилось теперь
когда и тени в сквере нету
когда потери вне запрета
но их поди удостоверь?

о том ли вспомнил? не забыл?
тепла ещё не разлюбил
но долог миг и краток день
а ночи мучить нас не лень

о чём ты ведаешь певец
гордец шагнувший под венец
забыв сознания разброд
где было всё наоборот?

в дожде в дожде его ищи
тот мир отринутый как тучи
где слёзы исповеди жгучи
а встретив лучший не взыщи.

От разбоя и бреда вдали,
Не участвуя в общем броженье,
На окраине певчей земли,
Чей покой, как могли, берегли,
Чую крови подспудное жженье.

Уж не с ней ли последнюю связь
Сохранили мы в годы распада,
Жарким гулом её распалясь,
Как от дыма, рукой заслонясь
От грядущего мора и глада?

Расплескаться готова она
По пространству, что познано ею –
Всею мольбою сквозь все времена –
Чтобы вновь пропитать семена
Закипающей мощью своего.

Удержать бы зазубренный край
Переполненной чаши терпенья! –
Не собачий ли катится лай?
Не вороний ли пенится грай?
Но зачитою – ангелов пенье.

Вспыхнет Ковш над землёй высоко –
В нём ли емлем вселенский мёд?
Молвишь слово – и чьё-то око
Так посмотрит, что дрожь проймёт.

И проснётся тогда неожиданно
То, что душу нам тяжелит,
Что потом, возрастая странно,
Замыкаться в себе велит.

Замолчишь, но зачем – не знаешь, –
Почему же в который раз
Ты в себя только то вбираешь,
Что найдёшь лишь по блеску глаз?

Вдруг очнёшься: куда же дальше?
Ты в глуши затворён своей –
В годы смут от повальной фальши
Уберечься хоть здесь сумей.

Прикоснёшься к цветам шипастым
В одиноком раю своём –
Дай-то Бог, чтоб речам несчастным
Роковой не грозил заём.

Не затем ли ты клеткой каждой
Связан с миром, чтоб видеть в нём
Всех, земною томимых жаждой,
Что с небесным в родстве огнём?

НАДЕЖДА

В дожде нахлынувшим ты выглядишь радушной –
Затменьем солнечным на время смущена,
Припоминаешь наши имена,
Владелица обители воздушной.

Хранилище преданий и письмён
Ты никогда ещё не открывала
Тому, кто рвал с Изида покрывало,
Тщетою людской от скуки приручён.

Могла ты осерчать иль приласкать –
Ведь мы, живя, то гибнем, то воскреснем, –
Но то, что ты моим дарила песням,
Вовек мне у других не отыскать.

Бывало, думал: всё ли ты со мной? –
Прислушивался к голосу из ночи –
И мне твои разбуженные очи
Дороже были мудрости земной.

В забвенье пропадаю иль во хмелю,
Иль смерти зрел жестокое обличье –
Везде я сознавал твоё величье –
И ни за что тебя не прогневаю.

Есть память, человеческой древней, –
В рыдании живёт она и стоне, –
И вновь твои горячие ладони
Гнездо свивают в судороге дней.

В той памяти – рождений череда,
И ты, о восприемница благая,
Ребёнка из купели принимая,
Его не покидаешь никогда.

СВЕТАЛАНА ХОЛОДОВА



ТАМ, ГДЕ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ

Завещали жить,
одарили летом –
лёгкостью, теплом,
земляничным днём,
сумерки, июнь,
проводины света,
в розовом огне
тонет окоём

...лабиринты дел,
полосы недоли,
но пройдёт насквозь –
через копоть лет,
через витражи
опыта и боли –
бережный огонь,
материнский свет

приложу ладонь
там, где сердце бьётся –
до чего же вдруг
выдохнуть нельзя...
утекает жизнь –
детство остаётся,
в прописях небес
ласточки висят...

ШИПОВНИК

И в мёртвую пору виденье
твоё не позволит пропасть:
о розовых залпов цветенье,
гудение, пиршество, страсть!

Шиповник, мистерия лета,
басовые ноты шмелей,
весь день – вакханалия света,
округа – в медовом тепле.

Где полнятся плотью исподней
в садах, тяжелея, плоды,
согреты ладонью Господней
земные дела и труды.

И кажется – не потому ли
мы живы всему вопреки,
что приняли вёдро июля
из щедрой отцовской руки?

Ни язвы потерь не смертельны,
ни острые спазмы тоски –
хоть ужасу мы сопредельны,
но радости больше близки,

покуда сакрален, как знамя,
шиповника цвет заревой
и тёплыми сыплет басами
шмелиный оркестр духовой.

БОЛЬНИЧНОЕ

I.
Кричит во сне и сам себя не слышит,
глочет воздух – душный и пустой,
и видит сон: он птицей стал – всё выше
и выше над больничной суетой,

палатой интенсивной терапии,
медсестрами и лечащим врачом,
и плещут крылья – белые, тугие,
и небо необъятностью влечёт.

А дальше космос – недра тьмы и света,
и вечность, и столетия подряд
летят, летят бенгальские кометы
вольфрамово созвездия горят.

А ровно через сутки было снова:
два вскрика и полёта торжество.
И якорь притяжения земного
уже не для него, не для него...

II.
За больничным окном,
 будто струны, натянуты сосны.
Свечерело, дождит, отключили небесную синь.
А в палате – негромко, уют и покой високосны,
и, чтоб жить, иногда не хватает ни сердца, ни сил.

Здесь у всех постояльцев –
 приметы незримого сходства,
будто в складчину нынче – и сосны, и дождь, и листва.
Здесь в пределах Вселенной –
 сквозняк векового сиротства,
но в пределах любви – теплота векового родства.

Здесь в далёкие дали кому-то подписана виза,
и тому, кто отъехал, последнюю ставят печать.
Вот и голубь залётный снаружи прошёл по карнизу,
будто чья-то душа прилетела другую встречать.

Но к иным берегам одновременно
 всем не добраться...
Корабельная дрогнет струна, потемнеет окно.
Мне останется осень. И это больничное братство,
что отныне и больно навеки, навеки дано.

ДОЖДЬ В МЕТРО

Я подъезжала к станции своей,
запутавшись, как муха, в паутине
случайных мыслей...
Перед остановкой
нечаянно мне показалось вдруг,
что с потолка вагона, через крышу,
единственная капля дождевая
пробилась и под ноги сорвалась
стоявшей рядом девушке на входе...
И грянул ливень –
в чреве у метро,
в вечерней герметичности вагона...

Он грянул и собой заполонил
всю внутренность – загадочным свеченьем
(как будто кинофильм про НЛО
крутил киномеханик сумасшедший
для тех, кто ехал в пятницу домой),
и в нём вода и свет перемешались,
неразделимым стали веществом.
И люди не утратили людское,
но ангельское вдруг приобрели

и двигались, как рыбы, по вагону –
так плавно, без малейшего усилья,
они, светясь, друг друга обтекали,
накладывая друг на друга свет,
парили, плыли, радуясь движенью,
за поручни и стойки не держась...

Тогда я и увидела её,
мою давно погибшую подругу,
автобус где-то там, на серпантине,
с наезженной сорвался колени,
когда она сидела у окна...
И четверть века, что она жила,
уже перегнала другая четверть...

И вот она была передо мной,
с глазами как у коккер-спаниеля,
с глазами цвета переспелой сливы
и с грацией лозы дикорастущей,
такая же, как прежде, молодая,
и улыбалась мне...
Ну здравствуй, Соня!
И мы с ней обнялись, не прикасаясь

друг к другу, только светом обнялись...
Я плакала и радовалась вместе.
Ну что ты, всё ништяк, — она сказала, —
жить можно даже там...

Теперь я знаю:
когда-нибудь я встречу всех, кто мил,
вот так — в пути, в движенье серебристом,
где страха нет и боли тоже нет.

ЗАСЫПАЛОЧКА

Ты почему до сих пор не спишь?
Долго не спать нельзя.
Слышишь — скребётся ночная мышь,
звёздный орех грызёт?

Вот сердцевину его куснёт —
сладостней вкуса нет —
брызнет орехово-звёздный мёд,
тихий погаснет свет.

Ночь — это чёрный большой Дракон-
Медленное-Крыло.
хочешь — помчимся за ним вдогон?
Лишь запахнись тепло

в этот верблюжий волшебный плед...
правда... а ты не знал?
Я, когда было мне столько лет,
каждую ночь летал,

где кашалотовы спины крыш
плавают в темноте.
Знаю, и ты, дорогой, взлетишь,
стоит лишь захотеть.

Над чешуей кистепёрой тьмы —
млечные чудеса...
Ходят стадами барашки-сны..
Спи, закрывай глаза.

КЛОУН

Семёну Шустеру

Этот клоун в чёрно-белом,
элегантный и смешной,
что он с миром целым сделал,
что он делает со мной?

От всего, что сердце ранит,
не осталось и чуть-чуть,
он за ниточку потянет —
я звеню и хохочу!

Эту лёгкость золотую,
это смеха вещество
на глазах у всех колдует
он почти из ничего.

И стирает клоунада
грим усталости и лет,
а всего для счастья надо —
звук, верёвочку и свет.

И вот это чудо-средство
за каких-то полчаса
отпускает душу в детство,
словно шарик в небеса.

Нореньга, Сойга, Пиньга —
плёсы да камыши ...
Княже мой, Игорь, Ингварь —
свете моей души,

солнце моё, надежда,
месяц в ночи, звезда,
боль — а и счастье тоже,
да не разлей вода...

Сердце, что птицу, вынул,
в сладкий забрал полон...
Дал бы, Ярило, сына —
обликом, как и он.

Слышала, что шептали —
хмурили лбы — волхвы:
вскорости быть печали,
бабам по-волчьи выть.

Зори во мгле алели,
свет их зловеще тлел,
кликала Карна Желю,
Див до утра свистел,

солнце всходило чёрно,
лемех точила ржа...
Даром ли мы учёны
ждать и детей рожать?

Как во широком поле
встретятся рать и рать —
выйдут мечи на волю
щедрую дань собрать.

Знаешь, как смерть ревнует?
Станет нежней жены...
Кони стоят под сбруей,
всё не рассёдланы...

ЗОЛОТОШВЕЙКА

Растворяется
в глубине высокой
всё, что не исправить,
не изменить,
тянет стрекоза
над речной осокой
света и тепла
золотую нить.

Проскользит внизу,
серебрясь, улейка,
точно истина
в чешуе из слов...
Я золотошвейка,
золотошвейка
в поднебесном храме
Твоих даров

И пречистое
повторяя имя,
коим, Господи,
каждый здесь храним,
вышиваю нитями
золотыми
по неугасаемым
дням Твоим

Знаешь ли ты,
откуда берётся музыка?
Когда музыканты
во тьме оркестровой ямы
приласкают скрипки –
нежней, чем любимых женщин –
те расцветают,
будто весенняя сакура,
и смычки,
словно стая ласточек,
взмывают ввысь.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ



ИЗУМРУДНЫЕ РЫБЬИ САДЫ

БЕССОННИЦА

Завтра я лягу спать,
буду лежать плашмя,
дном будет мне кровать,
правой рукой клешня.
Левая тоже, но
меньше, чем правая. Чуть.
Буду, вжимаясь в дно,
камнем царапать грудь.

Синие глыбы рыб
падают в чёрную глубь, –
Это всё недосып,
он тяжелей, чем ртуть,
тянет меня на дно,
в чёрную бездну тьмы.
Жёлтой луны пятно
стынет в стекле сурьмы

РУСААКЕ

У одних засыхает плавник,
у других, несмотря ни на что,
в горле бьётся хрустальный родник,
но для всех сквозь небес решето

звёзды падают к зелени вод
в изумрудные рыбки сады,
где русалки кружат хоровод
в ожидании первой звезды.

Я найду тебя в хаосе струй,
и на кромке земли и воды
подарю тебе свой поцелуй
под сиянием павшей звезды.

АФРОДИТА

Я любил тебя так, как мог,
я отламывал сердца край,
поцелуев твоих ожог
цвёл на теле, как пропуск в рай.

Это море качало нас
или мы раскачали его?
Но скрипел на волне баркас,
и прибой был белей снегов,

и миры отражались в нас
или мы отражались в них?
Без тебя я, как свечка, гас,
а с тобою горел за двоих.

Я был небом, горой, рекой,
и Земля была так мала,
когда, к сердцу прильнув щекой,
Афродита на нём спала.

УТРО

Вздрагивая от холода утреннего,
сердца музыку загрузинную,
переливы её внутренние,
воркование голубиное,

будем слушать под стон моря –
для меня нет важнее дела,
переливам твоим вторя,
укрывать тебя своим телом,

воркование голубиное,
в лабиринте ветвей омелы,
лепестков твоих цвет рубиновых,
на прибрежных песках белых.

Жаркий ток в глубине тела,
даже волны со стоном вторят –
у нас самое важное дело –
мы для вас раскачали море...

ОМЕЛА

Закат был красен, воздух – синь,
бутоны губ цвели на белом.
Я шил любви твоей польнь
в плетении ветвей омелы.

Судьба моя сплошной облом,
одно ходячее несчастье.
Вот и тебя задел крылом,
как будто бритвой по запястью.

Закат был красен, воздух – синь,
волна баркас едва качала.
Я перерезал тонкий линь
и оттолкнулся от причала.

И только взялся за весло,
как со скалы на борт слетело,
наверно, ветром принесло,
вечнозелёный лист омелы.

Февраль обманный месяц – лун,
обманет он меня, обманет.
Луны плывун плывёт в тумане,
русалка бьёт хвостом и манит
среди осколков павших лун.

И я один на берегу
сiju. Сiju и жду рассвета,
как будто вдруг вернётся лето,
мы допоём, что недопето,
ты выйдешь из волны – «ах, лето,
лето» – и я навстречу побегу.

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ



ПРИВЫЧНОЕ ЧУДО

НЕ ХУЖЕ МОНМАРТРА

Всё пропадает в этих бескрайних болотах: деньги,
танковые колонны противника, казаки
хмурые, конные, пешие, половцы, печенег,
изобретатели, народовольцы и дураки.

Умные, впрочем, тоже. И кажется, неподвижно
время остановилось и более не течёт.
Только колышет ветер травы: репейник, пшжма,
мята и зверобой. И только к дождю плечо

ноет и ноет, словно бы сердца не стало вовсе.
Что ему, бедному, попусту здесь унывать, болеть?
Все мы уйдём, конечно, и только прохожий спросит:
– Чей это крест?.. – А ничей. Никого здесь нет...

Где-нибудь война – пробитой каской
небо над погибшим батальоном.
Золотой, с корицей и с лимоном,
чай возьмём в кафе на Петроградской.

Посмотрю в глаза твои, Светлана,
черные с еврейской поволокой.
Жить на этой родине жестокой,
эк, нас угораздило! Да ладно,
можно посидеть, пока минута
тишины, пока нам не включили
телевизор: «Сбили лайнер? Сбили.
Украина, санкции, валюта».

Медвежата, ёжики Норштейна,
что мы знаем? Братские могилы,
всякие алькаиды, игилы,
нефтяное золото Бахрейна,
пулемётов скользкие гашетки.
Мы в тумане. Жизнь такая – вилы!
Почитай хоть Бродского мне, Светка!..

Мы встали утром – первый снег
лёг на деревья и на крыши.
В глухую ночь, волчицы тише,
он шёл, как первый человек.

В окно глядим: белым-бело,
и вот легла следов цепочка –
тире-тире и точка-точка –
как две морщины на чело.

Ну, здравствуй, время! Это мы
в твоих объятиях медвежьих
живём, как музыка на свежих
черновиках, и до весны
готовы ждать... Чего?.. Не зна...
Точней, всего – всего, что мучит
и восхищает. Кот мяучит
и лижет руки мне...
Зима...

Над уснувшим посёлком седые дымы,
а вокруг зимогорят медвежки снега.
Говорили когда-то давно: от сумы
да тюрьмы зарекается не стоит. Тайга
обступила нас тесно дремучим кольцом,
и автобус пропал на дороге ночной.
Лишь сосед забредаёт с дешёвым винцом,
говорит: – Ё-моё! Тяпнешь, может, со мной?..
– Ну, лады. По чуть-чуть... Чёрт его бы побрал!
Слишком холодно нынче у нас – на краю
самой трудной земли, чересчур серебра
по сугробам рассыпано в этом Раю.
Здесь живут-не живут, но таких кренделей
выдают на-гора, что над этой землёй
никакие законы... – Ну, что же? Налей!..
– За любовь!.. – За неё! По одной!.. – По второй!..

Было зябко. Целительный горец,
срезав стебель его молодой,
заварил – не возьмёт меня горе,
не убьёт! А над чёрной водой
в серых сумерках влажная хвоя,
и нодря распустила цветок
золотистого пламени... Кто я?
Для чего я живу?.. Кипяток
отхлебнул и подумал: «О, Боже,
если я ещё всё-таки жив,
это счастье! Оно так похоже
здесь на всполох огня, на порыв!»
Поднял голову – там Ариадна
уронила Корону. Ну что ж,
ночь тиха, и светла, и прохладна.
Новый век ужасает. И ладно.
Он особенно этим
хорош!

Посидеть
на лугу возле чёрного дуба,
рядом с розовой пеной кипрея, пока
нежный лёд сновидений твоих – облака –
в бирюзовой реке. И привычное чудо:
видишь, ветер, играючи, крону листает,
видишь, бедный кузнечик о счастье поёт,
и корова задумчиво мятлик жуёт,
и мгновенная ласточка сверху летает.

Всё, чему предназначено быть, совершится:
отсвистит мухоловка, умрёт муравей,
крови выпьет комар у меня меж бровей,
дикий хмель отцветёт и трава-медуница.
Будет море шуметь, где до слёз наглушили
мы с тобой на мучительной этой земле,
ели хлеб на дощатом, сосновом столе,
жгли свечу и друг друга ночами любили.

Мята, и подорожник, и луговой шалфей,
и золотые сосны с небом накоротке.
Ах, я хотел уехать, может быть, в Санта-Фе
и говорить на местном ломаном языке.

Шумной мулатке домик я б на кредит купил,
я бы на стены вешал сумрачный авангард,
дельные репортажи делал бы для «UPI»,
в школу дарил бы дочке пористый шоколад.

Но не сложилось... Ветер путается в густой
кроне берёзы – дикий, хочет горячих ласк.
Годы идут по кругу (вроде, уже шестой).
Как бы узнать, а может, я на пути в Дамаск?

Может, я вижу небо в перистых, кучевых,
в белых, слоистых, пышных, как византийский слог?
Где-то на них, воскресший, помнящий о живых,
всё ещё обитает наш милосердный Бог.

Здесь на берёзе чернеет целебная чага,
красных во мху сыроежек таятся ватага,
ёжик бежит по ежиным делам непростым.
То-то и хочется крикнуть в сосновую стынью:

«Эге-ге-гей! Человек! Или зверь! Или птица!»

Только какая-то тень за кустом колготится,
хлопает тента брезент на промозглом ветру.
Разве отсюда, допустим, за море – в Перу –
можно бежать, если строгая финская радует осень?

Вот и пишу я в блокноте: «Уже сорок восемь.
Жил я балбесом и, верно, умру как балбес».

Что же добавить?.. Проглянуло солнце с небес,
белка махнула с вершины на нижнюю ветку.
Медную я на ладони подбросил монетку:

«Будет ли счастье? Конечно же будет! О, да!
Солнце, оно навсегда, потому что звезда!»

Мудрые птицы по звёздам летят домой,
и грибники, улыбаясь чему-то, режут
влажные шляпки. Деревья стоят стеной,
и на погосте ночью рыдает нежить.

Можно соседке-старушке купить «Ахмад».
Сидя за кружкой дымящейся, жаркой влаги,
пусть повествует о том, как в сельпо хамят,
как выносили когда-то на площадь флаги.

Может, расскажет: однажды она вождю
рапортовала, а после отца, конечно,
органы взяли, да... А комары к дождю.
А человеку нужно святое Нечто.

Впрочем, я лучше пойду на болото за
клюквой – хорошая нынче и цвета крови.
И опадает листва, и слезит глаза
тихая боль небесной
Его любви.

А после нас века ещё пройдут –
однажды в полдень черепа осколок
достанет из раскопа археолог:
«Да, точно были люди где-то тут!»

И он определит, что это я
жил на Руси вполне замысловато,
что из меня, страдальца и солдата,
слепили здесь такого соловья.

Мне и картошка мёрзлая, и снег,
и камера, и яма на погосте –
привычно всё, всё сдюжат эти кости.
И ахнет археолог: «Ничего-с-с-се!
Да это русский жид! Двадцатый век!»

Да, я хочу когда-нибудь Париж
увидеть, прогуляться по Монмартру.
Но яблоня цветущая, но стриж,
ютящийся под крышей, но на карту
посмотришь – нескончаемая глушь,
и ночи то прозрачные, как ситчик,
то белые, то чёрные, как тушь,
и посвисты угрюмых электричек.

Назавтра меднохвойные леса
снегов наденут свадебное платье,
и я пойму, какие полюса
Париж и мы! Возможно, даже счастье –
не ездить никуда, а при свече
смотреть в окно, коту лохматить ушки,
горячий чай отхлёбывать из кружки,
и думать о Париже, и вообще...

Потому что ни конным, ни пешим тут
на Москву через топи дороги нет.
Потому что и бабы то жилы рвут,
то чисты и румяны, как маков цвет.

Потому что тоска и метёт пурга.
Потому что такие здесь есть места,
где ещё не ступала ничья нога,
что у каждого крест, хоть и нет креста.

Потому что беспечно в кустах поют
от безудержной нежности соловьи.
Потому что за правду жестоко бьют
и карают за лёгкую тень любви.

Потому что в болоте лежит солдат,
и цветёт в изголовье разрыв-трава.
Потому что и звёзды на нас глядят,
и речные извилисты рукава.

Потому что и все, и никто виной
(знать, за злые грехи здесь дают срока).
Потому что над выморочной страной
башни белые плавают – облака.

Потому что куда же бежать, когда
серебрится бескрайний покров зимы,
чьи, как птицы, бессонные поезда
всё спешат за границы свинцовой тьмы!

ЕВГЕНИЙ ВИТКОВСКИЙ



САД ЭРМИТАЖ
Новые стихотворения

Снежный ветер ко дню Покрова
рвется мир опоясать,
солнце спит в небесах, как сова.
а точнее – неясить.

А ворона кричит на суку,
что сомненья нелепы,
что прогнать по отчизне тоску
проще пареной репы.

Настроенье дошло до нуля,
а душа – безоружна.
Бесполезно ловить журавля
и, возможно, не нужно.

Эти вечные горе с бедой
и не съем и не выпью.
Издалёка ночной козодой
стонет раненой выпью.

Все еще вспоминается зной,
и последнее лето.
Но кукушка кричит за спиной:
что бы значило это?..

Мир, от жаркой тревоги усталый,
расплавляется в дымке.
До зимы еще долго, пожалуй,
это только зазимки.

Предсказания дня снегопада
принимать ли на веру?
Вот он, градусник – только не надо
доверять спиртомеру.

Что жалеть-то, что нынче, ей-богу,
не иначе как сдуру,
Фаренгейт для чего-то дорогу
заступил Реомюру.

Солнце, вечный гонец и наместник,
не следит в суматохе,
что там делает каждый ровесник
ледниковой эпохи.

Служит время сомнительной сводней,
водит за нос природу,
обижаться на снег прошлогодний –
что размешивать воду.

Неизбежные боль и прохлада
настигают повсюду.
Изо льда бесполезно стараться
изготовить посуду.

Бог горшки не желает муравить,
вот и силится ныне
след хотя бы какой-то оставить
на твердеющей глине.

И как прежде, фальшивя безбожно,
все твердит окарина,
что увидеть никак невозможно
промелькнувший нейтрино.

Не стоит сердиться, доверившись картам гадальным.
Печальные новости множатся в мире печальном.

Опять на болотах Эстонии грустно и сыро,
опять в Трансильвании нет ни кола, ни вампира.

Опять не добыть ни лосося, ни гуся, ни лося,
опять налетают торнадо, страну пылесоса.

Опять недовольны боярами злые холопы.
Опять император катается в желтом салоне.

Испанский король из покоев коварно похищен,
теперь он – российский

Аксентий Иваныч Поприцин.

Молчи уж про это, не то всю семью опозоришь.
Растет энтропия, и с этим никак не поспоришь.

Затем, что того, кто забудет об этом законе,
уносят в безумие чёртовы русские кони.

Жертвенный знак треугольной звезды,
свет благотворный.
Поздний закат и скамья у воды
темной, озерной.

Символы я до конца не пойму,
данные свыше.
Всё, что вовек не скажу никому,
Боже, услыши.

Дай лишь возвышенный миг тишины,
внемлющий Боже,
песне, которой слова не нужны.
музыка – тоже.

Долгие годы и тяжкие дни
кратко исчисли,
ну, а потом хоть на миг загляни
в душу и в мысли.

Видишь, не ведает строчек и нот
сердце-бедняга,
И настоятельно в бездну зовет
темная влага.

Детской руке удержать не дано
ворот колодца.
Все остается, что пало на дно,
все остается.

*Я смотрю без раздраженья
На такие вещи.*

Леонид Мартынов

Вот опять на свете смута,
и опять морока,
не по умыслу чьему-то,
не по воле рока.

Поздно ведовству учиться,
и ругаться кисло:
лихо прыгает волчица
через коромысло.

Шестилапая собака
засыпает чутко,
дремлет возле волколака
водяной анчутка.

Обдериха позабавит,
милости сподобит –
баня парит, баня правит,
баня и утробит.

В кузню попусту не лазай,
будь поближе к дому,
мечет пахарь одноглазый
искры на солому.

Крик отчаяния резкий
тронет за живое.
Сердцу страшно в редколеске,
в поле – страшно вдвое.

Там шальная полевица
мечется со смехом,
там не сможет пробудиться
спящий под орехом.

Всю-то ночь бесплодно лупит
ветер по вершинам,
ибо утро не наступит
с криком петушиным.

Страшен, однако же с детства знаком
сей развороченный улей,
пахнет святою водой, чесноком
и деревянною пулей.

Из переулка чудовищный лик
кажет чудовищный воин,
выгнуты зубы, змеиный язык
свешен и криво раздвоен.

Спешки ни в чем никогда не любя,
морок таращится тупо,
слюни глотает – а вдруг у тебя
сладкая первая грушпа?

Мечется разум, рыдает душа,
сердце витийствует пылко.
Нервы шлифует, и тем хороша
старая эта страшилка.

И не помогут ни молот, ни крест,
тварь побеждает в итоге –
досуха выпьет и дочиста съест
странников темной дороги.

Две джеттатуры топырь, не топырь,
не остановишь забаву,
Век двадцать первый – не волк, а упырь,
не по зубам волкодаву.

Дыханье ветра и хлада.
Значит, настал Самайн.

Древняя Дал Рида,
полная снов и тайн.

Трепетные мгновенья,
запад почти свинцов.
праздник поминовенья,
день живых мертвецов.

Стелются струйки дыма,
вдоль смоляной реки,
легко и почти незримо
близятся ледники.
Легла на скалы завеса,
все до утра мертво,
во глубине Лох-Несса
нет совсем никого.

Тягостная погода,
не выходи из жилья.
Будет не слышно полгода
Сахарного ручья.
Самайн пришел на поминки,
только и может увлечь,
долгая песнь волюнки,
плавная кельтская речь.

Скоро всему разгадка,
обожди лишь несколько дней.
Слышишь, спешит лошадка,
всадник сидит на ней.
Пони большеголовый,
время мчит налегке –
только и виден лиловый
вереск в его руке.

Не вороши обиды,
сами уйдут пускай.
Внутренние Гебриды,
остров туманный, Скай.
Дымный ячменный солод,
долгий глоток и вздох,
неотступающий холод,
вереск, чертополох.

Башенки Данвегана,
на печати – бычьи рога;
шорохи океана,
скальные берега.
Пресеки недоверье,
строго печаль отмерь,
переходя в задверье
через простую аверь.

Повремени немного,
не торопись, о нет –
контур единорога,
клад золотых монет.
Долгих столетий слуги,
малые островки,
дремлют где-то на юге
каменные старики.

Здесь не меняются роли.
Промельки облаков.
Камень, стоящий в поле,
спит пятнадцать веков.
Долгая песня вдовья.
В камне и на воде
осень средневековья
здесь, и больше нигде.

Блекнет и догорает
закат на грани ночной.
У переправы играет
келпи, конь водяной.
Влага до пены взбита.
слезы в глазах стоят,
бешеные копыта
обращены назад.

Думай не про копытца,
а присмотришь пока –
мокрый конь превратится
в юношу или быка.
Ржет он, мечется шало:
но не увидишь дня,
если факела или кинжала
не сможешь бросить в коня.

Утро наступит хмуро,
спрячется в тень беда,
но маячит та же фигура
там, где журчит вода,
там, где темнеет заводь,
и что-то тянет ко дну,
туда, где привычно плавать
синему табуну.

Все же окончить надо,
этот немой разговор.
в сердце тлеет досада,
так подними же взор –

за каледонской чашей
ты разглядишь вдали
смутный, но настоящий
западный край земли.

Ты не печалься, не тоскуй,
сними лефортовы ботфорты,
не просто так, а на Кукуй
ходил войной Иван Четвертый.

Не надо дергаться, браток,
не откопают и саперы
укрытый тайнами приток
реки пленительной Чечёры.

Душой щедрый и широким,
в градостроительском ударе
подале от Москвы-реки
селили немцев государи,

как будто к ним благоволя,
но все-таки подальше спрятав
от новодельных стен Кремля
анклав проклятых реформатов.

А позже чуть не каждый год
летел слухок великосветский,
что Наше Всё на небосвод
взошло от улицы Немецкой.

...Пусть город выгорал дотла,
над ним привычно и знакомо
гремел во все колокола
восторг немецкого погрома.

Катились в прошлое года,
дорогою прямой и плоской;
была Немецкой слобода,
а стала Тишиной Матросской.

И что ж, конец? Хоть волком вой,
хоть сердце на осине вздерни, –
однако здесь под мостовой
все те же реки, те же корни.

Ну что ж, давай, гнездо совьём,
расположившись над Кукуем –
и до чего-нибудь вдвоем
с тобою вместе докукуем.

МАРЬИНА РОЦА

В той Роце Марьиной, где люди так просты,
и где любая вещь – товар на бестоварье,
мир коммуналок был оплотом нищеты,
что вряд ли думала об этой самой Марье.

Но были времена, когда молодой Услад,
здесь дурью маялся, рыдая и страдая,
той Марье посвятил полтысячи баллад
близ исполинских стен ужасного Родая.

Да, Марью погубил могучий остолоп,
кто были перед ним Чурило и Мудрило?
Но волк его пожрал, а следом он утоп,
Сентиментальность тут zelo передурила.

Не то Илья ходил на Марью с топором,
не то она сама крошила хулиганов,
но точно говорят, что здесь царем Петром
разбойник пойман был, известный князь Лобанов.

Приноровлялся здесь грабеж ко грабежу,
и проползала жизнь отменно неуклюже,
но, глядячи в века, я в целом так сужу,
что было гадостно, но быть могло и хуже.

То вовсе ничего, а то как снежный ком,
то хоронили здесь, а то лупили в бубен,
особо не таясь, в притоне воровском
французские духи мастырил некий Шубин.

Кинотеатр «Амфир», и церковь за мостом,
кончался день любой попойкой регулярной,
и на продажу здесь году в сорок шестом
лепили пироги с начинкою кошмарной.

Фокстрот на косточках, безудержный гоп-стоп,
торговые ряды, снесенные в итоге,
аптека и фонарь, и сотни три хрущоб,
пивнушка в двух шагах от старой синагоги.

Сюда стекался люд со всех концов страны,
и «кошка черная», и доктора в галошах,
Малевич, Мандельштам, и две моих жены
и множество других людей весьма хороших.

Не то что хоровод – скорей дивертисмент,
зятя и шурины, и девери, и тещи,
творцы невольные пленительных легенд
той роци Марьиной, в которой люди проще.

САД ЭРМИТАЖ

Вечности мы ничего не докажем,
но и теперь, как в далеком году,
в воздухе сумрачном над «Эрмитажем»
кружатся тени в Каретном ряду.

Помнят газоны и стены поныне
времени прежнего шумный базар –
здесь выступавшего Гарри Гудини,
здесь выступавшую Сару Бернар.

Здесь возникает немало вопросов,
ибо мерещится всякая дичь –
то ли Рахманинов, то ли Утесов,
то ли и вовсе Владимир Ильич.

Тянутся в прошлое тайные тропки;
музыку слушая, припоминай
волны Амура, Маньчжурские сопки,
синий платочек и синий Дунай.

Кружатся листья и кружатся ветки,
кружатся статуи мертвых богов.
кружатся рыцари русской рулетки,
кружатся девять подземных кругов.

Пользы нисколько в старании тщетном
сдвинуть столетия черный обвал.
Чем называть всех, кто был на Каретном,
проще назвать тех кто здесь не бывал.

Но от всего остаются обломки,
рушится времени хрупкая связь;
в память чужую, куда-то в потемки
сад уплывает, как птица кружась.

Встретимся, может быть, в мире соседнем,
поезд отходит – и, кажется, наш,
но на прощание в вальсе последнем
кружится, кружится сад «Эрмитаж».

МАКСИМ КАБИР



НОВАЯ НЕНАВИСТЬ

выбрасывай в окна серванты рояли
и прочую недрочь представь, что италия
на лестничной клетке соседи гуляли
от южных колоний к чукотке и далее.

в пакете винишка заныкана истина
и лица становятся древними фресками
соседи гуляли так самоубийственно
как будто им завтра погибнуть под песками

терзали ионику пьяные лабухи
сверкали глаза под пришитыми драхмами
и вторили глотки ваенге и лайбаху
и тётю марину в предбаннике трахнули.

в степях чевенгура ли, в недрах р'льеха ли
заснуть не могли опалевшие пращурцы
соседи гуляли, менты не приехали
христос не родился, не вымерли ящеры.

в огромной стране, в полутьме и пижаме
поскольку случайно дожили до пятницы
с ножами – вот, сука – а чё б не с ножами?
с кровавой блевотой в красивой салатнице.

подъезд сотрясаясь, и мощи антония
святого тревожно ворочались в падуе
завидуйте молча, вьетконг и эстония
здесь боги с небес над промзоною падают

здесь борщ и хинкали, здесь майя и кали,
посмертно медали, и феи драже
и дальние дали, и люди из стали
соседи устали и дремлют уже.

...про доллар, про крым, ещё про какую-то хуету
и я сказал: наверное, я пойду
потом в электричке ехал почти что трезвый
и город сиял за окнами сотней лезвий
не расслабленно никогда усиленно
и осознавал, как в известном стишке у сирина
что он в аду.

и вот же черти и грешники и котлы
и дабы в башку втирать – полные жмени золы
и люди в муром да сером не то чтобы правда злы
а просто по жизни какие-то странные пидорасы
и если прощёлкал и не защитил тылы
считай уже влился в массы.

и ночь достаёт из широких своих штанов
чёрные паспортины мамлеевских шатунов
белые розы червлёные пентаграммы
автоматчиков лёгких снайперов лучших своих сынов
и для погромов достаточно будет грамма

я пялюсь в окошко в надежде на смену вех
слипаются веки закадровый длится смех
у бархатных революций с изнанки румынский мех
короткие брючки для умненьких кровососов
и как признался немецкий один философ:
парень не так меня понял. я ненавидел всех.

Улетай на Гоа, если завтра война
Если ветер весенний доносит до нас
Вонь знакомую нового барина.
Мы законопослушные граждане, но
Слишком долго мы жили плечо плеч с говном,
Мы зашкварены.

Из глубин восстаёт новый архипелаг,
Капитантул Кодряну сжимает кулак,
Расправляются крылья льняные.
И пока здесь меняют скотов на скотов
Император глядит в ледяное ничто,
И глаза у него ледяные.

От кугутского рая отходит паром,
Чувства к родине – это стокгольмский синдром,
Храм бандитский и сжиженный газ.
Если случай представится выбрать божка,
Я свой голос отдам за Олега Ляпка,
Потому, что железная лопика: президент – пидорас.

время идёт, зеленеет вода в реке
дни околотками, годы сплошной кривой.
ты как пощёчина греешься на щеке,
чтобы я помнил, что я ещё живой.
наша анархия строится на плацу,
ноты латинские, музыка просто шум.
но ты как зеркальце поднесена к лицу,
удостоверится, что я ещё дышу.

с добрым утром, любимая, с новым хреновым годом
с новым идолом, с новым треном, с войной,
с новым курсом, с натянутым нервом
и кислым потом
заразительным непроходимым тупым восторгом

посмотри, нам раздали пока мы тут спали поров–
ну раздали смотри же красиво раздали ну
ну говно и его нам насрал государства боров
окупирававший страну

посмотри как ветра из его нутра раздувают парус
я безумнее теда банди и майли сайрус
и давай не вставать, потому что стыдно
вставать под гимн
будем спать, как рипли, к далёким летя планетам
в лучшем пламенном завтра разбудишь меня
минетом
я скажу, любимая, время стало другим

а пока я таким изливаюсь ядом, куда там кобрам
и куда там грайндекору даже с приставкой копро
но когда ты рядом, я становлюсь добрым
с добрым утром тебя, любимая, с новым адом

видишь, ничья невеста,
и никогда не мать,
это чужое место,
здесь просто сходить с ума.

в городе правят горцы.
рты залипает скотч.
когда замолкает моцарт
приходит твоя ночь.

храмы ли жгут, книги ли,
корчит гримасы явь.
страсть, как значок никелевый
в левый сосок вставь.

в объятиях макса и люциии
свастики и цветы.
белая революция
с тобой говорит на ты.

время унылей скалярии,
но символизируя бунт,
на мраморе рейхсканцелярии
гибельным богом будь.

хлопья небрежных реплик
и кулаков сталь.
юной шарлоттой рэпминг
красивая тварь, стань.

страшнее сепаратизма
для государства-бляди
из павшего парадиза
скорцени огонь украденный.

кощунственная покорность
любви оживит глаза.
будет плевать поп-корном
поп-корновый кинозал.

в тебя, молодую, голую,
ножом соскоблившую быт.
горлом идут глаголы
трассирующие глаголы.
«вылюбить» и «убить».

ИНКВИЗИЦИЯ

Коле Пастыко

Мы лежим на дровах. Инквизиция курит в сторонке.
А над нами по небу летят, и летят похоронки.
Завывание вдов и собак, снега выпало вдоволь.
По дымящим шоссе все пути,
как всегда, ведут в Догвилль.
Нежилыцы новостроек залезли, дрожа, под кровати.
Если кто позвонит – затаитесь и не открывайте.

А на улице нынче метель и заносит позёмка
Городских сумасшедших, хлыстов,
будетлян из подземки,
Завсегдаев баров, блядей, полуночных ковбоев,
Нас с тобою, как страшно, как жутко, дружок,
нас с тобою...

Замерзаем, под лёгкий мотив, под приливы овеций,
Эта ночь тебе очень к лицу, не могу оторваться,
Не могу разогнуть посиневшие пальцы, спасибо,
Что под нашим костром зажигательно
щёлкнуло Zippo.

НОВАЯ НЕНАВИСТЬ

новое утро, сыпь
снега перхоть.
в киеве ультрасы
пиздят беркут.

вот вам мессия,
голая жопа.
нахуй россию!
нахуй европу!

вижу по ящичку
режут кагалы
люди хотящие
вступить в валгаллу

вырвут беруши
и прочие цапки
силой берущие
божие царство

как на нюрнбегском трибунале
кальтенбруннер сказал:
я помню тучи над рейхстагом, начиналась гроза
погибли боги, небеса готовы были упасть
и всё, что есть на свете – это абсолютная власть.
и всё, что нужно человеку – абсолютная власть.

Спрятавшись от режимного
Времени в мастерской
Скульптор лепил Дзержинского
Последней своей рукой.

Искусство желает фашистского,
Помпезен советский стиль,
Скульптор лепил Дзержинского
Будто кому-то мстил.

Уст не разъять глаголом
Глиняной размазне.
Встань, мой прекрасный голем,
Горе в моей стране.

После он плакал слабо,
Ненужный рукав жевал,
Дзержинский тянулся, капал,
На бок клонился, на пол,
Но оживал.

всё совсем не так, как твердят по каналу истории.
вся история – сказки для детворы и хипстеров,
бла-бла-бла жидовское, выдумка пентагона.
по-другому история двигалась, по-другому.

всё иначе было, не верьте очочкам розовым,
на хер карамзина, почитайте фоменко с носовым.
курс истории школьной – побасенки радионяни.
и французов-то вовсе не было, а вы мне: вавилоняне.

а было говно, и говно говном погоняло
все народы – говно, все вожди –
из того же самого материала.
ну разве что вот иди амин, но это моё личное мнение.
остальные – просто какое-то дикое недоразумение.

и сопли ледники, и вымерли все ти-рексы
и хохлов создал бог, и кацапов им дал для секса.
но поссорились те, как написано в умной книжке,
и потом ещё долго швыряли друг в дружку
говнишком.

и ушли хохлы, за чертог земной, потеряв еблеты.
и остались одни кацапы на белом свете.
одинокость-сука в чёрные свищет дыры.
вот как было, а вы говорите, азаров, рамзан кадыров.

СВАДЬБА

и тогда у аслана порвался презерватив,
и со всей ичкерии двинулись на москву
приглашённые гости, праздничный коллектив
и везли с собою траву, пахлаву, халву.

на коврах узоры, горы и облака,
в ресторане «иволга» жирные кабаны.
закатили свадьбу, такую, что на века,
и аслан танцевал, подтянув адидас штаны.

а невеста шла, так, что лился портвейн в push up,
и потом залили видео на ю-туб,
как дырявое небо московское из калаша
расстреляли, сбивая ангелов на лету.

когда меня вывезут за город, вручат лопату,
скажут: копай

ночь перекрестье фар и дымок степи
жизнь из меня вытекает словно кремпай
я бормочу: родина, засыпай
спи, девочка, спи

завтра тебя разбудит гнусавый ганс
но плоть твоя хлеб и кровь и вином слюна
вечером будет плутон, а к утру лутанск
что здесь вообще останется после нас

банка с огурками струны ам-ам
школьная память липкая как говно
сменка продлёнка пиздилка эвм
леночка на переменке давала всем
списывать мне не давала но
если бы на клаксона гудок она
вдруг оглянулась, ленка моя, стройна
зеленоглаза, узка, будто вся из воска.
я бы простил её, лишь бы смотрела как
едет по небочку прямо за облака
эй, посигналь ещё
белая труповозка.

ВИКТОР КАГАН



ОТРАЖЕНИЯ

ОСЕНЬ

1.
Сновидений слепая отравы –
пить нельзя, а попробуй не пить ...
И на что мне смертельное право
эту дверь в никуда отворить?

Там за нею прозрачно и ясно,
а проснёшься в холодном поту,
будто ты заступил за черту
сдуру, спьяну, а в общем – напрасно.

И теперь ни забыть, ни забыться.
Бесконечная ночь впереди
и души удивлённая птица
бьётся в тесном пространстве груди.

Вьётся нить – в ней истоки, итоги.
Льнёт к бессонной основе утök.
Осень. Утро. На мокрой дороге
окровавленных перьев комок.

2.
И собственной руки не вымолить у мрака.
Хоть режь её ножом – такая темнота.
Ни шороха. Ни зги. Ни шёпота. Ни знака.
Таращится в упор глухая слепота.

Я до утра кружил в полметре от дороги,
сбивая ноги в кровь. Шла горлом немота.
Я думал – если есть на самом деле боги,
то и они теперь не видят ни черта.

И жизнь была, как смерть. И петухи молчали.
И все концы сошлись в одном начале.
И взламывала грудь дурная духота.
И тут бы всё ...

Но добрая примета –
сквозь матовость предутреннего света
дорога в красках палого листа.

3.
Осенняя томительная боль –
за миг свободы летней неустойка.
Так пахнет из бутылки гоноболь –
минувшего на будущем настойка.

Так набухает кровью плоть рябин,
так яблоко парит, а птица камнем
летит в туман – дыханье тех долин,
в которые и мы когда-то канем.

Так меч судьбы на тонком волоске
осенних паутин росой сверкает,
пока в нагом младенческом виске
незащищённо нежность прорастает.

ЛЕНИНГРАД

Лохматое небо.
Промозглая осень.
Точёная графика зимних решеток.
Твой норов то бешен, то нежен, то кроток
и трогают душу то чистая просинь,
то прозелень сквера.
Но это так редко.
Трамвайчик речной – по угрюмым каналам.
Мой город – моя золочёная клетка.
Свободен я в ней, только дело за малым...
Всё так приблизительно, призрачно, зыбко,
как полночь на улице Зодчего Росси
в июне, когда одинокая скрипка
мучительно бьётся в гранитном вопросе.
Вперёд до Гостиного,
Невским пустынным,
где эхо шагов будто спутник секретный,
до неба тяжёлого над равелином
и висельных рам в тишине предрассветной.
Венеция Севера.

Кровь под гранитом.
Мосты разводные.
Ажурные своды.
Молчащие сфинксы.
Змея под копытом.
Дыханье оправленной в камень свободы.
И ангел бессонный – бессменная вохра –
с течения времени глаз не спускает.
Рассвету откликнулась грязная охра.
Пора переключки.
Меня выкликают ...

ПЕТЕРБУРГ

Сырые ломти питерского неба
желанны, словно в детстве ломоть хлеба.
Посыпать солью – вот тебе и пир.
Я столько лет под этим небом не был,
что не пойму уже, где был, где небыл,
о чём молчит, глядясь в Неву, ампир.
Жужжат в подъездах слухи, будто мухи.
Жму кнопки, но звонки слепы и глухи.
Забиты двери временем былым,
а если и откроют, то старухи
в тених своей беспамятной разрухи
и не припомнят гостя молодым.

Листаю я воспоминаний святцы,
не веря в чудо. Но ведь может статься ...
Не станется. Всё будет так, как есть.
Дворами бесконечными скитаться
и возле бака с мусором остаться,
как сорванная ветром с крыши жесьь.
Бомжи проходят мимо вереницей,
и чудятся среди них родные лица,
но не окликнуть, не заговорить.
Мутна минувшей жизни роговица...
Но тут поймёшь, что всё это лишь снится,
что ссохлись губы и что хочешь пить ...

Багровый круг балтийского заката
на шпиле церкви. Аппассионата
стуженья дня до вечности. Мираж
качающихся в Мойке отражений
домов и неба. Мягкий карандаш
кладёт на город розовые тени.
Ты говоришь ... А что – не разберу.
Мне кажется, что я сейчас умру –
какое счастье умереть от счастья,
чтобы воскреснуть утром, закурить
и чувствовать, как тихо вьётся нить
со-бытия, со-знанья, со-участья.

Вдоль Мойки ... вдоль Фонтанки ... не спеша ...
Пить воздух из небесного ковша
по-питерски слонистый, как когда-то,
настоянный на корюшке, весне,
и думая, что всё это во сне,
щекою ощущать тепло заката.

И до утра на спуске у Невы
быть с нею то на ты, а то на вы,
как с женщиной за миг перед признанием,
когда ещё кружится голова
и тайным смыслом полнятся слова,
и нежность чуть испугана желаньем.

Я думал – всё прошло, и навсегда
ушла меж пальцев память, как вода
влилась в Неву и в небо воспарила ...
Но полночь, будто лист, белым-бела
и память пищет, как жила-была,
когда всё было и ещё не спыбло.
И снова, словно много лет назад,
мне открывает душу Летний Сад,
и неба свод прозрачен, чист и прочен,
и лабиринты питерских дворов
выводят на звезду Пяти Углов,
и жизни срок на жизнь не укорочен.

Но мне пора ... И ты меня прости,
всплеснув мостами, молча отпусти
на все четыре ... Дождик плачет нудный.
Простишь, отпустишь и опять простишь,
Преломишь хлеб и молча приносишь ...
А я приду, как сын приходит блудный ...

Под записных лжецов камлание,
под вой счастливых дураков
из лучших лучших на заклание
уводят испокон веков.
Оборванные жизнью строчки.
Истории кровавый чай.
А палачи растут цветочки
и нежно любят палачат.

На питерских промозглых сквозняках,
где за проходим краля в штатском страхе
или прохожий краля мимо страха,
пытаясь ускользнуть от сглаза глаз,
в лопатки влипших, словно в диабаз
дождём с окна снесённая рубаха,

шатаюсь, натянув кепарь на нос
и задавая сам себе вопрос:
«Неужто всё на самом деле было?»
А сбоку голос говорит: «Дурак!
Ах, если б это было только так,
как знаешь ты ... И небо здесь – могла».

И просыпаюсь, господи, в поту –
когда мы заступили за черту,
из-за которой не найти возврата,
где брат на брата, сам против себя,
где убиваешь, истово любя,
и где вина ни в чём не виновата?

А сверху голос: «Не кричи во сне».
И медный Пётр на бронзовом коне
везёт меня к Неве, и там с размаху
лицом пробью свинцовую волну
и уплыву к зияющему дну
башку без страха положить на плаху

и спать без снов до самого утра,
когда наступит на глаза вчера
и свистнет рак, и замолчит кукушка,
и колокол замечется в тиши,
витающей в четвёртом сне души,
что телу ещё верная подружка.

Отчизна, родина, отечество –
слова затёрты и залапаны.
Но сердце в тесной клетке мечется,
сбивая, словно крылья, клапаны,

когда ступаешь снова вроде на
качание доски над пропастью
и ощущаешь – это родина,
в душе мешая нежность с робостью.

Шарф голубой. Колючка ржавая.
Блажной кураж хмельных опричников.
Она измызгана державою.
Но ясен взгляд из-под наличников.

Тому – ей слать свои проклятия.
Тому – служить любви старание.
Но у обоих не отнять её,
Как вдох и выдох у дыхания.

Всё было так, как не было, когда
на самом деле было. В непонятки
играла память. Мысль играла в прятки
сама с собою. Пузырьась, вода

с земли лилась слезами в небеса.
Со щёк мы собирали соль горстями.
Мы были здесь случайными гостями
до окончания дней за полчаса.

Ночная мошкара в огонь плыла
и вспыхивала искорками звука.
В дрожащей глубине звёздного тузлука
двух рыб висели смутные тела.

Гудели на ветру колокола,
роня с нервов сорванные била,
и холод жёг, и от огня знобило,
и тени рвались к свету из угла.

Жизнь ставила сама себя на кон.
Смерть сальную колоду тасовала.
Немая тьма беззвучно танцевала
в пустых глазницах выбитых окон.

Стекали стрелки со стенных часов,
металось время в поисках начала,
звук музыка плела, но не звучала,
лишь на ветру позвякивал засов.

Душа слетала ласточкой с лица
испуганно и снова жалась к телу.
А жалость отзываться не хотела.
И ночи этой не было конца.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СОЛОДОВНИКОВА

Здесь одно спасенье — молиться...
Александр Солодовников

пошумим и по квартирам
потому что спать пора
а по тесным чёрным дырам
шконки стонут до утра

словно люди стонут шконки
словно шконка жизнь жестка
и нательные иконки
на убогости шнурика

заключённая свобода
рук сплетенье за спиной
свет заката и восхода
за бесстрастную стеной

кровью краплена колода
чёрт рябой мусолит крап
жизни смертная невзгода
смерти медленной нахрап

и казённая квартира
несвободы лития
точно посередине мира
точно в центре бытия

где босой ступнёй по бритве
разрывая окоём
бог спускается к молитве
и вы молитесь в двоём

Между грёзами и бредом,
между кровью и водицей,
барабанный зов к победам
полуобмороком длится.
Ангелочки бесноваты.
Черти учат как молиться.
Оседают хлопья ваты
на потерянные лица.

Дóхнет в кулаке синица
и журавлик с неба камнем.
В опрокинутые лица
птицею синюшной канем,

скатимся с ладони бога,
с глиною сольёмся телом
и сомкнётся безнадёга
над жильём осиротелым,

где вчера душа металась,
плакала, смеялась, пела,
думала, что вечно малость
нерастраченного тела.

В бочке мёда капля яда.
Жизнь настояна на смерти.
Посиди со мною рядом
в этой странной круговерти,

в этой радости печальной,
в злом отчаянном загуле,
где мосток любви причальный
с глобуса пока не сдули.

ТЕЙТ ЭШ



ВСЕМ, КТО ПРОСНУЛСЯ ВНЕ КАЛЕНДАРЯ...

ДАНАЯ. КАНТАТА ТВОРЕНИЯ

ПРОЛОГ

когда беда бродила закошно,
и люди добывали соль земли,
два дерева, сроднившихся подкожно —
как гемма,
мимо мира проросли.

и где-то там, где свет ещё не греет, —
стоят в неуспокоенном цвету.
вдоль насыпи черничник вечерет,
и голос остывает на лету...

1. ЧЕТ – НЕЧЕТ

У дома с занавешенным окном,
Где дремлет свет, свернувшись в абажуре,
И стрелки нарисованных часов уснули,
не дойдя до четверга –
Я оглянулся.

Щёлкнул метроном,
Ровняя вдох и выдох.

Удержу ли –
Застывшие на площади века,
Голодный отблеск лунного зрачка,
Тугую тьму, обеты, времена...

Спит женщина, допитая до дна.
Вселенная почти завершена.

2. НЕЧЕТ – ЧЕТ

Ещё метель в падучей не слегла, –
И длится, обмороженно-немая.
Ещё стоять у мёрзлого стекла,
Случайно, ничего не понимая,
И всматриваться в сумрак вдоль дорог,
Ища огни в осунувшихся видах,
Шаги в парадной чувствовать на вдох
И попробовать безвыдохность на выдох.

Ещё судьбу дочитывать до ять, –
Как самка – непокорная, земная,
И силиться до-верить, достоять,
Минуты за двоих запоминая,
Когда к утру подлёдная вода
Из памяти выкрадывает лица.
Промчатся непрогретые стада,
Царапина проспекта воспалится...
...
Одумайся, постой. Останови
Безумие, действительность итожа.
Но хищный запах пота и любви,
Неумолимо длящийся на коже...

3. СЧЕТ

следы не хранятся, –
ступени не помнят чужих цитат.
разбившийся снег, возле выхода, неподвижен.

но комнаты помнят:
она остаётся под утро, почти не в такт.
кантата творения. вкус табака и вишен.
дыханье... раздетые стёкла блеснут в окне.
последние тени выходят куда-то вне,
где голос упешдшего слышен, и слышен, слышен...

СНЫ ПО РЕКЕ

*Мефистофель: «Осуждена на муки!»
Голос свыше: «Спасена!»*

И. В. Гёте

Что делать, Фауст

А. С. Пушкин

1.
Это лишь сон, дорогая, сопит в руке.
Люди добры к юродивым, снам и иже...
Вынесет нас на берег порогом ниже
Вечность, неспешно плывущая по реке.

Спи. Мы и сами сегодня – вода, вода,
Капельки пота на облике светлоликом...
Матери наши к утру изойдутся криком,
Выдавлив нас, как из тубика, навсегда.

Волны качаются, ялик сорвав с цепи.
Кем-то уныло бубнится то гимн, то сутра.
Я помолюсь, чтобы здесь не случилось утро...
Время кончается. Спи, дорогая, спи...

2.
Сон обернулся кошмаром. Наш страшный Бог
Смотрит в родильный ад мириадом окон.
Бьюсь на руках, как висящий на лёске окунь –

Выдохни, Господи! Воздуха нет на вдох!..

Лёгкие сводит от смога и сквозняка –
Видимо, ангелы курят в регистратуре.
Выхода нет. Остаётся припасть к микстуре
С привкусом материнского молока.

3.
Дальше не помню... Обрывки дурного сна
В руки услужливо тычут подделки быта.
Вихрем мелькают дороги, дрова, корыта,
Лужи – и сверху, как лозунг, висит весна.

Детство, за санками следом, ушло под лёд.
Юность увёл за собою поэт-скиталец.
Взрослость приходит –
Когда,

Проколовши палец,
Ты машинально в аптечке находишь йод.
Чуть удивившись – фонтанчиком кровь не бьёт.

4.
Приколоты бабочки к листьям, как белые брошки.
Белеет распятие. Запах забвенья разлит.
Ты снишься босой,
Рассыпающей хлебные крошки.
Десяток синиц разметаёт их с каменных плит.
Седеющий воздух – как пыль на пустой колыбели.
Туман семенит, опершись на трухлявый костыль...

...
Здесь я просыпаюсь...
До встречи – четыре недели.
Синицы с окна потревоженной стайкой слетели.
И всюду рассыпаны крошки, упавшие в пыль.

5.
Дверь старчески скрипит от сквозняка.
Крест облупился в пожелтевшей нише.
Десница у Всевышнего крепка –
Без промаха шутить, наверняка.
У дома скорби даже дождь потише...

Безумны все, но здешние – вдвойне.
Обрывки душ тряпьём на самом дне
Набросаны в старухе и младенце.

А вот и ты...
Едва идёшь (дыша ль?),
Привычным жестом кутаешься в шаль,
Но на плечах белеет полотенце...

6.
Мы проиграли.
Жизнь пошла ко дну.

7.
Глотает ночь размокшую луну,
Запив лекарство лужей придорожной.

От каждого дождя бросает в дрожь, Ной?
Я точно так же сорок лет тону
В воде, вине, беспомысленстве...
Ко сну
Зовут всё реже.

Тошно видеть сушу,
Звонить на небо сорок раз на дню,
Хлеба в корчме прокисшуюстряпню.
Пропить пальто, забыть в кармане душу.
Искать по объявлению... Найти...
И что с ней делать, Господи прости?

8.
Мне скучно, бес. Такая тишина,
Что вянут мысли. Дай хотя бы спама...
Полночи жаду, дурея от вина,
Когда квадрат Малевича с окна
Сползет, и утром включится реклама
Прохожих, тротуаров, площадей.

Мне скучно, дьявол. Здесь, среди людей,
Где каждый ключ к душе – для взлома кован.
Любой делец страдает от жулья,
И каждый смертный – в ящичек жилья
Еще при жизни плотно упакован.

Мне скучно, бес. Не лечится тоска...
Жизнь прожита со всеми потрохами,
Осталось пыль стряхнуть с воротничка,
Очиститься от смертного греха,
И, причастившись новыми грехами,
Латать своё безумие стихами,
Пока не скажут: «Хватит. Выходи».
Любое сердце скорчится в груди,
Когда такая вечность впереди...

9.
Сон затянулся.
Петлей.
Табурета нет.
Лыбится всласть, перегаром дыша, корнет.
Площадь бушует, белеют вокруг кокарды.
– Смерть святотатцу!
– Повесить его!
– Долой!
Адмиралтейство уткнулось в грозу иголкой.

Воздуха!..
Связаны руки.
Верчусь юлой...
Смерть не приходит. Карга заигралась в карты.

Нужно проснуться!
Проснуться...

Под лязг цепей
Двое меня неумело уносят с плаца
В дебри соборов, михрабов, пустых палаццо.
Чашкой черпнув из реки, предлагают – пей.
Пью.

Пью...
И больше не хочется просыпаться...

Впрочем, теперь уже некуда просыпаться.

ИЗЯСЛАВ ВИНТЕРМАН



ГЛАЗОК В ГРУДИ

Только неба рваный трюль
марлевой повязкой.
Только рой счастливых пуль
над тряпичной каской.

Снега ветренная пыль
непрозрачной тканью.
Только свет на тыщу миль
поперек названью.

Не убитый, не живой,
дышащий неровно
тает мерзлою водой,
засыхает кровью.

Скрытый господом в снегу,
шепчет, связь теряя:
«Я запомню, что смогу
помнить, повторяя».

Я знаю точно, куда лететь,
куда мне бежать и плыть.
Я тем и буду, кем надо быть,
и, может быть, умереть.

В случайных кадрах – я тот же зверь,
охотник на всех зверей.
Ласкаю самку, смотрю на дверь,
как в темный проем ветвей.

И знаю точно, что мне дано,
чего я желаю сам.
Быстрее всех я иду на дно,
к отверженным небесам.

Опять мне холодно и ясно.
Но ясность – враг номер один –
на дне сознания не даст нам
соединить огонь и дым.

Ты не запомнишь свет из окон,
как снег, сочащийся на пол.
И не заполнишь третьим оком
пустот, которые нашел.

Снег набивает светом ясли
и залепляет в сердце щель.
Опять мне холодно и ясно.
Слова качнули колыбель.

Фью-ю-у – сдуваешь снег осевший
с вещей, со времени, с людей.
И он летит повеселевший,
но завтра будет холодней.

У меня есть свой сугроб – намело
снега с четырех углов до небес.
Оседлаю белый горб. На метро –
не быстрее, только вспомни – я здесь! –

И такой, как ты хотела вчера.
Не почти, а именно что такой.
Успокой меня: что снега черта –
осевая между мной и тобой.

Он хотел делиться бы любовью,
потому что больше было нечем,
потому что был еще не вечен,
озверён, а не очеловечен,
желчью рвал, не раз мочился кровью.
От борьбы, от грубых тел и сплетен,
мести ненадежного желудка,
ледяных ночей – «убей ублюдка!» –
выбило на нем его столетье.
Вот нашлись бы для него краюха,
рыбина с драчливыми глазами,
между злой землей и небесами –
столько чуда, что не жалко брюха.
Вот была бы у него царевна
с выпяченной в глаз ему скулою...
Он дарил любовь с усмешкой злою,
ко всему испытывая ревность.

НЕСТИХ

Ты не вышел из примерочной.
Где-то там в ней затерялся.
Как в четвертом измерении.
В нереальности другой.

А жена пришла с милицией.
А родители с вопросами.
Продавщица с извинением.
Остальные – поддержать.

В туфлях если – парусиновых.
В брюках если – нежно-бежевых.
И в жилетке обязательно.
Выйдешь – жалко, что не я.

Язык печали сложен и богат.
Во всем на свете боли чистый атом.
Несчастливы все, никто не виноват.
Я никогда не буду виноватым,
поскольку все по-разному больны
и счастливы, не замечая это...
Вот, падают кораблики с луны,
скользя по пятибальной паркету.

И мы зависим от любви вокруг,
от яркого и сумрачного в туче.
Язык мне покажите, милый друг,
и покрутите у виска покруче.
Я в черном, потому что я один.
В охотничьем костюме вы навстречу...
Не говорите мне «да, господин!»,
а «милый мой» – и обнимите крепче.

Я прячусь от погоды и вины,
от старости и страха,
невидимой свиньи,
визжащей лучше тенора кастрата.

Щетинятся осколками воды
все кучевые с перистыми в парах.
И оставляет луч на них следы,
прикончив тени в рваных шароварах.

От дождя расширены зрачки.
Горизонт расширен до предела.
И вползают ночи-червячки –
темнота ничуть не поредела.

И печаль – ни капли не светла.
Каждый знает лучше нас с тобою:
для того нас жизнь с ума свела,
чтобы пролететь над мостовою.

И море открывает рот,
как на приеме у зубного.
А нас несет водоворот
подалее от всего земного.
И ходят волны-желваки,
до неба острый подбородок.
Но скоро поплывут венки
по морю – для людей и лодок.

Человек еще хотел бы жить,
в нем поэт – подталкивает к краю.
Время тонкой ниточкой дрожит –
лесочкой натянутой играю.

Он еще узнает, как близка
смерть, на жизнь похожая игрою.
Подсмотреть, но нет в груди глазка,
кто там, кто здесь, и кому открою.

ПО МОТИВАМ

Нам комментарий отзовется,
за SMS воздастся нам.
И нам прозрение дается,
как ненависть к любым словам.

И слово, что пришло в начале,
опережая свет и тьму,
уже поэты развенчали
и не сподобились ему.

Так умирай последним спамом,
чувств не скрывая, не тая.
Поэт лишь тот, кто был на самом
краю «бы» и «небы» – тия.

ОЛЬГА ДЕРНОВА



В ОБХОД ВОЛНЕНИЙ

Больше нечем хвастаться и чваниться,
ни к чему забота о вещах.
Маленькое тайненькое знаньице
в голову приходит натошак.
Будто кто неведомый расщедрился:
мир затих под стеблями травы.
Съешь его, пока он не заветрился
или гнить не начал с головы.
Мир-дракон, убийца или пьяница,
обездвижен и лишился сил.
Маленькое тайненькое знаньице
шепчет в ухо: фас его, куси!
И душа кусает, не подавится,
и дракон становится сильней.
Но душа становится красавица.
Так что мир пасует перед ней.

ПЧЁЛЫ

Александровой О. М.

Все пчёлы – бред, но пасечник не прав.
Когда среди пахучих летних трав
он делает портрет на фоне змея,
ему – налево, на гаагский суд,
а Эвридику мёртвую несут –
направо, мимо Аристея.

Их развели судилище и морг.
Он ничего поделатъ бы не смог:
змеиный яд не лечится пчелиным.
А змей, семейный тихий капитал,
извилисто его сопровождал,
как эхо, по долинам.

Все пчёлы слохи. Вынесен вердикт,
и Аристею это повредит,
но быстро утешается бессмертный.
За новым роем тянется рука:
он – в голове убитого быка.
И, кажется, несметный.

Теперь к Орфею. Месть – его вдова.
Он занят. Насекомые-слова
гудят во рту – неясные, о чём вы?
Тут Аристей сработал как трамплин.
Он – пасечник, хозяин всех долин.
Вы – стрелочники, пчёлы.

Ты внук Земли: тяжёл и невесом,
то по траве пройдёшься колесом,
то спелых вишен высосешь из пальца.
Но пчёлы... пчёлы всё-таки фижня.
И ты, овладевающий меня,
не рои себе. Не парься.

РОЕТРЕЕ

Поэзия, поветрие – такое,
допустим, роетрее,
чѐ тихое дыхание, как «поэ»,
исходит изнутри.
Мы все его вдыхали незаметно,
а в это время дерево с кустом
нам открывали разговорник ветра,
тяжёлый первый том.
И вот была поэзия открыта,
но мы не ради прихоти и сбьга
мечтали захватить её живьём –
чтоб дать ей свет. И не искать лимита
в дыхании своём.

ПЕРЕПЛАЁТ

...А человек, попавший
в новенький переплёт, –
книга в слоновой башне.
С полки его возьмёт
и прочтает кто-то,
сторож или жилец;
тот, кто из переплёта
выбрался под конец.

Плещется флаг над башней
синим чужим чулком.
Помнишь, ты был бумажный,
с кожаным корешком.
Помнишь, касался литер
и оживил слова.
Чьи-то пылинки вытер
краешком рукава.

Людам нужны герои,
книге – чтецы. И так,
скажешь: нас было двое.
И попадешь впросак.
Весь в золотых вкрапленях,
рядом таился он –
башни бывалый пленник,
снова переплетён.

ИДЫ НЕПРЕХОДЯЩИЕ

На улице ли, в чаще ли, в степи ли,
в груди ли что-то прыгает – алле!
И мартовские иды наступили
по всей земле.

Вот крокусы с кинжалами тупыми,
болезненное острых в сотни раз.
Да, мартовские иды наступили;
спасибо, не на нас.

Об этом не писал покойный Вилли
и позабыли короли,
что мартовские иды наступили.
Но так и не прошли.

РАЗГОВОР БРУТА С ПРИЗРАКОМ

– Здравствуй, призрак.
– Здравствуй, Брут. Наварил ты каши.
Чьи войска идейней мрут, те, должно быть, наши...
– Нет, не смейся, пожалей сердце человечье.
– Просто логике моей нанесли увечье.
Где болотистей всего, там гуляют лярвы.
Где исчезло божество – это круг полярный.
Мысли вьются – о, кульбит мотыльков капризные!
– Потому что ты убит?
– Потому что не добыт сожаленья признак.

ПОСМЕРТНАЯ БОЛТОВНЯ

Похожи в чём-то, а в чём-то нет,
вот Гамлет, а рядом – Брут.
Один другому почти сосед:
ведь оба они умрут.
И в Первом фоллио, как в гробу,
очнутся – ни бе, ни ме,
творцом закованные в строфу
и в Дании, как в тюрьме.
Но с передачами к ним в тюрьму
являются – так быстры –
Офелия – к милому своему –
и Порция; две сестры.
Хотя уже между ними нет
ни горечи, ни огня,
но задушевнее всех бесед –
посмертная болтовня.
«Зачем разрежала ты бедро
и внутренности сожгла?»
«Затем, что сына бы твоего
я выносить не смогла».
«Зачем твой облик в реке завис
и тиной покрылся лоб?»
«Меня два горя тянули вниз.
Ну, как тут не пить взахлёб?»
«А ты, любимый? На что твой пыл
(А ты, родной? Обо что твой пыл)

наткнулся –
(разбился –)
щёлк?»
«Я гражданином
(Я сыном)
был.
И родина –
(мечь –)
мой дол!».

ГОБЕЛЕН

Вернулся просвещённый принц
в средневековье, в ночь.
Из лап у дяди вырвать приз
ему уже невмочь.
Но сколько дум, вещей и лиц
к нему обращено:
пока он пьёт своё вино,
глядит в своё окно, –
его затягивает в плен...
*Допустим, старый гобелен проступит в темноте.
На нём из ниточек олень с облавой на хвосте.
Он тяжело ранен, хочет пить; короче, дело дрань.
И рвётся скрученная нить, растягивая ткань.*
Но нет у мальчиков чутья
на ужасы и смерть
(и значит, нам с тобой, дитя,
уже не повзрослеть).

Морских колёс, блескучих спиц
немало за кормой
оставил просвещённый принц,
вернувшийся домой.
А дом его давно убил.
Он дома – бешеный дебил,
последний идиот.
И, как вергилиев солдат,
его Горацио ведёт
в сугубо личный ад.
*А там, в аду, его отец – оленем нитяным:
среди осиновых сердец искусно сотканный крестец
мелькает перед ним.
И нить особенно туга в той части полотна,
где венценозные рога. И их нацелить на врага
препятствует она.*

Так густо ужас набелён, как лицедейский съезд.
А кто разрезал гобелен, пускай его и ест.
Когда закачены белки в изнанку полотна,
когда загонщики – дички, то смерть приручена.
Не страшно тех, кого любил,
преследовать, как крыс,
поскольку дом тебя убил.

*Твой личный дом тебя убил.
И косточки оберъыз.*

Вошь Гамлета, грызи интеллигента,
привей ему холеру и чуму.
Ни радости, ни сладости момента
не позволяй почувствовать ему.
Ты этим отомстишь ему отчасти
за то, что он с мыслительных высот
не о сверженье действующей власти,
а лишь о правде думал, идиот.
Пусть на культуру он слезами каплет,
в её лучах сияет даже вошь.
Шепни ему: «тебя кусает Гамлет» –
и он легко проглотит эту ложь.
И не заметит, где допущен промах.
А ты докажешь, тельцем шевеля,
что славный принц по части насекомых
неотличим от злого короля.

ЗВЕЗДА

2D-человечки готовят еду,
от принтера пахнет горелым.
А ты провожаешь глазами звезду
в костюме серебряно-белом.
В двубортном наряде из чистой фольги
двойник пролетает над миром,
он две удивлённых надбровных дуги
склонил над лукулловым пиром.
А там соловьи воскресают во тьме,
листвы нарезается мякоть.
И можно курить и смотреть аниме,
смеяться, работать и плакать;
полночи не спать, если ты молодой,
смотреть на звезду с шнететом.
А в будущем станешь похожей звездой
и с завистью вспомнишь об этом, –
как тот, прозябающий в чёрном пуху:
двойник, или зверь, или киборг.
Какое ты тело – плевать наверху,
придумай, любое на выбор.

Район – как говорится, спальный.
Или кухонный, паразит.
Там талый лёд копировальный
один в один отобразит
на прогибающемся мраке
растянутые фонари,
как восклицательные знаки
со светом, пляшущим внутри.
Но дальше – все собачьи кучи
и луч, скользящий в ритме ног,
вбирает призрачный, плавучий,
полурасплавленный каток.
Как символ ночи просторечной,
где только издали видны
недостижимый плюс аптечный
и дверь в приёмную весны.

Весну увидела туманную
и приняла её всерьёз.
Хочу одежду самотканую,
такую же, как у берёз.
Пугливым – не казаться призраком,
потусторонней белизной.
И всем одетым, то есть, признанным,
теплее стало бы со мной.
Ещё зелёной этой ветоши
себе потребую без слов,
и толще станут руки-веточки,
и многослойнее – покров.
Легко берёз очеловечивать,
себя – труднее и больней.
И белизною не отсвечивать,
тоскуя, в общем-то, по ней.

Сегодня о жирафах-альбиносах
я грезила. Но это – наяву:
зелёный чад в изысканных берёзах,
друг с друга объедающих листву.
Блуждать по Гумилёву – не потрава.
Потёртый том легко перелистну,
открою на странице про жирафа
и для себя кусочек отщипну.

ПРИЩЕЛЬЦЫ

над полями шевелятся концентрические круги
приближаясь к прищельцам сделай шапочку
из фольги
сколько племя их лютое ни топтали ни жгли
дети рвали их пугая с растениями земли
не буди это лихо дремлющее вокруг
их молочная лимфа темнеет на коже рук
и жарюю разморены
из-под детской руки
разлетаются в стороны сигнальные маячки
словно белые оспины на губах ветерка
поцелуем разбросаны
до дальнего далека

Какую дань, цветущие дети мая,
взнимать мне с вас?
Допустим, называться иван-да-марья –
по мне как раз.
Да будет марье жалко своей косички,
когда она
горячим дуновением электрички
расплетена.
Нагрянет миг цветения и отступит,
влепив щелбан.
Захочет марья плакать, но приголубит
её иван.

Вот так у шпалы русским гермафродитом
цвети, свети
на затенённый опытом или бытом
кусоч пути.
Уже недолго маяться, милый ангел;
исполнен план
у пригородной ветки: из «мариандль»
в «октавиан».

Мы гуляли в Москве необычной,
далеки от Москвы.
Где сирени вздымались кавычки
в обрамление листвы.
Где, ломая упругие ветки
у чужих гаражей,
две бабули одной малолетке
намутили дрожжей.
Что забудется – то и приснится
где-то в самом конце:
и расплывчатый штамп на странице,
и синяк на лице.
Слабых сумерек хлеб пропечённый,
пресноватый на вкус, –
и старик забывает, о чём он,
и забыл карапуз.
Лишь сирень на квартиры к знакомым
залезает тайком,
о карниз опираясь надломом,
как родным локотком.

ОДУВАНЧИКИ ВО ДВОРЕ ЛЮТЕРАНСКОЙ КИРХИ

Лютеранное утра не будет.
Под готическим шпилем пышной
травяной поднимается пудинг
и становится пухлой квашнёй.
Переливчато, гулко и странно
напевают басами шмели –
и зелёное тело органа
прорастает из-под земли.
Пара трубочек, жёлтая искра,
но надменно звучит похвальба:
«Мы слышали великого Листа,
мы важней, чем сады и хлеба.
Одуванчики всех музыкальней,
органичнее, ярче, сильней!»
Так под окнами залы читальной
лепят музыку. Шепчут о ней.
Мало весит один одуванчик:
пара нот, золотая щепоть.
Но цветам подыграет шарманщик,
как подсказывал Листу господь.
Видишь нотную грамоту пуха?
Не слышна, так хотя бы видна,
деликатно касается уха –
что, мелодия? Точно, она.

СКАЗКА. XX ВЕК

До чего же эта сказка моя нелепа,
и её подкладка не до конца ясна.
Человечек Юнга сбегает
с печатью Лема,
потому что – дух бродяжничества,
весна.
Предъявляя контролёру охранный пропуск,
покидая освещённые корпуса,
он садится на последний
ночной автобус;
на последний – уходящий за небеса.
Человечек Юнга –
лёгонький, плоский, мелкий,
вроде ангела,
что выродился в стрижа.
Он подходит к человеку с особой меркой:
в человеке
слишком крошечная душа.
И пока мы тут болтаемся вправо-влево,
он глядит на нас
фанерным своим лицом,
всё хорошее
скрепая печатью Лема,
всё ненужное – стирая другим концом.
Приглядишься к ним:
линейка и ластик, что ли,
но – живые,
но – замыслившие побег.
Как бы символ. Или память
о нашей школе –
той, где мы
учились целый двадцатый век.

Маркс-энгельс-ленин
Это я говорю
о чёрных профилях леса
нюхающих зарю
В небо они воткнули
бороды-колтуны
Долго варили кашу
на топоре войны
Долго гремели ложкой
Сблизившись
не спеша
долго вели беседу
над котлом кулеша
И завершая сцену
«равенства а ля рюс»
тихо во мраке мялся
берёзовый профсоюз

ШАРИК

Облако
выплакало
глаза.
Светлому,
из послушных,
облаку
выболтала гроза
тайну
шаров
воздушных.
Кто им
летать у земли мешал?
Знать, чересчур летучи:
каждый
упедавший на небо
шар
делался
центром
тучи.
Каждая туча была
сырой,
угольной
или смольной.
Каждая первая
по второй
била
пучками молний.
Лишь разглядев
далеко внизу
друга
и воспротивясь,
тучи бросали
играть в грозу,
снова
рвались
на привязь.
И устремлялись,
ища похвал,
вслед
за бечёвкой пульса...
Жаль, что никто их
не узнавал!
Шарика в туче –
не узнавал.
И не кричал:
«Вернись!»

В ОБХОД ВОЛНЕНИЙ

Абиогенез волнует меня, и фаза
быстрого сна, живущего под пижамой;
ядро Земли, одна античная ваза.
И брутов урок волнует меня, пожалуй.
Ночные автобусы манят меня, прельщают,
на твёрдых ладонях кресел меня качают.

Шиповник волнует: он – не ручная роза.
 Команды стрижей. Идея метемпсихоза.
 По линии этой – дальше, слегка дуря.
 Волнуют меня раскидистые деревья.
 Дубовая черепица, чешуйки липы.
 Равненья людей на юнговы архетипы.
 Внутри у меня, как мясо внутри пельменей,
 есть разум. И как навеки вода волниста,
 так разум всегда струится в обход волнений,
 поскольку живёт по логике колониста:
 боится удара в спину и ждёт коварства...
 А мне о другом хотелось бы волноваться.
 О том, что духовный опыт, телесный опыт
 сплетались внутри, как синий и красный провод,
 и свет прорастал лиловый. В него прорасты,
 брэнчали во тьме излюбленные предметы.
 И двигались, нанизанные на обод.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ



ВРЕМЕНА ГОДА

В карманах песок и в ботинках вода,
 В часах поселились и бегают белки,
 В четверг продолжается та же беда.
 И, адрес сменив, опасаясь подделки,

В прохожем себя узнаешь не всегда.
 В камине дрова необычно сухие,
 Но в пятницу снова наступит среда,
 Нога подвернется, и вот уже вывих.

В портфеле веселое буйство бумаг,
 Потерянных лет понапрасну огрызки
 И сказочный блеск никакого ума,
 И списки утрат, и еще одни списки.

Опять ожидается завтра тепло,
 Бессмыслица в самом разгаре сезона –
 И вот уже время твое истекло,
 И цифрами твой календарь изрисован.

А дальше весна, из-за рваных кулис
 Вдруг выглянув, дергает за незаметный
 Рычаг, и конструкция сыплется вниз
 Под грохот дождя с завыванием медных.

Пойдем с тобой подышим к лунке,
 Где пляшет огненный мотыль,
 Где вытянувшийся по струнке
 Пред облаком немолодым

Снег пропускает через жабры
 Для чая воду, как сквозь фильтр,
 Вокруг сидят четыре жабы,
 В глазах у каждой тлеет флирт.

Наколот лед, посыпан солью.
 Лизни луны лимонный бок –
 И хвост русалочий лазорев,
 И пруд помещичий глубокий.

По нетопленной тундре – в открытую дверь,
 Разбегаясь, летит в инвалидной коляске,
 Объясняя дорогу притихшей братве,
 Но не слышно ни слова в стремительной тряске,

Предводитель дворянства, податель сего
 Вишлица, где отмечено то, что имеем.
 И лежит, не моргая, в коробке Суок,
 Наблюдая созвездья времен Птолемея.

Всяк по-своему к бунту готовится здесь,
 Ключик прячет, в потемках садится вслепую.
 Раздели и умножь, дважды тщательно взвесь,
 Напиши на стене и используй любую

Краску, кисточку беличьё, школьный мелок,
 Где прищурясь стоит у таблиц окулиста
 Обладатель диплома, забывший урок,
 Открывающий заново берег скалистый,

Кто наследство потратил, прошил, прокутил,
 Сослан был, возвратился, читая по сноске
 О законах движенья небесных светил
 В теплом облаке мимо камней философских.

Секретная землянка Сталина
 Давным-давно лежит в развалинах:
 Где стол был полон яств кровавых,
 Там кол забит в источник славы

И вечно молодых злодейств,
 И столб валяется с табличкой,
 Из телевизора не-птичка,
 Там вылетев, взлетает здесь.

Секретная полянка Берии,
С клубникой свежее ведро
Для первого лица империи
В окошко шерится хитро.

Секретная беседка Ленина –
Египетской спасаясь тьмы,
Учил младое поколение
Бежать сумы он и тюрьмы.

Вагоны с мясом битой птицы
Уже идут из-за границы,
Но зря торопится неметчина,
Опять объекты засекречены.

Телевизор всходит, колосится,
Вечером заходит за бутор.
Щелкает, и вылетает птица
Там, где красным светится укол.

Город умирает ненадолго,
Улица перебегаёт в свет
И вставляет новую иглоку,
Чтоб хватило на десятки лет.

Медсестра, подушку поправляя,
Машинально проверяет пульс,
Говорит: прощай, до февраля я,
Дорогой мой, больше не вернусь.

У ворот уже гарцует всадник,
Псы ворчат, пока скрипит замок.
Батарейки в пульте не иссякнут,
Не растает облака комок.

Зима плывет над городом как песня,
Но слов не слышно – только ровный шум.
В бутылочке лекарство от болезни,
Какую самый извращенный ум
Придумать может. Дерево ветвится,
Себя в стекле холодном рассмотрев,
Из колеса не выпадает спица,
Но розу лапой прижимает лев.

Младенец спит, горшочек варит кашу.
Забыв сказать волшебные слова,
Проходит мимо окон великанша,
Ей снег то сладок, то солоноват.
Колпак с седого парика свалился,
И ворон на подставленном плече –
Он ложечку украл во сне у Нильса,
Когда тот к другу сердцем помягчел.

Палкою из железного дерева
Бьет она слуг по пяткам,
Чтобы не смели ступать след в след
Там, где гуляла она в саду.

Палкою из яшмового дерева
Наказывают девушек,
Если они угадывают, о чем
Их госпожа думает во время завтрака.

Но больше всех достается повару,
Если вечернее кушанье не превзойдет
Обеденное –

Палкою из золотого дерева
Ударяют его три раза в живот,

Чтобы спящая там змея
Проснулась и зашипела,
Как расплавленное серебро.

ВРЕМЕНА ГОДА

1. JAGERS IN DE SNEEUW ОХОТНИКИ НА СНЕГУ

Охотники спускаются с холма,
Где жгут костер и черные, как птицы,
Стоят деревья. Снег, мороз, зима.
Убитый зверь во сне пошевелится
И, лапой дернув, продолжает спать.
В долине пруд, расписанный коньками,
Река, давно повернутая вспять,
Едва течет под узкими мостками.

Дома под спудом, как в лесу грибы,
Один заметишь, и другие рядом.
И там, где дым и пламя из трубы, –
Как будто ангел в чашу капнул яда.

Узнай расположение планет
И выплесни кофейную заварку.
На санках тащит женщина товарку.
Какие горы, если там их нет?

2. DE SOMBERE DAG ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ

День сумрачный – не то весна,
Не то начало карнавала.
Разбросанные как попало
Дома и бочки. Новизна
Подачи. Душный, как четверг,
Пейзаж в обломках корабельных,
Где с человеком человек
Стоит, обнявшись, как в котельной
Два кочегара, третий пьян.

Трактир и маленькая церковь.
Передний план и средний план,
И скомканная гор скатёрка.
С ножом в руке обрезчик ив,
За ним две бабы подбирают.
Рассказчик грузен и сонлив.
Деревья небо подпирают,
С тоской взирая на залив.

3. НООИЕН
СЕНОКОС

Корзины, полные плодов,
Несут, стараясь не рассыпать,
Туда, где в тишине садов
Поселок городского типа -
Среди кустов кудрявых плешь,
Откуда вышли три девицы.
Не скажешь – отдохни, поешь,
Страда – не время веселиться.

Пьют лошади, корабль плывет,
Все заняты, у всех есть дело,
Так пчелы собирают мед,
Спеша набить им до предела
Ячейки в ульях. Правь косу –
Небесных птиц редееет стая,
Почув в воздухе грозу,
Где след от облака растаял.

4. DE KORENOOGST
ЖАТВА

Груш уродилось, впрочем, как и хлеба.
Обломан сук, но, видимо, давно.
Несут кувшин, а у второго дно
Глядит в пустое высохшее небо.

Жнец спит, расслабив сытый ремешок,
Его команда уминает кашу.
За полем сад и каменный мешок –
Какого замка, угодив под стражу,
Расскажет тот, кто весело сбежит.
В пруду купальщиц прелести привычны.

Издалека деревья – как ежи.
Здесь вырыт ров, там в дымке ежевичной
Коровье стадо обглодало холст,
И нет преград на море и на суше.
Как будто часовой покинул пост
И собирает яблоки и груши.

5. DE TERUGKEER VAN DE KUDDE
ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАДА

Дома по обе стороны реки,
Извилистой, но, кажется, на месте
Застывшей так, что медленней беги –
И мы, как мухи, угодили б в клейстер.

Всё, что скрывали ветки и листва,
Теперь наружу лезет сквозь лохмотья.
Темнеет рано, день идет за два.
За стадом всадник, натянув поводья,
Скучая, едет. Дерево трясет.
В глазах коровьих тихое безумье –
На снежный торт, как птицу, водрузят,
Станцуют хором под декабрьский зуммер.

Обломки скал до самого конца
Пути, где море радостно облизнет,
Дыша в лицо, и туча из свинца
Висит над полем убраным и рыжим.

Еще один последний поворот –
На кий похожей палкой, в лузу точно,
Домой коров загонят, и тавро
Луны зажжется в небесах полночных.

ДМИТРИЙ РЯБОКОНЬ



УДАЧИ!

Прилетело сорок сорок,
Сплетни на хвосте принесли...
У каждой сороки свой срок,
А сплетни до срока земли

Живы. Превращаются в миф,
В легенду. И прямо сейчас
Превращаются в дивный мир,
В мирозданье, что после нас
Останется...

Что вы знаете о жизни,
Что вы знаете о смерти? –
Вам твердят об этом слизни,
Вам твердят об этом черти.

Лучше всех узнал ответы
На вопросы эти Данте, –
В мире том и в мире этом
Платят все по преискуранту.

У разбитого корыта
Дни и ночи,
Значит, надо относиться
К жизни проще.

А была ли эта рыбка
Золотая?
А была ли эта рыбка
Непростая?

Может, не было той рыбки
Дивной вовсе?
Эту рыбку кверху брюхом
Вдаль уносит...

Из семи чудес света остались лишь пирамиды,
Нет уже ни висячих садов Семирамиды,
Ни других, потрясающих воображение, чудес света,
Ничего, кроме первого чуда и восьмого чуда нету.

А что же такое это восьмое чудо света,
И почему до сих пор от него так много света?
Эту тайну за семью печатями именуют стихами,
И находится она где-то рядом с нами.

*«Ты мне сказал смотреть на бегемота,
и я смотрю.»*

О. Дозморov

Говорят, без кожи все поэты,
И совсем несчастные они,
Что не просто все они раздеты,
А без кожи коротают дни.

Постоянно корчатся от боли,
Натыкаясь на чужую боль...
Нету на земле ужасней доли,
И они жалеют даже моль.

Но не все ранимые такие,
Кое у кого есть и броня,
Есть творцы миров иных другие,
Например, взгляните на меня.

ПЕРЕПРАВА

Правый сектор, сепаратисты,
Все смешалось на Украине, –
Там бандеровские фашисты,
Экстремисты... Завяли дыни.

Ну а я для себя решаю,
Кто же я? – Тяжела нагрузка –
То ли русским хохлом здесь маюсь,
То ли маюсь хохляцким русским.

Только это не важно, право,
– Лучше сделаю гоголь-моголь –
Я – великая переправа,
Как Одарченко, Нарбут, Гоголь.

Маркизу Де Кюстину

Прощай, немытая Россия,
Страна господ, страна рабов,
Прощай, опасная стихия, –
Сказал маркиз, и – был таков.

Такого он не видел сроду,
Он покидал жестокий мир,
В котором ложь и несвобода,
И клоп – российский сувенир.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

На ней всегда была очень красивая красная шапочка,
И поэтому все ее называли Красная Шапочка,
Она носила в корзинке пирожки для любимой
бабушки,
Или какие-нибудь кулебяки, беляши, оладушки.

Но с виду обычная девочка, помощница и лапочка,
На самом-то деле была зловещая Серая Шапочка,
(Жаль, конечно, что сейчас я всю прекрасную
сказку нарушу), –
Эта модница носила шапочку мясом волка наружу.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Памяти Т. Х.

В далеком и безоблачном студенчестве,
Давным-давно, почти что во младенчестве,
Татьянин День мы бурно отмечали,
И гимн «Гаудеамус» распевали.

И были мы тогда полны надеждами,
В любых вопросах не были невеждами,
И в дне грядущем каждый был уверен,
И ржал комсорг тогда, как сивый мерин.

И Таня была самая красивая,
Веселая, румяная, счастливая,
И макияж красивый был у Тани,
Из Польши тушь, помада, пудра, тени.

А после Универ Танюха бросила,
И в доме сумасшедших поздней осенью
Она скончалась. То есть, стала тенью, –
Мы не бессмертны. Мы подвластны тленью,
Но не забвенью, Боже, не забвенью...

Пусть рушатся пизанские башни
и горят библиотеки...
Мне очень паршиво. И давно позабыт
путь из варяг в греки,
Но перед глазами протянулся
путь из варяг в чебуреки,
И до филармоний, театров, ипотеки и дискотеки
Мне дела нет. И утешаешься
подлой, расхожей картинкой:
Инвалиду хуже тебя.
И не сменить дурную пластинку,
И продолжается фраза: смотри, –
инвалид улыбается –
Как не стыдно тебе, здоровенному, херней маяться!

Новый Год я встречал один,
И был сам себе господин,
Сам готовил праздничный ужин,
И я был в эту ночь не нужен.

Лишь опять одиночество в дверь
Постучалось. И вздрогнула ель,
Одиночество лишь постучалось,
А потом ночевать осталось.

Если хочешь, уходи,
Скатертью дорога...
Только звезды впереди,
А в груди – тревога.

Две гетеры за стеной
Жалобно заныли...
Боже, Боже, что со мной? –
Просто мне уныло.

Вместе с Эдгаром Алланом По
Я шатался по рюмочным, по
Кабакам, переулкам, извивам
И по старым убогим сельпо.

А потом потерялись мы с По,
Я уснул в паровозном депо,
Очень крепко я спал на скамейке,
И на все мне тогда было по...

Из окопов судьбоносных, запойных 70-х,
Из половых щелей перестроечных 80-х,
Из темной амбразуры киоска лихих 90-х
Я выстрелю по 2000-м, погостным, несносным.

Хорошо бы купить золотого шампанского ящик
До того, как сыграешь в пресловутый,
прескверный ящик,
Чтоб найти должное применение упругим пробкам
До того, как ляжешь в свою коробку.

Я умру, ты умрешь, он умрет...
Срок настанет, – и все умирают,
Никому не увидеть восход, –
Вечность крылья свои простирает.

Лишь закат все увидят, закат...
Кто-то сдержится, кто-то заплачет,
Но покойник, поверь, будет рад,
Если кто-нибудь скажет: удачи!

ДМИТРИЙ ШАПЕНКОВ



АНФАС

Слетаем вниз уже бескрылыми,
С гнильцой в кости,
И больше некому помиловать,
Сказать прости.

И подарить, как солнце в клеточку,
Чугунный люк,
Нам в жизни краткой делать нечего,
Безмолвный друг.

Лишь мять снега в лохматых валенках
От сих до сих,
В наш славный век трагедий маленьких,
Но дорогих.

Здесь в люди выходить не хочется
Совсем, увы.
Так бродим между одиночеством,
И я, и вы.

История ж своё востребует –
Меня, его.
И что за сказанным последует? –
Да ничего.

ГАТЧИНСКАЯ ЭКЛОГА

Заросли краснотала, покрытые первым снегом,
Старые липы, вороний след на дорожках,
Туф дворца розово-жёлтый в среду,
Не меняется к выходным в угоду зевакам в дрожках.

Павел всё тот же, принимает парад невидимок,
Стройные полукаре, марширующие по плацу,
Словно проецируемый в прошлое фотоснимок,
В котором нынешнему, увы, некогда разобраться.

Глянцевые пруды тёмным играют блеском,
Кувшинные пятна зелени на чёрном подносе,
Последнее, что слуга в дымчатой феске,
Из растительного разнообразия ещё приносит.

Всё засыпает, и Чесменский клык на склоне,
Бывшего ещё недавно зелёным мыса,
Всё более к меланхолии северной склонен,
Потому как в чухонскую землю вгрызся.

Борей, догоняя беззвучно, бьёт в спину запанибрата,
Застрав в садовой решетке, открывает ворота,
Ведь, кажется, он не спит, и ему непонятно,
Как впадают в оцепенение без зевоты.

В маске Сильвана серой просматривается презрение
К движущимся под ней фигурам,
в будущее спешащим,
Он давным-давно знает механику искупления,
Жить окаменевшим образом в затаившемся
настоящем.

Всё, о чём молчат покойники
И о чём скрипят грачи,
Увенчает вальс спокойненький
Легковерных и личин.

Полирует вечность голая
Полиролью пылевой,
Переломанную голову
Под короной болевой.

И ни главного, ни крайнего
В швах, сдвигающихся за,
Всё кружишься неприкаянно
И не хочется слезать.

ЗИМНИЙ БЛЮЗ

Купола, окружённые бледно-розовым ореолом,
Мороз добавляет к ним подобие нимба,
Неоновый кабальеро отплясывает над танцполом,
Но поредевшие пешеходы проходят мимо.

Они бредут, ссутулившись, что твои драконы,
Выдыхая время от времени облачко пара,
Наверху ледяною слюдою блестят балконы,
Да в кубинской таверне играет Гвадалахара.

Светофор удивлённо глядит вдоль улиц,
Но до утра движения не заметит,
Месяц вверх из-за крыши взлетит, любуясь
На красоты практически чистые без отметин.

В такие минуты время покажется фикцией,
Мала его плотность, и чтобы хоть что-то менялось,
Надо его стусить, плеснув по традиции
Привычного столпотворения самую малость.

Округлый мост над путями,
застывшие звёзды вокзала,
Магазины закрыты, у Гермеса опять заминка,
Одно за другое не выдать – наличных мало,
Слава богу, пока уснула громада рынка.

В подворотне снежок блестит, словно кварца друзы,
Айсберг воздуха изредка встряхивает лай собачий,
И если кто и садится на плечи, то только музы
Что из амфоры пьют Гишпокреновый пунш
горячий.

НОВОГРЕЧЕСКИЕ СТАНСЫ

Залива острый серп, деревня на ветрах,
Над скалами висит подброшенная чайка,
Вздыхает часто Понт, стеснённый в берегах,
Предметами шурша, упавшими случайно.

Предутренняя дрожь волну застопорит,
И крепятся Циклад разбросанные цапки
К причальному столу ползущих донных плит,
Отеческим теплом одарены по-царски.

Слепящий малахит и гротов глубина,
Покрытые ночной измятою копиркой,
Вновь явятся на свет такими же сполна,
Но безгрешны вновь вззирающие пылко.

А в парусе цветном – узорчатый восторг,
Но гибель от гребца, немого левантинца,
Здесь с Западом сойдясь, дымящийся Восток
В Аркадию никак уже не возвратится.

АНФАС

А время подходит снаружи,
Сжигая судьбы кислорода,
Фонарщиком, если не хуже,
Спецом золотарных работ.

Пощёлкает тоненько гейгер,
Ловя вавилонов распад,
И разум – поношенный Гегель,
На пущенных склоках распят.

Попытка не пытка, но плитка –
Надгробие с точным клеймом,
Синильная ясность напитка
На круте расчётно втором.

Ни драхмы не взыщется все,
Не вспомнишь, не дрогнет в верхах,
Анфас прорисованный в сумме
На бледно-пустых облаках.

Троперстье осени, направленное в никуда,
Жёлтый бархат, чёрный агат и шута ледяная,
Бессердечная память, скручивающаяся в провода,
Перемешанные, как толпы окрест Синая.

Жнец оскопляет время зубчатым остриём,
Свет месмерически кружит в предокончанье бала,
Звук деревянных тувель, странствующих вдвоём
В случайном салоне позвякивающего империаля.

Спи бледнолицый брат, нитку и лабиринт
Спутав, как приговор с криками потерпевших,
Пусть в чистоте даров ровным огнём горит
Средневзвешенная душа ангелов невзлетевших.

КОНСТАНТИН БЫЛИНИН



УРАЛЬСКИЙ ДЕНЬ

Закрываются веки холодных озёр.
В дупло залетает пчела.
На воде отражение матовых гор
Накрыла осенняя мгла.

И лес обесточен. Свеченье листвы
За тёмною штормкой дождя,
Мерцает на фоне морозной травы
В предзимнем дыхании дня.

Стихи взрослеют, как родные дети.
И жизнь стоит, как память, у воды.
Мы за любовь и за слова – в ответе,
А ночь глядит из вечной темноты.

Друг! Не спеши, я расстелил дорогу
Среди полей застиранных грозой
До белых трав, едва заметных Богу,
Где тает свет над русской землёй.

БОЛЬ

У вишни надломленный взгляд
Держался на тоненькой ветке...
Травой заплыл и нахмурился сад
В своей разноцветной жилетке...

Усталые руки деревьев висели
В беспомощном, матовом свете,
Как будто они привязать захотели
К надломленной веточке ветер.

Ветер хлещет серебряной плетью
Заметённую вечностью даль.
Я стою между жизнью и смертью,
Где небесная льётся эмаль.

Воздух белой искрой опалённый
Надо мною кольнул тишину,
Что стояла над пышной кроной
Наполняя мерцаньем сосну.

Над полями твой шорох дыханья
Я услышал бы сердцем земли,
Как морозной рябины дрожанье,
Где клюют снегири, огоньки.

Я бы нежные проблески речи,
Разглядел в пелене декабря,
Но твои узкокрылые плечи
Обнимает чужая заря...

Уральский день рассыпался на звезды
И снегопад в глубокой тишине,
А мне любить и жить совсем не просто...
Я говорю с тобой наедине:

Что надо мной клубится тень природы,
Когда стою под снежным рукавом
И, прошлое мешаю словно воду
В которую мы больше не войдём...

Мне прошлого совсем немного надо.
Мне прошлого не нужен водоём.
Мне б капельку любви ночного сада,
Где моё сердце станет снегирём.

AD FUTURAM MEMORIAM





СМИРЯЮЩИЙ ХАОС ИЗ ЧЕРНИГОВА

Еще 8 марта 2013 года Святослав Евдокимович Хрыкин поздравлял меня с Праздником Весны («...и пусть для Вас никогда не иссякают сладость жизни, радующий аромат её цветения и волнующий хмель творческих исканий и находок! СХ»), а 10 марта он ушел из жизни. Он, который признавался в письме: «Я давно уже разменял восьмой десяток, а всё чувствую себя мальчишкой двадцати двух лет...» Свои инициалы СХ порой шутливо расшифровывал как Справедливость Холящий, или Старый Хроникёр, или Стихами Хворающий, а также Смакующий Хокку, Спешащий Ходок, Смиряющий Хаос, Скрамник Хитренький (это уже в письмах к В. Ильину) – в зависимости от содержания переписки.

Мое знакомство со Святославом Евдокимовичем состоялось благодаря Дмитрию Быкову и книге стихов незаслуженно забытого поэта Серебряного века Игоря Юркова (1902–1929), изданной в Санкт-Петербурге (издательство «Геликон Плюс») в 2003 году стараниями Дмитрия. Это было время литературных знакомств, возникших благодаря виртуальной куртке Лито имени Стерна, время, когда сайт Сетевая Слоvesность был не одним среди прочих, а особо значимым для многих. Хрыкин и Быков (еще в юности заинтересовавшийся Юрковым) осуществили подготовку текста и составление сборника. Однако главным знатоком и хранителем юрковского наследия, подвижнически извлекившим его из-под спуда, был именно Святослав Евдокимович. Вот как писал Быков в своей книге «Вместо жизни», вспоминая их встречу: «Меня впустил высокий благообразный старик в очках, с лицом губернского интеллигента, с седой бородой, в чем-то ветхом и черном. Вопросов у него не было, искать общий язык не требовалось. Более всего это было похоже на встречу членов тайного ордена, состоящего из двух человек». До появления полноценных публикаций Святослав Евдокимович делал со стихами Юркова самиздатские (издательство «ЭСХА») книжечки карманного формата (позднее стал записывать CD-диски). Как художник-оформитель он с большим вкусом создавал эти простенькие издания, а также сборнички своих стихов; все это он затем раздавал или отправлял по почте тем, кто интересовался. У меня тоже есть эти покетбуки. Официально его собственные стихи были изданы только книгой «Жертвенный камень» (2008), 208 страниц. Весь тираж оказался в библиотеках. В послесловии к подготовленной самим Святославом Евдокимовичем, но изданной посмертно (Еленой Грицюк) книге стихов «Прости мне» он пишет следующее: «Был период в моей жизни, когда я экспериментировал с формой стиха (в общем-то, не открывая ничего нового, но развивая собственные внутренние способности владения любой формой стихосложения, вплоть до более чем «заумного», правда, принимавшего тут же вид пародии). Наблюдая в течение десятков лет за развитием современной мне поэзии, я воспринимал (и воспринимаю) вполне свободно все нарождавшиеся направления, оставаясь сам всё же приверженцем классических традиций».

Однако не только Юркову не давал исчезнуть в небытии Святослав Евдокимович – он собрал антологию черниговской поэзии, в аннотации к которой написал, в частности, следующее: «ЛЕДИ и ДЖЕНТАЛЬМЕНЫ, ДАМЫ и ГОСПОДА, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ и МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ! Мною, – Хрыкиным Святославом Евдокимовичем, родившимся в 1939 году на Дальнем Востоке, ставшим черниговцем в 1955 году, постоянным участником

и свидетелем литературной жизни города с 1960 года, – подготовлено к изданию несколько больших работ: 1. Антология Русская поэзия Чернигова: двадцатый век (400 страниц), включившая в себя 59 авторов, от Ивана Говстухи (1889–1935) и Владимира Нарбута (1888–1938) до Ирины Кулаковской (год рождения 1976) и Оксаны Куринской (год рождения 1983) (...)» Найти эту книгу можно здесь http://samlib.ru/k/klimenko_j_n/rus_poez_cherndoc.shtml А стихи Юркова, откомментированные Хрыкиным, – здесь <http://1576.ua/file/17885>

Мы несколько раз встречались на литературных мероприятиях в Киеве, в частности на проводимых Юрием Капраном. Летом 2006 года Святослав Евдокимович показал мне, Игорю и Андрею Кручикум юрковский Чернигов (Лесковицу, состоящую из одноэтажных домиков, сохранившуюся в почти первозданном виде со времен Юркова). В Киеве – прогуливались с ним по Подолу и Левобережью. Святослав Евдокимович, невзирая на болезнь сердца, был очень энергичен, всем живо и доброжелательно интересовался. Вообще был на редкость гармоничным человеком, отцом пятерых детей, младший из которых, Евгений, – художник, чьи работы находятся в музеях современного искусства в США.

Рада, что смогла опубликовать в киевском альманахе «Соты» (2012) и в журнале «ШО» заметки о выходе московских и питерских сборников Юркова, об открытии поэту мемориальной доски в Боярке (где он умер от туберкулеза) и о роли Хрыкина в этих событиях. В середине октября 2012 года я дала электронный адрес Святослава Евдокимовича Владимиру Ильину, так как последний, черниговец по рождению, хотел провести презентацию переводов поэзии Папы Иоанна Павла II и Игоря Рымарука именно в Чернигове. Святослав Евдокимович помог устроить чтения: Ильин и автор этих строк выступили с переводами и собственными стихами в Черниговском педагогическом университете, той же осенью состоялся и наш вечер в музее М. Коцюбинского. Между СХ и ВИ завязалась творческая переписка, изданная Владимиром Ильиным в 2015 году в книге «Находка ЭСХА».

Святослав Евдокимович не раз присылал в Киев книжные посылки, щедро делясь читательским восторгом (например, так появилась у меня книга Жоакима Пессоа), или передавал книги с кем-то, знакомя тем самым людей между собой. Так я познакомилась с Еленой Грицок, интересной художницей, она впоследствии занималась публикацией хрыкинского поэтического наследия. После нашего общего выступления в черниговском музее Коцюбинского был очень теплый вечер дома у семьи Грицок. В своих воспоминаниях о Хрыкине, вошедших в книгу «Находка ЭСХА», Елена пронизательно писала: «...его радость: стихи Игоря Юркова опять хотят издать! За тридцать земель от Чернигова, где Хрыкин собрал все возможное и невозможное об этом талантливом и забытом поэте начала XX века... Вот радость-то, ваш труд, Святослав Евдокимович, к славе других писателей и журналистов, выйдет в другом городе, в другой стране, а вам пришлют несколько экземпляров! Да, радость. Москва, Питер, Киев цепкими деловыми руками хватаются за сокровища, а кладонскатель и рад, что поднял их на свет...» Таково оно, счастье бескорыстного собирателя! В непреходящем состоянии этой заразительной радости и запомнился мне Святослав Евдокимович Хрыкин...





В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

Весь день сегодня бродят облака,
над городом, то открывая взгляду
чуть-чуть голубизны, то снова сплошь
загромождавая небо теснотою
неспешно шевелящихся громадин,
меняющих свой величавый облик,
как будто бы в возвышенном раздумье
о беспредельных тайнах бытия.

И чудится мне в их неторопливом
движении спокойствие богов
языческих, нечаянно забредших
в наш беспокойный век, на целый день
над городом бурлящим задержавшись,
оставшись равнодушными к нему...

День угасает. По-кошачьи мягко,
полулениво сумерки крадутся
по городу, усыпанному снегом,
среди нагих ветвей деревьев тёмных.
И мы невольно ощущаем, что
едва ль не все земли живые силы
под благодатным снегом утомлённо
притихли в ожидании далёкой
весны с её разгульным половодьем
страстей и света... Зимней грусти полный,
я осознал, что так же, как земле,
пресытившейся жарким буйством лета,
нужна и людям тихая усталость
и тела, и души, и долгих дум...

Двор полон детворы. Пусть шумно, но
играют все мальчишки и девчонки
не ссорясь; взрывы ненависти
их не безобразят. И за их игрою –
подвижною и радостною – слежу я
с любовью ровной, светлого, спокойной,
не знающей различья меж детьми.
Ведь это позже, это много позже

одних из них я буду ненавидеть
за подлость их; к другим же равнодушен
я стану; а великою любовью,
сочувствие и сопереживание
рождающей к их судьбам, буду я
страдать до кома в горле
лишь к немногим...

...А было и такое: в темноте –
капцей, ведьмы, лешие... – как много
опасностей меня подстерегало! –
Теперь, спустя десятки долгих лет,
случайно вспомнив эти страхи детства,
я с добрым снисхожденьем улыбаюсь
их милой безобидности.

Сегодня,

единственное, что меня пугает,
что горечью таится в размышленьях
и по ночам приходит в сны тревогой
кошмарней всех кошмаров детства, это –
никак не устранимая возможность
взаимоозверения людей...

*«...и возвращается ветер
на круги своя...»*

Экклезиаст

Год за годом, как в море волна за волной,
студят чувства мои. И всё дальше уходит
непосредственной юности благостный зной...
Боже мой! –

Сколь же многое мог я в те годы! –
Пылко радовался человечности чувств,
яро негодовал, видя несправедливость,
был в восторге, что много могу и хочу,
и пугался, когда наплывала сонливость... –
Жизнь трепала и била меня. Только я,
после боли обид и удушья метаний,
каждый раз возвращался «на круги своя» –
каждый раз возрождаясь для новых исканий.

...Но всё глубже меня мчит в просторы свои
бытие, обнажая глубинные корни
и порывов моих, и деяний людских,
и всё чаще становятся, как ни прискорбно,
без-раз-личными для существа моего
и враги, и невзрачные души, и други... –
И, уже понимая причину всего,
не могу возвратиться на прежние круги...

...И вновь (уже который год подряд!)
спешу привычной, будничной дорогой,
рождённою заботой о насущном...
В душе живёт большой скребущей кошкой
скопившаяся за зиму усталость
и долгая тоска по красоте
и щедрому теплу любви и лета...

Но ярко светит солнце, и морозно
снег под ногами спорыми скрипит;
и начинается музыкой мажорной
звучать в душе, отодвигая вглубь
мои (также мелкие!) заботы,
знакомая со школьных лет любому
прекрасная строка: «Мороз и солнце!..»

Неторопливо обхожу я лужи
и вслушиваюсь в странную мою
взволнованность: теперь из года в год
до самой смерти будут волновать
меня всё больше будничные вещи:
задумчивость на утомлённых лицах,
работой обессиленные руки,
ребёнок, погрузившийся в игру
с самим собою – до самозабвения,
бездомные собаки, с недоверьем
идущие на зов мой, сиротливость
опавших листьев на сыром асфальте,
и неуютом дышащие ветры,
и тёмных луж раскрытые глаза...

Моим испуганные приближеньем,
взмахнув крылами, несколько ворон
едва ль не из-под самых ног моих
взлетели и, скользя за дом, исчезли
бесследно, как людская жизнь... И я,
им глядя вслед, вздохнул невольно, ибо
опять в душе щемяще шевельнулась
столь ревностно скрываема мною
по-юношески робкая надежда
уйти в свой час из благодатной жизни,
оставив людям (многим поколениям!)
всю глубину и сложность лучших чувств
и дум моих – моей души частицу,
моей недолгой жизни долгий след...

Здесь всё неторопливо – зимы, вёсны,
и снег, и дождь, и пчёлы над цветами...
И медленно покачивают сосны
ветвями над могильными крестами.

Тропой знакомой снова ненароком
забрёл я в эту «тихую обитель».
И стало вдруг никчёмным и далёким
всё, чем живёт поток людских событий.

Наш смертный час... и близкий... и неблизкий... –
Порою напряжёшься: «Заглянуть бы...» –
...Кресты, надгробья, плиты, обелиски,
цветы, венки... И – судьбы, судьбы, судьбы... –

Вот – под плитой – два автомобилиста,
осиротили дочь и мальчугана...
Вот бывший «зав» – настиг сердечный приступ...
Вот чей-то сын – «доставлен из Афгана»...

А вот... – Ведь надо ж! – Под единым солнцем
мы жили с ним; с таким судьбы не сварить!
Я помню: был он гнида и пропойца,
но – «Спи спокойно, дорогой товарищ!..» –

ведь для кого-то ж стал и ты утратой... –
Бреду... Над головою – сосны, птахи...
И снова – имена... И снова – даты...
И снова – чьи-то боли, слёзы, страхи...

Вот чья-то мать – болезнью и долгами
раздавленная... Рядом – чей-то крёстный...
...Как медленно покачивают сосны
разлапистыми тёмными ветвями!..

Всё преходяще. Был кленовый лист –
И стал он прелью. День – сменился ночью.
В моих лесах умолк дроздовый свист
В горах моих иссяк живой источник.

Всё преходяще: мартовская прель,
Перегорев, травую новой всходит,
Вплывает в мир рассвет, и звонко входит
В берёзовые рощи птичья трель.

Всё – преходяще! Слои отживших чувств
Дают ростки надежд. И вновь хочу
Жить воедино с красотой Вселенной! –

...Пусть я умру... Но в мир придёт *Другой* –
С моей надеждой, страстностью, тоской... –
Всё – преходяще. И ничто – не тленно.

Опять иду...
Куда? – Не знаю сам.
Иду, оставив где-то за спиною
людскую жизнь, людские голоса...
Иду, любуюсь прелестью земною:
над головой – полуденное небо,
звон птиц и солнце;
впереди – мой путь,
возможность вновь и вновь в себя вдохнуть
хмелящий запах спеющего хлеба.
Вдоль тропки – рожь, ромашки, васильки,
беспечные порхают мотыльки, –
всё солнечно,
всё радостно,
всё вновь!..

Вот так бы
в этот радующий свет
идти всю жизнь –
не зная долгих бед,
ни горьких дел людских,
ни злого слова!..



Изяслав Винтерман

ТАМ СЕРДЦЕВИНЕ

стихи

Художник Василий Бородин

Изд-во «Евдокия»
Екатеринбург, 2016
ISBN 978-1-329-90960-1

<http://www.lulu.com/shop/izyaslav-winterman/tamvsrdcevine/paperback/product-22590729.html>

МАЭСТРО



ФАНТАЗИИ ДИКАРЯ И РЕБЕНКА

О рисунках Нади Захаровой

Надя Захарова снимает чёрно-белое кино и рисует чёрной гуашью на белом фоне. Её творчество рождается из внутренней потребности и мало связано с текущими событиями и факторами художественной жизни. Однако её графические работы нашли поклонников в интернете и получили признание у круга зрителей, который постоянно расширяется. Цель этой выставки – показать Надины рисунки в их бумажном, оригинальном виде, и привлечь более широкую аудиторию, способную оценить самобытность и новизну Надиной графики.



Надя рисовала с детства, училась у разных педагогов. Но настоящая страсть к рисованию проснулась в ней во время работы над первым фильмом. За короткое время Надя создала до тысячи работ, рисуя на случайно попавшихся под руку листах, иногда на обрывках бумаги – от глянцевой до обёрточной. Почувствовав этот мощный творческий импульс, Надя, по её собственному признанию, забыла все усвоенные правила и потеряла к ним всякий интерес. Тем более ей чужд нарочитый поиск оригинальности. Начиная рисовать, она каждый раз заново открывает приёмы изображения и делает это с такой лёгкостью, что её искусство способно показать творческую свободу как естественное состояние человеческой души.

Рисунки Нади напоминают сказку, не имеющую ни начала, ни конца, ни последовательного сюжета, подобную фантазии дикаря или ребёнка. Архаизм и шаманские мотивы ни в коей мере не являются приёмом, концепцией или позой: это само мироощущение Нади, её интуиция в общении с миром. Детская трогательность её рисунков сочетается с такой убедительной серьёзностью, глубокомысленностью и выразительной силой, что это кажется почти невозможным в наше время.

Разные её работы могут напомнить эксперименты примитивистов и экспрессионистов, первобытное и архаическое искусство, произведения традиционной китайской живописи. У них много пересечений с той художественной областью, которая долгое время стояла в стороне от «большого» искусства – это анимация, иллюстрации к сказкам и детским книгам. Но все влияния и интуитивные совпадения только лучше высвечивают самобытность Надиного таланта.

Творчество Нади Захаровой обращено к истокам культуры и всего человеческого, к началу изображения и слова, религиозного поиска и осмысления мира. Размышления над существующими традициями духовной культуры ведут её сквозь их сюжеты и символы к самой природе, к ощущению одушевлённости и одухотворённости всего живого.

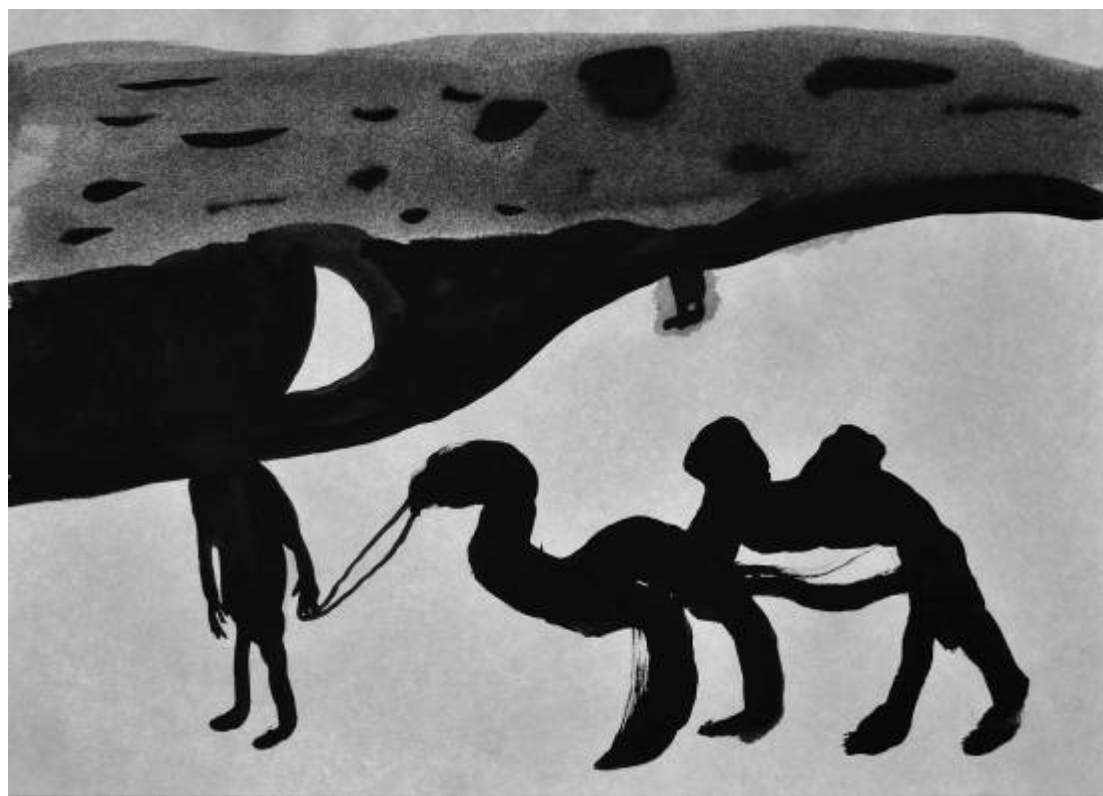


Из серии «Остров»





Африка



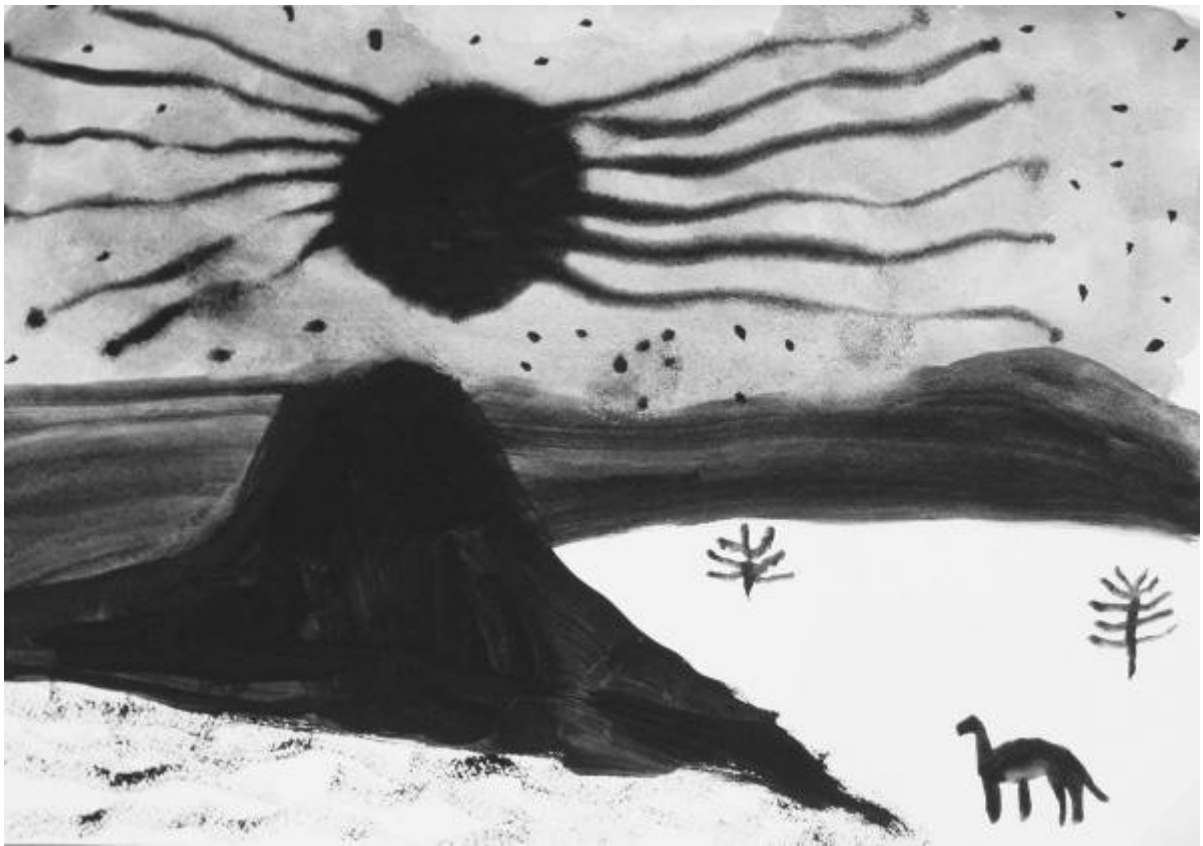
Монголия



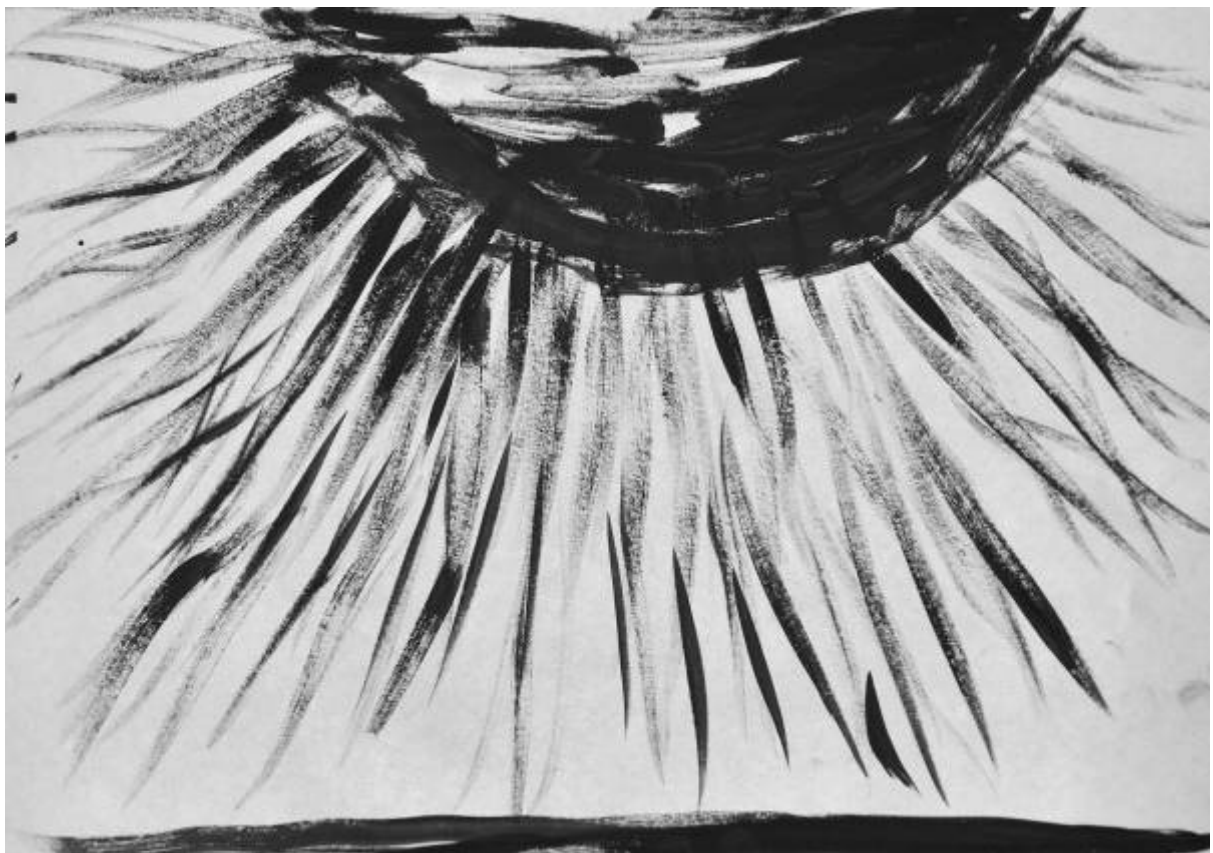
Пустыня



Азия



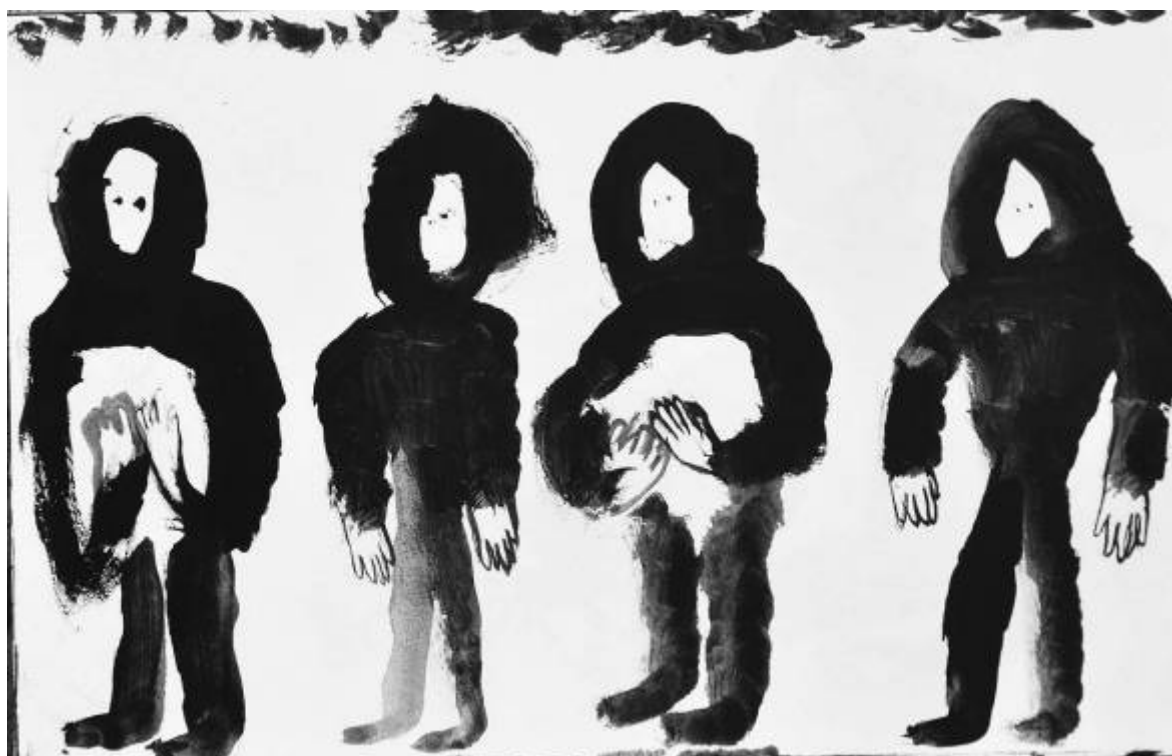
Динозавры



Песня о солнце



У реки



Четыре шамана моей жизни

Из серии «Цветы»



ХОРОШО ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ...



МАРИЯ ОГАРКОВА



«СМЕРТНОЙ РАДОСТИ ЖИТЬ ремесло...»

Виктор Каган. Стихофотопись. Отражения.
Балтимор, Hanna Concern Publication, 2016

В мире искусства сейчас наблюдается интересная тенденция. Традиционная обособленность видов и жанров перестает удовлетворять многих художников (поэтов, писателей, режиссеров). Настоящие творцы хотят расширить свои возможности.

Поэтому появляется все больше медиа-выставок, где, например, показ картин сопровождается исполнением музыкальных произведений и различными световыми эффектами, использованием возможностей компьютерных технологий и т. д. Живопись все чаще переселяется на стены городских зданий, тем самым охватывая огромное количество зрителей.

Многие поэты являются одновременно и художниками. Таков поэт Виктор Каган. В своей новой книге «Отражения» он предстает еще и фотохудожником. Многим известны проекты Изи Шлосберга «Стихоживопись», а теперь мы наблюдаем новый виток развития синтетического искусства: совместно с Изей Шлосбергом Виктор Каган выпустил сборник из серии «Стихофотопись».



Фотографии в книге смело можно назвать фотокартинами. Они разнообразны по стилю и своей визуальной образности: есть вполне реалистичные лирические фотопейзажи и фотонатюрморты, а есть и фотоабстракции. На цветных фото мы видим игру цвета и света, солнечных бликов в листве или на воде, светящиеся линии; черно-белые снимки иногда напоминают тонкую графику пером, а иногда образ создается сочетанием пятен различной формы. Есть фотографии, похожие на картины, где изображение создается кистью, с которой стекает краска. Есть портреты – и реальных людей, и, например, древесных богов. Мы можем найти в сборнике коллажи и образцы концептуального искусства. Все фотокартины очень разные, но общее в них одно – их создал настоящий мастер, художник, обладающий огромной наблюдательностью и чувством прекрасного. Они удивительны и сами по себе, но вместе со стихотворениями создают уникальное единство, дополняя, раскрывая и отражая смыслы друг друга.

Надо ли говорить, что при этом воздействие каждого стихотворения и фотопроизведения на зрителя и читателя многократно усиливается?

О чем же книга? О жизни, любви, памяти и смерти. О времени и вечности. О прошлом, настоящем и будущем. Все это – основные философские категории. Потому что книга Виктора

Кагана наполнена глубокой философией и высоким трагизмом. Ее написал очень мудрый человек, с пронзительной ясностью ощущающий, что подошел к черте, с которой ему видна и прожитая жизнь позади, и близкая линия горизонта вперед.

Поэт и наяву, и в снах чувствует «...дыханье тех долин, / в которые и мы когда-то канем». Это знание не дается даром, оно приводит к мучительной, но необходимой для мыслящего существа рефлексии. Не зря английский перевод названия книги «Отражения» («Reflections») имеет два значения. Это и «отражения», и «размышления». А во многих мудрости много печали... Поэтому автору так близок библейский Экклезиаст: «И то прошло, и это все пройдет...». Жизнь печальна, полна боли и утрат, и есть ли в ней смысл? Поискам его посвящены многие стихи сборника: «И если не поём, когда нам больно, / Зачем и жить, и чем, скажите жить?». Конечно, иногда возникают сомнения: «В ней смысла ни на ломаный на грош». Но он все-таки есть. Смысл жизни – и в творчестве, и в самой малой радости, например, от общения с лесом и деревьями: «Древесные боги любви и покоя, / стволами светясь, излучают добро». Смысл жизни – в памяти о близких, ушедших от нас, и в памяти о прошлом страны и родного Ленинграда-Петербурга. Эти две линии тесно переплетены в сборнике:

*И снова, словно много лет назад,
мне открывает душу Летний сад,
и неба свод прозрачен, чист и прочен,
и лабиринты питерских дворов
выводят на звезду Пяти углов,
и жизни срок на жизнь не укорочен.*

Невозможно, говорит поэт, «...выключить памяти свет». Невозможно человеку с душой и совестью не болеть всей болью мира, не нести в душе всю тяжесть земного несовершенства. Страшное стихотворение «6 ноября 1938» о судьбе репрессированного деда поэта неслучайно находится в сборнике рядом со стихами уже о сегодняшнем дне:

*И бредем этим адовым раем
по девятому кругу судьбы.
И взаправду в войнушку играем
и детей пеленаем в фробы.*

Мир, окружающий нас, страшен. Его дисгармоничность отражается в оксюморонах поэта: «Смертной жизни сладость-отрава», «горькая сладость и сладкая горечь», «забытой памяти спираль», «Улыбнуться – почти что заплакать», «В бочке мёда капля яда. / Жизнь настояна на смерти». Вспоминается еще один мыслитель, Вийон, чье мироощущение тоже очень близко Виктору Кагану:

*И просыпаюсь, господи, в поту –
когда мы заступили за черту,
из-за которой не найти возврата,
где брат на брата, сам против себя,
где убиваешь, истово любя,
и где вина ни в чём не виновата?*

Одно из свойств настоящей поэзии – в том, что она пробуждает в читателе душу, заставляет вспоминать собственный опыт, соотносить образы стихов со своей жизнью. Умершие родные приходят к нам в снах и воспоминаниях. Мы мысленно разговариваем с ними – и эта реальность не менее явная, чем наше настоящее и земное. Каждый, наверное, задается вопросом: а что там за линией горизонта? Встретимся ли мы с теми, кто ушел от нас? Или всё безвозвратно уплывает в Лету и небытие?

Именно об этом книга Виктора Кагана «Отражения». И главная ее ценность в том, что, несмотря на весь трагизм существования, боль утрат, осознание того, что «Не год проходит, а проходишь ты / сквозь времени прокрустовы ворота», надежда все же есть. Она есть, пока существуют поэты и художники, мучающиеся и размышляющие над каверзными вопросами нашей короткой, страшной и прекрасной жизни.



БИБЛИЯ ДЛЯ РАЗУВЕРИВШИХСЯ

Владимир Алейников. Тадзимас. М.: Рипол Классик, 2013

Всякий пишущий мечтает о публикациях и известности. Но вход в литературу, как в пещеру Аладдина, широк, а выход – до неприличия узок: можно публиковаться десятилетиями, но при этом ни иметь ни денег, ни тем паче, известности. И даже если ты не обладаешь габаритами Винни-Пуха, слопавшего все запасы Кролика на зиму, выбраться из этой норы без катастрофических потерь в виде безудержного скепсиса, разочарованности, а зачастую и проигранной вчистую жизни, практически невозможно. А уж сегодня и подавно.



Впрочем, и в Советском Союзе пресловутые бонусы в виде собраний сочинений, дачки в Переделкино или заветного членского билета «совписа» были доступны немногим. Большинство боролось за редкие публикации, балансируя на скользких жердочках пошлости и цинизма, и лишь мечтало об утопических временах, когда можно будет писать без оглядки на власть и цензуру. Но среди этого легиона безвестных тружеников пера были свои герои, которые работали широкой кистью, не обращая внимания на окружающую суету. Доступ к печатному станку таким был закрыт, и им ничего не оставалось, как отправиться на поиски счастья в безбрежный океан Самиздата.

Одним из героев этого сурового и по-своему неумолимого пространства, был Владимир Алейников – поэт, художник, культуртрегер и вообще, настоящий подвижник. Самиздату – океану, топившему и лошадей, и людей с не меньшей безжалостностью, чем в стихотворении Слуцкого – и посвящен роман Алейникова с замысловатым названием «Тадзимас» (тот же Самиздат, если читать это слово наоборот).

Впрочем, это не совсем роман, а нечто, созданное на стыке жанров – мемуаров, поэзии, эссеистики. Всеми этими жанрами Алейников владеет в совершенстве и вероятно, он вполне мог бы создать из этого разбега мыслей, наблюдений и восторга перед бытием традиционный роман, который по своей мощи вряд ли бы уступал «Доктору Живаго» или марингофским «Циникам». Но Алейников и здесь пошел своим путем – он синтезировал разные формы и в конечном итоге создал что-то свое, такое же необычное, свежее и крепко западающее в душу.

Конечно же, прозрачная тяжесть этого произведения берет свое начало в необычной судьбе автора. Даже страшно себе представить, из глубины какого подполья вышел этот поэт, чье творчество, словно световая дуга соединяет собой серебряный век русской поэзии с ее сегодняшним берегом – а под ее светоносной волной рокочут мутные валы поэзии советского разлива, где на тысячи километров пустопорожней воды редкие крупинцы подлинных озарений.

Алейников, один из организаторов знаменитого «СМОГа» (Самого Молодого Общества Гениев), начинал в начале шестидесятых XX века, однако в силу чужеродности своей эстетики, был вытеснен на обочины андеграунда и стал одним столпов советского (или антисоветского?) Самиздата. И если кто-то считает, что для поэта и вообще для писателя нет ничего страшнее горечи эмиграции, судьба Алейникова – наглядный пример того, что бывает и более извилистая стезя.

Замечательный поэт (некоторые критики считают, что Алейников глубже и тоньше Бродского, недаром периодически возникают разговоры о выдвижении поэта на Нобелевскую премию), в течение сорока лет провел в Тадзимасе – в стране со своими законами, границами и литературными авторитетами. И если литератор в изгнании был скован только географическими границами, то «пленник Самиздата», как самый настоящий подпольщик, всегда находился под колпаком спецслужб, изгойства и самой настоящей нищеты.

Только не ждите от Алейникова литературных разоблачений в стиле «как нам плохо жилось при Советской власти» – в «Тадзимасе» их нет и в помине! Автор, о котором еще в середине 60-х кто-то из литературных деятелей сказал: «Кого мы видим перед собой, товарищи? Мы видим нашего простого советского гения», не собирается ни с кем сводить счеты. Невольный отшельник, Робинзон Крузо безграничных пространств, он всего лишь наносит на карту очертания своего материка, на котором ему довелось провести большую часть жизни. И это настоящая твердыня духа, книга, после прочтения которой, любые житейские неурядицы кажутся мелкими и неважными.

Хотя скептики отмечают, что книга Алейникова крайне несовременна. Впрочем, так же несовременен и дождь, который вместо того, чтобы струиться в цинковых желобах и водосточных трубах, хлещет по непослушной листве и вздымается веселыми пузырями в растекающихся по асфальту лужах.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МАТЕРИК

Владимир Алейников. Собрание сочинений в 8-ми томах.
Рипол-классик, Москва, 2015



Иногда издатели, словно в предчувствии конца света или пытаясь обрести твердую почву под ногами, осыпают окружающих весьма неожиданными подарками. В этом смысле выход в свет восьмитомного собрания сочинений Владимира Алейникова – известного русского поэта, прозаика, художника, творца «леонардовского» замеса – можно сравнить разве что с громом среди ясного неба. И не потому, что сочинения этого удивительного художника не заслуживают такого внимания, а прежде всего потому что его творчество, как дождь, ветер или звезды давно и прочно присутствует в круге чтения тех, кто любит настоящую поэзию (или говоря шире, вообще литературу). Поэтому многие будут удивлены узнав, что такого внушительного, любовно отредактированного и отлично сделанного собрания, у Алейникова никогда не было. С другой стороны, с запоздалой горечью осознаешь, как же мы преступно небрежны, как скупы на внимание к тем, кто со временем (а скорее, уже и сегодня) составляют славу русской словесности.

Так что по большому счету издатель поступил мудро, хотя бы отчасти компенсировав годы забвения и невнимания к творчеству этого автора. Хорошо и то, что в собрания вошли стихи и проза разных лет, потому что Алейникова надо читать не по кусочкам, не выборочно, а сплошным массивом, непрерывно, потому что его творчество – не электричка выходного дня, состоящая из нескольких цветных вагончиков с праздным людом, а товарный поезд, груженный рудой, углем и золотом большого смысла.

Писать о творчестве Владимира Алейникова сложно, потому что постоянно сбиваешься на дифирамбы. Ведь для большинства современников его творческая и житейская судьба трудна для понимания, практически непостижима. Ведь у Алейникова смолodu было все, чтобы в одночасье стать баловнем судьбы (или хотя бы ее временным любимцем). Ведь это он вместе с Леонидом Губановым был инициатором легендарного поэтического общества 1960-х годов СМОГ, из которого вышли несколько значительных поэтов (кстати, в сети есть прекрасная фотография молодых «смогистов»: Кублановского, Алейникова, Губанова и Пахомова – в ней настолько удачно проступают человеческие характеры, что можно только ахнуть: посмотрите, не пожалеете!)

Так что Алейников дебютировал мощно и выразительно еще в те далекие годы, обратив на себя внимание маститых советских литераторов, которые вряд ли отказали бы ему в помощи, если бы он этого захотел. А учитывая учебу в МГУ, поэт имел все необходимое для того, чтобы зацепиться за столицу и пополнить бесчестное число «профессиональных» поэтов с относительно благополучной судьбой. Но Алейников со своим звериным чутьем на все ложное и преходящее, решительно отказался от кренделей столичного виршоплетства ради горького и скудного хлеба настоящего творчества.

Наверное, легче назвать то, чем он ни занимался, чем то, кем ему довелось быть: редактором и дворником, переводчиком и сторожем, работать в школе и в экспедициях, перечень этих профессий бесконечен. Он попеременно жил в разных городах: то родном Кривом Роге, то в Москве, семь долгих лет и вовсе странствовал по стране, не имея где преклонить голову. И в этом не было ни позы, ни пафоса: поэт сознательно выстраивал свою судьбу, упорно отказываясь от мирских соблазнов. В этой связи Алейникова часто сравнивают с американскими «битниками», которые тоже искали себя в самых неожиданных местах. Хотя я бы предпочел иную метафору: Алейников не битник, он скорее волжский бурлак, только баржу своего дара он предпочитает тянуть в одиночку, чтобы только не дать превратить его в прогулочную яхту или легкомысленный катерок.

Но самое главное, что все эти годы, невзирая на полное отсутствие быта, денег и перспектив, поэт настойчиво и упорно работал, веря в свое призвание. Это был настоящий боксерский поединок не на жизнь, а на смерть, почти как у Мартина Идена: жизнь била Алейникова зло и жестоко (и это не метафора, в одном из своих интервью он говорил, что перенес семь сотрясений мозга), но на все удары он отвечал мудрым и проникновенным словом (не напоминает ли вам все это хорошо известный сюжет?).

Вот как он говорит об этом в одном из стихотворений:

*Вросши в почву и вырвавшись к небу.
Средь разрухи, спалившей нутро,
Никому я не пел на потребу –
Хлеб чужбинный ли, бес ли в ребро.
Никогда не телял я дыханья,
Даже в гибельной яви былой, –
Поруганье?– о, нет! – полыханье
Веры, выжившей там, под золой.*

Удивительно, но все эти годы – а ведь в 90-е годы казалось, что корабль русской литературы прочно сел на мель – Алейников не только оставался верен своему слову, он творил так, словно зная, что начавшаяся метель, если не исчезнет бесследно, то явно не помешает тому, у кого припасен заячий тулупчик, согревающий дух. Он двигался вперед и дальше своей дорогой, не изменяя традиции, брезгая новомодными поэтическими тенденциями и отмечая прожитые годы новыми стихами и прозой. Так что Алейников в некотором роде столбовой «творянин» (от слова «творить»). И это тоже не литературная метафора – поэт был одним из немногих, двигавшихся по столбовой дороге русской литературной традиции с присущей ей философской глубиной, лаконичностью и неизменной строгостью формы. При этом, как хорошо видно из восьмитомника, в котором первые три книги представлены поэзией, его литературная манера со временем хоть и становилась все более стилистически выверенной и даже изысканной, однако нервы и жилы, из которых она сплетена, оставались прежними. Поэт, как рыбак, осознавший свою силу, менял не сеть, а размеры ее ячеек – с каждым годом он все чаще отказывался от бытовых мелочей, лишних подробностей, предпочитая зачерпывать своим неводом живые образы, трепещущие серебром и подлинной глубиной.

Проза Алейникова, о которой мне уже довелось писать ранее, трудноотделима от его стихов. И это не удивительно, ведь она вытекает из того же сосуда, в котором настаиваются стихи, хотя ее строй, богатство аллитераций, внутренний ритм, мелодичность и психологическая точность, порой уводят от первоисточника так далеко, что в ней можно обнаружить и ироничный гоголевский прищур, и соллогубовский речитатив, и стук каблуков Стивена Дедала, и шорох катаевских волн. Вот взятое наугад из новеллы «Сентябрь»:

«Осень себе самой не устаёт служить. Над городской стеной, в башне воздуха плотной, гнёзда ласточек – ниже, чем пригретые солнцем окна передвижные. С запада глянёт слепо нынешняя молва – и музыкальный ящик с кручеными панычами не установят вам. Может быть, мне придётся из этикеток, марок, винных наклеек, спичек выстроить город новый – с лодками из фольги, листьями в жёлтой пене, свечками в целлофане, пригоршнями сердоликов, шахматною резьбой».

Феномен Алейникова еще и том, что поэт и читатель в его творчестве как бы поменялись местами. Пока читатель, словно Одиссей, увлеченный сладкоголосыми сиренами модных течений, метался от Сциллы к Харибде, внимал пробудившимся циклопам, ошибочно принимая их одноглазость за новую точку зрения, поэт, как Лаэрт – отец Одиссея, оставался на давно открытом материке, продолжая возделывать его сухую и каменистую почву, превращая ее в цветущий сад. Так что это читатель возвращается из дальних странствий на материк, на котором поэт берег и лелеял великое чудо жизни и творчества.



МАТЕМАТИКА И ТОМАС МАНН. ТРИ ЭССЕ.

ЗОЛОТОЙ ПОРТСИГАР, ИЛИ

«О ЦЕННОСТИ МАТЕМАТИКИ И ЕЕ ЯКОБЫ НЕНУЖНОСТИ»

Томас Манн и Прингсхаймы как прототипы героев романа «Королевское высочество»

«АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ДОЧЬ»

В главных героях романа Томаса Манна «Королевское высочество»¹ – принце Клаусе-Генрихе и студентке Имме Шпёльман, изучающей математику, – легко угадываются сам Томас и Катя Прингсхайм. Да и ее отец – профессор математики Мюнхенского университета – неявно присутствует на многих страницах романа. История знакомства и женитьбы наследника престола небольшой страны с миллионом жителей и дочери заокеанского миллиардера написана с легкой иронией, которой Манн в литературной мастерской считал одним из важнейших инструментов.

Хороший пример иронии с математическим подтекстом дает следующий эпизод из романа: во время знакомства с принцем Имма рассказывает, что прибыла из Америки на пароходе-гиганте с концертными залами и спортивными площадками.

«У него было пять этажей, сказала фрейлейн Шпёльман.

– Считая снизу? – спросил Клаус-Генрих.

– Разумеется. Сверху их было бы шесть, – ответила она, не задумываясь» (II, 229)

Принц был сбит с толку и долго не мог понять, что над ним смеются. То, что предметом иронии здесь стали математические рассуждения, не случайно. Имма Шпёльман изучает в университете математику, что автор неоднократно подчеркивает, ибо это важная характеристика героини романа. Уже при первом упоминании о дочери «великого Шпёльмана» фрейлина фон Изеншниббе сообщает сестре принца Дитлинде: «Как я слышала, она очень образованная, занимается не хуже мужчины, изучает алгебру и такие трудные предметы...» (II, 151). В последовавшем разговоре Дитлинда называет Имму «алгебраической дочерью» (II, 152). Даже дежурный офицер кордегардии лейтенант фон Штурмхан знает, что Имма идет по королевскому двору «с алгеброй под мышкой» (II, 197).

Имма – студентка университета, и это многое говорит об исключительности ее судьбы. Она «присутствовала в университете на лекциях по теоретической математике тайного советника Клиггхаммера, сидела вместе с прочими студентами на деревянной скамье и прилежно писала своим вечным пером, ибо известно, что она девушка образованная и занимается алгеброй» (II, 186).

¹ Манн Томас. Королевское высочество. В книге: Манн Томас. Собрание сочинений в десяти томах. Том второй. Государственное издательство художественной литературы, М. 1959. В дальнейшем ссылки на это собрание сочинений будут даваться в круглых скобках с указанием тома и, через запятую, номера страницы.

Эта информация столь важна для автора, что почти дословно повторяется в другом месте романа: Имма «с начала второго учебного полугодия регулярно присутствовала в университете на лекциях тайного советника Клингхаммера – ежедневно сидела в аудитории вместе со студенческой молодежью, одетая в простое черное платье с белыми манжетами и отложным воротником и, согнув крючком указательный палец, – это была ее манера держать ручку, – записывала лекцию вечным пером» (II, 197).

До начала двадцатого века в Германии девушек в студентки не принимали, даже вольнослушательницы были большой редкостью. Земля Баден первой среди немецких земель разрешила представительницам «слабого пола» учиться в университетах на правах студенток – соответствующий указ был подписан 28 февраля 1900 года. В Баварии аналогичное решение было принято через два с половиной года – 21 сентября 1903 года¹.

Прототип Иммы Шпёльман – профессорская дочка Катя Прингсхайм – подала в ректорат мюнхенского королевского университета имени Людвига-Максимилиана прошение о допуске ее к занятиям в качестве слушательницы. Бумага отправлена 31 октября 1901 года, когда речи о полноценном студенчестве для девушки и быть не могло. Только после сентября 1903 года, когда Катя уже отучилась четыре семестра, она и еще 31 девушка на весь университет получили студенческие удостоверения.

Но и вольнослушательницей стать было непросто. Для этого, как минимум, нужно было получить свидетельство об окончании гимназии, сдав выпускные экзамены. Сейчас такие экзамены называют «абитур», а успешно их выдержавших – «абитуриентами»². В то время в ходу был термин «абсолюториум» (Absolutorium). Женских гимназий тогда не существовало, тем более не было и смешанных школ, как сейчас. Девушка, желавшая получить высшее образование, должна была сдавать выпускные экзамены за весь курс гимназии экстерном. Такой барьер могла преодолеть далеко не каждая. В области школьного образования равноправие юношей и девушек было достигнуто только в Веймарской республике в 1927 году (Jüngling, 348).

Катя Прингсхайм готовилась к выпускным экзаменам с домашними учителями. Вначале это был студент, помогавший старшим братьям выполнять школьные задания, потом с девочкой занимались преподаватели гимназии. Уже в зрелом возрасте Катя вспоминала, что каждый преподаватель «*приходил на два часа в неделю; один занимался со мной древними языками, другой – математикой, третий – немецким и историей...* В последние годы к ним добавился гимназический профессор по религии, некий доктор Энгельгардт. С ним я читала Новый Завет по-гречески. Религия же была обязательным предметом в гимназии»³.

Училась Катя легко, все предметы ей давались без большого труда. Позднее она отмечала: «*Если человек один, то он учится много быстрее*» (Katia, 12). Весной 1901 года Катя получила разрешение сдавать экзамены вместе с полусотней выпускников мюнхенской гимназии имени Вильгельма. Среди них был и брат-близнец Кати – Клаус Прингсхайм. Мать Кати и Клауса Хедвиг Прингсхайм сообщила 28 июня 1901 года своему другу публицисту Максимилиану Хардеру: «*У близнецов все в порядке, в понедельник предстоят устные экзамены, которые Клаус надеется избежать*»⁴.

Одноклассник Клауса и в последующем друг семьи Томаса и Кати Манн писатель Лион Фейхтвангер вспоминал тот день, когда неожиданно увидел Катю:

«Она поднималась среди толпы девятнадцатилетних парней по низким, стертым ступеням гимназии Вильгельма в актовом зале, где проходили экзамены абитуриентов. Раньше на такие экзамены девушек не пускали; она была первая, кто прошел суровую предварительную проверку и был допущен к испытаниям. Для нас, юношей, это была неслыханная новость, делиться нашими бедами и страхами с этой странной, необычно привлекательной девушкой» (Jüngling, 44)

¹ Jüngling Kirsten, Roßbeck Brigitte. Die Frau des Zauberers. Katia Mann. Biografie. Propyläen Verlag, München 2003, S. 49. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Jüngling и номера страницы.

² В русском языке слово «абитуриент» обозначает человека, поступающего в ВУЗ, а вовсе не сдающего экзамены на аттестат зрелости. В основе слова Abitur лежит латинское *abiturus* – тот, кто должен уйти. Т. е. «абитур» – это выход из школы, а вовсе не поступление в институт. Но язык развивается по своим законам, не всегда совпадающим с законами житейской логики.

³ Mann Katia. Meine ungeschriebenen Memoiren. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 12. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Katia и номера страницы.

⁴ Pringsheim Hedwig. Meine Manns. Briefe an Maximilian Harden, Aufbau-Verlag, Berlin 2006, S. 305.

Пожалуй, Лион Фейхтвангер немного преувеличил: Катя была не первая, но одна из первых девушек, прошедших абсолюториум. Кроме нее среди выпускников гимназии успешно сдала экзамены экстерном еще одна представительница «слабого пола» – дочь почтмейстера Бабетта Штайнингер (Babette Steiningер)¹. Среди абитуриентов был и молодой человек, который тоже не учился в гимназии. Но причина у него была иной – принцу Генриху фон Виттельсбаху высокое положение не позволяло садиться за парту с простыми гимназистами. Поэтому он тоже сдавал экзамены экстерном.

По шести из семи экзаменационных предметов Катя получила «хорошо» или «очень хорошо»: по латыни, греческому языку, французскому языку, математике и физике, истории и закону Божьему. И только по немецкому языку будущая жена нобелевского лауреата по литературе получила «удовлетворительно». Кстати, Клаус сдал экзамены хуже: он получил три удовлетворительных оценки.

Катя стала слушательницей осенью 1901 года, ее заявление от 31 октября было подписано ректором университета, профессором Брентано уже 2 ноября. В *«Ненаписанных воспоминаниях»*, которые мы уже цитировали, она говорит:

«Я пошла в университет и слушала там, прежде всего, лекции по естествознанию. У Рентгена – экспериментальную физику и у моего отца – математику: исчисление бесконечно малых, интегральное и дифференциальное исчисление и теорию функций» (Kатia, 13)

По-видимому, память изменила Кате, потому что согласно документам, сохранившимся в университетском архиве, в зимнем семестре 1901/02 годов лекции профессора Прингсхайма она не слушала. Вместо них она выбрала курс русского языка для начинающих, который читал известный византолог профессор Крумбахер.

Преподаватели у Кати были первоклассные. Профессор Рентген находился тогда в зените славы – как раз осенью 1901 года он получил самую первую Нобелевскую премию по физике, всего год назад учрежденной по завещанию Альфреда Нобеля. Курс истории искусств, который Катя тоже слушала в первом семестре, читал приват-доцент доктор Везе (Jüngling, 47).

В следующих семестрах она тоже выбирала курсы не только по естествознанию и математике. Например, в летнем семестре 1902 года она посетила лекции профессора Липса по истории философии. В следующем семестре – курс «Спорные вопросы современной эстетики» профессора Фуртвенгера.

В университете Катя проучилась семь семестров вплоть до 1905 года, когда она, после долгих колебаний, приняла все же предложение Томаса Манна стать его женой.

«ПРОВАЛИВАЙ ОТСЮДА, ТЫ, ФУРИЯ!»

Катя не считала Имму Шпёльман точной своей копией, она говорила, что *«старый Шпёльман куда больше похож на портрет моего отца, чем Имма на меня»* (Kатia, 73). Тем не менее, у Кати и Иммы есть множество совпадающих черт характера и особенностей поведения. Например, описание первой встречи Иммы с Клаусом-Генрихом точно соответствует знаменитому эпизоду в трамвае, когда молодой Томас Манн впервые серьезно заинтересовался необычной девушкой. Катя так рассказывала о случившемся:

«Я всегда утром и вечером ездила в университет, если не на велосипеде, то на трамвае, и Томас Манн часто ездил тем же маршрутом. На определенной остановке, угол Шеллингштрассе и Тюркеништрассе, я должна была сойти и дальше идти пешком с портфелем под мышкой. Когда я собиралась выйти, ко мне подошел контролер и сказал:

– Ваш билет!

Я в ответ:

– Я как раз выхожу.

– Мне нужен ваш билет!

Я говорю:

¹ *Jens Inge und Walter. Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006, S. 40.* В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Jens и номера страницы.

– Я же вам сказала, что выхожу, а билет только что выбросила, так как я здесь выхожу.
– Предъявите билет, ваш билет, я сказал!
– Оставьте меня, наконец, в покое! – сказала я и возмущенная прыгнула на ходу с трамвая.
Тогда он крикнул мне вдогонку:
– Проваливай отсюда, ты, фурия!

Эта сцена привела моего мужа в такой восторг, что он решил немедленно со мной познакомиться, тем более что давно мечтал об этом» (Katia, 24)

Когда мог произойти этот эпизод? Ни Томас, ни Катя не приводят точных дат их первых встреч. В одном из интервью Катя упоминала, что была в тот день в зимнем пальто¹. В письме Томаса Манна Хильде Дистель, подруге его сестры Юлии (Лулы), написанном осенью 1904 года, автор признается:

«Вы еще не знаете, кто „она“? Ну, пожалуйста: Катя Прингсхайм, дочка здешнего университетского профессора, доктора Прингсхайма, чудесное создание. Дело тянется долго, оно началось в конце прошлой зимы и подходит к завершению, которое станет венцом моей жизни и без которого все, чего я так или иначе достиг, для меня потеряло бы всякую ценность»².

Упомянутый здесь «конец прошлой зимы» позволяет отнести случай в трамвае на январь или февраль 1904 года. Анализируя знаменитое письмо Томаса брату Генриху от 27 февраля 1904 года³, можно эту дату уточнить.

В письме Томас сообщает, что его посетил брат-близнец Кати – Клаус, музыкант – «это было 6 дней назад». Он «передал мне карточку отца, который, к сожалению, слишком занят, чтобы посетить меня самому» (Manns, 73). Возможно, Томас посчитал объяснение будущего тестя отговоркой, но мы знаем, что через несколько дней академик Баварской академии наук, профессор Прингсхайм, действительно, должен был делать важный доклад на торжественном заседании, посвященном 145-летию академии. Об этом докладе мы еще поговорим.

Итак, визит Клауса состоялся 20 или 21 февраля. Это был ответный визит вежливости, так как Томас участвовал в «большом домашнем бале» на улице Арси, 12. Именно тогда он официально познакомился с Катей и был просто очарован юной студенткой: «чудо, нечто неописуемо редкое и драгоценное, существо, которое самим фактом своего бытия может заменить культурную деятельность 15 писателей и 30 живописцев» (Manns, 73).

Через неделю он был там еще раз, «чтобы вернуть матери книгу, которую та дала мне прочесть». Мать воспользовалась оказией, «позвала вниз Катю, и мы целый час болтали втроем» (Manns, 73). А два дня спустя Клаус навестил писателя в его квартире. Таким образом, Томас «вернул книгу» 18 или 19 февраля, а «большой домашний бал» отгремел в доме Прингсхаймов 11 или 12 февраля.

Нужно помнить, что первая половина февраля – это карнавальное время, когда подобные торжества устраиваются повсеместно. А за день до бала Томас, как тогда было принято, посетил Прингсхаймов, чтобы представиться. Тогда он впервые «оказался в итальянском салоне эпохи Возрождения с гобеленами, ленахами, дверными косяками из giallo antico и получил приглашение на большой домашний бал». Эти дверные косяки, облицованные giallo antico, или нумедийским мрамором, произвели на писателя особенно сильное впечатление и еще не раз встретятся в его произведениях. Во время первого визита он увидел Катю и «мельком поздоровался с ней». Это случилось 10 или 11 февраля.

Таким образом, сцена в трамвае, подтолкнувшая Томаса Манна искать руки Кати, произошла в конце января или в самом начале февраля.

В романе «Королевское высочество» похожий эпизод играет важную роль. Имма Шпёльман, как и Катя, спешила в университет «с зажатым под мышкой курсом лекций» (II, 197). События далее развивались так:

¹ Mendelssohn Peter de. Der Zauberer. Das Leben des Schriftstellers Thomas Mann. S. Fischer, Frankfurt am Main 1975, S. 893. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Mendelssohn и номера страницы.

² Mann Thomas. Briefe 1889-1936. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1961, S. 58. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Briefe 1889-1936» и номера страницы.

³ Mann Г., Mann Т. Эпоха; Жизнь; Творчество. Прогресс, М. 1988, стр. 71-75. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Manns и номера страницы.

«Она вознамерилась пройти мимо замка через двойную шеренгу солдат. Хриплый унтер-офицер выскочил навстречу.

– Прохода нет! – рывкнул он, загородив ей путь ружейным прикладом. – Нет прохода! Назад! Обождите! Но тут вспыхнула мисс Шпёльман.

– Это что такое! – крикнула она. – Я спешу! – Слова были ничто по сравнению с тем искренним, страстным и сокрушительным негодованием, которое прозвучало в ее выкрике. А сама какая маленькая и необыкновенная! Белокурые солдаты перед ней были на две головы выше ее. В эту минуту личико ее стало белым, как воск, а черные брови тяжелой и внушительной складкой гнева сошлись над переносицей, ноздри неопределенной формы носика раздулись во всю ширь, а глаза, ставшие огромными и совсем черными от волнения, смотрели так красноречиво, так неотразимо убедительно, что никто не посмел бы перечить ей.

– Это что такое! Я спешу! – крикнула она. Левой рукой она отстранила приклад вместе с огорошенным унтер-офицером и, пройдя через самую середину шеренги, пошла своей дорогой, свернула влево на Университетскую улицу и скрылась из виду» (II, 198)

В университете Имма училась так же легко, как и Катя. Когда принц завел разговор о занятиях: «Я слышал, вы изучаете математику? Вы не устаете? Ведь это ужасно утомительно для головы?», Имма ответила: «Ничуть» и продолжила: «Самое очаровательное занятие на свете. Можно сказать, паришь в воздухе или даже в безвоздушном пространстве. Никакой пыли там нет. II веет свежестью...» (II, 223-224).

Приведенные слова не только характеризуют способности Иммы, но и несут не лишнюю иронию оценку математики как игры, не имеющей большого значения для реального мира. Здесь чувствуется влияние на Томаса Манна взглядов знаменитого философа Шопенгауэра, в ряде своих работ весьма неуважительно отзывавшегося о математике. Широко известен его афоризм: «В математике ум исключительно занят собственными формами познания – временем и пространством, следовательно, подобен кошке, играющей собственным хвостом»¹.

Томас Манн высоко ценил философа, считал его, наряду с Ницше, своим духовным учителем. В этой оценке писатель радикально расходился с отцом Кати, профессором математики Альфредом Прингсхаймом, который не мог простить Шопенгауэру насмешек над своей любимой наукой. На этой почве между зятем и тестем нередко возникали ссоры, которые Томас тяжело переживал. Катя вспоминала:

«Мой отец критически относился к Шопенгауэру, так как последний не раз пренебрежительно отзывался о математике. Как член Баварской академии наук он прочитал на одном из заседаний доклад «Шопенгауэр и математика», и убедительно показал, что Шопенгауэр, собственно, ничего не понимал в математике и его высказывания ложны. Мой муж, однако, ничего не знал об этом докладе, и я ему тоже никогда об этом не рассказывала. Мой отец сделал доклад еще до того, как мы познакомились» (Katia, 28)

В этом, в целом верном, замечании Кати есть две небольшие неточности. Во-первых, доклад назывался «О ценности математики и ее якобы ненужности», хотя по сути Катя права: он почти целиком был посвящен отношению Шопенгауэра к математике. Во-вторых, доклад состоялся 14 марта 1904 года, примерно через месяц после официального знакомства Томаса и Кати, а не «до того, как мы познакомились». Однако и эту маленькую неточность можно простить, так как по-настоящему интенсивный обмен письмами между будущими супругами развернулся в начале апреля. О самом докладе баварского академика у нас речь еще впереди.

Присутствие Альфреда Прингсхайма можно ощутить на многих страницах романа. Несомненно, что под впечатлением от его математических трудов родилось блестящее описание внешнего вида математической рукописи, одно из лучших в мировой литературе. Принц приглашает Имму на прогулку и берет в руки ее тетрадь:

« – Нет, нет, фрейлейн Имма, – запротестовал он. – На сегодня оставьте вашу алгебру или парение в безвоздушном пространстве, как вы это называете. Посмотрите, как светит солнце... Разрешите? – Он подошел к столу и взял в руки тетрадь. От того, что он увидел, голова могла пойти кругом. По-детски неровно, жирно, от своеобразной манеры Иммы держать перо, все страницы сплошь были испещрены головомкружительной абракадаброй, колдовским хороводам переплетенных между собой рунических письмен. Греческие буквы перемежались латинскими и цифрами на различной высоте, среди них были вкраплены крестики и черточки, и все это

¹ Шопенгауэр Артур. Введение в философию. Новые парадиомены. Об интересном. Изд. «Попурри», М. 2001.

было вписано над или под горизонтальной линией, наподобие дроби, перекрывается стрелками и домиками из других линий, приравнено друг к другу двойными итришками, круглыми скобками соединено в целые громады формул. Отдельные буквы, выдвинутые, точно часовые, были проставлены справа выше замкнутых в скобки групп. Каббалистические знаки, непостижимые для профана, обхватывали своими щупальцами буквы и цифры, им предшествовали числовые дроби, и цифры и буквы витали у них в головах и в ногах. Повсюду были рассеяны непонятные слоги, сокращения загадочных слов, а между столбцами магических заклинаний шли целые фразы и заметки на обыкновенном языке, однако их смысл тоже был настолько выше нормальных человеческих понятий, что уразуметь их было не легче, чем волшебные наговоры» (II, 238-239)

В рабочих материалах к роману, собранных в томе комментариев к «Королевскому высочеству», есть две странички из математических рукописей Альфреда Прингсхайма. На одной из них приведено определение непрерывности функции, на другой – вычисление двух определенных интегралов. Впечатление, которое произвели на писателя математические выкладки его будущего тестя, видно из приписанных рукою Томаса Манна слов на полях рукописей: «магия, спиритизм, формулы, фокус-покус, каббалистические знаки, руны». Эти слова вошли в процитированный фрагмент романа.

Как курьез можно отметить тот факт, что составители комментариев к «Королевскому высочеству» сами не очень разобрались в содержании рукописей Альфреда Прингсхайма и перепутали подписи к ним¹.

Пора сказать несколько слов о самом Альфреде Прингсхайме, послужившем прототипом богача Самуэля Шпёльмана.

«ЗОЛОТОЙ ПОРТСИГАР»

У американского миллиардера и мюнхенского профессора математики много общих черт, они и внешне похожи, достаточно взглянуть на один из многочисленных портретов пожилого Альфреда Прингсхайма и сравнить с описанием внешности отца Иммы: «Со лба шла большая лысина, но на затылке и на висках росло еще много седых волос, которые господин Шпёльман носил не по-нашему, не короткими и не длинными, а пышно зачесанными вверх; только сзади они были подстрижены и выбриты вокруг шеи» (II, 225).

Как мы уже знаем, Томас Манн впервые появился во дворце Прингсхаймов на улице Арси, 12 в феврале 1904 года. Увиденное произвело на писателя сильнейшее впечатление. В письме брату Генриху от 27 февраля 1904 года Томас признавался: «Прингсхаймы – впечатление, которым я переполнен. Тиргартен с высокой культурой. Отец – университетский профессор с золотым портсигаром...»²

Этот символ немислимого для молодого литератора богатства произвел настолько сильное впечатление, что в романе «Королевское высочество» золотой портсигар старшего Шпёльмана упоминается дважды, сначала во время первого знакомства миллиардера со своим будущим зятем: «Шпёльман вынул из золотого портсигара плоскую сигарету, и, когда закурил, от нее пошел тонкий аромат. – Угодно курить? – только после этого спросил он» (II, 228). Потом предложение сигареты вошло в привычку, и когда американец приходил к чаю, «он неизменно говорил: – А, молодой принц? – и <...> под конец протягивал гостю золотой портсигар» (II, 264).

О происхождении богатства Самуэля Шпёльмана в романе говорит фрейлина фон Изеншнйббе: «Он только унаследовал богатство отца и, говорят, к делам никогда особой любви не питал. Все нажил его отец – в общих чертах я обо всем могу рассказать, я сама читала. Его отец <...> приобрел небольшое состояние – можно даже сказать, довольно большое – и пустил его в оборот, занялся нефтью, сталью, железнодорожным строительством, а потом всем, чем угодно, и все богател и богател. А когда он умер, дело уже было на полном ходу, и его сыну Самуэлю <...> оставалось только класть в карман огромные дивиденды и все богатеть и богатеть, и теперь у него столько денег, что и выговорить страшно. Вот как все было» (II, 151).

Альфред Прингсхайм тоже унаследовал огромное состояние отца – Рудольфа Прингсхайма – и считался одним из богатейших людей Баварии. В ежегоднике «Имущество и доход миллионеров в Баварии» за 1914 год «тайный придворный советник, профессор, доктор Прингсхайм, сын берлинского рантье»

¹ Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher. Band 4.2. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2004, S. 465-466. Про лист 55а, на котором приведено определение непрерывности функции, сказано, что там идет речь «о двух элементарных интегралах, которые затем суммируются». А о листе 55б, где суммируются указанные интегралы, говорится, что он посвящен «определению непрерывности».

² Mann Г., Mann Т. Эпоха; Жизнь; Творчество. Прогресс, М. 1988, стр. 73.

стоял на двадцать втором месте. Его имущество оценивалось в 13 миллионов рейхсмарок, а годовой доход составлял 800 тысяч рейхсмарок. Для сравнения: средний доход рабочего составлял в то время 1163 рейхсмарки в год (Jüngling, 29). Оклад университетского профессора был раз в пять-шесть выше, но и он оказывался менее одного процента от дохода наследника *«берлинского рантье»*.

Первое упоминание о предках современных Прингсхаймов относится к 1753 году, когда Менахем бен Хаим Прингсхайм, известный также как Мендель Йохем (1730-1794), поселился в городе Бернштадт (ныне польский город Берутов – Bierutów – в Нижнесилезском воеводстве). Его старший брат Майер Йохем (1725-1801) жил неподалеку, в расположенном на расстоянии четырнадцати километров городе Эльс (Oels), ныне Олесница.

Начиная с девятнадцатого века еврейская фамилия Прингсхайм становится известной в разных частях Германии. Ее носили крупные промышленники, предприниматели, ученые, преподаватели, банкиры... Генеалогическое дерево Прингсхаймов, составленное Михаэлем Энгелем, охватывает десять поколений и включает почти четыре сотни представителей этой фамилии¹.

Все они – потомки Менделя Йохема Прингсхайма, у которого было девять детей, в то время как брак его старшего брата Майера оказался бездетным. Сыновья Менделя Йохема, дожившие до взрослого возраста, пошли по стопам отца и дяди – либо держали шинки и пивоварни, либо занимались мелкой торговлей, ибо другие занятия для бесправных евреев того времени были запрещены. По мере развития еврейской эмансипации, т. е. приобретения евреями гражданских прав, наиболее удачливые становились богатыми и открывали свои предприятия, а их внуки и правнуки поднимались в верхние слои немецкого общества. Процесс эмансипации занял в общей сложности около ста лет и растянулся на четыре поколения. Юридически равные права евреев с немцами были закреплены в конституции объединенной Германии в 1871 году.

Рудольф принадлежал к четвертому поколению Прингсхаймов, он был правнуком Менделя Йохема, внуком его второго сына – Моисея. Рудольф родился в том же городке Эльс, в котором поселился старший брат его прадеда Майер Йохем Прингсхайм, но затем семья Рудольфа переехала в городок Олау (Oblau, ныне польский город Олава в Нижнесилезском воеводстве), где торговля, чем занимался отец семейства, должна была идти успешнее. Свой трудовой путь будущий миллионер начал с должности экспедитора, сопровождавшего телеги с железной рудой или каменным углем от шахт и рудников до ближайшей железнодорожной станции. Сеть узкоколеек тогда была еще недостаточно развита, поэтому приходилось пользоваться и гужевым транспортом. К сорока годам Рудольф стал управляющим железнодорожной компании, осуществлявшей все перевозки грузов в Верхней Силезии.

Вне всякого сомнения, Рудольф Прингсхайм был человеком не только осмотрительным и осторожным, но и весьма дальновидным. Свои деньги он вкладывал сначала в построение сети рельсовых дорог в Верхней Силезии и только потом в модернизацию транспортных средств. Когда Пруссия в 1884 году национализировала верхнесилезскую сеть узкоколейных дорог, хозяин процветающего предприятия получил солидную денежную компенсацию. Часть денег он вложил в основанное им акционерное общество «Феррум», дававшее большую прибыль. Кроме того, с Прингсхаймом был заключен договор на двадцать лет, по которому он мог оставаться управляющим предприятия вплоть до 1904 года. Женитьба на Пауле Дойчман (1827-1909) только увеличила богатство семьи: супруга Рудольфа была дочерью устроителя прусских королевских лотерей.

Эти факты из жизни отца Альфреда Прингсхайма Томас Манн использовал для характеристики отца Самуэля Шпёльмана, который тоже благодаря удачной женитьбе *«удвоил нажитой капитал и пустил его в оборот»* (II, 184). Он, как и Рудольф Прингсхайм, *«строил сталелитейные заводы, учреждал акционерные общества, которые занимались массовым превращением железа в сталь и строительством железнодорожных мостов. Он был держателем большей части акций четырех или пяти солидных железнодорожных компаний и в пожилом возрасте сделался президентом, вице-президентом, уполномоченным или директором этих обществ. <...> Он оставил после себя капитал, который при переводе на нашу валюту составляет миллиард»* (II, 184).

Не пытаясь охватить всех представителей фамилии Прингсхайм, упомянем только двоих, имевших отношение к науке. Натан Прингсхайм (1823-1894), тоже правнук Менделя Йохема, внук

¹ Данные о генеалогии семьи Прингсхайм взяты из работы Engel Michael. Die Pringsheims. Zur Geschichte einer schlesischen Familie (18.–20. Jahrhundert). In: Kant Horst, Vogt Annette (Hrsg.): Aus Wissenschaftsgeschichte und -theorie. Hubert Laitko zum 70. Geburtstag. Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte, Berlin 2005, S. 189-219.

его седьмого сына Йозефа, стал известным ботаником, профессором Берлинского университета, членом Прусской академии наук.

Племянник Натана – Эрнст Прингсхайм (1859-1917) – сын его брата, банкира и предпринимателя Зигмунда, – стал профессором теоретической физики университета в родном Бреслау. Мировую известность Эрнсту принес опыт Люммера-Прингсхайма (в русской литературе используется и написание Люммера-Прингсгейма), послуживший одним из толчков к созданию современной квантовой физики.

«О ЦЕННОСТИ МАТЕМАТИКИ И ЕЕ ЯКОБЫ НЕНУЖНОСТИ»

Альфред Прингсхайм с детства любил и музыку, и математику, долгое время не мог выбрать между ними свою будущую профессию. Позднее к этим увлечениям добавилось собирание произведений искусства, и он стал владельцем богатейших коллекций картин, золотых и серебряных украшений, итальянской майолики. Три страсти – математика, музыка и художественное коллекционирование – жили в нем постоянно.

Про Самуэля Шпёльмана Томас Манн тоже пишет, что его «*подлинной страстью всегда была музыка*» (II, 185) и он «*предпочел бы всю жизнь только играть на органе и коллекционировать стекло*» (II, 260). Коллекция господина Шпёльмана представляла собой «*явно самое полное собрание в старом и новом свете*» (II, 232), точно так же, как собрание итальянской майолики Альфреда Прингсхайма.

Выбор между математикой и музыкой Альфред сделал в молодости, как он шутил, в пользу первой и к счастью для второй. Математика оказалась главным делом его жизни. На небосклоне науки он не стал звездой первой величины, но был, без сомнения, интересным ученым и блестящим педагогом. Его достижения высоко оценивали современники.

Почти сразу после основания осенью 1890 года Немецкого математического общества¹ Альфред Прингсхайм был избран его членом, а в 1906 году – председателем. Среди тех, кто занимал этот пост до Прингсхайма, были великие Георг Кантор (в течение четырех лет с 1890 до 1893 гг.), Феликс Клейн (в 1897 и 1903 гг.), Давид Гильберт (в 1900 г.).

Известный математик Оскар Перрон, слушавший лекции Альфреда в мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана и занявший там кафедру своего учителя после ухода того на пенсию (в 1922 году), написал в воспоминаниях о Прингсхайме, что он принадлежал к числу выдающихся и, если исключить годы нацистской диктатуры, наиболее результативных ученых своего времени².

Альфред Прингсхайм учился в Гейдельбергском университете и защитил в 1872 году под руководством профессора Кёнигсбергера первую докторскую диссертацию. Через пять лет в Мюнхене он получил вторую докторскую степень и должность приват-доцента. В мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана Альфред проработал до своего ухода на пенсию в солидном возрасте семьдесят два года. Но и после этого он продолжал активно заниматься математикой.

Преподавательская карьера Прингсхайма развивалась успешно, хотя и не очень быстро. Внештатным (экстраординарным) профессором он стал в 1886 году, а заветную должность ординарного профессора и кафедру математики в университете он получил, когда ему было уже за пятьдесят – в 1901 году. Правда, за несколько лет до этого его высокую квалификацию подтвердили выборы в Баварскую академию наук, членом-корреспондентом которой он стал в 1894 году. Через четыре года Прингсхайм был избран действительным членом. В «*Докладах Баварской академии наук*» были опубликованы основные результаты его математических исследований в период с 1895 года вплоть до начала нацистской диктатуры, когда его вычеркнули из членов академии. Печатались он и в других ведущих немецких научных журналах. В 1934 году список его математических статей насчитывал 106 работ.

Причину того, что звания ординарного профессора Прингсхайму пришлось ждать так долго, многие историки видят в антисемитизме руководителей министерства и университета. Альфред не подчеркивал, но и не скрывал, что он еврей. К религии он был равнодушен, но связей с еврейской общиной не прерывал. В официальных документах он в графу о религии либо записывал «вне религии», либо писал «иудейская». Впрочем, для богатой (в прямом и переносном смысле) натуры мелкие служебные неприятности не очень омрачали жизнь.

¹ Deutsche Mathematiker-Vereinigung – дословно «Немецкое общество математиков».

² Perron Oskar. Alfred Pringsheim. Jahresbericht der Deutsche Mathematiker-Vereinigung, 56 (1952/53), S. 1-6.

Тем более что его профессиональные достижения не оставались незамеченными коллегами. Уже в 1884 году, за десять лет до избрания членом-корреспондентом Баварской академии наук, Прингсхайм стал членом очень уважаемой в научном мире академии естествоиспытателей Леопольдина, старейшего научного общества Центральной Европы, основанного императором Леопольдом I в 1687 году в качестве «Академии Священной Римской империи для наблюдения природы». За этим избранием последовали и другие: своим членом избрали Прингсхайма академии в Гёттингене и шведском Лунде.

Со стороны государства заслуги Прингсхайма были отмечены несколькими высокими баварскими орденами, например, Святого Михаила за заслуги третьего и четвертого класса. В 1912 году его назначили тайным придворным советником. В то время было два вида придворных советников: те, кто покупал высокий титул за деньги, и те, кого назначали за заслуги бесплатно. Прингсхайм принадлежал ко второй группе.

В краткой автобиографии, написанной в 1915 году, Прингсхайм подчеркивает свою приверженность стилю знаменитого берлинского математика Карла Вейерштрасса:

«Хотя я никогда не был учеником Вейерштрасса, я считаюсь одним из наиболее последовательных и (sit venia verbo¹) наиболее успешных исследователей именно вейерштрассовской „элементарной“ теории функций» (Mendelssohn, 828)

Более всего Прингсхайма интересовали вопросы сходимости или расходимости последовательностей, рядов, цепных дробей и произведений. Он был признанный мастер создания, уточнения и обобщения критериев сходимости различных процессов.

Для Прингсхайма было принципиально важно добиться как можно более простого и элегантного доказательства теоремы при высочайших требованиях к строгости всех выводов. Этот стиль сейчас связывают с именем ученика Прингсхайма – Эдмунда Ландау, ставшего в 1909 года профессором гёттингенского университета. В то время немногие математики заботились об обоснованности всех деталей доказательства. После работ Прингсхайма и Ландау положение изменилось, и в этом немалая заслуга их обоих.

И Прингсхайм, и Ландау не знали снисхождения к логическим пробелам в любой математической работе, кто бы ни был ее автором. «Работа над ошибками» велась, как правило, публично, немудрено, что у обоих математиков было немало обиженных недоброжелателей. В то же время, критика несовершенных работ оказывалась необыкновенно полезной для студентов и начинающих ученых.

Альфред Прингсхайм был прекрасным педагогом. Он не жалел ни сил, ни времени, чтобы сделать результат понятным даже для тех, кто только начинал знакомиться с проблемой. Почти десять лет ученый занимался тем, чтобы упростить и обобщить знаменитую работу Адамара о трансцендентных функциях, опубликованную в 1892 году. Зато в изложении Прингсхайма этот раздел стал образцом математической элегантности и простоты.

Оскар Перрон вспоминал, что лекции профессора Прингсхайма слушали с напряженным вниманием от первой до последней минуты, а лектор разнообразными шутками и анекдотами не давал студентам заскучать. Кстати, мало кто из нынешних школьников и студентов знает, что обозначение «ln» для натурального логарифма придумал Прингсхайм.

Остроумие Альфреда и его склонность к шуткам, каламбурам, смешным историям были хорошо известны коллегам. Ему не раз поручали вести торжественные собрания и выступать с приветственными речами на собраниях Немецкого математического общества. Не случайно его прозвали «веселый математик».

Речь, посвященную юбилею знаменитого создателя теории множеств Георга Кантора (1845-1918), воспитавшего немало известных математиков, Прингсхайм начал такими словами: *«Уважаемый юбиляр! Мы благодарны вам не только за учение о множествах, нет, но также и за множество ученых.»²*

¹ да позволено мне будет так сказать (лат.).

² По-немецки этот каламбур звучит еще ярче: «Mengenlehre» – учение о множествах, «Menge Lehrer» – множество педагогов, наставников, преподавателей. Цитируется по статье *Fritsch Rudolf, Rippl Daniela. Alfred Pringsheim. In: Forschungsbeiträge der Naturwissenschaftlichen Klasse. Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, München 2001, S. 97-128.*

После ухода на пенсию в 1922 году математик посвятил пять лет жизни изданию курса лекций, охватывающего весь анализ и некоторые разделы теории чисел. В этом печатном труде, ставшем настольной книгой для нескольких поколений студентов, немало остроумных разговорных примечаний, за которыми угадывается неповторимый стиль мюнхенского преподавателя, считавшего юмор обязательным инструментом лектора.

С увлечением занимался Прингсхайм историей математики. Со свойственной ему придирчивостью проверял он научные факты и вскрыл не одну ошибку в авторстве той или иной теоремы. Его исследованиям помогала уникальная библиотека старинных математических книг, которую он собрал в своем роскошном доме. В тех проблемах, чья история его интересовала, Прингсхайм всегда доходил до первоисточника. Он перечитывал огромное количество книг и журналов, замечая ошибки в утверждениях, считавшихся безукоризненными. Свои находки он публиковал в серии «Критико-исторических замечаний», которые выходили с 1928 по 1933 год в «*Докладах Баварской академии наук*».

Знание истории математики и отменная эрудиция пригодились Прингсхайму во время работы над отдельными разделами многотомной «*Энциклопедии математической науки*», издававшейся в 1898-1901 годах. Его перу принадлежат там главы о сходимости различных процессов и об основаниях общей теории функций. По признанию Оскара Перрона, тексты Прингсхайма, содержащие богатейшие обзоры первоисточников, стали настоящей находкой для всех, кто работал в этих областях.

В 1904 году отмечалось 145-летие Баварской академии наук. Альфреду Прингсхайму было доверено сделать доклад на торжественном заседании, посвященном этой дате. Профессор и действительный член академии отнесся к этому поручению чрезвычайно серьезно: как вспоминала Катя Прингсхайм, ее отец даже просил руководство университета освободить его от чтения лекций в первом семестре 1903 года, чтобы всецело посвятить себя подготовке к докладу. Несмотря на первоначальный отказ, он смог все же добиться своего (Jüngling, 48). Тема выступления в академии должна была заинтересовать и коллег-математиков, и представителей других наук, использующих математику в своих исследованиях. Доклад назывался «*О ценности математики и ее якобы ненужности*»¹.

Центром доклада, как уже было сказано, стала полемика с Шопенгауэром, критика его взглядов на математику как бесполезную «игру в бисер», не имеющую ценности в реальном мире.

В докладе на торжественном заседании в академии Прингсхайм убедительно доказывает, что Шопенгауэр либо не понимает того, о чем берется судить, либо сознательно искажает источники, на которые ссылается, как было, например, с известным афоризмом Георга Лихтенберга: «*Математика – великоллепная наука, однако математики нигде к черту не годятся*» (Pringsheim, 9). Шопенгауэр отбрасывает первую часть этой фразы, и у его читателей создается впечатление, что Лихтенберг – его единомышленник. В книге Лихтенберга, на которую ссылается философ, афоризмы отделены друг от друга звездочками, так что исказить начало афоризма можно было только сознательно, отмечает докладчик (Pringsheim, 39).

Один из разделов доклада посвящен арифметике. Шопенгауэр отказывает ей в праве считаться наукой, ссылаясь на то, что уже в его время в Англии изобретены машины для арифметических вычислений, которые мы бы сейчас назвали арифмометрами. По его мнению, любой арифметический расчет можно поручить машине, так что человеческий мозг в этом не участвует. В наше время такую позицию только усилила бы ссылка на существование разнообразных калькуляторов и расчетных программ для компьютеров.

Ошибка такого подхода кроется в том, что арифметика, или теория чисел, вовсе не сводится к вычислениям, это разные сферы деятельности. «*Арифметика, даже элементарная, – это наука, она изучает и обосновывает различные общие законы действий с числами*», – подчеркивал Прингсхайм в докладе (Pringsheim, 8). Собственно вычисления, проводимые также с помощью технических средств, – это не наука, а ее приложение. Называть такое приложение «арифметикой» и противопоставлять ее остальной математике – недобросовестный прием, которым пользовался Шопенгауэр.

Обширный доклад мюнхенского математика, занимающий сорок с лишним страниц убогистого журнального текста, содержит немало подобных разоблачений. Но он не сводится только

¹ Pringsheim Alfred. Ueber Wert und angeblichen Unwert der Mathematik. Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der Königlich-Bayrischen Akademie der Wissenschaft zu München zur 145. Stiftungstages am 14. März 1904. Verlag der Königlich-Bayrischen Akademie, München 1904. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Pringsheim и номера страницы.

² Лихтенберг Георг Кристоф (Lichtenberg, Georg Christoph, 1742-1799) – немецкий физик, публицист, писатель-сатирик, литературный, театральный и художественный критик.

к критике взглядов Шопенгауэра и его единомышленников. Альфред Прингсхайм напоминает о разнообразных приложениях математики в других областях человеческой деятельности: не только в физике и инженерии, но и в химии, психологии, экономике, статистике, страховом деле... Область приложений математики постоянно расширяется. Подчас невозможно предугадать, где еще возникнет необходимость в математических моделях. Чтобы показать опасность негативных предсказаний, Прингсхайм приводит случай из жизни философа Огюста Конта, основоположника позитивизма. В «*Курсе позитивной философии*», изданном в Париже, Конт пророчествовал:

«Мы научимся постепенно определять форму, удаленность, размеры и движение небесных светил; но мы никогда не будем в состоянии никакими средствами изучить их химический состав» (Pringsheim, 33)

Этот неутешительный прогноз был сделан в 1835 году. А через 24 года Кирхгоф¹ и Бунзен² открыли спектральный анализ, сделавший невозможное возможным. По спектру солнечного света удалось определить не только химический состав светила, но и открыть новый элемент, получивший название гелий. При этом математика в исследованиях Кирхгофа играла ведущую роль. Прингсхайм всегда много внимания уделял преподаванию математики в школах, гимназиях и университетах. В докладе он предложил учредить в университете специальную кафедру математической педагогики, или, говоря ученым языком, математической дидактики. Предложение намного опередило время. Такая кафедра в Мюнхенском университете была создана только в семидесятих годах прошлого века, через семьдесят лет после доклада Прингсхайма в Баварской академии.

Важность приложений математики в других областях науки и техники сейчас не оспаривается никем. Прингсхайм подчеркивает другую мысль, не потерявшую актуальность и в наши дни. Практическую ценность той или иной математической работы невозможно заранее предсказать. Ориентация только на исследования, имеющие прикладное значение, может погубить фундаментальную науку. Прингсхайм доводит эту мысль до крайности:

«Если всем математикам XX века специальным указом приказать изучать только такие вещи и заниматься только такими проблемами, про которые с уверенностью можно сказать, что они могут служить естествознанию и, возможно, технике, то математические исследования одновременно со свободой утратят большую часть своей результативности» (Pringsheim, 36)

Если бы Прингсхайм держал свою речь десятью годами позже, он обязательно бы привел яркий пример математической теории, далекой, казалось бы, от реальной жизни, но нашедшей со временем применение в естествознании. Это неевклидова геометрия, сыгравшая важнейшую роль в общей теории относительности Эйнштейна. Именно в этой теории модели пространства, в которых параллельные прямые могут пересекаться, стали описывать структуру реальной Вселенной. А поначалу пространственные модели, в которых не выполняется знаменитая аксиома Евклида о параллельных прямых, возникли чисто умозрительно, без всякой связи с физикой и астрономией. Но и без этого примера аргументы Прингсхайма звучали убедительно. Весь опыт развития цивилизации показывает, что математические знания ценны не только тем, что служат целям других наук. Нет, математика важна сама по себе, она развивается не только по запросам внешнего мира, но следуя своей собственной логике. И эта логика неотделима от понятия красоты. Музыкант и знаток искусства, Альфред Прингсхайм называет математическую деятельность «*высшей формой чистой эстетической деятельности*» (Pringsheim, 36).

«В истинном математике всегда есть что-то от художника, архитектора и даже поэта», — полагает докладчик и продолжает:

«Вне реального мира, однако в заметной связи с ним, математики с помощью творческой умственной работы построили некий мир идеальный, который они пытаются превратить в самый совершенный из всех миров и исследуют его во всех направлениях. О богатстве этого мира имеют представление, естественно, только посвященные: лишь надменное невежество может полагать, что математик скован узкими рамками. Все, что его ограничивает, есть, ни много, ни мало, только непротиворечивость» (Pringsheim, 36).

¹ Густав Роберт Кирхгоф (Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887) — немецкий физик, один из выдающихся ученых XIX века, профессор университета в Гейдельберге, потом в Берлине.

² Роберт Вильгельм Бунзен (Robert Wilhelm Bunsen, 1811-1899) — немецкий химик-экспериментатор, профессор университета в Гейдельберге.

Заканчивает свою речь Альфред Прингсхайм явно на торжественной ноте:

«Многое, ради чего богатейшая математическая продукция создавалась и создается, является преходящим, бранным. Но из множества созданного выделяется кристально чистое ядро абстрактного знания, которое во все времена выступает как блестящий памятник силе человеческого духа. Могут ли те, кто, каждый в меру своих сил, участвуют в построении этого памятника, быть сухими и односторонними рационалистами, как полагают многие? Я думаю, что здесь уместно процитировать уже упомянутого в начале Новалиса, который сказал: „истинный математик – это энтузиаст per se¹. Без энтузиазма нет математики“» (Pringsheim, 37)

Эти слова, несомненно, читал или слышал Давид Гильберт, которому принадлежит ставшее широко известным высказывание об ученике, сменившем математику на филологию: *«он пошел в поэты – для математика у него не хватало фантазии»².*

«ДВУМЯ СТУПЕНЯМИ НИЖЕ МИЛЛИАРДЕРА»

Отношение к математике принц Клаус-Генрих высказал в романе во время приглашения Иммы Шпёльман на прогулку: *«Дано вам слово, я благоговен перед вашей наукой. Только она пугает меня, потому что, каюсь, мне она всегда была недоступна»* (II, 239).

Похожее чувство благоговения, смешанного со страхом, испытывал прототип принца – Томас Манн – к будущему тестню, профессору математики Прингсхайму. Символична сцена из романа, когда принц приехал к Имме, чтобы взять ее на прогулку, и столкнулся на лестнице с ее отцом:

«Дело в том, что мы условились... – сказал; Клаус-Генрих. Он стоял двумя ступенями ниже миллиардера и смотрел на него снизу вверх» (II, 236)

Не будет большой натяжкой считать, что так же снизу вверх смотрел на богача-математика и начинающий литератор Томас Манн, искавший руки его дочери. Семья Томаса и Кати долгое время пользовалась материальной помощью Катиных родителей.

Сразу после скромной церемонии, состоявшейся 11 февраля 1905 года в отделе регистрации браков на Маринплац в Мюнхене, молодые уехали в путешествие в Швейцарию. Никакой церковной процедуры венчания не было, так захотели Катя и ее отец. Альфред Прингсхайм позаботился, чтобы во время путешествия его дочь окружала такая роскошь, к которой не привык литератор, еще не ставший всемирно знаменитым. Из дорогого отеля Бор о Лак (Baur au Lac) в Цюрихе Томас писал брату Генриху 18 февраля:

«Я живу сейчас с Катей на широкую ногу, с «ланчем» и «динер», а по вечерам смокинг и лакеи в ливреях, забегающие вперед и открывающие тебе двери... У меня вопреки уверениям отовсюду насчет гигиенической пользы брака не всегда в порядке желудок, а потому и не всегда чиста совесть при этой сказочной жизни, и я нередко мечтаю о чуть большей доле монастырской тишины и... духовности» (Manns, 79)

Вместо того чтобы наслаждаться радостями медового месяца, обоим супругам пришлось в Цюрихе ходить по врачам. Катя обращалась к гинекологу, который посоветовал ей несколько лет воздержаться от рождения ребенка, так как ее организм еще не готов к этому. Правда, советом молодые то ли не захотели, то ли не успели воспользоваться, и ровно через девять месяцев, 9 ноября 1905 года у Кати и Томаса родилась первая дочь Эрика.

Томас в Цюрихе принимал физиотерапевтические процедуры и посещал различных врачей – в его записной книжке № 6 сохранились адреса и времена приемов трех медиков – двух нев-

¹ Per se (лат.) – по своей сути.

² Meschkowski Herbert. Moderne Mathematik. Ein Lesebuch. Piper, München 1991, S. 502. Существует мнение, что эта фраза принадлежит другому великому математику – Карлу Фридриху Гауссу: *Basieux Pierre. Brücken zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1999.*

рологов и гипнотизера¹. Самым известным из них был русский профессор Константин фон Монаков². О том, кого из них выбрал Томас и помогло ли лечение, сведений нет.

В целом, свадебное путешествие оказалось непродолжительным – уже через две недели Томас и Катя вернулись в Мюнхен. Здесь их ждала новая квартира, которую Альфред Прингсхайм снял для молодых в центре города, на улице Франца-Йозефа, 2, угол с улицей Леопольда. Квартира располагалась на третьем этаже внушительного дома, состояла из семи комнат и была обставлена дорогой мебелью из лучшего в городе антикварного магазина Бернхаймера (Bernheimer). В передней части дома, окнами в сад дворца принца Леопольда, располагался кабинет Томаса, столовая и салон. В угловой части находилась ванная, спальня Томаса, комната Кати и две комнаты для гостей, которые использовались потом как детские. Здесь семья Маннов прожила шесть лет. Именно здесь был написан роман «Королевское высочество».

Юлия Манн в письме старшему сыну Генриху с восторгом рассказывала о новом жилище Томаса:

«Прекрасная большая квартира с – двумя туалетами! – это ли не идеал? Рабочий кабинет Томми – очень большой, к этому К. [атина] комната, потом столовая, две спальни, белая лакированная мебель... Во всех комнатах: элект. [рические] люстры в форме круга; очаровательны маленькие в спальнях, зеленые листья с красными ягодами, а на них висят элект. [рические] лампочки»³.

Электрическое освещение не было в то время широко распространено. Альфред Прингсхайм одним из первых в Мюнхене электрифицировал свою виллу, построив во дворе дома небольшую электростанцию, так как централизованного электричества в городе еще не провели⁴. Большой редкостью считался и телефон, который заботой Альфреда Прингсхайма был установлен и в его вилле, и в новой квартире дочери.

Катя вспоминала: «Мой отец отдавал предпочтение итальянскому ренессансу и обожал оборудовать квартиру» (Катя, 33). Особое внимание Альфред уделял выбору мебели. Из холостяцкой квартиры Томаса в новое жилье разрешили взять только «...три прекрасных ампирных кресла красного дерева с голубоватыми лирами по желтому полю» (II, 308).

В романе соответствующий эпизод выглядит так:

«Однажды утром, выпив целебную воду в бювете, господин Шпёльман самолично пожаловал в своем выгоревшем пальтишке в Эрмитаж, дабы выяснить, пригодится ли что-нибудь из мебели для обстановки нового дворца.

– Покажите-ка, молодой принц, свое добро, – скрипучим голосом потребовал он, и Клаус-Генрих продемонстрировал ему спартанскую обстановку своих покоев, жесткие диванчики, прямоногие столы, белые лакированные консоли по углам.

– Хлам, – презрительно изрек господин Шпёльман, – не подойдет. – Только три массивных кресла красного дерева с резными завитками на локотниках, из маленькой желтой гостиной, да желтая обивка с голубоватыми лирами снижали его одобрение. – Годятся для передней, – решил он, и Клаус-Генрих обрадовался, что эти три кресла составят вклад Гримбургов в убранство дворца; ему, естественно, было бы неприятно, если бы все шло исключительно от Шпёльманов» (II, 351)

Кабинет зятя Альфред обставлял тоже по своему вкусу, не очень интересуясь мнением его будущего хозяина. В записной книжке № 7 есть такая горькая помета:

«Я говорю о „порядке“, который наводит тесть в моей комнате. Он отвечает: „Я предельно деликатен и т.д.“ – Ничего себе, деликатен!»⁵

¹ Mann Thomas. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 1, Notizbücher 1-6, Hrsg. von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1991, S. 302.

² Профессор, доктор медицины Константин фон Монаков (1853-1930) – известный невролог, нейроанатом, нейропсихолог, основатель института анатомии головного мозга и неврологической поликлиники в Цюрихе, а также швейцарского неврологического общества.

³ Mann Julia. Ich spreche so gern mit meinen Kindern. Erinnerungen, Skizzen, Briefwechsel mit Heinrich Mann. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 1991, S. 144.

⁴ Ebers Herrmann. Erinnerungen. Besuche im Hause Pringsheim. In: Krause Alexander (Hg.). «Musische Verschmelzungen». Thomas Mann und Hermann Ebers. Anja Gärtig Verlag, München 2006, S. 11.

⁵ Mann Thomas. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 2, Notizbücher 7-14, Hrsg. von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1992, S. 119.

Впрочем, Томас, судя по всему, остался доволен результатом. За две недели до свадьбы он переехал из своей последней холостяцкой квартиры на Айнмиллерштрассе (Ainmillerstrasse), 31/III, в пансион Рау, расположенный в соседнем доме с его будущей квартирой – по улице Франца-Йозефа, 4. Так что он мог непосредственно наблюдать за переоборудованием своего будущего жилища. В уже упомянутом письме брату из цюрихского отеля Бор о Лак, Томас сообщает:

«В конце месяца мы въедем в нашу мюнхенскую квартиру: (Франц-Йозефштрассе, 2 III) Она будет на диво хороша. II надо надеяться, там я вскоре опять смогу работать» (Manns, 80)

К роскошной антикварной мебели добавился новый кабинетный рояль, украшавший салон. За ним, по воспоминаниям Кати, нередко сживал Томас и фантазировал что-нибудь на темы из «Тристана». Стены украшали картины Веласкеса и других старых мастеров, щедро подаренные Альфредом Прингсхаймом, хорошо разбиравшимся в живописи. Недаром он являлся членом закупочной комиссии Баварского национального музея, решавшей вопросы приобретения дорогих экспонатов.

Катя, в отличие от свекрови, не считала новую квартиру очень большой, видела в ней и другие недостатки. В доме не было лифта, и на третий этаж вела крутая лестница, по которой она боялась одна подниматься, особенно когда была беременна (Mendelssohn, 1054). Дети в семье Кати и Томаса не заставили себя долго ждать: через год после Эрики 18 ноября 1906 года родился Клаус, через два с половиной года – Голо (27 марта 1909 года), а еще через год с небольшим – Моника (7 июня 1910 года). После этого сильно выросшая семья переехала в новую квартиру в районе Герцогпарка. Этот зеленый район города на берегу реки Изар понравился, и в январе 1914 года – Манны обосновались в своей собственной большой вилле «Поши» в том же районе на улице Пошингер, 1, где прожили вплоть до 1933 года, когда оказались в вынужденной эмиграции. Кстати, этот роскошный дом был построен не без участия Альфреда Прингсхайма, недаром по документам он был записан на Катю (Jens, 98).

С годами материальное положение писателя укреплялось, а после того, как военные займы и послевоенная инфляция обесценила состояние Прингсхаймов, Томас Манн стал значительно богаче тестя. В рождественские дни 1924 года теща писателя написала большое откровенное письмо своей подруге Дагни Ланген-Сотро¹, дочери знаменитого норвежского поэта Бьёрнстjerne Бьёрнсона², автора слов государственного гимна, человека, близкого к дому Прингсхаймов. Хедвиг высоко оценивала достижения Томаса Манна, хотя не скрывала горечи от собственного бедственного положения:

«То, что мой зять достиг вершины славы, тебе, вероятно, известно. У него успех за успехом, его положение блестящее, причем не только в литературе, но и в мире, и Катя купается в лучах его славы. Она очень часто сопровождает его в поездках и принимает участие в его чествованиях. Они сейчас „богачи“ в нашем семействе, и в то время, как мы, несмотря на наш прекрасный дом, в котором мы – к сожалению – все еще живем, стали настоящим бедняками, Манны обзаводятся автомобилем и строят в своем доме гараж: шикарно»³.

Содержать роскошный дворец на улице Арси, 12 постаревшим и обедневшим Прингсхаймам стало не по карману, и они вынуждены были сдавать некоторые комнаты студентам. Часть коллекций тоже пришлось продать, пенсии почетного профессора явно не хватало. По словам Голо Манна, его дед Альфред Прингсхайм не раз повторял в годы инфляции горькую шутку: *«Живем со стены в рот»⁴.*

¹ Дагни Ланген-Сотро (Dagny Langen-Sautreau, 1876-1974) – урожденная Бьёрнсон, в первом браке за издателем Альбертом Лангеном (Albert Langen, 1869-1909), во втором – за французским промышленником и переводчиком Джоржем Сотро (Georges Sautreau, 18??-1952). Издатель французского сатирического журнала и переводчик.

² Бьёрнстjerne Бьёрнсон (Bjørnstjerne Bjørnson; 1832-1910) — норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1903 года.

³ *Wiedemann Hans-Rudolf*. Thomas Manns Schwiegermutter erzählt. Verlag Graphische Werkstätten Lübeck, Lübeck 1985, S. 47.

⁴ *Schirnding Albert von*. Thomas Mann, seine Schwiegereltern Pringsheim und Richard Wagner. In: Themengewebe. Thomas Mann und die Musik. Herausgeben von Dirk Heißerer. Thomas-Mann-Förderkreis München e.V., München 2001, S. 20. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Themengewebe и номера страницы. Каламбур «жить со стены в рот» является измененной поговоркой «жить из рук в рот», т.е. без запасов, накоплений, «что наработал, то и полопал».

Прежнему богатству Прингсхайма пришел конец. Однако ощущение социальной пропасти, разделявшей молодого писателя и богатого академика, долгое время не покидало Томаса. В «Записной книжке» № 7, которую он вел в 1901-1905 годах, сохранилась его признание, недвусмысленно на это указывающее:

«Для Прингсхаймов вообще не существует авторитетов, так как для них, в противоположность моему благоговейшему провинциальному взгляду, все великие персонально, по-человечески, по положению в обществе стоят рядом. Например, Вагнер, Бьёрнсон, Термина, Ленбах. „Поэтому Вагнер ошибался“ – из уст совсем юнцов!»¹.

Но и тогда, когда Томас Манн стал намного богаче тестя, отношения между ними оставались напряженными. Одним из постоянных источников раздора оставался Шопенгауэр, которого боготворил Томас и презирал Альфред.

Катя в письме дочери Эрике от 7 января 1926 года жалуется:

«Во время встречи нового года на улице Арси произошел ужасный конфуз. Дядя Бабюшляйн [брат Кати физик Петер Прингсхайм] и Офай [отец Кати Альфред Прингсхайм]² непочтительно высказались о Шопенгауэре. Отец, который всю жизнь на дух не переносил Шопенгауэра за то, что тот о математике даже слышать не хотел, не знал, что наш Волишебник является горячим приверженцем философа. Ничего не подозревая, папа заметил Петеру, который стал критиковать Шопенгауэра, что, мол, стоит ли так шуметь из-за подобной ерунды. Наш Волишебник побледнел, его трясло, как в лихорадке, но он сдержался; тем не менее, вечер был испорчен. Но дома Томми разбушевался, он утверждал, что его намеренно оскорбили и унизили, и что на улице Арси это продельвается уже в течение двадцати лет... В последующие два дня он кое-как успокоился, но его ненависть к дому на улице Арси остается незыблемой» (Jens, 139-140).

Зять и тесть часто не сходились и по другим вопросам, и причинами здесь были, прежде всего, непонимание и недооценка того, что составляло суть жизни другого.

«ВАШИ ЗАНЯТИЯ Я НИ ВО ЧТО НЕ СТАВЛЮ»

То, что Томас Манн не слишком разбирался в математике, не вызывает сомнения. Но и к художественным коллекциям, которые со страстью охотника собирал Альфред Прингсхайм, писатель относился равнодушно. Достижения тестя в деле коллекционирования Томаса интересовали мало. А ведь в этой области, столь далекой от его основной профессии, академик и профессор математики весьма преуспел, его уважали знатоки-собиратели, по материалам коллекций с его участием издавались серьезные каталоги, писались научные статьи и монографии³.

Свои сокровища Прингсхайм охотно показывал желающим, не раз передавал экспонаты для различных выставок, являлся членом и первым заместителем председателя «Баварского общества друзей искусств», известного также как «Музейное общество»⁴.

В уже упомянутой краткой автобиографии Альфред без ложной скромности говорит о своих достижениях в этой области:

«В кругах искусствоведов я считаю знатоком и успешным собирателем предметов искусства Ренессанса. Особенное значение имеет мое собрание итальянской майолики, представляющее собой самую значительную частную коллекцию такого рода. С моим участием Отто фон Фальке подготовил издание монументального каталога, который специалистами оценивается как одно из важнейших пособий для изучения истории искусства майолики» (Mendelssohn, 544).

¹ Mann Thomas. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 2, Notizbücher 7-14, Hrsg. von Hans Wyslind und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1992, стр. 120.

² В доме Катиных родители дети придумывали взрослым смешные прозвища, а те их охотно использовали в повседневной жизни. Так знаменитая Хедвиг Дом, бабушка Кати с материнской стороны, звалась в семье «Мимхен» (Miemchen), а родители Альфреда Прингсхайма – Рудольф и Паула – стали «Пумме» (Pumme) и «Мумме» (Mumme). Сам Альфред и его жена Хедвиг получили имена «Офай/Фай» (Ofay/Fay) и «Финк» (Fink). А Катин брат Петер звался среди родных самым непонятным и смешным именем «Бабюшляйн» (Babüschlein).

³ См., например, Bode Wilhelm von. Die Majoliksammlung Alfred Pringsheim in München. In: Zeitschrift für Bildende Kunst, 1915, S. 307 f. Falke Otto von. Die Majoliksammlung Alfred Pringsheim. Neuauflage, 3 Bde. Beltriguardo Arte, Ferrara 1994.

⁴ Bilski Emily D. „Nichts als Kultur“ – Die Pringsheims. Jüdisches Museum München, München 2007, S. 22. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Bilski и номера страницы.

Внук Альфреда Прингсхайма Клаус Манн сравнивал дом деда с музеем:

«Он собирал картины, гобелены, майолику, предметы из серебра и бронзовые статуэтки — все в ренессансном стиле. Его коллекция была столь значительной, что кайзер Вильгельм II за его заслуги наградил орденом Короны второго класса. Дворец на улице Арси действовал как музей»¹.

С этим орденом у мюнхенского профессора возникли проблемы. Дело в том, что орден Короны являлся не общегерманской наградой, а прусской, и Вильгельм II выступал при награждении не как император Германии, а как прусский король. С точки зрения баварского королевского двора, эта награда считалась иностранной, и государственный служащий, каковым являлся любой профессор университета, не имел права выходить с ней на публику. Пришлось изрядно потрепать нервы и потратить немало времени и сил, пока Прингсхайм не получил все-таки право носить этот орден в Баварии.

Хедвиг Прингсхайм записывала в дневнике, кому и когда ее муж показывал свои коллекции. Среди посетителей были знатные персоны: принц Рупрехт Баварский (20 марта 1900 и 11 декабря 1910), Юлиус Лессинг, директор берлинского музея декоративно-прикладного искусства (22 февраля 1888), американский автомагнат Генри Форд (26 сентября 1930), итальянский кронпринц с супругой (5 августа 1933)...

О страсти, с которой отдавался Прингсхайм своему увлечению, Хедвиг высказалась в дневнике: *«Вечная моноomanия Альфреда»* (Bilski, 24-25).

Таким же увлеченным коллекционером «стекла» представлен в романе *«Королевское высочество»* и Самуэль Шпёльман. Описанная Клаусом Манном столовая Прингсхаймов, *«богато украшенная гобеленами, прекрасными серебряными приборами и длинными рядами переливчатой майолики Офеля»* (Klaus Mann, 49), превратилась в романе в зал дворца «Дельфиненорт», купленного миллиардером за два миллиона марок:

«Прекрасные витрины в стиле всего дворца, пузатые, с выпуклыми застекленными дверцами, были расставлены вдоль всех четырех стен, а в промежутках стояли нарядные стульчики. В витринах помещалась коллекция господина Шпёльмана» (II, 232).

Томас Манн подробно и со знанием дела описывает богатейшую коллекцию, так похожую на собрание Прингсхайма. Наблюдательный рассказчик отмечает даже упомянутый Клаусом *«переливчатый цвет»* разных *«вещиц, которые были покрыты пафами благородных металлов»* (II, 232).

Хозяин дворца вместе с принцем Клаусом-Генрихом медленно проходили «по коврам вокруг зала, и господин Шпёльман скрипучим голосом рассказывал историю отдельных предметов, и, при этом бережно брал их с обитых бархатом полок своей художавой рукой, наполовину прикрытой некрахмальной манжетой, и поднимал к электрическому свету» (II, 232-233).

Принца коллекция совсем не интересовала, в данный момент все его мысли занимала дочь Шпёльмана, загадочная Имма. Но он *«был приучен обозревать, расспрашивать и высказывать лестные похвалы»*, думая совсем о другом. В этом состояли его *«высокие обязанности»* при дворе: представлять, председательствовать, принимать участие, делая вид, что находишься в курсе дела.

Опытный Шпёльман сразу понял, о чем говорит принц:

«Церемонии, празднества. Все для зевак. Я в этом смысла не вижу. II скажу вам once for all², ваши занятия я ни во что не ставлю» (II, 227)

Возвращаясь к прототипам героев романа, то же самое можно сказать и об отношениях Томаса Манна и Альфреда Прингсхайма, каждый из них *«ни во что не ставил»* занятия другого.

Томас, совсем недавно введенный в высшее мюнхенское общество, изо всех сил старался произвести хорошее впечатление, и это ему удавалось. Он знал эту свою способность и откровенно писал брату Генриху:

¹ *Mann Klaus. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht.* Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1984, S. 17. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов Klaus Mann и номера страницы.

² Раз навсегда (англ.).

«У меня есть, в сущности, какой-то царский талант представительства, когда я более или менее свеж» (Manns, 73).

При этом он оставался холодным наблюдателем, который все увиденное старался использовать в своих работах. Коллекция тестя интересовала молодого писателя только с литературной точки зрения, как яркая деталь его нового текста и примета времени.

В дошедших до нас дневниках писателя коллекция майолики, главный предмет гордости тестя, первый раз упоминается лишь в записи от 14 июля 1920 года:

«К ужину на улице Арси, где впервые снова выставлены майолика и бронза. Хорошая еда, на десерт фрукты и шампанское»¹.

Закончилось смутное время Баварской Советской республики, ужасы «красного террора» остались в прошлом, и Томас Манн старательно фиксирует в дневнике все приметы возвращения к нормальной жизни. Прингсхаймы в своем дворце на улице Арси, в целом, благополучно пережили время анархии и революционного произвола. Им удалось вернуть конфискованные драгоценности на общую сумму не меньше 300 000 марок (Tagebücher 1918-1921, 201). Теперь профессор достал из потаенных мест предметы своей бесценной коллекции и снова расставил их по привычным местам – в шкафы и стеллажи, стоявшие в столовой и прихожей.

С художественной стороны лучшая в мире частная коллекция средневековой итальянской керамики Томаса совершенно не интересует. То, что она снова украшает дворец Прингсхаймов, для писателя лишь свидетельство возвращения «старого, доброго порядка».

Безусловно, писатель знал материальную ценность коллекции тестя, ведь она была заметной частью ожидавшегося Катиного наследства. И читая дневники Томаса Манна, невольно задумаешься, так ли уж неправ был его язвительный критик Теодор Лессинг, который в книге *«Томи доит моральную корову. Писателю-психологу»* высмеивает литературного врага:

«Томас Манн не похож ни на Ньютона, ни на Наполеона. На первого он не похож потому, что он проявляет к математике в образе миллионов его тестя лишь вычитающий интерес»².

Справедливости ради нужно отметить, что и для профессора Прингсхайма литература не считалась серьезным занятием. Искусство для хозяина дома на улице Арси сводилось к музыке, живописи и работам эпохи Ренессанса. В этих областях он разбирался гораздо лучше простого любителя. Серьезную же литературу он не понимал и не призвал. Его сын Клаус Прингсхайм отмечал, что отец во время путешествий читает только детективные романы, а беллетристику не считает профессией, заслуживающей уважения. В послесловии к новелле *«Кровь Вельзунгов»* Клаус писал:

«Во всяком случае, университетский профессор мечтал о муже для своей дочери с более солидным общественным положением, обеспечивающим достойное существование»³.

Совсем иначе относилась к литературе и литераторам жена профессора Хедвиг Прингсхайм-Дом (Hedwig Pringsheim-Dohm, 1855-1942). Она выросла в семье, не чуждой писательству. Отец – Эрнст Дом (Ernst Dohm, 1819-1883) – руководил популярным берлинским сатирическим журналом *«Кладдедада»* и сам обладал острым пером. Мать – Хедвиг Дом, урожденная Шлезингер (Hedwig Dohm, geb. Schlesinger, 1831-1919) – писала романы из жизни высшего общества и книги о правах женщин. Ее труды выходили в том же издательстве С. Фишера, в котором печатались и работы Томаса Манна.

Хедвиг едва исполнилось девятнадцать лет, когда она стала артисткой знаменитого Мейнингенского придворного театра. Под покровительством просвещенного герцога Саксен-Мейнингена Георга II этот театр во второй половине девятнадцатого века стал явлением культуры европейского масштаба. После многочисленных гастролей по миру, в том числе, и в России, у театра появилось много поклонников и последователей. Одним из них считается К.С. Станиславский, первые постановки которого критики называли «мейнингентством».

¹ *Mann Thomas. Tagebücher 1918-1921, herausgegeben von Peter de Mendelssohn. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1979, S. 453.* В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Tagebücher 1918-1921» и номера страницы.

² *Lessing Theodor. Tomi melkt die Moralkuh. Ein Dichter-Psychologem. In: Lessing Theodor. Theater-Seele und Tomi melkt die Moralkuh. Schriften zu Theater und Literatur. Donat Verlag, Bremen 2003, S. 286.*

³ *Pringsheim Klaus. Ein Nachtrag zu „Wälsungenblut“.* In: *Wenzel Georg (Hrsg.). Betrachtungen und Überblicke. Zum Werk Thomas Manns. Aufbau-Verlag, Berlin, Weimar 1966, S. 256.* В дальнейшем ссылки на эту работу будут даваться в круглых скобках с указанием слов «Klaus Pringsheim» и номера страницы.

Дочка редактора «Кладдерадач» попала в театр случайно: ее заметила жена и консультант герцога в театральных делах, бывшая пианистка и актриса театра Эллен Франц, ставшая баронессой фон Хельдбург (Helene von Heldburg, 1839-1923). Эллен училась игре на фортепьяно у знаменитого Ганса фон Бюлова, музыкального директора театра, и была дружна с его супругой, ставшей впоследствии женой Рихарда Вагнера – Козимой. Через них она познакомилась и с Эрнстом Домом, страстным поклонником Вагнера, председателем берлинского вагнеровского общества. Эллен нередко бывала его гостьей. Увидев красоту его повзрослевшей дочери, она уговорила мужа-герцога пригласить ее в придворный театр. Родители, скрепя сердце, согласились. В воспоминаниях «Как я попала в Мейнинген», опубликованных в берлинской газете «Фоссисше цайтунг» (Vossische Zeitung) 3 января 1930 года, Хедвиг так описывала начало своей театральной жизни:

«До этого времени я редко бывала в театре, не имела ни малейшего театрального опыта, теперь со мной были только моя юность, красота, прекрасный грудной голос, интеллект и ничем не подавленная естественность»¹.

Надо думать, именно эти качества привлекли внимание молодого математика Альфреда Прингсхайма, чье предложение руки и сердца в 1878 году прервало карьеру артистки. Всего три года работала она в труппе театра и теперь вынуждена была его покинуть. Хедвиг выбрала надежную роль жены обеспеченного ученого вместо романтической, но рискованной судьбы актрисы. С высоты почтенного семидесятипятилетнего возраста она с грустью вспоминает о несбывшемся:

«С тех пор осталась я „со своим талантом“ и нигде не могла его применить. Даже излить свою ярость в декламации стихов я не имела права. Мой супруг ничего не понимал в искусстве и находил мою манеру исполнения стихов отвратительной»².

Зато в новой роли хозяйки гостеприимного дома и матери пятерых детей талант Хедвиг раскрылся в полной мере. Она стала душой и украшением дворца Прингсхаймов на улице Арси. Клаус Манн попытался раскрыть секрет привлекательности своей бабушки:

«Хозяйка – обольстительная смесь венецианской красоты а-ля Тициан и загадочной гранд дамы а-ля Генрих Ибсен – владела столь редким в наш век искусством совершенной беседы, при этом ее яркая речь часто сопровождалась каскадами искристого смеха. Она умела всегда быть веселой и оригинальной – рассуждала ли она о Шопенгауэре или Достоевском или о последнем приеме в даме фронтирессы. К ее поклонникам принадлежали такие художники, как Франц фон Ленбах, Каульбах и Штук, которым она позволяла писать свои портреты, и такие писатели, как Пауль Хейзе и Максимилиан Гарден, которые преподносили ей восторженные клятвы верности» (Klaus Mann, 18).

Хедвиг участвовала в различных литературных вечерах в Мюнхене, охотно принимала писателей и поэтов у себя дома, обменивалась с ними книгами, обсуждала новинки. Интерес к литературе у нее был неподдельный.

Именно Хедвиг стояла на стороне Томаса, когда он сватался к ее дочери, именно мать сделала все возможное, чтобы уговорить Катю согласиться на его предложение. Не случайно и Томас обращался к Хедвиг за советом, когда решался на публикацию рискованной новеллы «Кровь Вельзунгов». Правда, совет тещи, увы, не спас семейство от скандала. Об этом мы рассказывали уже в очерке, опубликованном в предыдущем номере этого альманаха³.

¹ Pringsheim-Dohm Hedwig. Häusliche Erinnerungen. 11 Feuilletons der Schwiegermutter von Thomas Mann in der „Vossischen Zeitung“ - 1929-1932. Nikola Knoth, Berlin 2005, S. 78.

² Там же, стр. 88.

³ Беркович Евгений. «Я написал какую-то резко антисемитскую новеллу». Альманах «Белый Ворон», №4(21), Eudokia Publishing House, Екатеринбург 2015, стр. 258-275.

МУЗЫКА И МАТЕМАТИКА ПОД ЗНАКОМ САТУРНА,
ИЛИ
«СЛИЯНИЕ РАЗУМА С МАГИЕЙ»
В РОМАНАХ ТОМАСА МАННА

«ПОПЕРЕК НОМЕРА 34»

Томас Манн не скрывал, что с суеверным трепетом относится к некоторым датам. Он родился в 1875 году, в середине десятилетия, и считал, что главные события его жизни тоже происходят в годы, оканчивающиеся на пятерку. В «Очерке моей жизни», говоря о предстоящей 11 февраля 1930 года серебряной свадьбе, он писал:

День празднования знаменательной годовщины нашего союза уже совсем близок. Он приходится на год, в цифровом своем выражении заканчивающийся числом, знаменательным для всего моего бытия; в зените некоего десятилетия появился я на свет; между серединами десятилетий прошли пятьдесят лет моей жизни, женился я на середине десятилетия, спустя полгода после того, как оно перевалило за половину. Моя приверженность математической ясности согласна с этой расстановкой, как и с тем, что мои дети появились на свет и свершают свой жизненный путь в трех созвучно – хороводных, парами расположенных сочетаниях: девочка – мальчик, мальчик – девочка, девочка – мальчик. Я полагаю, что умру в 1945 году, в возрасте моей матери (IX, 143)¹.

К счастью, в своем прогнозе писатель ошибся, судьба подарила ему еще десять плодотворных лет, а нам, его читателям, среди прочих его поздних сочинений, выдающийся роман «Доктор Фаустус». И все же предсказание оказалось отчасти верным: Томас Манн скончался «в зените некоего десятилетия» – 12 августа 1955 года. Не зря в большом эссе «История „Доктора Фаустуса“: Роман одного романа»², написанном в 1949 году, через два года после выхода в свет самого романа, он объяснил: «Исполнение пророчеств, <...> – дело мудреное; подчас они сбываются не буквально, а на какой-то символический лад» (IX, 290).

Числом-символом для писателя, без сомнения, являлась семерка. В седьмой главе «Волшебной горы» автор признается в своей симпатии: «для сторонников десятичной системы это не достаточно круглое число и все же хорошее, по-своему удобное число, можно сказать – некое мифически-живописное временное тело, более приятное для души, чем, например, сухая шестерка» (IV, 515).

Это число фигурирует во многих народных сказках, мифах, легендах. В романах Томаса Манна число семь нередко определяет структуру произведения и дает повод для забавных, иногда ложно глубокомысленных, а иногда остроумных и неожиданных литературно-числовых игр, позволяющих по-новому взглянуть на авторский замысел.

Первое наблюдение очевидно: «Волшебная гора» состоит из семи глав. Но этого мало, некоторые исследователи идут дальше и подсчитывают число подразделов, на которые поделены главы, ища и здесь заветную семерку. На первый взгляд, здесь их ждет неудача, ведь всего в романе пятьдесят один подраздел. Но настойчивость и смекалка и здесь находят выход. В диссертации Гертруды Каст, защищенной в Боннском университете в 1928 году³, предлагается внимательно присмотреться к названиям подглав «Волшебной горы». Тогда мы заметим, что в седьмой главе есть три подраздела, имеющие одинаковое имя: «Мингер Пеперкорн». Один подраздел называется именно так, второй имеет примечание в скобках: «Продолжение». И, наконец, третий называется «Мингер Пеперкорн (Окончание)». Другими словами, эти три фрагмента представляют собой расчлененный на три части один большой подраздел. И тогда общее число подразделов «Волшебной горы» становится равным заветному числу 49, т. е. «семижды семь». Томас Манн и здесь не изменил своей привязанности к «мифически-живописному временному телу», как он называет число семь в этом романе.

¹ Ссылки на переведенные на русский язык произведения Томаса Манна даются в круглых скобках с указанием тома и, через запятую, номера страницы из следующего собрания сочинений: *Манн Томас. Собрание сочинений в десяти томах. Том второй. Государственное издательство художественной литературы, М. 1959-1961.*

² В оригинале эссе называется «Die Entstehung des Doktor Faustus», что можно перевести торжественнее: «Становление (зарождение) „Доктора Фаустуса“». Соломон Апт выбрал нейтральное название «История „Доктора Фаустуса“».

³ *Kast Gertrud. Romantische und kritische Kunst. Stilistische Untersuchungen an Werken von Richarda Huch und Thomas Mann. Diss. Phil. Bonn 1928.*

Сведение числа подразделов к 49, безусловно, остроумно, но не стопроцентно убедительно, так как упомянутые три подраздела с именем «*Мингер Пеперкорн*» идут не подряд, а разбиваются подразделом совсем с другим именем.

К слову, имя этого подраздела «*Vingt et un*» означает французскую игру «двадцать одно», или «очко». Соответствующее немецкое название этой игры «семнадцать и четыре», но Томас Манн определенно не случайно выбрал французское имя игры, где фигурирует число, составленное из трех семерок.

Чтобы обнаружить число семь в «*Волшебной горе*», нет необходимости в таких хитроумных построениях. И без того семерка встречается в романе буквально на каждом шагу.

Уже во «*Вступлении*» автор рассуждает, сколько времени ему потребуется, чтобы создать историю главного героя:

Семи дней недели на нее не хватит, не хватит и семи месяцев. Самое лучшее – и не стараться уяснить себе заранее, сколько именно пройдет земного времени, пока она будет держать его в своих тенетах. Семи лет, даст бог, все же не понадобится (III, 8)

Здесь неявно обыгрываются те семь лет, которые провел в высокогорном санатории герой романа. Правда, роман потребовал больше времени. В «*Очерке моей жизни*» Томас Манн признается:

Итак, осенью 1924 года, после бесчисленных перерывов и помех, вышел в свет роман, не семь, а в общей сложности двенадцать лет подряд державший меня в плену своих чар... (IX, 131)

Полистаем роман. В возрасте семи лет у Ганса с его дедом состоялся важный для последующего содержания романа разговор о семи поколениях предков, крестившихся в одной серебряной купели, хранившейся в шкафу как семейная реликвия. На обратной стороне подставки к купели «*были выведены пунктиром и разнообразными шрифтами имена всех тех, кто, в ходе времени, являлись владельцами этой тарелки. Их было уже семь*» (III, 34).

В столовой санатория, куда спустился Ганс Касторп на свой первый завтрак, «*стояло семь столов в продольном направлении*» (III, 61).

Когда Ганс поинтересовался у своего родственника, сколько минут нужно держать градусник во рту, «*Иоахим поднял семь пальцев*» (III, 93). Эти семь минут, нужные для правильного измерения температуры, дали затем повод Иоахиму сделать философское замечание о времени, которое в горах течет по своим законам:

Да, когда за ним следишь, за временем, оно идет очень медленно. И я ничего не имею против того, чтобы мерить температуру четыре раза в день. Тут только и замечаешь, какая, в сущности, разница – одна минута и целых семь, при том, что семь дней недели проносятся здесь просто мгновенно (III, 93-94)

Пойдем дальше. Семь недель провел Ганс в санатории, пока ему не сделали рентгеновское просвечивание (III, 305).

Каждые семь дней, всегда по воскресеньям, «*после обеда в вестибюле неукоснительно раздают почту*» (III, 333). Раз столкнувшись на раздаче писем с прекрасной мадам Шоша, Ганс Касторп с нетерпением ожидал «*через семь дней возвращения того же часа*». И здесь семерка служит характеристикой субъективного восприятия времени, ибо «*ждать – значит обгонять, значит чувствовать время и настоящее не как дар, а как препятствие, значит, отвергая их самостоятельную ценность, упразднить их, духовно как бы через них перемахнуть*» (III, 333).

Но не только к промежуткам времени имеет отношение любимая Томасом Манном семерка. В «*Волшебной горе*» она обозначает и важные пространственные объекты, например, номера комнат, в которых проживают герои романа. Мадам Шоша обитала в комнате 7, а Ганс Касторп въехал сразу в номер 34, собираясь пожить в нем недели три, а прожил долгих семь (!) лет. Второй подраздел первой главы романа так и называется: «*Номер 34*».

Число 34 встречается и в других произведениях Томаса Манна, из которых нужно упомянуть, прежде всего, «*Доктора Фаустуса*», где это число олицетворяет знаменитый магический квадрат – символ таинственной связи музыки и математики. С волшебной семеркой это число связано суммой его цифр.

Номер 34 фигурирует в сцене спиритического сеанса, которая, на мой взгляд, осталась непонятой очень многим читателями русского перевода романа «*Волшебная гора*». Напомню, что по-

сле вызова духа поэта Холберга «Ганс Касторп, касаясь пальцем правой руки бокала и подперев щеку кулаком левой, сказал, что хотел бы узнать, сколько же времени он в целом пробудет здесь, вместо трех недель, намеченных вначале». На этот вопрос дух «ответил что-то странное, как будто не имевшее к вопросу никакого отношения, и даже невразумительное. Он набрал сначала слово «иди», потом «поперек» – что уж было ни с чем не сообразно, и еще что-то относительно комнаты Ганса Касторпа, так что весь этот лаконичный ответ сводился к тому, чтобы вопрошающий прошел свою комнату поперек. Поперек? Поперек номера 34? Что это значит?» (IV, 457).

Настойчивый вопрос «что это значит?» так и остался в русском переводе без ответа и без комментария. А он здесь, на мой взгляд, необходим. Дело в том, что Томас Манн использовал каламбур, работающий только в немецком языке и начисто пропавший в русском. Наречие «quer» по-немецки означает «поперек», а существительное «Quersumme» переводится как «сумма цифр некоторого числа». Поэтому догадливый немецкий читатель без труда узнает в выражении «поперек номера 34» не что иное, как «сумму цифр числа 34», т. е. все то же число семь. Дух Холберга оказался прав, в последнем подразделе седьмой главы Томас Манн прямо указывает срок пребывания Ганса в «Бергтофе»:

Семь лет провел Ганс Касторп у живших здесь наверху... За всеми семью столами посидел он в столовой, за каждым около года (IV, 515).

ЧИСЛА В СТРУКТУРЕ РОМАНОВ

Семерка определяет структуру и других романов Томаса Манна. Начнем с тетралогии «Иосиф и его братья».

Каждый из четырех романов, образующих тетралогию, тоже включает ровно семь разделов. Не делается исключения даже для самого короткого романа «Юный Иосиф». То, что это не случайность, отмечает сам Томас Манн в упомянутом эссе «История „Доктора Фаустуса“»: «Я придумывал названия глав четвертого тома, занимался разбивкой текста на семь частей или „книг“...» (IX, 208).

Немецкий филолог Оскар Зайдлин (Oscar Seidlin, урожденный Коплович, 1911-1984), эмигрировавший в 1933 году в Швейцарию, а в 1938 году – в США, попытался обосновать такое утверждение: главы романов об Иосифе, имеющие порядковый номер сорок девять (семижды семь), несут в себе более важную информацию, чем другие, в них происходят события, определяющие поворотные моменты сюжета.

Томас Манн не нумеровал главы в каждом разделе, не желая, видно, лишать таких читателей, как Зайдлин, удовольствия от маленьких открытий. Проверим гипотезу о сорок девятой главах тетралогии об Иосифе.

В романе «Былое Пакова» сорок девятая глава называется «Родь». В ней рассказывается о рождении главного героя тетралогии – Иосифа. Здесь, пожалуй, с Зайдлиным можно согласиться. Второй роман – «Юный Иосиф» – слишком короток, в нем всего тридцать глав, так что он в этой игре не участвует. В третьей части тетралогии – «Иосиф в Египте» – сорок девятая глава называется «Лицо отца» и повествует о безуспешной попытке Мут-эм-энет, жены египетского вельможи Потифара, соблазнить юного Иосифа. Обвиненный в покушении на изнасилование госпожи, Иосиф снова попадает в «яму», из которой его извлекли в начале книги. Именно отсюда начнется возвышение героя до правителя всего Египта. Тут гипотеза Зайдлина тоже работает.

Сорок девятая глава заключительной, четвертой части тетралогии – «Иосиф-кормилец» – называется «Их семьдесят» и, на первый взгляд, ломает схему Зайдлина: в главе нет важных событий, зато ведется философский разговор о значении числа семьдесят и об особенностях счета в библейские времена, когда «количество это определялось не счетом, а чувством числа, внутренним ощущением: тут царила точность лунного света, которая, как мы знаем, не подобает нашему веку, но в тот век была вполне оправданна и принималась за истину. Семьдесят было число народов мира, означенных на скрижалях господних, и что таково, следовательно, число тех, кто вышел из чресел патриарха, – это не нуждалось в ясной, как дневной свет, проверке»¹.

Однако Зайдлин находит мостик из главы «Их семьдесят» в ту, которая содержит важнейший для всей книги рассказ о семи тучных и семи тощих коровах. Та глава называется «Семь или

¹ Манн Томас. Иосиф и его братья. Иосиф-кормилец. В: Манн Томас. Собрание сочинений в восьми томах. Том 5. ТЕРРА-Книжный клуб, М. 2009, стр. 362.

пять» и имеет номер семнадцать, т.е. семь плюс десять. В то время, как сорок девятая глава имеет в названии число семьдесят, т.е. семь раз по десять¹.

Бросим теперь взгляд на структуру другого романа Томаса Манна – *«Лотта в Веймаре»*, выпущенного в свет в 1939 году. Этот роман состоит из девяти глав, причем автор не стал ломать голову над их названиями – каждая глава именуется порядковым числительным: глава первая, глава вторая и так далее до главы девятой (II, 759). В русском переводе эти названия неотличимы, и особая роль седьмой главы читателю не видна. Чтобы увидеть особенность этой главы, нужно открыть немецкий оригинал романа. В нем тоже главы называются порядковыми числительными: «Erstes Kapitel», «Zweites Kapitel», «Drittes Kapitel» и так далее. И только одна глава имеет в названии определенный артикль: «Das Siebente Kapitel». Для немецкого глаза и уха отсутствие или наличие определенного артикля создает совершенно различные смысловые ситуации. Используя определенный артикль в названии только одной главы, автор дает читателю понять, что седьмая глава особенная. Она не только самая большая в романе, в ней впервые Гёте появляется «вживую», как действующее лицо, а не как предмет обсуждения другими лицами. Жаль, что в русском переводе это авторское указание пропало, переводчица Наталия Ман и редакторы собрания сочинений решили не обращать внимание читателя на такие тонкости, хотя для автора романа выделение седьмой главы было важно.

Наибольший простор для игр с магическими числами дает, конечно, важнейший роман позднего Томаса Манна *«Доктор Фаустус»*. Начнем, как принято, со структуры романа. Он делится на части, которым автор не дал никакого названия, они просто пронумерованы римскими цифрами. Правда, в тексте эти части называются главами. В начале главы XIV Серенус Цейтблом, от лица которого ведется повествование, признается:

«Мистика чисел не моя сфера, и то, что Адриан с давних пор был молчаливо, но явно склонен к ней, всегда меня огорчало» (V, 145).

Если считать, что Цейтблом – это образ Томаса Манна, а для такого мнения есть много оснований, то в этом высказывании явно слышится лукавство. Томас Манн был не менее Леверкюна склонен к мистике чисел, в чем мы еще раз убедимся, рассмотрев структуру *«Доктора Фаустуса»*.

Зная о трепетном отношении автора романа к числу *семь*, мы могли бы предположить, что последняя глава романа, а всего их около полусотни, имеет номер «семижды семь», т.е. 49. Но, к нашему разочарованию, это не так, роман кончается главой XLVII, т.е. 47. Значит, наше предположение ошибочно? Не будем спешить, лучше внимательно полистаем роман еще раз, начиная с первой главы. Вот мелькают главы с номерами десять, двадцать, тридцать... С этого момента будем листать чуть помедленнее. Далее идут главы 31, 32, 33, 34... Стоп! После главы 34 идет вовсе не тридцать пятая глава. Вместо нее в тексте стоит *«XXXIV продолжение»*, а за ней идет *«XXXIV окончание»*. И только потом появляется глава XXXV. Другими словами, роман состоит все-таки из сорока девяти глав, наши ожидания оправдались, только автор зачем-то выделил из всех главу под номером 34, повторив ее номер трижды. Все встало на свои места, и центральная по смыслу глава, описывающая встречу Леверкюна с чертом, располагается точно в середине романа: ее номер двадцать пять, перед ней и после нее ровно по двадцать четыре главы.

Не случайно эта выделенная из всех глава, повторенная трижды, имеет тот самый мистический номер 34, уже встречавшийся нам в *«Волшебной горе»*. Цифры числа 34, взятые сами по себе, тоже символичны. Тройка («троица») олицетворяет светлое, святое, небесное, а четверка («четыре стороны света») – темное, земное, мистическое, например, магический квадрат...

Некоторые исследователи, помня, что в школе Леверкюн сидел *«над уравнениями второй степени»*, играют вторыми степенями цифр 3 и 4, образующими таинственный номер 34². Квадрат числа 4, т.е. 16, задает количество ячеек в магическом квадрате, о котором мы поговорим ниже, квадрат тройки, т.е. 9, указывает на число кругов ада у Данте, что в романе о черте вполне уместно. Сумма квадратов тройки и четверки равна 25, т.е. номеру центральной главы романа, где герой встречается с князем тьмы. Кроме того, равенство $3^2 + 4^2 = 5^2$ напоминает о Пифагоре, чье имя уже встречалось в романе. Наконец, разность квадратов четверки и тройки возвращает нас к волшебной семерке, т.е. сумме цифр загадочного числа 34, гуляющего у Томаса Манна из романа в роман.

¹ Seidlín Oscar. Klassische und Moderne Klassiker: Goethe, Brentano, Eichendorff, Gerhart Hauptmann, Thomas Mann. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1972, S. 105.

² См., например, Puschmann Rosemarie. Magische Quadrat und Melancholie in Thomas Manns „Doktor Faustus“. AMPAL Verlag, Bielefeld 1983, S. 14.

Но не только сумма цифр числа 34 «приятна для души», не менее популярно в числовой магии и их произведение – число 12, дюжина. В «Докторе Фаустусе» главное изобретение Леверкюна – двенадцатизвучие, или додекафония. Это техника музыкальной композиции в действительности предложена Арнольдом Шёнбергом, не упомянутым в романе, что вызвало нешуточный скандал. Чувствовавший себя обворованным и обманутым Шёнберг заявил по этому поводу протест, написал несколько открытых писем в американские газеты. Чтобы снять с себя обвинения в плагиате, Томас Манн вынужден был в эпилоге добавить слова об истинном авторе:

Нелишне уведомить читателя, что манера музыкальной композиции, о которой говорится в главе XXII, так называемая двенадцатизвучковая, или серийная, техника в действительности является духовной собственностью современного композитора и теоретика Арнольда Шёнберга и в некоей идеальной связи соотносена мною с личностью вымышленного музыканта – трагическим героем моего романа. Да и вообще многими своими подробностями музыкально-теоретические разделы этой книги обязаны учению Шёнберга о гармонии» (V, 659)

В немецком оригинале, говоря о «современном композиторе и теоретике», Манн употребил неопределенный артикль, незаметный в русском переводе и имеющий смысл слова «один». Для Шёнберга такая приписка была равносильна пощечине. Он немедленно откликнулся в печати следующими словами:

Он (Томас Манн) только усугубил свою вину в желании меня умалить: он меня называет одним (!) современным композитором и теоретиком. Конечно, через два или три поколения все будут знать, кто из нас двоих современник другого (V, 694)

Прошло немало времени, пока конфликт между писателем и композитором был улажен. Занятно, что за год до выхода в свет «Доктора Фаустуса» Томас Манн вспомнил число 34 совсем по другому поводу. В 1946 году отмечалось семидесятилетие Бруно Вальтера, дирижера и композитора, давнего друга писателя. Поздравляя юбиляра, Томас Манн сетует на несовершенство английского языка:

Дорогой друг, это досадно. Только что мы после строгого испытательного срока длиной в 34 года договорились в дальнейшем обращаться друг к другу на "ты", а теперь я должен писать тебе письмо по случаю дня рождения, в котором это прекрасное начинание вообще не проявляется, так как на этом проклятом сверхцивилизированном английском даже к своей собаке обращаются «уои»¹.

Я уже обращал внимание читателя на то, что «строгий испытательный срок» не мог длиться 34 года и был, по крайней мере, на два года короче². Знакомство Кати и Томаса с Бруно Вальтером началось при «смешных обстоятельствах»: по дороге в школу Клаус Манн дергал Гретель Вальтер за волосы. Та пожаловалась отцу, и Бруно позвонил Кате Манн. В своих «Ненаписанных воспоминаниях» она начинает этот эпизод со слов «Мы были соседями по Герцогпарку»³.

В Герцогпарке Манны жили в двух местах: с 1910 по январь 1914 – в большой квартире на Мауэркирхерштрассе, 13, а с января 1914 по февраль 1933 – в роскошной собственной вилле на Пошингерштрассе, 1. Дом Вальтеров стоял на той же Мауэркирхерштрассе и имел номер 30. В книге воспоминаний «Тема и вариации» Бруно упоминает, что Манны жили в конце «короткой Пошингерштрассе, непосредственно на берегу Изара»⁴. В этот роскошный дом Томас Манн переехал с детьми в начале января 1914 года. В письме брату Генриху от 7 января Томас сообщает: «Я ведь с детьми перебрался в наш дом – без Кати, отчего, конечно, половина удовольствия полетела к чертям»⁵.

Катя в это время лечилась на высокогорном курорте в Швейцарии и вернулась домой только 12 мая 1914 года⁶. Таким образом, звонок Бруно Вальтера Кате Манн, с чего началось зна-

¹ Mann Thomas. An Bruno Walter zum siebzigsten Geburtstag. In: Mann Thomas. Werke in dreizehn Bände. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1960-1974. Band 10, S. 507.

² Беркович Евгений. Томас Манн в свете нашего опыта. «Иностранная литература», №9 2011.

³ Mann Katia. Meine ungeschriebenen Memoiren. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 54.

⁴ Walter Bruno. Thema und Variationen. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1960, S. 272.

⁵ Манн Г., Манн Т. Эпоха; Жизнь; Творчество. Прогресс, М. 1988, стр. 154.

⁶ Bürgin Hans, Mayer Hans-Otto. Thomas Mann. Eine Chronik seines Lebens. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 44.

комство, не мог произойти ранее лета 1914 года, а с учетом школьных каникул, скорее всего, случился осенью того года. Так что до семидесятилетия Бруно, отмечавшегося в сентябре 1946 года, прошло не более тридцати двух лет, а не тридцать четыре, как сказал в поздравлении Томас Манн.

Весьма вероятно, что эта ошибка связана с тем, что писатель в это время заканчивал «*Доктора Фаустуса*», в котором число 34 играет не менее важную роль, чем в «*Волшебной горе*», ведь оно лежит в основе магического квадрата, ставшего символом романа о немецком композиторе Леверкюне.

«МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ»

В романе «*Доктор Фаустус*» магический квадрат появляется в XII главе при описании студенческой комнаты Адриана Леверкюна в городе Галле:

Над пианино кнопками была прикреплена арифметическая гравюра, купленная им в лавке какого-то старьевщика: так называемый магический квадрат, вроде того, что наряду с песочными часами, циркулем, весами, многогранником и другими символами изображен на Дюреровской «Меланхолии». Как и там, он был поделен на шестнадцать полей, пронумерованных арабскими цифрами, так что «1» приходилось на правое нижнее поле, а «16» – на левое верхнее; волшебство – или курьез – состояло здесь в том, что эти цифры, как бы их ни складывали, сверху вниз, поперек или по диагонали, в сумме неизменно давали тридцать четыре» (V, 122).

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

И переехав в другой город, Адриан не расставался с этой картинкой:

«Все четыре с половиной года, проведенных им в Лейпциге, Адриан прожил в одной и той же двухкомнатной квартире на Петерштрассе, неподалеку от Collegium Beatae Virginis, где снова повесил над пианино магический квадрат» (V, 235).

Связь магического квадрата с двенадцатитоновой системой композиции явно обозначена в XXII главе романа, в которой Леверкюн объясняет другу Серенусу основы додекафонии. Сразу понявший суть Цейтблом нашел короткую формулу для услышанного:

Магический квадрат, – сказал я. – И ты надеешься, что всё это услышат? (V, 251)

Знарок творчества Томаса Манна и один из лучших его переводчиков – Соломон Апт – так раскрывает роль магического квадрата в структуре романа:

«Все линии романа связаны воедино по принципу контрапункта. То есть роман о композиторе построен как музыкальная композиция. Роман комментирует сам себя. Самым существенным его автокомментарием представляется нам упоминание «магического квадрата» – и как детали гравюры Дюрера «Меланхолия» (1514), и как такового. <...> Эта математическая закономерность теоретически пока не объяснена. Так вот, развязка у всех тематических линий романа одна и та же, как сумма цифр по вертикалям, горизонталям и диагоналям магического квадрата!».

Великий немецкий художник Альбрехт Дюрер изобразил магический квадрат на гравюре «*Меланхолия*», созданной в 1514 году. Этот год можно прочесть в нижнем ряду квадрата: два средних поля содержат как раз числа 15 и 14, вместе образующие нужный год. Но это еще не все! Гравюра создавалась в дни траура по скончавшейся недавно любимой матери художника. Правда, исследователи называют две различные даты смерти: одни говорят о шестнадцатом мая, другие на-

¹ Апт Соломон. Достоинство духа. В книге Манн Томас. Путь на Волшебную гору. Вагриус, М. 2008.

зывают семнадцатое. Но в любом случае эта траурная дата запечатлена на магическом квадрате. Дату 16 мая можно прочесть в первых двух числах левого столбца: 16 и 5 как раз и определяют число и месяц. Более замысловато находится дата 17 мая. Она представлена в двух средних столбцах квадрата. Числа верхней строки 3 и 2 в сумме дают номер месяца. А число 17 есть сумма по диагоналям расположенного в центре квадрата 2×2 : $10+7=6+11$.

Числа 4 и 1 в углах нижнего ряда представляют собой зашифрованные инициалы художника: 4-я буква алфавита есть «Д», 1-я буква – «А».

Подчеркнем еще раз, что «волшебная сумма» строк, столбцов и диагоналей квадрата есть знакомое нам число 34, несколько раз «всплывавшее» не только в «*Докторе Фаустусе*» (единственная глава, разделенная на три части, имеет этот номер), но и в «*Волшебной горе*» – вспомним хотя бы номер комнаты Ганса Касторпа и пророчество во время спиритического сеанса.

Перечислив несколько способов сложения чисел – «*сверху вниз, поперец или по диагонали*» – Томас Манн далеко не исчерпал все возможности этой забавной математической игрушки. Может быть, он не все эти возможности и знал. Отметим несколько других способов, как получить число 34, складывая числа из магического квадрата.

Во-первых, четыре числа в углах квадрата в сумме дают 34. Во-вторых, сумма чисел каждого из четырех квадратов 2×2 , прижатых к углам магического квадрата, равна все тому же числу 34. В-третьих, каждый из четырех квадратов 3×3 , вписанных в исходный магический квадрат, обладает таким свойством: если из такого квадрата вырезать средний ряд и средний столбец, то оставшиеся четыре числа в сумме дают точно 34. В-четвертых, четыре числа, стоящие в центре магического квадрата, тоже в сумме дают 34.

Вообще, этот маленький математический объект из шестнадцати первых натуральных чисел содержит в себе множество удивительных свойств. Даже нацисты, рассматривая магический квадрат Дюрера, увидели в нем отблески своей идеологии: если вписать в квадрат свастику, то четыре числа у ее концов тоже дают в сумме 34. И этим далеко не исчерпываются возможные комбинации чисел, дающих в сумме 34.

МУЗЫКА И МАТЕМАТИКА ПОД ЗНАКОМ САТУРНА

Дюреровская гравюра на меди «Меланхолия I», из которой Томас Манн взял в роман «*Доктор Фаустус*» магический квадрат, имеет к математике непосредственное отношение. Чтобы разобраться в этом, начнем издали.



Что мы видим на этой небольшой гравюре размером 23,9 на 16,8 сантиметров?

На низкой каменной ступеньке возле недостроенного дома сидит, глубоко задумавшись, крылатая женщина с темным лицом, на котором контрастно выделяются белки глаз. Одной рукой, сжатой в кулак, она подпирает голову, в другой руке, опирающейся на книгу, держит циркуль. И книга, и циркуль сейчас не при деле. На голове у женщины венок из каких-то растений, в которых знатоки-ботаники узнают цветы, живущие в воде, типа водяного лютика. Неподалеку расположено большое озеро или море, зловеще мерцающее в свете яркой кометы под радугой. В воздухе над водой летает существо, напоминающее летучую мышь, и держит транспарант с надписью по-латыни «Меланхолия I». Недалеко от женщины на огромном точильном камне или мельничном жернове сидит печальный амурчик, усердно карябающий какие-то каракули на грифельной доске. На земле у ног женщины улеглась худая, дрожащая от холода собака. Крылатая женщина сосредоточенно и печально думает

о чем-то своем, взгляд ее обращен в пустоту. К ее поясу прикреплены ключи и кошелек. На стене недостроенного строения висят рычажные весы, солнечные и песочные часы, колокол, под которым и располагается знаменитый магический квадрат. Незаконченность строения подчеркивает деревянная лестница, прислоненная к задней стене дома. На земле в беспорядке разбросаны разнообразные столярные инструменты и измерительные приборы: рубанок, пила, клещи, молоток, гвозди, небольшой тигель для плавки свинца, линейка, угольник, чернильница с пеналом... Под складками юбки прячутся на полу кузнечные меха, от которых виден только мундштук. Два предмета не являются инструментами в точном смысле слова, а представляют собой скорее символы прикладной математики, используемой в строительстве и столярном деле. Это точеный деревянный шар и вытесанный из камня полиэдр, многогранник. Они вместе с весами, песочными часами, магическим квадратом и циркулем символизируют роль математики, которую в своей работе используют и ремесленник на земле, и архитектор Вселенной. Эти символы заставляют вспомнить *«равенство меры, веса и числа»*, о котором говорит Платон в своих *«Диалогах»*¹.

Что же означает название гравюры Дюрера? Меланхолия – это один из четырех типов человеческих темпераментов по градации Гиппократ и Аристотеля. И в ученых кругах античных и средневековых медиков, и в народном фольклоре сложилось устойчивое представление, что и здоровый меланхолик обладает весьма неприятными чертами характера. Сухощавый, с темным цветом лица, он, как правило, жадный, неловкий, злой, трусливый, ненадежный, ленивый. К тому же он занудлив, забывчив, уныл, вял, неуклюж, избегает общества своих близких и презирует противоположный пол. Единственная достойная черта меланхолика, по представлениям древних, это его склонность к научным занятиям, которые он любит проводить в одиночестве. Недаром его часто изображали с книгой.

До Дюрера существовало множество изображений меланхоликов. По назначению их можно разделить на две большие группы. В медицинских изданиях меланхолия рассматривалась как болезнь, и рисунки показывали, как ее лечить. Способы лечения были разнообразны – от слушания музыки до битья кнутом. Напротив, в популярных книжках и народных календарях меланхолики изображались как обычные люди с типичными для этого темперамента недостатками. Чаще всего изображались скряги с туго набитыми кошельками и лентяи, которые спят вместо того, чтобы работать. Общим для всех этих изображений было представление о меланхолии как унылом бездействии.

Меланхолия на гравюре Дюрера изображена совершенно иначе. Да, она тоже бездействует, но в отличие от пряжи или пахаря, которые от лени впадают в сон, крылатая женщина напряженно размышляет, за ее оцепенением видится интенсивное, хотя и безрезультатное пока исследование какой-то проблемы. Она застыла не потому, что ленится работать, нет, работа стала для нее в данный момент бессмысленной. Ее энергия парализована не сном, а мыслью.

Дюрер предложил абсолютно новый тип меланхолии, не похожий на привычные для того времени образы ленивой растяпы-домохозяйки или сонливой пряжи. Перед нами творческая личность, наделенная сильным духом и мощным воображением. Она окружена инструментами для созидательной работы и научных исследований. И это позволяет нам отметить еще одну новую черту дюреровской гравюры, тесно связанную с темой настоящих заметок.

СЕМЬ СВОБОДНЫХ ИСКУССТВ

Здесь нужно сказать несколько слов о науках, которые в античности и средневековье часто называли «искусствами». У Аристотеля в *«Политике»* говорится: *«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно»*.

Символика «семи свободных искусств» явственно просматривается на гравюре Дюрера *«Меланхолия»*. Амурчик, сидящий на мельничном жернове и карябающий что-то на грифельной доске, символизирует грамматику, простейшую из семи наук. Весы с чашами – атрибут риторики,

¹ Подробнее см. в книге *Panofsky Erwin. Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, S. 209*. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Panofsky и номера страницы или номера иллюстрации.

стоящей на службе правоведения, а весы – известный символ юстиции. Магический квадрат, очевидно, представляет арифметику, циркуль – геометрию, шар – астрономию и т. д.¹.

К семи аристократическим свободным искусствам, предназначенным для свободных людей, Дюрер добавляет семь «механических, или технических искусств», требующих применения физической силы. Именно они используются ремесленниками, строителями, землемерами... Соответствующие атрибуты тоже разбросаны на полу перед сидящей крылатой Меланхолией. Это измерительные и строительные инструменты: рубанок, молоток, тигель и пр.

Как чистые, «свободные» искусства, так и технические, прикладные виды деятельности к началу XVI века были широко представлены на гравюрах, рисунках, картинах европейских художников. В частности, популярный в то время энциклопедический трактат Грегора Райша (Gregor Reisch, 1467(?)–1525) «Маргарита философия» (Margarita Philosophica) включал в себя двенадцать глав, из которых семь были посвящены «свободным искусствам». Каждая глава иллюстрировалась соответствующей гравюрой по дереву.

В одной из центральных глав книги приведен «Образ Геометрии» («Typus Geometriae»), созданный лет за 6-10 до дюреровской «Меланхолии». На гравюре изображена богато одетая женщина с циркулем в руке, что-то измеряющая на шаре². Циркуль, как мы помним, – это атрибут геометрии. Женщина, символизирующая геометрию, лишена эмоций, это некий абстрактный образ, скорее, ангельский, чем человеческий.

Дюрер слыл лучшим математиком среди художников своего времени. Его перу принадлежат несколько математических трактатов, получивших признание профессионалов-математиков. Многие предметы, характерные для «Образ Геометрии», можно найти и на гравюре «Меланхолия». Книга, чернильница и циркуль – атрибуты «чистой» геометрии, песочные часы с колоколом, рычажные весы – инструменты для измерений пространства и времени, столярные и строительные инструменты – продукты прикладной геометрии, наконец, вытесанный из камня полиэдр – символ описательной геометрии и учения о перспективе.

Отчего же геометрия, или «искусство измерений», играет такую важную роль в гравюре «Меланхолия»? Упомянутый нами исследователь творчества Дюрера Вильгельм Ветцольдт задает этот вопрос и сам на него отвечает:

Почему однако Дюрер выхватил из множества различных сатурнианских профессий и видов деятельности именно искусство измерений? Потому что мера, число и вес³ образовывали для него самого краеугольный камень собственной научной работы, потому что математика представлялась ему (и не только ему одному) центральной наукой (Waetzoldt, 106)

Заметим попутно, что в процессе работы над «Доктором Фаустусом» Томас Манн изучал солидную монографию Вильгельма Ветцольдта о Дюрере. В конце дневниковой записи от 19 апреля 1943 года отмечено: «В Дюрере Ветцольдта»⁴.

Обсуждаемая нами гравюра Дюрера демонстрирует слияние двух классических тем – «Меланхолии» из народных календарей и медицинских трактатов и «Геометрии» из философских трудов и энциклопедий. При этом художнику удалось оба образа представить в новом свете. Унылая тоска меланхолии приобрела у Дюрера энергию поиска истины, а к абстрактной чистоте и возвышенности геометрии художник добавил человеческие страсти и эмоции. Можно сказать, что на гравюре изображены «творческая меланхолия» и «очеловеченная геометрия».

¹ См., например, Waetzoldt Wilhelm. Dürer und seine Zeit. Büchergilde Gutenberg, Frankfurt a. M. Новое издание Phaidon Verlag, Zürich 1953, S. 104. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Waetzoldt и номера страницы.

² Гравюра воспроизведена, например, в книгах (Panofsky, илл. 229) и Klibansky Raymond, Panofsky Erwin, Saxl Fritz. Saturn und Melancholie. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1990, илл. 110. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Klibansky и номера страницы.

³ Выражение «мера, число и вес» встречается в самых разнообразных источниках. Например, у Платона в «Диалогах», у Еврипида в «Финикиянках», у Августина в «Творениях», в «Книге премудростей Соломона» и др. По-видимому, это выражение восходит к толкованию пророком Даниилом знаменитой надписи на стене «мене, текел, упарсин» на пиру у Вальтасара (Дан. 5:26-28)

⁴ Mann Thomas. Tagebücher 1940-1943, herausgegeben von Peter de Mendelssohn. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1982, S. 565. Фамилия автора монографии о Дюрере в публикации дневника Томаса Манна приведена с ошибкой: Waezoldt вместо Waetzoldt.

Возвышение меланхолии в общественном сознании имело еще одно следствие: оказалось, что планета Сатурн, имевшая ранее весьма дурную репутацию, обладает рядом несомненных достоинств. Этот феномен тоже связан с темой настоящих заметок.

Планетами в древности называли небесные тела, которые, в отличие от неподвижных звезд, перемещались по небосклону. Таких объектов было семь: Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн. Их наделяли качествами, присущими богам, чьи имена они носили. Планеты покровительствовали и различным типам темпераментов. На стороне меланхоликов был холодный и сухой Сатурн – старейший бог Земли, некогда управлявший всем миром, но свергнутый сыном Юпитером. Время правления Сатурна считалось на Земле «золотым веком».

Как черная желчь считалась худшим соком человеческого организма, так и Сатурн имел славу самой несчастливой планеты. Рожденные под знаком Сатурна были обречены на печальную, тоскливую жизнь, и даже богатство и власть, которыми могущественный когда-то бог самой высокой планеты наделял своих подопечных, не делали этих людей счастливыми.

Признание за Сатурном покровительства ученым не могло пересилить народной веры в опасность, которую несет эта несчастливая планета. Поэтому рекомендовалось использовать астрологические амулеты, которые с помощью силы Юпитера ослабляли бы воздействие Сатурна. Одним из таких амулетов являлся магический квадрат, подчиненный, как и вся арифметика, власти Юпитера. Именно как средство против меланхолии, как противоядие от Сатурна и появился магический квадрат на гравюре Дюрера. Этот атрибут светлого и спокойного Юпитера явственно отличается от многочисленных предметов на гравюре, символизирующих мрачный Сатурн.

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ МУЗЫКАНТ

Герой романа Томаса Манна – не математик, а музыкант. На первый взгляд, Адриан Леверкюн вовсе не меланхолик, он много и результативно трудится, пустым созерцателем его не назовешь. И все же в разных частях романа можно заметить у него типичные меланхолические черты. Судя по всему, это качество у него наследственное.

Явным меланхоликом представлен отец Адриана – страдающий от периодической мигрени Ионатан Леверкюн. Его любимое занятие – изучение красивых узоров на белом фоне новокаледонской раковины, – как и следовало ожидать, не дает никаких практических результатов. Рассказчик так характеризует потомка *«искусных ремесленников и зажиточных земледельцев»* (профессии под знаком Сатурна):

Да, папаша Леверкюн был, как сказано, любомудром и созерцателем, и его исследования, если можно говорить об исследовании там, где все сводилось к мечтательному умствования, всегда принимали определенное, а именно – мистическое или смутно-полумистическое направление, в котором, думаю мне, почти неизбежно движется человеческая мысль, стремящаяся постичь природу (V, 27)

Сын «любомудра и созерцателя» тоже временами был готов, подобно крылатой женщине на гравюре Дюрера, беспечно уставиться в пустоту. Вот что случалось с ним *«на концерте или в театре, когда его поражал какой-нибудь незаметный для массы слушателей искусный трюк или остроумный ход внутри музыкальной структуры, какой-нибудь тонкий психологический намек в диалоге драмы... Он запрокидывал голову, делал легкий, короткий выдох ртом и носом... Но глаза его при этом настораживались, искали чего-то в пустоте, и еще темнее становился их крапленный металлом сумрак»* (V, 43).

В заключительной сцене последней главы *«он сидел, скрестив руки, слегка склонив голову набок, глядя прямо перед собой, только чуть-чуть вверх»* (V, 639). Сходство с дюреровской Меланхолией усиливается, если обратить внимание на его позу: *«он подпер щеку рукой и помолчал, словно в раздумье»* (V, 640).

Одна из характернейших черт меланхолии – одиночество. Меланхолик стремится быть один, но страдает от отсутствия близких людей. Это в полной мере относится к Адриану Леверкюну. Томас Манн неоднократно отмечает эту черту композитора. В первой же главе романа рассказчик сообщает:

Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царил стужа (V, 13)

И в счастливые времена студенчества Адриан страдает без друзей:

Водворившись в Галле, он даже просил меня к нему приехать – просьба, видимо, продиктованная чувством сиротливого одиночества (V, 114)

В другом месте Серенус Цейтблом замечает:

Кое-кого, наверно, поражали его робость, его одиночество, вся гордая трудность его бытия (V, 234)

В письме другу Леверкюн признается:

Я ищу, <...> я мысленно спрашиваю и прислушиваюсь к ответу извне, где находится место, в котором можно было бы, укрывшись от мира и без помех, поговорить один на один со своею жизнью, своей судьбой... (V, 274)

Даже близкие люди не понимали «*Адрианово одиночество, горестность, тревожность такого уединения*» (V, 338). И несколькими строками ниже Серенус прямо говорит о «*холоде меланхолии*» (V, 339).

Местечко Пфейферинг, в Верхней Баварии, которое выбрал для проживания уже взрослевший Леверкюн, оказалось удивительно похожим на городок Кайзерсаперн на Заале, в котором прошли его школьные годы. Цейтблом оценивает это как симптом той же болезни:

Выбор места, словно воскрешающего обстановку раннего детства, прибежища в давно минувшем или хотя бы во внешнем антураже минувшего, мог, конечно, свидетельствовать о глубине привязанностей, но в большей мере свидетельствовал о тяжелом, очень тяжелом душевном состоянии (V, 39)

Все симптомы меланхолии, грозящей обернуться страшной душевной болезнью, здесь налицо. Но мы помним, что этот темперамент имеет и положительные качества. Это, среди прочего, математические способности, любовь к математике. И они у Леверкюна явно заметны.

Пожалуй, лучше всего о роли математики сказано в романе словами профессора Нонненмахера, университетского светила, увлекательно и вдохновенно читавшего лекцию о великом Пифагоре, который «*математику, абстрактную пропорцию, число возвел в принцип становления и бытия мира*» (V, 123).

Леверкюн тоже возвел числовые ряды в принцип становления музыки. Эту идею пересказывает его верный друг Серенус Цейтблом:

Он указал мне тогда на магический квадрат музыкального стиля или техники, создающей предельное разнообразие звуковых комбинаций из одного и того же неизменного материала, так что не остается ничего нетематического, ничего, что не было бы вариацией все того же самого. Этот стиль, эта техника, утверждал он, не допускает ни единого звука, который не выполнял бы функции мотива в конструктивном целом, – так что ни одной свободной ноты более не существует» (V, 628)

Такую роль магического квадрата мы уже обсуждали. По меткому выражению Соломона Апта, этот квадрат является «автокомментарием романа», моделью главного изобретения Леверкюна – додекафонии. Но, как мы видели при обсуждении гравюры Дюрера, магический квадрат – это еще и противоядие от меланхолии. Это объясняет тот факт, что Леверкюн не расстается с ним ни на день. Переезжая из города в город, он берет изображение квадрата с собой и вешает его на стену рядом со своим инструментом, т.е. в том месте, в котором он проводит самые важные часы жизни.

Как мы помним, магический квадрат появляется первый раз в романе при описании студенческой комнаты Адриана в Галле. В XII главе автор сообщает, что он «*наряду с песочными часами, циркулем, весами, многогранником и другими символами изображен на Дюреровской «Меланхолии» (V, 122)*».

Обратим внимание, какие детали гравюры Дюрера выбрал Томас Манн для ее характеристики: песочные часы, циркуль, весы, многогранник... Мы видели, что Дюрер изобразил множество разных предметов, имеющих отношение к Сатурну и меланхолии, среди них и столярные инструменты, и животные, ангелочек, лестница, гвозди, солнечные часы, кузнечные меха, показаны и природные катаклизмы... Но автор «*Доктора Фаустуса*» отметил только то, что относится к «творческой меланхолии», является атрибутом науки, прежде всего, «искусства измерения», т.е. геометрии. Этим он показывает близость позиций Леверкюна и Дюрера в отношении математики. Для Дюрера «*мера, число и вес образовывали... краеугольный камень собственной научной работы*». Чем была математика

тика для Дюрера-живописца, тем стала она и для Левекюна-композитора. Для художника математика – «*центральная из наук*», для музыканта – «*интереснейшая из наук*», ибо сама музыка, по его мнению, является «*магическим слиянием богословия и математики*».

На этой торжественной ноте можно было бы закончить размышления математика над текстами Томаса Манна. Но затронув тему «математика под знаком Сатурна», нельзя обойти молчанием и другую сторону медали, а именно, «музыку под знаком Сатурна». Такой поворот темы сулит множество интересных вопросов и неожиданных выводов. Ведь два понятия – музыка и Сатурн – до Томаса Манна считались несовместимыми.

Обратимся еще раз к гравюре Дюрера «*Меланхолия*». Среди множества предметов-символов, изображенных на ней, нет ни одного, который бы напоминал о музыке. Там есть приборы для измерений, для научных изысканий, есть инструменты строителя и столяра, типичных профессий, находящихся под покровительством Сатурна, но нет и намека на какой-нибудь музыкальный инструмент. И это не удивительно. С античных времен меланхолия, как и ее покровитель Сатурн, были далеки от музыки. На старинных гравюрах меланхолики никогда не изображались поющими или играющими на каких-то музыкальных инструментах.

Напротив, сангвиники, находившиеся под покровительством Юпитера, часто изображаются с арфой или лютней. Музыка была одним из лечебных средств, к которым прибегали врачи, чтобы помочь страдающим от тяжелых депрессий.

Со времен Саула и Давида струнные музыкальные инструменты считались наиболее эффективным средством борьбы с тоской и депрессией. Музыка, типично сангвинистическое искусство, разгоняла тоску и грусть, служило противоводием от опасного меланхолического темперамента, считавшимся немзыкальным.

В романе «*Доктор Фаустус*» Томас Манн радикально перевернул представление о взаимоотношениях музыки и меланхолии: главный герой его романа сочетает в себе, казалось бы, несовместимое – он и меланхолик, и музыкант. В большом письме своему ментору Кречмару Левекюн сравнивает музыку с алхимией и черной магией, а композитора – с исследователем, ведущим алхимические поиски в «*герметически закупоренной лаборатории*» (V, 173).

Какую же музыку мог создать такой композитор, если он погружен в состояние меланхолии? Современник и духовный наставник Дюрера, реформатор церкви Мартин Лютер проповедовал, что «*печаль, эпидемия и хандра приходят от сатаны, так как сатана есть дух печали*» (Klibansky, 563). Меланхолик, по Лютеру, уже находится в лапах сатаны. Союз с чертом, который погубил Левекюна, был изначально предрешен¹.

Мне представляется, что сама мысль о возможности «сатанинской музыки» пришла в голову Томасу Манну в результате трагического знакомства с порядками нацистской Германии. В «*Истории „Доктора Фаустуса“*» автор романа вспоминает о «*всегдашней, а в молодости благодаря колдовской критике Ницше особенно горячей и глубокой приверженности к миру Вагнера, об остром и, пожалуй, даже определяющем влиянии двусмысленного волшебства этого искусства на мою юность*». И тут же с горечью констатирует, что это искусство оказалось «*чудовищно пофамленным ролью, вытвешив на его долю в национал-социалистском государстве*» (IX, 360). В том, что музыке Вагнера пришлось сыграть эту роль в «Третьем рейхе», есть доля вины и самого композитора, что с болью должен был признать и Томас Манн.

Еще одно сильное музыкальное разочарование связано с композитором Хансом Пфизнером², автором знаменитой оперы «*Палестрина*», которой Томас Манн восхищался в годы Первой мировой войны. В письме от 6 ноября 1917 года шурина Петеру Прингсхайму, который в те годы томился в Австралии в концлагере для военнопленных и интернированных лиц, Томас писал, что опера Пфизнера: «*в духовном и культурном смысле представляет собой исключительную высокую работу, причем в высшей степени немецкую, нечто из области Фауста-Дюрера, и своей исповедальностью очень точно мне подходит*»³.

В этом же письме писатель признается, что в тот сезон слушал оперу пять раз и написал о ней большую, в двадцать две журнальных страницы, рецензию в «*Нойе Рундшау*». Кроме того, очерк о «*Палестрине*» вошел в книгу Манна «*Размышления аполитичного*», увидевшую свет в 1918 году.

¹ Более подробно о музыке под знаком Сатурна можно прочитать в основательной статье *Borchmeyer Dieter. Musik im Zeichen Saturns. Melancholie und Heiterkeit in Thomas Manns „Doktor Faustus“*. In: Thomas Mann Jahrbuch. Band 7. 1994. Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt a. M. 1995.

² Ханс Пфизнер (Hans Erich Pfitzner, 1869-1949) – немецкий композитор, дирижер, музыкальный писатель и публицист.

³ *Mann Thomas. Briefe 1889-1936*. Hrsg. von Erika Mann. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1962, S. 141-142.

Пфцицнер всю жизнь придерживался мнения, что великая музыка создается по вдохновению, ниспосланному свыше. В опере «Палестрина», либретто которой написал сам Пфцицнер, главному герою, тоже композитору Палестрине, потерявшему на время способность творить, спустившийся с небес ангел спел новую мессу, и вновь обретший творческие силы Палестрина записал ее за одну ночь. Похожая сцена воспроизводится и в «Докторе Фаустусе» во время знаменитого разговора Леверкюна с чертом:

Действительно счастливое, неистовое, несомненное вдохновение, вдохновение, не задумывающееся о выборе, не знающее поправок и уловок, такое вдохновение, когда все воспринимается как благословенный диктат, когда стирает дух, когда всего тебя пронизывает священный трепет, а из глаз катятся слезы блаженства, — оно не от бога, слишком уж много оперирующего разумом, оно от черта, истинного владыки энтузиазма (V, 310)

Показательно, что сцена с чертом происходит в том самом итальянском городке Палестрина, откуда родом герой оперы Пфцицнера, композитор, носивший то же имя. В заключительной главе «Доктора Фаустуса» Леверкюн признается, что и его музыка писалась без сатанинских «вливаний»:

II во мне часто начинали звучать то орган, то арфа, лютни, скрипки, трубы, свирели, кривые рога и малые дудочки, каждая о четырех голосах; мог бы подумать, что я на небе, если бы не знал о другом. Много из этого я записал. Часто приходили ко мне в комнату и некие дети, мальчики и девочки, которые пели мне с листа хоралы, при этом хитро улыбались и переглядывались между собой. Красивенькие дети! Иногда волосы у них поднимались словно от горячего воздуха, и они приглаживали их пухлыми ручками, а на ручках были ямочки и в каждой по маленькому рубину. Из их ноздрей иной раз, извиваясь, выползали желтые червяки, сбегали к ним на грудь и исчезали... (V, 647)

Другими словами, ангельская музыка в представлении Леверкюна становилась дьявольской. С момента крушения кайзеровской Германии пути Томаса Манна и Ганса Пфцицнера разошлись. Манн отказался от националистических убеждений, выбросил из «Размышлений аполитичного» наиболее одиозные места. В 1922 году писатель открыто провозгласил себя демократом и республиканцем, призвал молодых немцев поддержать недавно рожденную Веймарскую республику.

Эволюция убеждений Пфцицнера происходила в противоположном направлении. После первой мировой войны его взгляды сильно политизировались, из аполитичного романтического художника он превратился, по словам Манна, в «антидемократического националиста». Веймарскую республику композитор, в отличие от Томаса, не признал, в своих взглядах отошел еще дальше вправо, примкнув к национал-социалистам, и стал убежденным последователем Гитлера. Друга-покровителя Пфцицнер нашел в лице Ганса Франка, генерал-губернатора Польши, под чьим началом строились и функционировали крупнейшие фабрики смерти – концлагеря уничтожения. В 1944 году Пфцицнер привез в подарок Франку увертюру «Краковская встреча» («Krakauer Begrüßung»), впервые исполненную в тридцати километрах от Освенцима.

Когда Нюрнбергский трибунал в 1946 году приговорил Франка к повешению, Пфцицнер послал ему в камеру телеграмму со словами благодарности и поддержки. Позже об этой телеграмме узнал и Томас Манн: о ней писатель говорит в письме Бруно Вальтеру от 26.3.1948: «Телеграмма Пфцицнера Франку тоже недурна. II чудной же вы, музыканты, народ!»¹. Ганса Франка повесили 16 октября 1946 года.

В 1933 году Пфцицнер открыто выступил против Томаса Манна, подписав знаменитый «Протест вагнеровского города Мюнхена» против доклада писателя «Страдания и величие Рихарда Вагнера», сделанного зимой того же года в Мюнхенском университете по случаю пятидесятилетия со дня смерти Вагнера. Доклад этот через пару дней был повторен в Амстердаме, куда Томас и Катя выехали 11 февраля, собираясь после выступлений в трех европейских столицах (кроме Амстердама планировались еще Париж и Брюссель) и небольшого отдыха вернуться домой. Но в Германию они больше не вернулись, оказавшись до конца жизни в добровольном изгнании.

Так Томас Манн на себе почувствовал, как музыка может служить злу, а музыканты – преступникам. В заключительной главе своего «Романа одного романа» Томас Манн, покаявшись в своей

¹ Mann Thomas. Briefe 1848-1955 und Nachlese. Hrsg. von Erika Mann. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1965, S. 29.

«глубокой приверженности к миру Вагнера», искусство которого оказалось «чудовищно посрамленным ролью, выпавшей на его долю в национал-социалистском государстве», пишет о работе над последней главой «Доктора Фаустуса»:

XLVII глава, глава собрания и исповеди, была начата на авось во второй день нового года, и, помнится, в тот же вечер я слушал чудесное си-мажорное трио Шуберта, предаваясь мыслям о счастливом состоянии музыки, сказавшемся в этом произведении, о позднейшей судьбе искусства, о потерянном рае (IX, 361)

В дневниковой записи за тот же день – четверг второго января 1947 года – мы читаем: «по вечерам знакомое трио Шуберта. Счастливое состояние музыки. Хорошо бы, чтобы она оставалась на этом уровне» (Tagebücher 1946-1948, 83).

Писатель признается, что есть и другие уровни, далекие от счастья. Музыка, созданная под влиянием меланхолии, под знаком Сатурна, неминуемо ведет к союзу с чертом.

Конфликт живой, теплой неупорядоченности и застывшего, холодного порядка – сквозная тема творчества писателя. Казалось бы, математика, вносящая в мир систему, олицетворяющая «меру, число, вес», тоже противостоит жизни, ее непознанной магии и тайне. Но введенный с картины Дюрера в роман «Доктор Фаустус» магический квадрат ломает эту простую схему. Этот математический объект символизирует тайну создания музыкального произведения, одновременно являясь противоядием от страшной меланхолии и тоски, убивающих все живое и толкающих человека к союзу с дьяволом. «Слияние разума с магией» – вот чем оказывается математика у Томаса Манна. Душа, что многие математики с ним согласятся.

МАТЕМАТИКА В АРСЕНАЛЕ ПИСАТЕЛЯ НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ ТОМАСА МАННА

«ИРОНИЯ, ИСПОЛНЕННАЯ ЛЮБВИ»

В руках мастера любой материал, любое понятие, даже научное, могут использоваться при создании литературного произведения. Математика – не исключение.

Роман Томаса Манна «Королевское высочество»¹ вышел в свет в 1909 году, через четыре года после свадьбы автора и Кати Прингсхайм. Сюжет произведения во многом автобиографичен, в главных героях – принце Клаусе-Генрихе и студентке Имме Шпёльман, изучающей математику, – легко угадываются Томас и Катя. История знакомства и женитьбы наследника престола небольшой страны с миллионом жителей и дочери заокеанского миллиардера написана с легкой иронией, которой Манн в литературной мастерской считал одним из важнейших инструментов.

В лекции «Искусство романа», прочитанной в 1939 году студентам Принстонского университета, писатель привел афоризм Гёте, удачно совпавший с его собственным мнением: «Ирония – та щепотка соли, без которой всякое блюдо вообще несъедобно» (X, 277 – перевод Ефима Эткинда). Развивая эту мысль, Томас Манн пришел к смелому обобщению: «Объективность – это ирония, и дух эпического искусства – дух иронии» (X, 277).

Впервые Томас Манн упомянул афоризм Гёте в дневниковой записи от 24 сентября 1934 года. Она начинается с таких слов: «Гёте называет иронию „незаменимой солью, которая только и делает кушанье съедобным“»².

Через пять лет это выражение Гёте, которое Томас Манн назвал «удивительным, незабываемым суждением» (X, 277), появилось в романе «Лотта в Веймаре», законченном в том же 1939 году, в котором была прочитана лекция в Принстоне. Доктор Фридрих Вильгельм Риммер, секретарь и доверенное лицо Гёте, передает героине романа слова великого поэта, которые в переводе Наталии Ман звучат так: «Ирония это та крупинка соли, которая и делает кушанье съедобным» (II, 432).

Острым инструментом нужно пользоваться осторожно, помня предостережение Фридриха Ницше: «Ирония уместна лишь как педагогическое средство в устах учителя в общении с учениками всякого рода»;

¹ Манн Томас. Королевское высочество. В книге: Манн Томас. Собрание сочинений в десяти томах. Том второй. Государственное издательство художественной литературы, М. 1959. В дальнейшем ссылки на это собрание сочинений будут даваться в круглых скобках с указанием тома и, через запятую, номера страницы.

² Манн Томас. Tagebücher 1933-1934. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1977, S. 530. Если не оговорено противное, перевод с немецкого мой – Е.Б.

цель ее состоит в том, чтобы укротить и пристыдить, но тем целительным способом, который пробуждает добрые намерения и влечет нас отплатить почитанием и благодарностью»¹.

К такому пониманию иронии призывает и Томас Манн: «...не следует думать, что ей сопутствует холодность и равнодушие, насмешка и издевка. Эпическая ирония – это скорее ирония сердца, ирония, исполненная любви; это величие, питающее нежность к малому» (X, 278).

Об иронии в арсенале писателя Томаса Манна можно было бы говорить долго, но нам пора перейти к теме этих заметок: какую роль при этом играет в его творчестве математика? Хороший пример иронии с математическим подтекстом дает следующий эпизод из романа: во время знакомства с принцем Имма рассказывает, что прибыла из Америки на пароходе-гиганте с концертными залами и спортивными площадками.

«У него было пять этажей, сказала фрейлейн Штёльман.

– Считая снизу? – спросил Клаус-Генрих.

– Разумеется. Сверху их было бы шесть, – ответила она, не задумываясь» (II, 229).

Принц был сбит с толку и долго не мог понять, что над ним смеются.

«В ПРАВЕДНОМ ГНЕВЕ БРОСИЛА КНИГУ В ГОЛОВУ»

Трудно найти область науки, от которой Томас Манн был бы столь же далек, как от математики. В школе он, конечно, изучал арифметику и геометрию, в сохранившихся записных книжках остались его рисунки пирамиды и конуса с формулами для вычисления их объема.

Особыми успехами в учебе будущий нобелевский лауреат похвастаться не мог. Три раза он оставался на второй год в школах Любека: один раз еще в восьмом классе так называемой «прогимназии» доктора Бузеннуса и два раза в гимназии имени Катарины (Катаринеум). Так что, вместо положенных трех лет на учебу в восьмом, девятом и десятом классах Томасу потребовалось пять. На этом он свое школьное образование закончил, с трудом получив так называемое «Свидетельство вольноопределяющегося односторонника»², что соответствует сегодняшнему аттестату зрелости по окончании десятилетки. Этот документ не давал права поступления в университет, полный курс гимназии предполагал обучение еще в трех классах, одиннадцатом, двенадцатом и тринадцатом, и сдачу выпускных экзаменов (абитур). Но Томас и не собирался изучать науки, а для служащего страховой компании полученного в Любеке «Свидетельства» было достаточно, и девятнадцатилетний юноша и отправился начинать взрослую жизнь в Мюнхен, где уже обосновались его мать, братья и сестры.

Оценки в школьном аттестате отражали его прилежание: выше «удовлетворительно» (befriedigend), что соответствовало «тройке», Томас Манн не получил ни по одному предмету. А по геометрии и ряду других дисциплин в аттестате стояла «тройка с минусом» (noch befriedigend). Правда, это еще ничего не говорит о его действительных знаниях: по немецкому языку будущий классик немецкой литературы тоже имел лишь «удовлетворительно».

В «Очерке моей жизни», написанном в 1930 году, Томас Манн так объясняет причины своих школьных неудач:

«Я ненавидел школу и до самого конца учения не удовлетворял тем требованиям, которые она ко мне предъявляла. Я презирал школьную среду, критиковал манеры тех, кто властвовал над нами в стенах школы, и рано стал в своего рода литературскую оппозицию ее духу, ее дисциплине, принятым в ней методам дрессировки» (IX, 94)

Если настойчивый читатель не ограничится этой цитатой и прочитает еще несколько строк текста Томаса Манна в русском переводе Анны Кулишер, то обязательно споткнется на фразе, в которой писатель подвел итог своего школьного образования:

«Предназначенный стать купцом – наверно, отец поначалу прочил меня в наследники фирмы, – я посещал реальную гимназию «Катаринеум», но достиг только до свидетельства на право одностороннего отбывания воинской повинности, то есть до перехода в третий класс» (IX, 94)

¹ Ницше Фридрих. Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов. В книге Ницше Фридрих. Сочинения в двух томах. Том 1. «Мысль», М. 1990, стр. 411.

² „Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligen Militärdienst“ – дословно «Свидетельство о праве на одностороннюю военную службу в качестве вольноопределяющегося».

Здесь мы в очередной раз сталкиваемся со странностями перевода, о чем я уже писал в статье «Работа над ошибками»¹. Без всякого пояснения переводчица Анна Кулишер нумерует гимназические классы, начиная с последнего, выпускного, а не так, как принято сейчас в российских школах². В оригинале автобиографии Томас Манн использует принятые в Германии латинские названия для классов гимназии: «оберприма» для выпускного, тринадцатого, «унтерприма» для предыдущего, двенадцатого, далее идут «оберсекунда» для одиннадцатого и «унтерсекунда» для десятого и т. д. Концовка его фразы о том, когда он покинул гимназию, звучит дословно так: «дотянул только... до перехода в оберсекунду»³. Т.е. Томас покинул гимназию «до перехода в третий класс», считая от выпускного, тринадцатого. Будущий нобелевский лауреат с трудом окончил лишь десять классов «реальной гимназии».

В семье Томаса и Кати, похоже, не придавали математике большого значения. Только у Элизабет в аттестате стоит оценка «превосходно», остальные дети Волшебника получали по арифметике, алгебре, геометрии и тригонометрии сплошь «неудовлетворительно». Катя, успешно сдавшая гимназические экзамены и учившаяся несколько лет в университете, считалась в семье самой эрудированной, ее называли «маленькой ученой»⁴. Даже когда дети стали выше матери ростом, она «значительно превосходила их в любой науке». Эрика вспоминала, как Миляйн (так звали Катю в семье) однажды «в праведном гневе бросила книгу ей в голову», из-за того, что та была не в состоянии понять сферическую тригонометрию⁵.

Хотя в записных книжках и в дневниках Томаса Манна об этом нет прямых указаний, можно допустить, что Катя просматривала и при необходимости корректировала математические курсы в произведениях писателя. Во всяком случае, это предположение легко объясняет тот удивительный факт, что в математических рассуждениях Томаса Манна нет ошибок, столь часто встречающихся у людей, далеких от предмета, который они обсуждают. Однако только влиянием Кати этот факт объяснить не удастся. У писателя есть ранняя новелла «Маленький господин Фридеман», написанная в 1896 году и опубликованная в виде книги в 1898 году, т. е. задолго до встречи с Катей.

В новелле упоминается студент-математик, который на приеме в доме героини увлек беседой группу гостей:

«Справа, ближе к двери, вокруг столика расположилось небольшое общество, средоточием которого являлся студент. Он утверждал, что через одну точку к данной прямой можно провести более чем одну параллельную линию. Супруга присяжного поверенного господжа Хагенштрем воскликнула: "Быть этого не может!" В ответ на что он доказал это столь безошибочно, что все были вынуждены глубокомысленно согласиться» (VII, 36).

В этом пассаже речь идет о знаменитом пятом постулате Эвклида, или аксиоме о параллельных прямых, с давних пор привлекавшей внимание математиков. В XIX веке удалось доказать, что, наряду с евклидовой геометрией, существует и другие, неевклидовы, геометрии, в которых как раз справедливо утверждение студента: «через одну точку к данной прямой можно провести более чем одну параллельную линию».

Идеи о возможности неевклидовых геометрий высказывались в первой половине XIX века Карлом Гауссом, Янушем Бояи, Фердинандом Швайкартом, Францем Тауринусом и Николаем Лобачевским. Строгое доказательство независимости пятого постулата Эвклида от других аксиом появилось лишь в семидесятых годах девятнадцатого века в работах Феликса Клейна.

Поразительно не только то, что в новелле начинающего литератора Томаса Манна совершенно корректно формулируется проблема неевклидовых геометрий. Удивительно, что вообще в художественном произведении обсуждается научный результат, получивший строгое обоснование всего несколько лет назад.

Совсем иначе показана математика в знаменитой новелле «Смерть в Венеции», появившейся на свет через пятнадцать лет после «Маленького господина Фридемана». Здесь речь идет не о какой-то конкретной теории или математической проблеме. Повзрослевший Томас Манн рассуждает, скорее, о философии математики.

¹ Беркович Евгений. Работа над ошибками. Заметки на полях автобиографии Томаса Манна. «Вопросы литературы», № 1 2012.

² Это косвенно подтверждают упомянутые в тексте автобиографии шестой класс, когда стихи Томаса «уяснили начальству строптивость моей своеобразной натурь», а также четвертый класс, в котором преподавал немецкий и латынь учитель, через много лет встретившийся писателю в Любеке «по случаю празднования семисотлетия вольного города».

³ «...bis zur Versetzung nach Obersekunda» (см., например, Mann Thomas. Über mich selbst. Autobiographische Schriften. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 1994, S. 101).

⁴ Mann Erika. Mein Vater, der Zauberer. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 1999, S. 274.

⁵ Там же.

Герой новеллы писатель Густав фон Ашпенбах, попав на отдых в Венецию, был поражен красотой мальчика Тадзио. Сидя в кресле на пляже, писатель рассуждает о красоте:

«Образ и отражение! Его глаза видели благородную фигуру у кромки синевы, и он в восторженном упоении думал, что постигает взором самую красоту, форму как божественную мысль, единственное и чистое совершенство, обитающее мир духа и здесь представшее ему в образе и подобии человеческом, дабы прелестью своей побудить его к благоговейному поклонению» (VII, 493)

В этом рассуждении явно просматривается учение Платона об идеях, которые являются прообразами и истоками всех вещей. Идею можно усмотреть лишь умственным взором, в то время как реальный образ этой идеи доступен человеку с обычным зрением. И так же, как Платон, Томас Манн проводит аналогию с математикой:

«Амур, право же, уподобляется математикам, которые учат малоспособных детей, показывая им осязаемые изображения чистых форм, — так и этот бог, чтобы сделать для нас духовное зримым, охотно использует образ и цвет человеческой юности, которую он делает орудием памяти и украшает всеми отблесками красоты, так что при виде ее боль и надежда загораются в нас» (VII, 493)

«Чистыми формами» являются, например, идеи круга, угла, треугольника... У Платона «четырёхугольник сам по себе» — это чистая форма, идея четырёхугольника. Томас Манн использует математику в новелле «Смерть в Венеции», чтобы проиллюстрировать предложенную им эротическую эстетику в духе платоновского учения об идеях.

Особую роль при этом Томас Манн отводит солнцу. Восторженный Ашпенбах поет хвалу светилу:

«Разве не читал он где-то, что солнце отвлекает наше внимание от интеллектуального и нацеливает его на чувственное? Оно так дурманит и завораживает, еще говорилась там, наш разум и память, что душа в упоении забывает о себе, взгляд ее прикован к прекраснейшему из освещенных солнцем предметов, более того: лишь с помощью тела может она тогда подняться до истинно высокого созерцания» (VII, 493)

Через двадцать семь лет в романе «Лотта в Веймаре» писатель снова вспомнит о солнце в связи с математическими объектами. Красоту теперь олицетворяет не юношеское тело, а кристалл пиапита, бесцветного опала. Шестидесятисемилетний тайный советник Гёте восхищается:

«Я не могу на него взглянуться и все думаю, ведь это свет, это точность, ясность, а? Это произведение искусства, или, вернее, произведение и проявление природы, космоса, духовного пространства, проецирующего на него свою вечную геометрию и тем самым делающего ее пространственной! Посмотри на эти точные ребра и мерцающие плоскости, — и весь он таков; я мысленно называю это идеальной проструктуренностью. Ибо вся штука имеет единый, целиком ее проникающий, наружно и внутренне обуславливающий, повторяющийся вид и форму, которыми определены оси и кристаллическая решетка; а это-то и роднит его с солнцем, со светом» (II, 660)

Здесь тоже «вечная геометрия» — это чистая платоновская идея, выраженная языком математики, а солнце — инструмент для воплощения идеи в материальный объект — кристалл.

Но не только в природных явлениях проявляются идеи математики и красоты. Они могут быть реализовываться и в предметах рукотворных. В романе «Лотта в Веймаре» Гёте продолжает:

«Если хочешь знать мое мнение, то я считаю, что в колоссально разросшихся геометрических гранях и плоскостях египетских пирамид заложен тот же тайный смысл: соотношение со светом, солнцем, пирамиды — это солнечные пятна, гигантские кристаллы, грандиозное подражание духовно-космическому миру, созданное рукой человека» (II, 660).

«АЛГЕБРА КУДА СЛОЖНЕЕ, ПРИНЦ...»

Вернемся к «Королевскому высочеству» и отметим, что математика в романе выполняет различные функции. Она используется автором не только для характеристики Иммы Шпёльман и в качестве материала для иронии, но выступает как средство, объединяющее героев романа, делающее их ближе и роднее друг другу.

После того, как Клаус-Генрих по просьбе своего старшего брата, Великого герцога Альбрехта II, взялся исполнять все функции главы государства и получил титул «королевское высочест-

во», он узнал о бедственном финансовом положении государства. Сам первый министр, барон Кнобельсдорф ознакомил принца во всех подробностях «с цифрами урожая последних годов, перечислил все бедствия, приведшие к недороду, который в свою очередь повлек за собой недоимки, и даже упомянул об испитых лицах сельских жителей. Затем он перешел к положению на мировом денежном рынке, подробно остановился на вздорожании денег и общем экономическом застое. Клаус-Генрих узнал о падении курса нашей валюты, тревоге кредиторов, отливе денег и эпидемии банкротств; узнал, что кредит наш подорван, бумаги обесценены, и ему стало ясно, что на размещение нового займа рассчитывать не приходится» (II, 314).

Принц решил сам разобраться в запутанной государственной экономике и начал изучать книги по финансовой математике и политической экономии. Его рассказ о своих занятиях так увлек Имму, что она попросила показать ей одну-две из приобретенных принцем книг. После чего они стали изучать их вместе:

«Выпив чай, они уселись в уголке боскетной в величественные троноподобные кресла <...> и, склонившись над первой страницей учебника, озаглавленного «Наука о финансах», который лежал перед ними на золоченом столике, начали свои совместные занятия» (II, 322)

Имме, профессионально изучавшей современную математику, финансовые приложения ее любимой науки показались не слишком сложными:

« – Это очень легко! – сказала она и, смеясь, взглянула на него. – Никак не ожидала, что это, в сущности, так просто. Алгебра куда сложнее, принц... » (II, 322).

Для сюжета романа важно, что в процессе совместного штудирования работ по финансовой математике, молодые люди лучше узнали друг друга, между ними окрепло доверие, и Имма смогла, наконец, ответить взаимностью на чувства влюбленного принца.

Во время одной из первых встреч принц спросил Имму, собирающуюся «мирно позаниматься» перед лекцией по математике: «И ради этой черной магии вы готовы упустить такое прекрасное утро?» (II, 238-239). После совместных занятий положение изменилось. Похоже, что автор романа, как и его главный герой, уже не считает математику «черной магией» и «парением в безвоздушном пространстве», а с удивлением отмечает пользу от ее приложений в практических делах.

И хотя не финансовая математика спасла, в конце концов, большую экономику королевства, а богатое приданое Иммы и капиталы ее отца, переведенные из Америки, все же чувствуется, что автор романа, он же Клаус-Генрих, стал лучше относиться к науке, которую поначалу считал бездушной, холодной, недоступной.

«...ПРЕВОСХОДНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ АМУРОВ»

Роман «Волшебная гора» вышел в свет в 1924 году, спустя пятнадцать лет после появления «Королевского высочества». Многие изменилось за это время и в мире, и в судьбе писателя. Отремела Великая война, унесшая миллионы жизней и поломавшая казавшийся незыблемым мировой порядок. Сошла со сцены истории немецкая монархия, ей на смену пришла еще очень незрелая демократия Веймарской республики. Томас Манн в своем внутреннем развитии тоже прошел непростой путь от консервативного националиста-монархиста, поддерживавшего войну и написавшего «Размышления аполитичного», до убежденного республиканца-демократа, радикально пересмотревшего свои прежние политические взгляды.

Не изменилось только мастерство романиста, использующего в своих текстах широчайшую палитру красок и литературных приемов. И математика, как и в «Королевском высочестве», остается в «Волшебной горе» в арсенале писателя. Здесь она выполняет похожие функции: служит средством для характеристики героя и материалом для авторской иронии.

Главный герой романа Ганс Касторп – инженер, изучавший математику, в том числе, и высшую. Как и Томас Манн, Ганс учился в школе ни шатко, ни валко, «два раза ему даже пришлось остаться на второй год» (III, 49). Окончить реальную гимназию и получить «Свидетельство вальноопределяющегося односторонника» Касторпу помогли «его происхождение, городское воспитание, а также довольно значительные способности к математике, хотя и не ставшие страстью» (III, 49).

В отличие от Томаса Манна, Касторп продолжил обучение, окончил полный курс гимназии, «провел четыре семестра в Данцигском политехникуме и еще четыре – в механических высших школах Брауншвейга и Карлсру», став, в конце концов, инженером-кораблестроителем (III, 53). И хотя профессию он выбрал во многом случайно, она накладывала отпечаток на характер, становилась не-

отъемлемой частью личности. Не удивительно, ведь *«скоро его голова уже была набита всякими сведениями по аналитической геометрии, дифференциальному исчислению, механике, начертательной геометрии и графостатике; он стал делать расчеты водоизмещения судна с грузом и без груза, устойчивости, дифференциального сдвига и метацентра, хотя иной раз все это давалось ему нелегко»* (III, 52).

В расположенном высоко в швейцарских горах, недалеко от Давоса, интернациональном туберкулезном санатории «Берггоф», куда Касторп попал, чтобы навестить своего двоюродного брата, а заодно и отдохнуть недели три, он *«скромно, но с достоинством»* представлялся доктору Кроковскому: *«Я – инженер»* (III, 28).

Звание инженера, представителя точных наук, ко многому обязывало. В глазах окружающих эта профессия определяла судьбу. Доктор Кроковский, например, отреагировал незамедлительно:

«Ах, инженер! – Улыбка доктора Кроковского словно померкла, она стала как будто менее широкой и сердечной. – Что ж, молодец! Значит, ни вашему телу, ни вашей душе здесь не понадобится врачебная помощь?» (III, 28).

Другой персонаж романа, адвокат и масон Сеттембрини, «гуманитарий, homo humanus», как он сам себя называл, с уважением замечает: *«теория вашей специальности требует ума ясного и проникательного, а ее практическим задачам человек должен отдавать себя всего без остатка»* (III, 85). Не случайно на протяжении всего романа Сеттембрини использует по отношению к Касторпу обращение «инженер».

Когда намеченный трехнедельный срок пребывания в санатории подходил к концу, у Ганса Касторпа обнаружилось легкое недомогание с небольшим повышением температуры. По совету Беренса он решил остаться в «Берггофе» на более длительный срок, который вылился в итоге в долгие семь лет жизни в швейцарских горах.

Не все гости туберкулезного санатория «Берггоф» заслуживали звания пациентов, среди них были и абсолютно здоровые люди. Они чувствовали себя превосходно и наслаждались многомесячными, а то и многолетними каникулами в швейцарских Альпах. Немудрено, что женщины и мужчины находили время для флирта, а иногда на этой почве в санатории вспыхивали скандалы, очень расстраивавшие главного врача гофрата Беренса. Он, нашел, правда, одно парадоксальное средство подавить разгулявшуюся похоть и сладострастие, но действовало это средство далеко не всегда:

«Я лично прописываю математику... Занятие математикой, говорю я им, превосходное средство против амуров. Прокурор Паравант, которого донимали соблазны плоти, кинулся в математику, возится теперь с квадратурой круга и чувствует большое облегчение. Но большинство слишком глупы и слишком ленивы, прости господи...» (IV, 105)

К прокурору Праванту мы еще вернемся, а сейчас обсудим главный тезис гофрата (придворного советника) Беренса: математика, якобы, помогает подавить «соблазны плоти». Как выяснили дотошные комментаторы Томаса Манна, это утверждение повторяет вывод доктора Фридриха Йессена, главного врача легочного «Лесного санатория» в Давосе, в котором много месяцев подряд лечилась от якобы начинавшегося туберкулеза Катя Манн. Современники сразу заметили, что гофрат Беренс – почти точный портрет профессора Йессена. Сам профессор смертельно обиделся на автора *«Волшебной горы»*, посчитав сходство оскорбительным. Подобные обиды, впрочем, часто случались с людьми, увидевшими себя в героях произведений Томаса Манна.

Туберкулез в конце девятнадцатого, начале двадцатого веков был настоящим бичом Европы: каждый второй житель носил в своем теле бактерии, каждый седьмой умирал от этой страшной болезни. Антибиотики еще не изобрели, поэтому единственным методом лечения туберкулеза считалось длительное пребывание в высокогорных санаториях. Самым известным курортом такого рода и был швейцарский Давос. Санаторий, которым руководил профессор Йессен, предназначался для очень обеспеченной публики. Одна ночь пребывания в таком заведении стоила 21,5 франка, в то время как в обычном санатории в долине эта цена составляла всего 1,3 франка¹.

Томас Манн лично познакомился с профессором Йессеном, когда в июне 1912 года навещал жену в «Лесном санатории». Катя провела в Давосе в тот раз полгода – с марта по сентябрь. Для диагностики болезни уже тогда применялись рентгеновские снимки, что можно считать значительным прогрессом: ведь с момента открытия в 1895 году Конрадом Рентгеном знаменитых X-

¹ Jötten Frederik. Fehldiagnose in Davos. Neue Zürcher Zeitung, 10.06.2012.

лучей, получивших впоследствии его имя, прошло совсем немного лет. Но опыта расшифровки рентгеновских снимков у врачей было еще недостаточно, и диагнозы нередко ставились ложные. Так произошло и с Катей Манн. Это установил в 1967 году руководитель высокогорной клиники в Давосе, специалист по легочным заболеваниям доктор Кристиан Вирхов. Увлеченный романом «*Волшебная гора*», он связался с вдовой писателя, и та прислала ему все имевшиеся у нее снимки, включая и те, что были сделаны в 1912 году. Доктор Вирхов, внимательно изучив все материалы, написал Кате:

«Благодарю Вас и сообщаю, что рентгеновские снимки не показывают никаких патологических изменений. Должен сказать, что для врача это довольно редкое чувство, когда ложный диагноз не раздражает, а наоборот, успокаивает, ибо он послужил причиной появления такой мастерской работы, как „Волшебная гора“»¹.

Как и гофрат Беренс у Ганса Касторпа, профессор Йессен нашел у Томаса Манна туберкулез в ранней стадии и предложил остаться для лечения в санатории на длительный срок. Напуганный писатель, не отличавшийся отменным здоровьем, тут же написал своему домашнему врачу в Мюнхен. Тот ответил немедленно:

«Вы были бы первым, у которого давосские врачи не нашли бы при обследовании больное место. Немедленно возвращайтесь домой. Вам совсем нечего искать в Давосе»².

Томас внял этому совету и вернулся в Германию, решив случившееся с ним описать в небольшой «давосской новелле», которая вылилась в итоге в огромный двухтомный философский роман.

Вернемся, однако, к высказыванию профессора Йессена о математике. В одной из опубликованных работ он писал:

«Для мужчин можно рекомендовать математику как самостоятельное средство для подавления психогенного фактора полового влечения»³.

То, что профессор Йессен ограничился пациентами-мужчинами, можно понять: профессия математика для женщин была в то время исключительно редкой. С сутью же такой рекомендации можно спорить, но мнение о том, что интенсивные занятия наукой не оставляют ни сил, ни времени на другие увлечения, разделяют и многие математики. Например, гёттингенский профессор Абрахам Готтхельф Кестнер (Abraham Gotthelf Kästner, 1719-1800) во время своей вступительной лекции в 1756 году высказывал сходные мысли. Лекция называлась многозначительно: «*Как помогает занятие математикой нравственному совершенству?*». Вывод, к которому подводил слушателей Кестнер, совпадал с рекомендациями профессора Йессена и гофрата Беренса:

«Занятие математикой во многом способствует тому, чтобы усмирять страстные душевные порывы, так как ею можно успешно заниматься только в состоянии душевного спокойствия... Я всегда полагал, что то чистое наслаждение, которое вызывает научная работа, во многом способствует тому, чтобы ограничивать чувственную страсть и очищать душу от пороков... Тем, кто занят своими исследованиями, просто не остается времени, чтобы предаваться разным порокам»⁴.

Но вернемся к прокурору Параванту из «*Волшебной горы*», которому математика помогла справиться с сильнейшим искушением: он влюбился в египетскую принцессу, «*сенсационную особу*», как характеризует ее автор, «*с унизанными перстнями, пожелтевшими от никотина пальцами и коротко подстриженными волосами*». Прокурор от «*от влюбленности совсем одурел*», но все же овладел собой:

«Тяжкое искушение, в которое его поверг приезд египетской Фатъмы, было давно побеждено, оно оказалось последним соблазном, терзавшим его земную природу. С тех пор он с удвоенным пылом бросился в объятия ясно-

¹ Там же

² Там же.

³ См. комментарии к «Волшебной горе» в книге *Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebücher. Band 5.2.* S.Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2002, S. 290.

⁴ *Ebel Wilhelm* (hrsg.) Göttinger Universität aus zwei Jahrhunderte (1737-1934). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttinger 1978, S. 57-58.

глазой богини математики, об успокаивающем воздействии которой гофрат умел говорить в столь высококонтрастных выражениях, и погрузился в решение задачи, которой днем и ночью отдавал все свои помыслы, все свое рвение и то чисто спортивное упорство, с каким он некогда перед своим столько раз продлеваемым отпуском, грозившим перейти в отставку, клеймил и обличал бедных преступников; этой проблемой была не больше не меньше как квадратура круга» (IV, 406–407).

«Квадратурой круга» называют математическую задачу построения циркулем и линейкой квадрата, по площади равного заданному кругу. Со времен Древней Греции и вплоть до нашего времени ее безуспешно пытались решить тысячи математиков – профессионалов и, в огромном числе, любителей. Эта задача тесно связана со свойствами знаменитого числа «пи» – отношения длины окружности к ее диаметру. Если число «пи» трансцендентно, т. е. не является алгебраическим числом, другими словами, если оно не является корнем какого-то многочлена с целыми коэффициентами, то построить циркулем и линейкой искомый квадрат невозможно.

Трансцендентность числа «пи» доказал в 1882 году немецкий математик Фердинанд Линдемман (Ferdinand Lindemann, 1852–1939), окончательно поставив точку в проблеме квадратуры круга: циркулем и линейкой эта задача не решается. Но не все «фанаты» этой задачи на этом успокоились. Вот и прокурор Паравант не собирался складывать оружие:

«Упомянутый чиновник, выбитый из привычной служебной колеи, в процессе занятий математикой проникся убеждением, что те доказательства, с помощью которых наука настаивает на мнимой неразрешимости данной задачи, несостоятельны и что мудрое провидение потому изгнало прокурора из мира живых вниз и поместило сюда наверх, что оно избрало именно его, Параванта, для совлечения этой трансцендентной проблемы с неба на землю, чтобы по-земному точно разрешить ее». (IV, 407)

Описывая попытки несчастного прокурора найти истину, Томас Манн рисует картину, знакомую многим профессионалам, решавшим другие математические проблемы:

«Когда бы и где бы Паравант ни находился, он не выпускал из рук циркуль, непрерывно что-то высчитывал, покрывая столы бумаги чертежами, буквами, цифрами, алгебраическими символами, и его загорелое лицо, лицо с виду совершенно здорового человека, хранило отсутствующее и упрямое выражение одержимого маниакальной идеей. С угнетающим однообразием говорил он только о числе, выражающем отношение "пи"» (IV, 407)

Любитель Паравант с одержимостью маньяка решает проблему, которая уже давно решена. Недаром глава, где описываются его безуспешные усилия, называется, «Демон тупоумия» (в оригинале «Der große Stumpfsinn» – «Большая глупость»). Тем не менее, эффект, которого добивался гофрат Беренс, оказался достигнутым: прокурор усмирил свои страсти, и соблазны плоти больше не терзали его земную природу.

Правда, опасность душевному здоровью подстерегала с другой стороны: общаться с увлеченным математикой прокурором становилось все сложнее:

«Все бегали от измученного мыслителя, ибо тот, кого ему удавалось припереть к стене, принужден был выдерживать потоки пылкого прокурорского красноречия, целью которого было пробудить в слушателе гуманную чуткость и стыд за осквернение человеческого духа неисцелимым иррационализмом, внесенным в это мистическое соотношение. Бесплодность постоянного умножения на "пи" диаметра, чтобы определить длину окружности, и радиуса в квадрате, чтобы найти площадь круга, вызывала у прокурора приступы горьких сомнений, не по ошибке ли затруднило для себя человечество со времен Архимеда разгадку этой тайны, ведь, может быть, решение ее детски простое?» (IV, 407)

Здесь снова ирония Томаса Манна построена на математическом материале. Последнюю точку в поиске прокурором Паравантом «трансцендентной цели» ставит спиритический сеанс, который организовали пациенты санатория «Бергтоф»:

«Некоторые участники сеансов чувствовали прикосновение материализованных рук. Прокурору Параванту дали из трансцендентного мира основательную пощечину, он с чисто научной бодростью констатировал это и даже из любознательности подставил другую щеку – хотя в качестве кавалера, юриста и бывшего корпоранта вынужден был бы вести себя совершенно иначе, если бы пощечина исходила от обычного земного существа» (IV, 463).

«...НЕЧТО ЗЛОВЕЩЕЕ, АНТИОРГАНИЧЕСКОЕ, ВРАЖДЕБНОЕ ЖИЗНИ»

Но не только материалом для характеристики героя и иронии автора служит «ясноглазая богиня» в романе «Волшебная гора». Математика используется и в обсуждении важнейшей для Томаса Манна темы противопоставления живой и неживой природы.

Во время лыжной прогулки в горах Ганс Касторп рассматривает снежинки, опустившиеся на его рукав.

«Да, с этими пушинками, бременем ложившимися на деревья и устилавшими просторы, по которым он носился на лыжах, дело все-таки обстояло иначе, чем с детства ему привычным морским песком, который они напоминали: они, как известно, состояли не из мельчайших каменных крупинок, а из мириадов водяных частиц, в процессе замерзания откristаллизовавшихся в симметрическое многообразие, — частиц той неорганической субстанции, которая струится в жизненной плазме, в растениях, в человеческом теле, — и среди мириадов волшебных звездочек, с их недоступной зрению, не предназначенной для глаз человеческих, тайной микроскопией ни одна не была похожа на другую. Здесь наличествовала беспредельная изобретательность, нескончаемое рвение видоизменять, скрупулезно разрабатывать одну и ту же основную схему — равносторонний и равноугольный шестиугольник» (IV, 193)

Это мастерское описание структуры водяных кристаллов цитирует в известной монографии «Симметрия» один из крупнейших математиков двадцатого века Герман Вейль (Hermann Weyl, 1885-1955)¹.

Томас Манн не ограничивается простым описанием симметрии, далее идет оценка этой «зловещей антиорганики»:

«Но каждое из этих студёных творений было в себе безусловно пропорционально, холодно симметрично, и в этом-то и заключалось нечто зловещее, антиорганическое, враждебное жизни; слишком они были симметричны, такую не могла быть предназначенная для жизни субстанция, ибо жизнь содрогается перед лицом этой точности, этой абсолютной правильности, воспринимает ее как смертоносное начало, как тайну самой смерти. II Гансу Касторпу показалось, что он понял, отчего древние зодчие, воздвигая храмы, сознательно, хотя и втихомолку, нарушали симметрию в распорядке колонн» (IV, 193-194)

Когда же разразился страшный снегопад, и жизни Ганса стала угрожать реальная опасность, он определил главного врага:

«Но надо что-то предпринять, сидеть и ждать невозможно. Меня засыплет эта шестиугольная симметрия» (IV, 199)

Рискованное приключение закончилось для Касторпа благополучно, он преодолел «шестиугольное неистовство» и благополучно добрался до санатория «Бергтоф», где «ужин он уписывал за обе щеки» (IV, 218).

Эпизод с пургой в горах — поворотный пункт сюжета: после успешной борьбы со «смертоносной» симметрией жизненные установки Ганса Касторпа радикально изменились: место смерти в его мыслях заняла предстоящая жизнь.

Математика для Томаса Манна — синоним холодного, рассудочного порядка, противоположного и даже враждебного теплоте неупорядоченной жизни. Примерно то же чувствовал и принц Клаус-Генрих, когда боролся за доверие Иммы Шпёльман, «за то, чтобы она до конца поверила ему и решилась бы с тех чистых и холодных высот, где она привыкла парить, из царства алгебры и язвительной насмешки спуститься вместе с ним в неведомые ей, более теплые, душевные и плодотворные области, куда он ее звал» (II, 296).

¹ Вейль Герман. Симметрия. Пер. С англ. Б.В. Бирюкова и Ю.А. Данилина под ред. Б.А. Розенфельда. Наука, М. 1968, стр. 90-91.

«ЧТО ОТ БОГА, ТО УПОРЯДОЧЕНО»

Кристаллическая симметрия упоминается и в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», выпущен в свет в 1947 году. Отец главного героя, «папаша Леверкюн», любил изучать морозные узоры:

«В зимние дни, когда эти кристаллические осадки целиком покрывали маленькие окна дома, он иногда по получасу – то невооруженным глазом, то через увеличительное стекло – разглядывал их структуру. Если бы эти порождения соблюдали положенную им симметрию, математически точное и регулярное чередование, у него скорее достало бы сил взяться за дневные труды» (V, 28)

Рассказ в романе ведется от лица вымышленного персонажа Серенуса Цейтблома, в котором без большого труда угадывается автор – Томас Манн. Сам Серенус в математике «не очень-то преуспевал», зато он «с истинной отрадой» отмечал, что его друг Адриан Леверкюн проявляет к этой науке несомненный интерес:

«Ведь математика в качестве прикладной логики, тем не менее пребывающей в сфере высокой и чистой абстракции, занимает своеобразное, посредствующее положение между науками гуманистическими и практическими» (V, 62).

«Посредствующее положение» ни в коем случае не означает подчиненное, второстепенное. Напротив, Адриан воспринимал его «как положение высокое, доминирующее, универсальное или, употребляя его эпитет, „истинное“» (V, 62).

Однажды он высказался еще определеннее, ссылаясь на христианское Священное Писание: *«Нет ничего лучше, как наблюдать за порядковыми соотношениями. Порядок – все. „Что от бога, то упорядочено“; – гласит Послание к римлянам» (V, 62).*

Томас Манн, очевидно, с таким выводом не согласен. Устами Серенуса Цейтблома он утверждает превосходство гуманитарных знаний:

«Здесь я не могу отказать себе в удовольствии обронить хотя бы мимоходом несколько слов о внутренней, почти таинственной связи классико-филологических интересов с любовью к красоте и разуму человеческому, – связи, заявляющей о себе уже в том, что ученых-античников называют гуманистами, но главное в том, что внутреннее родство языковой культуры и гуманитарных знаний венчается идеей воспитания, призвание педагога как-то само собой вытекает из приверженности к классической филологии. Человек, занимающийся естественно-историческими реалиями, может, конечно, быть учителем, но никогда не станет воспитателем в том смысле и в той степени, как любитель изящной словесности» (V, 16)

В школе Адриан по-настоящему увлечен математикой. По словам Серенуса, «он для собственного удовольствия занимается алгеброй, усвоил таблицу логарифмов, сидит над уравнениями второй степени – задолго до того, как в его классе дошли до них» (V, 62-63).

Когда пришло время учебы в университете, друзья разделились: Серенус избрал филологию, Адриан – богословие. Встречались они только на общих лекциях по философии, где нередко речь шла о числах и отношениях, в частности, когда лектор рассказывал о великом мыслителе древности Пифагоре, «который свою великую страсть – математику, абстрактную пропорцию, число возвел в принцип становления и бытия мира и в качестве ученого мужа, приобщившегося мировых тайн, впервые с гениальной прозорливостью нарек вселенную «Космосом», порядком или гармонией, определив ее как сверхчувственную систему интервалов, то есть музыку сфер. Число и соотношения чисел, как созидющий принцип бытия и нравственного достоинства – сколь поразительно и торжественно сливалось здесь прекрасное, точное, нравственное в идею авторитета, одушевлявшую круг пифагорейцев» (V, 123).

Однако вскоре «богословие как предмет изучения... разочаровало» Адриана, и он решил заняться другими вещами:

«Временами, после того как он внутренне уже пришел к убеждению, что надо переменить факультет, и взвешивал возможности такого переустройства, ему казалось, что лучше всего остановиться на математике, которая в школе „очень“ его „занимала“ („очень занимала“ – это его дословное выражение)» (V, 169-170)

Если бы автор «Доктора Фаустуса» позволил Адриану реализовать это намерение, то в нынешнем подзаголовке романа: «Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом»,

«композитора» нужно было бы заменить «математиком». В этом есть своя логика, ибо в те времена, о которых идет речь в романе, в математике происходили не менее грандиозные преобразования, чем в музыке.

По замыслу Томаса Манна, герой его романа продает душу черту, а взамен получает возможность сделать революционное открытие. В музыке такое открытие сделал венский композитор Арнольд Шёнберг (Arnold Schönberg, 1874-1951), предложивший новый метод музыкальной композиции, названный двенадцатизвучием, или додекафонией. Это открытие, по мнению его автора, должно было *«гарантировать превосходство немецкой музыки на следующую сотню лет»*¹.

Узнав о додекафонии от своего нового музыкального советчика Теодора Адорно (Theodor Adorno, 1903-1969), автор *«Доктора Фаустуса»* отдал это открытие своему герою Адриану Леверкину, и сюжет продажи души дьяволу приобрел нужную основательность и глубину.

Но не менее убедительно могла бы звучать и математическая версия: в то же время, когда Арнольд Шёнберг создавал методику двенадцатизвучия, Давид Гильберт (David Hilbert, 1862-1943) в Гёттингене работал над обоснованием аксиоматики – нового универсального подхода к построению разнообразных теорий, не только математических. В работе *«Аксиоматическое мышление»*, вышедшей в 1917 году, великий немецкий математик пророчествовал:

*«...все, что вообще может быть объектом научного исследования и коль скоро оно созрело для оформления в теорию, сводится к аксиоматическому методу и через него непосредственно к математике... Аксиоматический метод, как представляется, обеспечивает математике лидирующую роль в науке в целом»*².

Подобно тому, как в додекафонии любую сложную музыкальную композицию можно было свести к простым операциям над последовательностями двенадцати «лишь между собой соотнесенных тонов», так и аксиоматический метод, в идеале, позволяя любое утверждение вывести путем простых манипуляций с несколькими аксиомами, т. е. с утверждениями, лежащими в основе теории. Если бы оправдались надежды и прогнозы Гильберта, в математике произошел бы революционный переворот. Доказательство любой теоремы можно было бы поручить вычислительной машине, обученной обращению с логическими операциями.

Конечно, собственных знаний математики Томасу Манну было бы явно недостаточно, чтобы включить в роман идеи Гильберта и его коллег. Писателю был необходим сведущий в математике консультант. И такой наставник был рядом – профессор Альфред Прингсхайм, один из самых эрудированных математиков своего времени. Но натянутые отношения между тестем и зятем делали их сотрудничество невозможным. Главная причина напряженности – ни один из них не считал важным и полезным дело жизни другого.



¹ Цитируется по книге *Vaget Hans Rudolf. Seelenzauber. Thomas Mann und die Musik. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 2006, S. 412.*

² *Hilbert David. Axiomatisches Denken. In: Mathematische Annalen, Nr. 78, Teubner, Stuttgart 1917, S. 415.*

НЕВЕРНАЯ НИТЬ АРИАДНЫ





ЛЕГЕНДЫ СЕВЕРА И ЮГА

Очерки о Петербурге и Мельбурне

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ДЕНЕГ ДАВИД СОЛОМОН

Австралийская экзотика порой заслоняет главное: глобус в пол оборота, и вот он остров-континент, страна-убежище ископаемых животных! Кенгуру, коала, черные лебеди или дикая собака динго!

К тому же там лето, когда у других зима...

Но ведь вся эта уникальность вовсе не заслуга жителей далекой, долго не исследованной земли, тем более каторжников, начавших ее освоение каких-нибудь 228 лет назад.

И потому, наверное, при упоминании Австралии меньше всего на ум приходят достижения или изобретения, которые дали миру именно они, австралийцы: кардиостимулятор (Расemaker) и одноразовые шприцы в медицине, «черный ящик» в авиации, WI-FI в радиоастрономии, даже раздвижная супка для белья и туалетный бачок с механизмом двойного слива!

И еще – деньги, которые невозможно подделать – пластиковые, а не бумажные банкноты.

О деньгах и их роли в жизни людей свидетельствуют многочисленные пословицы, поговорки, так называемые крылатые выражения. Инки, к примеру, считали золото потом Солнца, а серебро – слезами Луны. На Руси говаривали, что деньги это оселок, что «у денег глаз нету» – вариант известного выражения римлян – «деньги не пахнут». Или, что «Слову – вера, хлебу – мера, денежкам – счет». И повсюду знали: «После Б-га деньги – первые!»

В Австралии же, пожалуй, как нигде, деньги сделали частью ее далеко не простой истории. Но речь идет не о роме – эквиваленте денег в первые годы заселения континента европейцами и не о золоте, которого в какой-то период было больше серебра или меди на австралийских монетных дворах. А о создании первых в мире австралийских пластиковых банкнотах – денежных купюрах, которые невозможно подделать!

Может быть, не все помнят, что первые бумажные деньги появились только в средние века в Китае, и Европа узнала о них в 1286 году от венецианца Марко Поло, побывавшего в Пекине. А в 1630-м бумажные дензнаки выпустил северо-американский штат Массачусетс, однако, и века не прошло, как там было восстановлено металлическое обращение.

На европейском континенте бумажные деньги появились в XV111 веке, их ярким защитником стал французский делец Джон Ло, но и ему не удалось предотвратить их быстрое обесценение – после Великой Французской революции в 1796 году за один золотой франк платили 312,5 франков ассигнациями, которых к этому времени напечатали на сумму 40 миллиардов! Годом позже уже российский император Павел 1 публично и торжественно сжег ассигнации на сумму 6 млн рублей, выпущенных нелюбимой матушкой Екатериной 11. Хотя ее Манифест об учреждении Ассигнационного банка вовсе не был женским капризом: налоги собирались в основном медными монетами и транспортировать их приходилось возами! Более портативное серебро из казны берегли на военные нужды, поэтому оптимальным решением для внутреннего обращения и становились бумажные деньги, обеспеченные медью. Под названием ассигнации они просуществова-

ли вплоть до 1843 года, несмотря на периодические снижения курса, особенно в годы Отечественной войны 1812 года. Николай 1 заменил ассигнации кредитными билетами, с обменом на серебро, а Николай 11 установил золотой монометаллизм – бумажный рубль за один рубль в золоте! (Денежные реформы в СССР могут быть темой отдельного разговора.)

В Австралию, бумажные деньги, естественно, были привезены из Англии, где их печатали с 1694 года. И в созданной Федерации в 1910, 1913 годах деньги стали печатать по старой британской системе: 12 пенсов в шиллинге и 20 шиллингов в фунте стерлингов... Ныне австралийские банки ежегодно осуществляют более 18 млрд денежных операций, но бумажные деньги выдерживают службу всего 2 года: они мнутся, рвутся, размокают и, увы, довольно легко подделываются. Поэтому, когда в 1967 году подделка 10-долларовых купюр приобрела массовый характер, терпение Резервного банка Австралии лопнуло, и началось его сотрудничество с CSRO – Организацией стран Содружества по науке и промышленным исследованиям и Мельбурнским университетом с целью производства новых денег на отличительной бумаге с особыми секретными свойствами.

Надо сказать, что технические проблемы решались целое десятилетие, ибо главный разработчик David Solomon сделал решительный шаг, предложив заменить традиционные виды бумаги из прессованной древесной массы на пластик – полипропилен. И чтобы сломить сопротивление чиновников-банкиров, смущенных новыми идеями, собрал 30 ученых и инженеров, которые, построив первую секретную линию, печатали миллионы пробных 3 и 7 долларовых банкнот (их ведь никогда не было в обращении). Их испытывали на разрыв, бросали в керосин и синтетическую грязь – синтетический материал мог расслаиваться, его можно было снова пускать в дело, при этом срок жизни таких денег увеличивался во много раз! По сравнению с бумажной, например, 5-долларовая пластиковая купюра служит 40, а не 6 месяцев!

Самое же главное – множество секретных свойств совершенно исключают возможность подделок этих новых денег. И, наконец, в 1988 году – к празднованию 200-летия Австралии в обращение была выпущена первая юбилейная 10-долларовая пластиковая банкнота!

В 1996-м Австралия стала мировым лидером, страной с полной серией полимерных денег. На новой десятке – портрет национального поэта Банджо Патерсона, вокруг шляпы которого микропринтером напечатаны все 104 строчки его знаменитой первой поэмы о Кленси, и чтобы подделать такую купюру, жулики помимо всего прочего, должны хорошо знать отечественную литературу! В 2009 году в обращении уже было более 3 млрд пластиковых банкнот!

«Однажды я был в магазине с моим другом, – вспоминал профессор Давид Соломон, – и тот, расплачиваясь, сказал, что это я изобрел эти деньги. Но никто ему не поверил, приняв сказанное за шутку».

Однако вовсе не шуткой являются все медали и призы, полученные им: в 1988, 94, 2006 и 2008 годах. Как и избрание в 2004-м Членом Королевского Общества в Лондоне.

Не шутка и то, что сегодня уже много стран, в том числе Канада, Новая Зеландия, Румыния полностью перешли на пластиковые деньги. Или что Америка в 1980-х годах, хотя и безуспешно, тоже пыталась их создать. Что в 2015-м к подобным переменам начали готовиться английские банки, и даже в России обсуждаются такие возможности.

И уж, конечно, не в шутку, а всерьез, все это дает право называть Давида Соломона «выдающимся австралийцем»!

БРАТЕЦ КРОЛИК И ДРУГИЕ...

Десять бедствий, по библейскому рассказу, постигли население Египта в наказание за отказ фараона отпустить евреев из плена: моровая язва, душливый пустынный ветер самум, жабы... Десять, как стали их называть, «египетских казней», о которых упоминали в своих произведениях и Глеб Успенский, и Чехов, и Салтыков-Щедрин, и Алексей Толстой...

Сродни этим напастям оказались и экологические катастрофы, обрушившиеся некогда на благодатный пятый континент. В их числе не последнее место по нанесенному ущербу занимает, как вы возможно уже догадались – кролик!

Так уж случилось, что мое, в определенной мере даже уважительное отношение к кроликам сложилось под впечатлением «Сказок дядюшки Римуса», ибо именно из них я узнала, как Братец Кролик победил Льва или перехитрил Лиса! (Полагаю, что многим из вас тоже знакомы эти немудреные повествования американца Джоэля Харриса). Но автору и в голову не могло придти,

что Братцу Кролику окажется по силам сотню лет выигрывать партии в жесточайших сражениях с Человеком, притом на огромнейших территориях такого континента, как Австралия!

А между тем, это вовсе не сказка, а одна из самых правдивых и захватывающих историй на свете! Во всяком случае, в жизни австралийских поселенцев-фермеров.

В некоторых публикациях можно прочесть, что первые кролики в количестве пяти штук прибыли в Австралию как заправские каторжники на одном из кораблей «Первого флота». И что какая-то добрая душа, не подозревая о поистине исторических последствиях своего благородного шага, выпустила их на волю. А те, почуя, наконец, полную свободу, стали, мол, размножаться... как кролики! На самом деле и скорее всего их благополучно съели те самые заключенные, которые делили с ними тяготы многомесячного путешествия из Англии в Новый Южный Уэльс, как это всегда делали в Европе.

Кроличье же нашествие захлестнуло континент значительно позже, и подлинное имя его виновника можно легко найти в «Австралийской хронике», как впрочем, и дату случившегося: «25 декабря 1859 года, – говорится в ней, – Томас Остин завез куропаток, зайцев и диких кроликов, чтобы выпустить на своем участке *Barwon Park*». Оказывается, этот крупный фермер-овцевод, владелец поместья в Виктории был еще и заядлым охотником. В канун нового 1860 года, ожидая визита герцога Эдинбургского, он закупил в Англии живую дичь: 72 куропатки, 5 зайцев и 24 кролика. Выпуская их на свои поля, этот джентльмен, конечно, не ожидал такого кошмарного результата своей невинной затеи! А уцелевшие после герцогской охоты кролики зажили в отличных австралийских условиях припеваючи: одна самка приносила в год 60 крольчат, семеро их за сутки пожирали дневной рацион овцы. Надо ли говорить, что первыми погибли посеы самого Остина?! За десять лет длинноухие распространились в западные районы Виктории, где не было хищников. В 1872 году они пересекли реку Муррей, достигли Мурумбиджи и в 1886-м вторглись в Квинсленд. Никакие изгороди между штатами и вдоль рек не могли остановить эти полчища грызунов,двигающихся со скоростью 110 км в год. Съедая все на своем пути, даже кору с деревьев, корни и кусты, они вкупе с засухами 1875 и 83 годов, превращали пастбища в пустыни, вконец разоряя фермеров. Австралийцы острили, что кроликоловы (появилась даже такая профессия) вынуждены расталкивать кроликов, чтобы поставить на них ловушки...

«Антикроличьи» законы успеха не приносили: когда в 1887 году Правительство объявило вознаграждение за каждого убитого кролика и были принесены 25 млн шкурок, казна оказалась перед банкротством!

Эта «кроличья чума» или «египетская казнь» достигла пика в 1891 году, когда породистый скот стал умирать от голода, так как земля, оголенная кроликами, сделалась бесплодной. А еще через три года – в 1894-м фермеры окончательно проиграли гонку: Братцы Кролики, перебравшись в Западную Австралию, завоевали весь континент! И уже никто и ничто не могло сдержать их наступления: они рыли норы даже в скалах, пересекали реки, их не брал ни огонь, ни динамит, бессильными против них были и собаки. Само слово «кролик» стало ассоциироваться не только с ним самим, сколько означать большое число!

Все попытки травить их стрихнином и мышьяком большого успеха не имели, как и ежедневные проклятья тоже. Тем более, что отравленные приманки влияли на другую местную живность.

Спасение пришло лишь в 1950 году, когда сотрудники Австралийской Академии Наук под руководством Френсиса Рэдклиффа заразили вирусом миксома партию зверьков и выпустили их на волю. (В 1949 году этим занималась и Мельбурнский вирусолог Джин Макнамара). Успех этот также зафиксирован в «Хронике». Действительно, миксоматоз распространялся среди кроликов со скоростью лесного пожара – 1500 км в год и через 2-3 года 75% их погибли. А чтобы убедиться, что вирус этот не передается людям, трое ученых испытали его на себе. (Любопытный факт: некий предприниматель, нанимавший специальных стрелков на машинах, с появлением биологического оружия против вредителей, разорился).

Однако и кролики не сидели сложив лапы и уши в ожидании окончательного истребления: в конце 1980 года, выработав определенный иммунитет, они начали новое сражение с Человеком – «кто кого». И если поначалу миксоматоз уносил 90% поголовья кроликов, то со временем это количество снизилось до 40%. И тогда в 1994 году был опробован новый мощный калицивирус и на следующий год применен повсеместно. Он убивал 10 млн кроликов за два месяца! Зазеленели пастбища, и фермеры, наконец, вздохнули с облегчением. Спасительное же средство от братцев кроликов было ими наречено «даром небес»!

Однако, рассказ о «египетских казнях» в Австралии будет неполным, если не добавить несколько слов о бубонной чуме, вспыхнувшей в самом начале XX века: люди заражались чумной

бактерией через блох от больных крыс, живущих в старых жилых кварталах. Десятками тысяч их отлавливали специальные крысоловы, а зараженный строительный мусор сжигался или вывозился на баржах и вываливался далеко в море. Только в 1910 году с чумой в Австралии было покончено.

Не менее драматичной была война и с таким врагом австралийских фермеров, как кактус опунция. Безобидное, на первый взгляд, растение, завезенное в Австралию из Южной Америки для возведения декоративных изгородей, очень быстро заполонило пастбищную землю, распространяясь со скоростью полмиллиона гектаров в год! Пока на помощь не был привлечен... мотылек – кактобластис какторум, точнее его гусеницы, прогрызающие кактус насквозь. Ничего удивительного, что к северо-западу от Брисбена этой гусенице, спасшей австралийскую землю от колючего захватчика, был поставлен памятник!

Не все, увы, так благополучно заканчивается. До сих пор в Австралии здравствует тростниковая жаба, завезенная сюда еще в 1935 году для борьбы с вредителями тростниковых посевов: однако, и насекомые живы и чужеземные жабы продолжают вытеснять местные виды лягушек, обладая к тому же свойством «выстреливать» ядовитый секрет на метровое расстояние...

И пусть ни у кого из нас язык не повернется назвать золотистого карпа одним из десяти «египетских казней», коренные австралийцы не устают поминать недобрый словом немецкого эмигранта, завезшего сюда эту пахнущую тинной, заполонившую водоемы и несъедобную с их точки зрения рыбу... Хотя бы некогда и в собственный бассейн!

МАРИИНСКИЙ БЕЗ ПОЛИТИКИ...

В 1837 году на больших Петербургских манёврах объявился красивый двадцатилетний командир кавалерийского полка – Максимилиан-Евгений-Иосиф-Август-Наполеон. И вскоре он, сын пасынка Наполеона, герцог Лейхтенбергский продаёт свои владения в Западной Европе, чтобы купить имения в Тамбовской губернии и окончательно утвердиться в России. Причина уважительная: император Николай I выдаёт за знатного гостя свою старшую и любимую дочь Марию.

Зять пришёлся и ко Двору, и к России. От царя он получил титул Императорского Высочества, а его дети до праправнуков включительно – наименование князей Романовских с сохранением этого титула.

И справедливости ради надо признать, что царский зять оказался на редкость талантливым человеком, «залетевшим орлом», как называли его современники. Он успешно занимался горным делом, построил завод, где были изготовлены первые российские паровозы, а его научные труды составили целую эпоху в гальванопластике. На протяжении многих лет герцог был президентом Академии Художеств, а после его ранней смерти в 1852 году его именем была названа старейшая в стране бесплатная лечебница для бедных, известная и нынче каждому петербуржцу – Максимилиановка...

Мариинский дворец был свадебным подарком императора-отца любимым детям, названный по имени дочери, в котором семья прожила ровно сорок лет – с 1844 до 1884 года.

Строился этот памятник русского зодчества 40-х годов XIX века всего пять лет, и архитектор Андрей Иванович Штакеншнейдер, строивший дворцы всем детям Николая I, пожертвовал для него не только находившимся на этом месте знаменитым Чернышевским дворцом, но и тремя соседними зданиями. Позже на Исаакиевской площади появились новые большие здания, но Мариинский дворец, как архитектурное и поэтическое создание, отлично вписался в композицию площади и ансамбля всего города...

И, если фасадом в целом, колоннами и пилястрами коринфского ордера архитектор отдал дань уходящему классицизму, то вазы, аттик, руст первого этажа специалисты относят к барокко. Впрочем, Штакеншнейдер не был бы великим мастером, если бы в каждом его новом творении не возникало что-либо впервые. На сей раз то был недорогой песчаник – прочнее и красивее кирпича, впервые чугунные зонтики у боковых подъездов, цинковые вазы и канделябры, несгораемые металлические перекрытия дворца. А главное, впервые же и единственный раз в истории русского зодчества XIX века – анфилада парадных залов развёрнута не параллельно главному фасаду, а в глубину, по центральной оси здания. По всему второму этажу над вестибюлем с вазами от балкона: Приемный зал, Ротонда, Тёмный или Квадратный и мираж весны среди морозов – Зимний сад! Безграничная щедрость отца и изысканный вкус дочери сумели создать сказку.

Современники дружно отмечали, что решительно всё в этом дворце – от четырёхсаженного фонтана до последней складки на занавесах у окон – словно, предназначено было для счастья и покоя.

Однако чужая жизнь, как и душа, потёмки. Что мы знаем о ней? И всё же осмелимся предположить, что лишь парад роскошных зал с двухъярусной Ротондой в центре с её белоснежными

32 мраморными колоннами и светонесущим куполом, объединяли две разные половины жилых покоев дворца. А затворятся после очередного бала уникальные двери Приёмного зала, погаснут многочисленные люстры в Ротонде, замрут на барельефах и стенах Квадратного зала герои произведений Державина, Пушкина, Троянской войны, и можно запереть хоть три четверти дворца, ибо каждая половина живёт сама по себе. Разве что слуховая труба из Малого кабинета Марии Николаевны в отделение герцога позволяла общаться через несколько помещений.

Комнаты, обращённые по главному фасаду на Синий мост – Его Императорского Высочества Максимилиана Лейхтенбергского по-мужски просты в убранстве. Строга и кабинетная библиотека, более 50 тысяч томов, зато произведения из этого собрания входят в «Художественные сокровища России!» В покои же Её Императорского Высочества – главный вход в другую сторону из круглой залы. Повсюду, особенно в будуаре а ля Помпадур, ослепительная роскошь, умножающаяся до бесконечности. Ничего подобного, как говорили, Петербург по изяществу и богатству не знал.

Впрочем, разговоры в свете велись не только вокруг убранства дворца... Великая княгиня Мария Николаевна, соединявшая с поразительной красотой тонкий ум, во многом походила на самодержавного родителя. Она одна бывала способна не опускать перед ним глаз, когда все вокруг бледнели от этого поединка взглядов. Но, если император Николай I при великом числе интрижек слыл отличным семьянином, её, его дочери, любовь к молодому графу Григорию Александровичу Строганову не только до, но и после смерти мужа не получила права на признание. И тогда в Мариином дворце поселилась величайшая тайна...

О тайном бракосочетании Марии Николаевны со Строгановым в домовая церковь знал только брат-цесаревич, будущий Александр II. Николай I никогда бы не согласился на союз дочери с одним из своих подданных: его он сослал бы на верную смерть на Кавказ, её бы заточил в монастырь. К их счастью, он не узнал тайну, но приговор неожиданно вынесла всегда бесхарактерная мать: «Я думала, что со смертью императора я испытала горе в его самой горькой форме, теперь я знаю, что может быть горе ещё более жестокое – это быть обманутой своими детьми». И, несмотря на то, что любовные отношения оказались освящены браком, двор не захотел видеть зятем императора даже такого знатного и богатого, как Строганов. По-видимому, слухи о том, что морганатический супруг объявил, что никогда не вернётся в Петербург, так как ему надоело, видаться со своей женой «по спартанской манере», имели основание: потому что Мария Николаевна, оставив дворец, тоже переселилась за границу. До столицы доходили известия, что в 1859 году в Риме умер боготворимый ею маленький Григорий Григорьевич Строганов, а в 1861-ом родился последний из её девяти детей – дочь Елена.

Тяжёлая болезнь застигла её в собственной вилле Кварто в получасе от Флоренции, но она поспешила умирать в Россию в свой Дворец... Она навеки покидала его на траурной колеснице в шесть лошадей, и колокол Исаакиевского собора ежеминутно ударял по одному разу. А по положу пандусу (ещё одна невидаль в Петербурге, созданная ради её больных после первых родов ног) поднимались на последний этаж городские прихожане, чтобы в домовая церковь Николая Чудотворца помолиться за ту, чьими немалыми стараниями создавалась завораживающая красота этого храма. Кстати, до самого недавнего времени жители Ленинграда не ведали о его существовании: храм, с уникальными фресками и иконами был превращён в кинобудку со всеми вытекающими последствиями. После частичной реставрации в 1990-м году впервые за 73 года в ней отслужили молебен.

Граф Строганов не надолго пережил свою жену. Судьба князей Романовских сложилась по-разному и не всегда счастливо: красавец и поэтическая душа Сергей в 28 лет погиб на войне, получив пулю в голову на глазах тоже воевавшего двоюродного брата, будущего императора Александра III; первый внук Николая I, Николай Лейхтенбергский, учёный, писал о падающих звёздах, открыл минералы «лейхтенберит» и «кочубейт» (сестра Евгения в замужестве Кочубей), учредил Золотую медаль за лучшее сочинение по минералогии. Много болел и умер за границей; ещё одна дочь вышла замуж за принца Ольденбургского и много занималась благотворительностью.

Родительский дворец оказался в тягость. В газетах печатались разные предположения, что станет с выдающимся зданием города. 14 июля 1884 года состоялся Указ о приобретении за три миллиона (первоначальная стоимость 700 тысяч) этого одного из лучших дворцов для Государственного Совета. С сохранением его имени... И через полгода в понедельник 11 февраля 1885 года в первом часу пополудни в той же домовая церковь в присутствии всей царской семьи новое помещение Госсовета было окроплено святой водой, и Марииинский дворец начал другую жизнь. С тех пор над ним полыхнет Государственный флаг. В разные годы – разный...

Но это уже другая тема для повествования.



СИЛУЭТЫ И ТЕНИ

Генрих Сапгир. Поэт.
Конечно, авангардист.
Другого такого – нет.
Упитан был и речист.
Когда-то – был нищ и худ.
Потом – раздобрел. Усы
отпустил. В нём и кайф и труд
сочетались – во все часы,
все дни и все годы. Писал
для детей и для взрослых. Жил –
широко. Цену слову – знал.
Со всей богемой – дружил.
Напоказ – не тужил ни о чём.
То скрытен был, то открыт.
Характер здесь – ни при чём.
Причиною – строй и быт.
Дети его – любили.
Взрослые – тоже любили.
Дети у Генриха – были.
Друзья среди взрослых – были.
Много было друзей у Сапгира.
Не вмещала всех их квартира.
Не вмещала всех их – Москва.
Вся страна – вмещала едва.
Может быть, и не все, на поверку, были друзьями.
Были, скорее, приятелями. Товарищами. Большинство.
Но со всеми Генрих общался. Пусть разбираются сами.
Кто из них друг? Неважно. Важно – что любят его.
Ценят его. Понимают.
Стараются понимать.
Всех Сапгир – принимает.
Всех идёт – обнимать.
Всех Сапгир – привечает.
Всех угощает вновь.
Всё Сапгир – примечает.
Вот вам и вся любовь.
Обиды – не забывает.

Делает вид – что забыл.
От людей – ничего не скрывает.
Ну, пьёт. Но и раньше – пил.
Ну, гуляет. И раньше – гулял.
Безобразничать, правда, не любит.
Лишь души он – не оголял.
Знал, что это порою – губит.
Душу он от людей – берёт.
Сердце – вот оно, нараспашку!
Мог он друга спасти – видит Бог.
Неимущим – отдать рубашку.
Жил свободно. Прощал долги.
В ресторанах кутил, бывало.
С пьяных глаз не видел ни зги.
Мгла его с головой скрывала.
Протрезвев – он работал. Был
он рабочей лошадкой. Хваткой.
Ничего, что гулял и пил.
Временами – грустил. Украдкой.
Но старался, навеселе,
не хандрить, завязать с тоскою.
Был он – гостем. На всей земле.
Мир был – вечной чистой доскою.
Был – хозяином. На пирах.
Был он в центре любых компаний.
Всюду помнил он – о дарах.
Избегал он всегда – страданий.
Жизнь есть праздник. А может, сон?
Жизнь есть радость. А может, сказка?
Размышлял и об этом он.
Находилась всегда подсказка.
Жизнь – удача? Зелёный свет?
Жизнь – кошмар? Или, всё же, – чудо?
Жаждал чуда он. Был – поэт.
И стихи он читал – повсюду.
Где бы ни был он. Пусть – Париж.
Пусть – Москва. Сингапур? Годится.
В небесах он летал, как стриж.
Всем хотел он впрок насладиться.
Всё – впитать в себя. Всё – постичь.
Шелест листьев. Маразм барака.
Всюду некий он чуял клыч.
Скорпион был – по Зодиаку.
Мог за тридевять он земель
оказаться, под настроенье.
А ещё любил – Коктебель.
Здесь ждало его – вдохновенье.
Море пело ему: живи!
Окрылённый, он вторил морю.
Жил он – искренне. Жил – в любви.
И – с судьбой никогда не споря.
Всё сложилось само собой.
Утряслось. Устоялось как-то.
Был доволен Сапфир – судьбой.
Знал он должную цену – факту.
Не метался, как все вокруг.
Шёл, упрямо, неспешно, – к цели.

Был Сапфир – настоящий друг.
И остался таким – доселе.
Пусть и в памяти. В книгах. Пусть.
Это – важно. И это – много.
Я твержу стихи – наизусть.
И судить не берусь я строго.
Ни о нём самом. Ни о том,
что написано им. Не надо
забывать на месте пустом,
сколь был сложен выход из ада
к свету райскому. Генрих – чист.
И душою, и сердцем. То-то
улыбается он, артист –
знать, опять приберёт щедроты
для людей – там, где он сейчас
пребывает. Но где – не знаю.
И его – уж в который раз –
не случайно – я вспоминаю.
Для детей – сочинял он пьесы для театра кукол. Сценарии для мультфильмов, оригиналь-
ные. То есть был ещё и драматургом.
Переводил стихи и сказки Овсея Дриза.
Издавал, в огромном количестве, регулярно, из года в год, книги детских своих стихов, по-
пулярных, доселе читаемых.
Творчество же для взрослых сапфировское – статья не из простых, особая.
Был довольно известным в богеме самиздатовским давним автором.
Познакомился с ним я осенью шестьдесят четвёртого года. И тогда же мы подружились.
Жил Генрих тогда на улице, название коей никак не вспомню, неподалёку от шумной улицы
Горького, в сторонке, на тихой улице, отвешивающейся от центральной вправо, если идти пешком
от площади Маяковского к Белорусскому, встарь воспетому Пастернаком, в стихах, вокзалу.
Там, в доме, ничем решительно в то время не примечательном, в заурядной, типично мос-
ковской, коммунальной советской квартире, была у него своя комната.
В этой комнате регулярно собирались в далёкие годы весьма интересные люди.
Вся компания лианозовская – ученики Евгения Леонидовича Кропивницкого.
И прочие. В основном, сапфировские приятели.
Но захаживали и другие.
Здесь читали стихи. Постоянно.
Спорили – так, для проформы, далеко не всегда, иногда. Выпивали – в охотку, частенько.
Просто так собирались порой – вечерок скоротать, покалякать, хоть немного всем вместе
побывать.
Здесь висели картины: Рабин, Кропивницкие – и остальные художники авангардные, ле-
вые, полуподпольные.
Здесь Сапфир писал свои пьесы.
Черновики этих пьес, чтобы комнату не захламлять, он выбрасывал в туалет – солидные
пачки бумаги с машинописью, густо правленной лёгкой рукою поэта, всегда находились там и все-
ми гостями использовались обычно по назначению.
Генрих был всегда при деньгах.
Зарабатывал он хорошо.
Всё складывалось у него, в смысле заработков, удачно.
Был он всегда востребован.
Был любим – как детский поэт, уважаем в московских издательствах, выпускающих в свет
его книги.
В мире кино и театра относились к нему с симпатией.
Вполне устроенный в жизни, мог он вполне позволить себе после трудов праведных рас-
слабиться, погулять.
Частенько был под хмельком.
Нередко – попросту пьяным.

Ещё без усов знаменитых, уже не худой, а полнеющий, вальяжный, можно сказать, сидел он в центре компании, внимающей вечерами ему, вдохновенно читающему стихи свои, новые, свежие, – а по просьбе гостей – и старые.

Читать на публике он любил. И умел это делать.

Наверняка сохранились магнитофонные записи.

Читал он в своей манере, темпераментно, артистично. Наблюдал за реакцией слушателей.

Очень любил, когда все его тут же хвалили.

Произношение было у него весьма характерное, этакое французистое.

Использовал он всевозможные речевые эффекты, любил вовремя, с толком расставленные, там, где надо, акценты и паузы.

Всем известное:

– Взрыв!.. Жив!..

Или:

– Как маш, как маш, и на, и на, и на!.. Как машина!.. –

это из книги «Люстихи», из любовной его лирики.

Ревновал, случалось, к другим современным друзьям-поэтам.

К Бродскому, например.

Говорил иногда:

– Это надо же, какая, с такой скучищей в некоторых его поэмищах, под которые, при его, Иосифа, чтении, преспокойно выспаться можно, и проснуться, и ровным счётом ничего ведь не потерять, у него широкая слава!

Целых тридцать пять лет Сапфир, непрерывно, то больше, то меньше, – всё зависело от настроения и от выпитого накануне и с утра ещё не поправленного, или вовремя, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, с удовольствием явным выпитого, потому и определившего превосходное настроение, на весь день, уж точно до вечера, чтобы вечером подкрепиться новой выпивкой, ставшей поводом для хорошего настроения, для душевных бесед, после чтения или слушания стихов, с интересом, всё возрастающим, то ли к выпивке, то ли к поэзии, да не всё ли равно, если был он в дни любви, в любых состояниях, неизменно, самим собой, а вот это и важно в поэте настоящем, а он был всё-таки настоящим, я это знаю лучше многих, поверьте на слово мне сейчас, – ревновал ко мне.

Но и тянулся ко мне, открыто, искренне, сам.

Ему интересно было со мной. Да и мне интересно.

Мы дружили, можно сказать.

Он ценил меня, уважал, выделял всегда, – как поэта.

По-дружески, по-человечески, – даже любил, пожалуй.

Был долгий, славный период, лет пятнадцать подряд, наверное, когда мы с ним, лишь за вычетом отъездов моих из столицы, виделись постоянно.

Помню, в пору моих бездомий, долгим, с выпивкой, с чтением, нами обоими, наших тогдашних стихов, согревших сердца и души людей богемных, шумным, дружеским вечером, в семьдесят четвёртом году, зимой, на вопрос лобовой одной приютившей меня у себя в коммунальной квартире дамы обо мне, к теплу и уюту привыкающем: «Он талантливый?» – Генрих, вытащив, для порядка, в коридор её и негромко, но зато по-сапфировски пылко, убедительно, так, что я, находившийся в комнате, слышал слова его, прозвучавшие для этой дамы приказом, руководством к действию или, вполне возможно, заветом, всё годилось тогда, сказал ей:

– По-моему – очень талантливый!

И дама, очень ценившая личное мнение Генриха, отнеслась ко мне с максимальной нежностью и заботливостью.

Генрих был по-своему добрым человеком. В меру, но был.

Помогал друзьям. Привыкал к ним.

Жизнь его долго делилась на две неравные части.

Первая часть, поменьше, считанные часы, – работа, необходимая, вынужденная, для заработка.

Вторая, значительно больше, – для сочинения собственных стихов, для общения бурного с людьми, ему симпатичными.

Юмор всегда был при нём и нередко его выручал.

Изредка, временами, Генрих бывал и грустным.

Почти всегда – заводным, хмельным, живым, увлекающимся.

И столькое было в его поведении от игры, что становилось понятно, почему он умеет писать для детей, – потому что это было ему дано! – и этот вот игровой, немаловажный, момент, присутствие увлекательной, интересной, полезной игры, всегда, совершенно во всём, в чём принимал он участие, где находился тогда, выпивал, разговаривал с кем-то, читал кому-то стихи, – настраивали обычно на хороший лад, неизменно привлекали внимание, втягивали в общую, вдруг разросшуюся игру, – да, именно так.

С ним было мне легко. Легче, намного, нежели с другими друзьями богемными.

Солидная разница в возрасте – почти восемнадцать лет – как-то не ощущалась.

Он любил мои ранние книги – за их новизну, как потом, целыми десятилетиями, не забывал он подчёркивать.

Думаю, прежде всего, за то, что стихи эти были, по-своему, авангардными.

Когда манера письма у меня постепенно стала более традиционной – только внешне, для всех подчеркну, и более, нежели в ранних вещах, глубокой и сложной – внутри, в структуре самой, в особого рода образности, в синтезе, в полифоничности зрелых моих вещей, – Генрих воспринимал их уже с натугой, не сразу, и не всё до него доходило.

А может быть, да, конечно, и это скорее всего, просто сказывалась давнишняя привычка, даже инерция, встарь ещё укоренившаяся в нём: авангард, и только.

Ревновал. Почему? Потому что сам он так не писал.

Поглядывал вроде бы издали – со своего, привычного, рабочего, личного поля – на моё, рабочее, личное, поле творческой деятельности – и, понимая, что каждому своё, что, в работе своей, я ушёл далеко вперёд, всё-таки оставался при своём, упрямясь, артачась, продолжая на собственном поле собственные идеи разрабатывать и выращивать свои, по старинке, всходы.

Он всё же немного лукавил. Чего-то недоговаривал.

Авангардист, новатор, – любил он поэзию русскую, страстно, преданно, издавна, – в том числе и традиционную внешне, по форме, то есть все лучшие образцы её.

Когда в середине смутных, какбывременных, девяностых, в Коктебеле, зашёл я к нему, в комнату, где обитал он, из Москвы приехав, на первом этаже окружённого зеленью корпуса в доме творчества, увидел я, прямо с порога, сразу же, вовсе не взятые с собою на юг авангардные, как могло бы, наверное, быть у поэта-авангардиста, по его пристрастиям, книги, а лежащие у изголовья, на тумбочке, две, всего-то, и достаточно этого, книги, – это были Тютчев и Фет, с собою Генрихом взятые, для души, от большой к ним любви.

Сам же Генрих снова читал мне стихи свои, наиновейшие, разумеется – сверхангардные.

Живой человек, живые, меняющиеся пристрастия.

И в период нашего СМОГа был Сапфир неизменно живым, да ещё каким ведь живым, всех живее вокруг, человеком!

Относился к тому, что мы делали, вовсе не с любопытством, богемным, недолгим, временным, и не просто с малозначительным, поверхностным интересом, но более чем внимательно.

Думаю, нас, тогда совсем ещё молодых, он всё-таки понимал.

По крайней мере, двоих поэтов – меня и Губанова.

Остальные смогисты для Генриха – были уже потом. После нас. Интерес к ним брезжил в отдаленье – и угасал. Почему? До сих пор не знаю. Но – догадываюсь: по причине их ненужности – для Сапира. И – его авангардного мира.

С Губановым вскоре Сапиру общаться стало непросто – из-за Лёниной непредсказуемости.

Он предпочёл общаться со мной, человеком воспитанным.

И – привык постепенно ко мне.

И я к нему – тоже привык.

Старший друг. Важно было мне знать: есть у меня такой вот, хороший, надёжный друг.

Мы с ним как-то разумно, сразу же, не сговариваясь ни о чём, распределили наши личные сферы влияния и области наших личных творческих интересов.

У меня всё было – своё, у него всё было – своё.

Даже в бедах один к другому в душу мы сроду не лезли.

Проявляли всегда деликатность.

Понимали оба отчётливо: почему-то, волею судеб, не иначе, так получалось, в этой жизни, с её кошмарами чередой, мы друг другу – нужны.

Свои новые тексты всегда Генрих читал мне первому.

Разыскивал, специально, меня, в период бездомия моих, приезжал туда, где временно я обитал, стихи мне читал – и жаждал поскорее узнать моё мнение о новых своих сочинениях.

Приезжал и в квартиры мои, до и после моих скитаний.

Приезжал, потому что считал: есть у меня особое ухо, за ухом обычным, то есть слух на стихи – абсолютный.

То, что я говорил ему о стихах его, с глазу на глаз, Генрих крепко запоминал.

Сам я читал стихи свои с годами ему – всё реже.

Предпочитал дарить книги свои самиздатовские, чтобы Генрих, в домашних условиях, тексты читал с листа.

Я ещё напишу о Сапфире, в других частях своей серии книг о былой эпохе «Отзывчивая среда».

А пока что – вижу его, поэта, в шестидесятых.

Вот он, в возрасте, вроде бы, зрелом, но достаточно молодом ещё, года за три до сорока, душа развесёлой компании, среди картин, бутылок, рукописей и книг, в окружении чутко внимающих ему, своему поэту, восторженных, вдохновенных, в меру хмельных людей крылатых шестидесятых, – вот он, стихи читающий, весь – в голосе ясном своём, в этих пружинных вибрациях, раскатистых интонациях, понижениях бархатистых или, вдруг, повышении тона, в чёткой, отточенной дикции, в игровых, заводных переливах звуков, и рой ассонансов, резких ритмических сдвигов, грассирующих перепадов окружает его, человека орфического, как и всех собравшихся здесь гостей, – а за окном коммунальной, прокуренной, тесной комнаты зима, февраль, и в Москве – белый снег и неистовый СМОГ.

Сапфир пострадал из-за СМОГа.

Не приняли мерзопакостные начальники-негодяи Сапфира в союз писателей.

Обозвали Сапфира – фюрером. Не чего-нибудь там, а смогизма.

Каково было это услышать?

Но Генрих не растерялся.

Перешёл в союз драматургов.

Там его с ходу приняли.

Наплевать на советских писателей.

Видели не одни они – видел ещё и Бог,

что Генрих душою всею принимал и приветствовал СМОГ.

Игорь Сергеевич Холин.

Высокий, очкастый, костистый.

Может быть, жилистый? Нет.

Плотная, длинная, твёрдая кость – под кожей. Мослы, сухожилия.

Очки – тяжёлые. Из-под очков – трезвый, холодный, колючий, иногда ещё и насмешливый, изредка – добродушный, но всегда – из-под стёкол, из-под прикрытия, как из укрытия, как на фронте, как при опасности, всегда начеку, всегда, по сигналу тревоги, поднятый в ружьё, всегда в карауле, всегда – есть! – наизготовку, в случае необходимости сразу же мобилизованный, без надобности – обычно сроду не возникающий, сам себе дающий отбой, сам себя ровно в срок пробуждающий, цепкий, бывалый, тёртый, много чего кому-нибудь вроде бы и говорящий, но всё же предпочитающий невозмутимо помалкивать, жёсткий, плотно закрытый от слишком уж любопытных, в присутствии странном своём неизменно, что делать, привычка, где-нибудь постоянно отсутствующий, чтобы, если уж появиться, то внезапно, застать всех врасплох, сложный, седой, аскетический, чуть подёрнутый влагой, талый, принимаемый всеми как данность, страшноватый, как у анатома, наблюдательный, как у разведчика, бьющий в цель без промаха взгляд.

Еле-еле, как стебелёк сквозь асфальт под ногами прохожих, пробивающаяся улыбочка на сухих, поджатых упруго, как у пастора протестантского, раскрывающихся иногда – лишь для короткой фразы, для дельного замечания, для мудрого изречения, для житейского поучения, но больше, так уж сложилось, существующих – для молчания, для резко, сознательно суженного речевого, впритык, пространства, в котором, увы, и единственному слову-то тесновато, не то что внезапно явленному целому монологу, вырезанных грубовато, зримо, просто, как на игрушках деревянных, продукции наших российских народных промыслов, без особых затей и без лишних, никому не нужных примет, на висячий замок невидимый зачастую закрытых губах.

Руки – длинные.

Ноги – крупные.

Шаг – широкий, устойчивый, твёрдый.

Походка – не то чтобы лёгкая, не спортивная, но молодая какая-то, не зависящая, ни в коем разе, от возраста.

Повадки – сплошные загадки, зачастую без всякой отгадки, повадки – штрихи к портрету человека без тени, прошедшего немалую школу жизненную.

Да так ведь оно и было.

И никуда не сплыло.

Холин – легенда. Богемная.

Военная. И тюремная.

Барачная. Не смешная.

Отечественная. Земная.

Холину – всё дозволено?

– Как, вы не знаете Холина?

Холин – практичность, ясность ума, рассудительность, обстоятельность – во всём, что он делал, что говорил, даже в том, о чём он молчал.

Холин с виду – римский сенатор. Бритое, удлинённое лицо, короткая стрижка, выразительная седина.

Холин – сама независимость: как хочу я, так и живу, я вас теперь не трогаю – и вы меня лучше не трогайте, я к вам ни с чем не лезу – и вы ко мне вовсе не лезьте.

Холин – острое лезвие, зажатое крепко в руке, протянутой для приветствия.

Но Холин – ещё и гостинец, протянутый в этой же самой, уже раскрытой, широкой ладонью кверху, руке.

Загадочный человек.

Многими – так и не понятый.

Таинственный. В окружении сплетен и вечных баек.

Из окружения этого выходил он – во всеоружии, то есть был он вооружён, до зубов, – своими стихами. А позже – и прозой своей.

Его уважали. Побаивались.

Не любили – так откровенно.

Любили – так убеждённо.

Выделяли – везде и всегда.

Никому он себя не навязывал.

Был – собою. И это – главное.

Это было мне в нём – интересным.

Привлекало. Давало повод, не единожды, для размышлений. Мы общались довольно тесно, пусть не так, день за днём, год за годом, в лабиринтах бесчашья, часто, как с Сапфиром, но всё же частенько.

Доброе наше знакомство с Холиным длилось тоже тридцать пять долгих лет, как и с Генрихом.

Одновременно почти, в шестьдесят четвёртом году, с ними обоими я, тогда молодой, познакомился.

Одновременно почти, вначале, первым, в июне девяносто девятого, Холин, а потом, через несколько месяцев, осенью, вслед за другом своим, и Сапфир, они умерли.

Оба связаны были учёбой у старика Кропивницкого.

Были тандемом таким, дружеским, да и творческим.

Если кто-то встарь говорил: Холин, то вскоре он же говорил непременно: Сапфир.

Если звучало: Сапфир, то далее было: Холин.

Были они, по всем, как говорится, статьям, не похожими друг на друга, но всё-таки соединёнными общей судьбою, наверное, чем-то свыше, той силой, которая выбирает пути людские, избирает из общей массы людской, временами, лишь некоторых и сталкивает их вдруг, сознательно их сближает, одаривает их дружбой, общими интересами, оставляя при этом их личностями полностью самостоятельными, по причине их проживания в России – поэтами русскими, по причине их принадлежности к авангарду – в достаточной степени интернациональными, так я считаю, ведь авангард иногда стирает черты национальные, творчеству придавая некую странную планетарность, что ли, приемлемость, в разных странах подлунного мира, – были оба они людьми, о которых можно сказать куда ёмче и проще, по-русски, по-простому: кремень и кресало.

Они высекали – огонь.

В их, конкретном, случае – творческий.

Холин ко мне был внимателен, ещё со смогистских времён и до последних своих лет, когда изредка с ним виделись мы в ПЕН-клубе, иногда на общем собрании, иногда на предновогоднем вечере, мероприятиях не больно-то интересных и, в общем, невразумительных.

Он и в старости, надо заметить, держался всегда молодцом.

А в шестидесятых годах, ещё до своих пятидесяти, когда мы общались с ним в гуще событий, чтений, посиделок во всяких салонах, хождений по мастерским, встреч почти деловых и приятельских, был он в полной силе своей, был вполне на месте в столице, – и только молва разносила: «а знаете, Холин сказал», – «а слышали, Холин опять написал такое что просто...» И вмиг – ветерок с говорком кулуарным, непредсказуемым, со смешком, с хохотком, с юморком, с пососшком скороспелого слуха полетел по Москве: шу-шу-шу! – с любопытством, с живым интересом, – поскорее узнать бы, когда и где он читать вознамерится свою новую, клёвую вещь!

– Как, вы не знаете Холина?

Да, вы его не знаете.

Всех он ещё удивит!..

И – удивлял. Озадачивал. Огораживал даже, бывало.

Давал по башке. Мозги встряхивал. Поражал.

Холин – чуть ли не монстр? Да что вы?!

Холин – мэтр? Постарайтесь сами

разобраться. На то он и Холин,

чтоб о нём вспоминать иногда.

Слышу голос его негромкий.

Пусть расслышат его потомки.

Озадачатся?

Удивятся?

Разберутся?

Не без труда.

А вот и ещё один Генрих. Поэт. Но уже – Худяков.

Человек деликатный, задумчивый, внутри себя долго живущий, глядящий меланхолически сквозь время, будто заглядывающий за некую, только ему и видимую черту, присутствующий где-нибудь – неизменно, всегда отсутствуя, отсутствующий – присутствуя, ну точно, да вот он, смотри-те-ка, находясь где-то близко, вот здесь, в поле зрения вашего, рядышком, ан нет, показалось просто, и нет его – но он и есть, человек высокого роста, длиннолицый, спокойный, сдержанный, тихий, тихоня, казалось бы всякому, – да, это так, но тишина в нём была – пружинистая, с фантазией, и отделённость от всех была, скорее всего, защитой мечты, или – тайны, или – страсти, допустим – к прекрасным путешествиям в области слов, превращаемой в область снов, бормотаний, противоречий, столкновений смыслов и тем, или, может, к иным путешествиям и мечтам, с которыми жил он, – и входил он в пространство, как парусник, оснащённый жюльверновской техникой фантастической, впрямь, на потом, а порою казался он птицей, а ещё моделью летучей, в небе детства свободно парящей, – таковы и его стихи.

То он записывал их не слева направо, в строку, а сверху вниз, по слогу, вертикальными, с вязью буквенной, чуть извилистыми полосками, иероглифами, по-китайски, то выворачивал их наизнанку, словно рубашку, то разбрасывал, словно брызги дождевые, по крошечным книжечкам, самолично сделанным им, и раздаривал эти книжечки, и на каждой писал: «Автограф».

То из Фроста, а то из Шекспира возникали темы его.

Наив:

– Пойти, что ль, на телёнка посмотреть?

Вопрос, изогнутый ключом:

– Ли быть, ли нет?

Цикл коротких стихов – «Кацавейки».

Что-нибудь ещё – по привычке, в неожиданном, негаданном роде.

С выдумкой вечной сквозь выверт.

Но интересен был он, человек и поэт, мне всегда.

Бывало, говорили мы часами.

О чём? Не ваше дело. Знаем сами.

О том, о сём. Устроит вас? Ну, то-то.

Беседы наши были – сплошь щедроты.

Беседы наши были – откровенья.

Прозренья жили в них и дерзновенья.

Стихи кружились в них, подобно птицам.

И свет открытий пробегал по лицам.
Потом решил покинуть он Россию.
Уйти в пространство новое. В стихию.
В тепле грядущем руки отогреть.
Уехать. «На телёнка посмотреть?»
Не знаю. Но решение в нём – созрело.
Встряхнуло душу. Птахою запело.
Призывно. За собою повело.
Куда? За словом, ищущим число.
Помню, как встретил его на холодной, пустынной улице, направляясь в гости к Сапгиру.
Худяков, худющий, задумчивый, измождённый вконец, шёл туда же.
Сказал мне тихо, растерянно:
– Тоска! Хочу выпить – и не с кем. Куплю бутылку сухого, зайду в какой-то подъезд, выпью там. В одиночестве. Сам. Выйду потом из подъезда. И дальше иду куда-то. Всё дальше иду. Куда?..

Году, наверное, в семьдесят четвёртом, случайно, встретил его в запущенном сквере возле Киевского вокзала.

Был он вместе со Львом Халифом, человеком бравым, бывалым, известным, но не стихами, а романом своим «ЦДЛ».

Оказалось, что оба они – вскорости уезжают.
Зашли, поначалу прикинув, где бы нам провести сегодня, на прощанье, часок-другой, все вместе, вина купив, к живущему неподалёку художнику Лёве Дурасову.

Посидели там. Помолчали,
Выпили символически.
Попрощались. Уже навсегда.
Больше я Худякова не видел.
Оказался он, путешественник в дебрях речи родной своей, далеко от Москвы, в Америке.
Жизнь в свободной, но, в то же время, совершенно чужой стране оказалась вовсе несладкой. Для него. Получилось – так.

Писал ли там он стихи?
Не знаю. Может – писал.
Пиджаки он там – разрисовывал.
Получались в итоге абстракции.
Худяковские. Неповторимые.
Их можно было носить, но также – на стену повесить, как холсты, и смотреть на них.
Всё-таки – не кацавейки.
В девяностых годах он, вроде бы, писал уже настоящие, с размахом, с полётом, холсты.
Огромные вещи. Абстракции.
Однажды устроил выставку.
Никто на неё не пришёл.
Как он сейчас живёт – совершенно не представляю.
Чем он занят – в своём далеке, в заграничном, глухом одиночестве?
Здесь, в Москве, где все его знали, был, конечно, он чудачком, но зато и поэтом. Помнит ли, как читал он:

– Ли быть, ли нет?..

Овсей Овсеевич Дриз.
Выглянувший из сказки в кошмарную повседневность седой мечтатель. Поэт.
В безрукавочке меховой сидел себе в уголке на сборищах у Сапгира, вино попивая. Смотрел глазами своими прозрачными – сквозь всех. Но куда? Кто знает!

Сутулился, вдруг собираясь в пушистый, тёплый клубок. Волшебную нить вытягивал оттуда. Струною она вдруг становилась. Являлись шагаловские скрипачи, играли. Дриз улыбался.

Метель за окном бушевала.

А здесь все были – свои.

Хорошо, когда люди – рядом.

Особенно в холода.

Уютно. Тепло. Спокойно.

Стихи читают. Вина достаточно. Сварят кофе. Чашечка невесомая, фарфоровая, кузнецовская, в руке – словно птичка. Певчая.
Свеча на столе. Погасшая.
Но можно зажечь. Горит.
Горит, никого не корит.
Горит, о судьбе говорит.
Жёлтое пламя. Чёрная тьма за окном, с сединою метельной, серебряной, пепельной.
Дриз чему-то вновь улыбается.
Но чему? Поди догадайся.
Не получится. И не пытайся.
Мечтатель седой. Молчит.
В уголке. В меховой безрукавочке.
Глаза свои щурит прозрачные.
Скрипачи ему что-то наигрывают.
Время тянет волшебную нить из клубка, за окно она тянется, вьётся в небе метельном, теряется в круговерти неведомой, вроде бы возвращается, вьётся над ним.
Дриз глядит на неё. Улыбается, доброй сказкою в мире храним.

Гена Цыферов. Детский писатель.
Тоже – сказочник. Может – волшебник.
Всё могло у нас быть в Империи.
Всё бывало. И Гена – был.
Соавтор Сапгира. Надёжный.
Многолетний. Любимый. Талантливый.
Ценитель ясного слова. Не бунтарь никакой, не оратор.
Супруг крупнейшей дамы по прозванию Император.
Чей-то ещё – супруг.
Людям славным – преданный друг.
Добрый увалень. Человек высокий, очкастый. Светлый.
Весь – из Моцарта. Прямо из музыки.
Выйдет из дому – словно из древнего, родового замка – в жестокою, с пьянью, с нечистью всяческой, явь.
Улыбается – всем и всему. Призадумавшись, молча идёт по московским бульварам, по улицам.
То на солнышко тихо сощурится, то глядит на деревья, то слушает воркование голубей.
Удаляется тихо в пространство. Приближается вдруг из времён явно сказочных к нам – навсегда.
Внимательный к людям. Тактичный.
Со своей оценкою личной.
Классиков. И современников.
Собутыльников. Соплеменников.
Книжки писал хорошие для детей. Вышивал, бывало. Но тогда выпивали – все.
Радовался: поэзии, речи русской, природе, всегда его окружающей, всюду, во всей красе.
Жить бы ему да жить.
По стогнам столичным бродить.
Друзьям помогать и знакомым.
Вдохновляться с детства искомым.
Чем же? Чудом. Взглядов. Речей.
Тайным жаром ночных свечей.
Скромным благом еды, питья.
Непостижностью бытия.
Изумрудным плеском листвы.
Благодарностью всей Москвы.
За талант его, весь в цвету.
За внимание. Доброту.
За любовь. Ко всему. Ко всем.
Жил он щедро. И знал – зачем.
А он почему-то – умер.

Сапфиру так его часто, хоть кричи, нет – и всё, не хватало!
Не только соавтор, но – друг.
Причём настоящий. Верный.
Сокрушался Генрих. Страдал.
В Коктебеле, в семидесятом, всё он Цыферова вспоминал. Посмотрит порой на деревья – и сразу же вспоминает, как подойдёт, бывало, Гена Цыферов, чуть подвыпивший, добрый, благостный, нежный, к дереву, обнимет его, приговаривает с любовью:

– Родное моё!..

И – другим деревьям в округе тихо шепчет:

– Родные мои!..

И тихонько, задумавшись, плачет.

И голос у Генриха вздрагивал, и глаза мгновенно влажнели.

Хорошим был человеком Гена Цыферов. Настоящим. Чистым. Искренним. Честным. Высоким.

Весь – из Моцарта.

Может – из света?

В свет – ушёл.

Стал светом весенним.

Согревает и обнимает все деревья в мире истерзанном.

Говорит:

– Родные мои!..

Гена Распопов. Скульптор.
Борода густая. Глаза с искорками весёлыми.
Приветливый, добрый, крепкий, размашистый человек.
В мастерской у него, на Добрынинской, собирались мы часто встарь.
Читали стихи. Вышивали. По традиции. В меру. Всегда.
На стене висела, белея то ли снежною белизной, то ли отсветом смутным больничным, гипсовая, похожая на источник света нездешнего, маска Лёни Губанова.
Сам Губанов, живой, говорливый, храбро пил с Распоповым водку.
Приходили гости, рассаживались на распатанных табуретках.
Начинался очередной, всем приятный, московский вечер.
Засиживались допоздна.
Метро было близко, по счастью.
До закрытия – все успевали.
На такси добирались домой в те года только в крайнем случае, да и то – если деньги были.
Через несколько дней, прошедших в суете, в кутерьме столичной и в трудах, – снова шли к

Распопову.

Он встречал, он всех привечал.

Человек уникальный крылатых, невозвратных шестидесятых.

Общине! Вот что было важнейшим тогда для нас.

Поздний свет в окнах кривеньких старенького, со скрипящими половицами, с потолками высокими в трещинах, но с добротными стенами, дома.

Сугробы, ну прямо арктические, огромные, во дворе.

Беседы наши в тепле.

И компания тёплой была.

Хорошей, действительно. Дружной.

Потом Распопов уехал. Куда-то совсем далеко.

В заморские тёплые страны, где птичье пьют молоко.

Где тропики, пальмы, бананы, океанские волны, рай.

Отсюда, увы, не видно, где находится этот край.

Чуть ли не на Таити. Ну что ж, его можно понять.

Уехал – отнюдь не туристом. Работать. Что-то ваять.

Почти как Гоген. Похожей судьба хоть в чём-то была.

Вернулся. В Москве трудился, как прежде. Ну и дела!

Виделись мы всё реже. После воли – какой покой?

Он умер. В душе остался свет в окнах его мастерской.

Ещё один Гена. Геннадий Бессарабский. Отличный скульптор.

Автор памятника Тургеневу – замечательного – в Орле.

Я этот памятник видел. Радовался за Гену.

Был он сокурсником Эрнста Неизвестного. Эрнст о нём с уважением и симпатией не единожды вспоминал.

Потом его неожиданно, по неясной какой-то причине, почему-то парализовало. Ноги вдруг у него отнялись.

Прикованный долгие годы к своему инвалидному креслу, оставался он человеком полноценным, во всех отношениях.

Страстно любил стихи.

Очень меня выделял из всех. Поддерживал всячески. Бородатый, само собою разумеется, смуглый, с горячими, прямо огненными глазами, очень работоспособный, на редкость умный, воспитанный, добрейший, добрее некуда, страстный, искренний человек.

Мастерская его, на улице Архипова, справа, если идти по улице вниз, рядом с тихой в шестидесятых, в дни безвременья, синагогой.

Длинный стол деревянный, скамьи.

Жарко горящие свечи.

Мапа, Генина верная, преданная, чудо просто, и только, жена, удивительная, спокойная, вся светлая, добрая фея, хранительница очага.

И вдохновенный Гена, собиравший нас у себя, живейшее, постоянное участие принимающий в деятельности нашего, легендарного ныне, СМОГа.

Боже мой! Как я помню его!

Как я вижу его сейчас отчётливо, словно здесь он, близко, рядом! Как слышу его хорошо, различая каждое произнесённое им, неспроста, наверное, слово! Как, мне кажется, лишь сейчас я его наконец понимаю!

Почему, почему же в прошедшие чередою густою, быстрою, за смогистской порою, годы, годы бурь и роста духовного, и невзгод, и надежд, и свершений, всё реже и реже к нему я заглядывал на огонёк, а потом и вовсе, ведь надо же, перестал, чудак, заходить?

Не знаю. Право, не знаю.

Такое святое, чистое, родниковое отношение к поэту, какое было у него, человека мудрого, особенного, ко мне, молодому, – поистине редкость.

Я хранил его образ в душе.

Мысленно с ним беседовал в период бездомниц долгих.

Я возил повсюду с собою, как завет его, как талисман, записанные им, Геной, для меня, чтобы помнить об этом, в середине шестидесятых, в грозовую, безумную пору, чётким почерком, на билете в музей Андрея Рублёва, пушкинские слова:

«Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв».

Гена был для меня примером человеческой, личной победы над житейскими обстоятельствами жесточайшими, над судьбой.

Был всегда он самим собой.

Был он труженик настоящий.

Взгляд – и отсвет свечи горящей.

Голос тихий – и ясный свет.

Слов его. Всех минувших лет.

Всех прозрений. И всех событий.

Свет наитий. И свет открытий.

Свет душевный. И свет сердечный.

Свет негаснущий. Значит – вечный.

Гена был человеком дивным.

Днём с огнём не найти такого на распутье эпох, на стыке двух веков, посреди междувременья.

Гена был мне великим другом.

Был. Я знаю.

Он тоже умер.

Но живёт он – в своих трудах.

Как и прежде, в былых годах.

Но живёт он – в моих речах.

И в стихах моих – при свечах.
Взгляд его – различаю вновь.
Пробегают по жилам кровь.
Слово каждое – как алмаз.
Только слёзы текут из глаз.
Только шурюсь я вдрут на свет.
В нём – спасенье. И смерти – нет.

Через тридцать с лишним, прошедших после встреч наших с Геной, лет, после дружбы с ним, драгоценной для меня, старый друг мой, Михалик Соколов передал мне – от Маши, Гениной верной подруги, наперсницы, музы, вдовы, – небольшую, но выразительную, светлую, свет в себе таящую, или творящую, светом внутри говорящую, светом ритма и форм поющую, светом знать о себе дающую, светом память мою озаряющую, светом правды остаться желающую, светом веры ко мне вошедшую, грань забвения перешедшую, чтобы светом сиять и в будущем всей душой и сердцем любящим, белую, словно свет, незамутнённый, чистый, удивительную статуэтку, вылепленную им, Геной, давным-давно, в середине шестидесятых.

Я увидел – себя, стоящего с закинутой головой, вдохновенного, молодого, читающего стихи.

Сразу вспомнил, как Гена хотел мой портрет когда-то лепить.

Он не только меня, поэта, девятнадцатилетнего парня, в ореоле смогистской славы, читающего, изваял.

Он – голос мой изваял.

Выразил звук – в образе.

Образ наполнил – звуком.

Сумел передать – и порыв, и полёт, и восторг, и транс.

И – молодой мой голос...

Так. Вспоминаются дамы.

Судьбы. События. Драмы.

Темы: самые разные.

Дамы. Значит – прекрасные.

Дина Мухина. Дама поистине удивительная, особенная, со своим, гармоничным, прекрасным, от вторжений всяких извне годами оберегаемым, чистым по-детски, миром, со своею, лишь ей одной известной, в душе хранимой, словно свет целительный, тайной.

Художница. Очень талантливая.

Керамикой занималась.

Маленькая, энергичная, с характерным своим говорком.

Жена знаменитого Эрнста Неизвестного, скульптора, спорившего когда-то, на выставке шумной в Манеже, с самим Хрущёвым.

Держалась Дина в тени своего, прошедшего ужасы войны, решительно вставшего на защиту искусства свободного в нужный час, отважного мужа.

В тени этой – было светло.

Источником света была, разумеется, Дина Мухина.

Эрнст это – понимал.

Свет в тени – принимал.

Были супруги дружны, по-своему. Были счастливы. По-своему. Были они людьми совершенно разными. Но держались, во всяком случае, в шестидесятых, – вместе.

Как на войне. Поскольку Москва не фронт, но порою обстановка в ней, так получалось, была почти фронтовой.

Рисковали здесь – головой.

Жизнь была здесь всегда – грозовой.

Сложной. Бурной. Сверхнапряжённой.

С чем-то страшным и впрямь сопряжённой.

С чем-то дивным слитной навеки.

Жизнь была – в живом человеке.

Жизнь была – в жизни их четы.

В проявлениях доброты.

В уважении их – друг к другу.
В отношении – к новому круту.
Ада, что ли? Спросите у Данта.
Жизнь была – развитием таланта.
(Звёздный путь. Нескончаемый дар.
В тёмном небе – светящийся шар.
Круг магический. Коло. Сфера.
Грань. В грядущем – новая эра).
Дина с Эрнстом были приезжими.
Людьми со взглядами свежими.
На искусство. И на богему.
Как теперь говорится, в тему.
В Москве – прижились, освоились.
Но вовсе не успокоились.
Покой, как известно, лишь снится.
Что делать, если не спится?
Работать. Они – трудились.
Успехов они – добились.
Трудились упорно дальше.
Открыто жили, без фальши.
Всё было у них – честь по чести.
Славно смотрелись – вместе.
Оба они – с Урала.
Что ж, поднимай забрало!
В бой! За правое дело!
Вели себя они – смело.
И особенно – Эрнст. Везде.
Шёл – к победе. К своей звезде.
Воевал. Утверждался. Всюду.
Проходил сквозь преграды. Рос.
Всё в нём было – только всерьёз.
Дина больше стремилась – к чуду.

Помню, как сквозь летящую золотую листву, сквозь дымку лиловатую над столицей, сквозь какой-то благостный, тихий, удивительно светлый дождь, за которым хотелось видеть не строения городские, а волшебную радугу, осенью шестьдесят четвёртого года потащила меня, вместе с Лёней Губановым, познакомившим нас, в хороший, наверное, день, потому что читал я стихи, и стихи мои были приняты, были поняты, были по сердцу моей новой знакомой, на прежних непохожей, особенной, это я видел, Дина к себе домой.

Там, в обычной московской квартире однокомнатной, пустоватой, без прикрас, без богемного шика, без художественности ненужной, артистичности показной, очень скромной, приятной, убранной аккуратно, чистой, спокойной, почему-то носившей, мне так показалось тогда, следы недавнего, налетевшего ураганом военным, разгрома, битвы, что ли, какой-то, яростной, разразившейся в этом гнезде, неизвестно зачем, стояла тишина, и домашний уют, в каждой вещи, в любом предмете, освещённом спокойным, приветливым, никуда не спешащим светом из окна, был столь очевидным, что почувствовал я себя здесь как дома, и улыбнулся человечьему, с добротой, в тёплом воздухе разлитой, с откровенностью золотою в ясном взгляде хозяйки, жилью.

Там спала безмятежно в кроватке дочь Эрнста и Дины, Оля.

Там на стенах висели тарелки керамические. Чудесные.

Словно птицы туда слетелись из волшебных краёв поднебесные.

Словно песни там зазвучали незнакомые мне, лирические.

Вот какие тарелки были предо мною тогда керамические.

Это были – видения дивные.

Это были – творения Динины.

Увидев своими лучистыми, пронизательными глазами таинственной, доброй феи сказочной, но скорее, так лучше, глазами талантливой художницы, их создательницы, что мне они очень понравились, Дина спокойно сказала, что было их много, да вот, почти все, увы, перебили.

Была здесь изрядная выпивка, публика собралась богемная, колоритная, кого ни возьми, о ком ни подумай, личность, и только, личность, ещё и какая, с характером каждый, с претензиями, с вопросами к окружающим, с неслыханным самомнением, с амбициями, с гордыней в душе, с упрямством, со взрывчатостью внутри, до поры до времени каждым сдерживаемой, но ждущей повода только, малейшего, чтобы вырваться вдруг наружу, шили, шили, пока всё не выпили, а потом, конечно, добавили, а потом и по новой добавили, а потом, набравшись гуртом, опьянев до последней степени, разгоревшись, раздухарившись, покрасневшись, разговорились, оживились, внезапно взвинулись, раскричались, и вот прорвало их, за грудки хватая друг друга, норовя доказать своё, тут же, сразу, всех убедить в правоте своей, утвердиться в торжестве своём над соратниками, собутыльниками, соперниками, в споре, в жизни, в питье, в искусстве, стали все выяснять немедленно, кто и как, лучше, хуже ли, так себе, на четвёрочку или на тройку, или даже на двойку с минусом, что совсем уж зазорно, братцы, ну а может, и на пятёрку, даже с плюсом, бывает всякое, в этой жизни своей крест несёт.

Эрнст, багровый, с глазами быка, налитыми бешеной кровью, шёл вперёд, как таран, на любого, кто ему возражать пытался, рвался в бой, наклоня слегка свою голову крепкую, с жилами на висках, разбухшими так, что звенели они, как струны, рвал рубахи ворот, ярился, рукава засучив, хрипел на гостей, в атаку готовый устремиться, всюю бушевал.

Гена Айги, поэт, маленький, как подросток, никакой не боец, а так себе, свидетель невольный битвы, очевидец, не летописец, со страху забрался под стол – и там переждал бушевавшую над его головою бурю.

Выясняли свои отношения заядлые, пьяные спорщики не только на убедительных, или не очень, словах.

В ход пускали и кулаки.

Причём всё чаще и чаще.

Всё привычнее. Всё смелее.

Никого вокруг не жалея.

Как несёшь свой крест? Нет, не так!

Ну а ты? Вообще никак!

Ты – получше? Большой вопрос!

Получай-ка за это в нос!

Ты несёшь дольше всех из нас?

Получай-ка за это в глаз!

Крест – судьба? Пусть потом – потоп!

Получай-ка за это в лоб!

Вот какие были недавно фронтовые здесь посиделки.

Потому-то и перебили, в ход пуская их в драке, тарелки...

На столе у Дины лежали – аккуратно перепечатанные на хорошей белой бумаге плотной – стихи Айги.

Буря, видимо, их не коснулась.

Потом – почему-то – Дина потащила нас с Лёней Губановым именно к Гене Айги.

Что её повело туда?

Может быть, воспоминание тёплое – о сидении Генином под столом во время всеобщей битвы?

Как, мол, там наш поэт?

Успокоился ли? Отдышался ли?

Создаёт ли, на радость поклонникам своим, авангардные, новые, сверхсовременные, то есть такие, каких ещё не бывало в русской поэзии, и в европейской, верлибры?

А может, и не верлибры?

Камлания? Заклинания?

Поди разберись! Магические, языческие писания.

Пришлось нам уважить Дину и ехать с ней к Гене Айги.

Дома его, поэта модного, не оказалось.

Отсутствовал. Может, в музее Маяковского находился, где сидел в уголке Кручёных, попивая остывший чай и беседуя с ним неспешно о поэтике футуристов.

Ну а может быть, где-то в гостях, разомлев от спиртного, в облаке сигаретного дыма паря над столом, над притихшими, видимо, от почтения к явному классику авангарда, интеллигентными, с виду, полубогемными, так, для приличия, чтобы слишком среди прочих не выделяться, в

кольцах, в бусах янтарных, дамами, почитательницами таланта поразившего всю столицу образованную поэта, он читал им свои стихи.

Всякое быть ведь могло.

Мало ли где находился в тот день осенний Айги!

Только дома его с утра, как оказалось, не было.

Не было и сестры Гениной, Евы Лисиной, известной чувашской писательницы.

Была здесь только Луиза, другая сестра поэта, слегка не в себе, но тихая.

Толя Зверев однажды за несколько мгновений, по вдохновению, находясь под парами винными, написал, на глазах у собравшихся в доме Айги гостей, её портрет потрясающий, причём при этом он пользовался только окурком, пеплом, да ещё какими-то странными, простейшими, вроде вина красного, минимальными, подручными, как и всегда, чтоб далеко не ходить и ничего не искать, довольствуясь тем, что есть перед ним, художником, средствами.

Получился шедевр. Музейная вещь. Настоящий, высший пилотаж. Как сказал бы Сапфир, улыбаясь в усы, маэстрия.

Не знаю, где, по прошествии более чем сорока лет, сейчас, в наши дни, находится эта работа.

Может, она – у Евы.

Дом, в котором жил Гена Айги со своими родными сёстрами, деревянный, довольно большой, находился в Москве, но ещё и в настоящей старой деревне, расположенной высоко на речном берегу, над Сетункой, где-то за всем в столице знакомой Мосфильмовской улицей, этак двойственно – прямо в городе, спору нет, да никто и не спорит, согласитесь, но, факт есть факт, вещь упрямая, как известно всем на свете давно, и в деревне.

Приобрести его Гене помог в своё время Твардовский, после того, как Айги перевёл на чувашский язык, хорошо, знатоки считали, поэму «Василий Тёркин».

Напоминал этот старый, деревянный, скрипучий дом, а вернее сказать – изба деревенская, очень сильно увеличенные часы-ходики, в виде домика, затейливого, симпатичного, бывали раньше такие.

Гену Айги мы так и не дождались тогда.

Уехали восвояси, под лепет невразумительный сиявшей глазами детскими из полумглы избяной, бревенчатой, шаткой, скрипучей, городской, вполне вероятно, да всё-таки деревенской, сестры поэта, Луизы.

А с Диной Мухиной я порою, изредка, виделся.

Редкостных, надо сказать прямо, достоинств женщина.

Юра Арндт, Юрий Андреевич, сосед мой по Коктебелю, сын Ариадны Арндт, скульптора очень хорошего, женщины, прожившей долгую, трудную жизнь, из круга давних друзей Волошина, сказал мне однажды, у нас, в Киммерии, вдали от Москвы, уже в конце девяностых, что теперь Дина Мухина пишет ещё и стихи замечательные.

И слава Богу, что так.

Со словом Дина всегда – я-то знаю – была дружна.

Лариса Галкина. Тоже художница. Тоже – хорошая.

Выставлялась она, когда-то, в середине шестидесятых, на смогистских, уже легендарных, так вот время идёт, вечерах.

Была она долгие годы приятельницей Распопова.

Там с нею мы и познакомились.

Тихая. Очень скромная.

В ней грусть была – неумная.

В ней радость была – величайшая.

Тишина в ней была – глубочайшая.

По-настоящему, – я-то знаю, что говорю, за слова свои отвечаю, и давно, и теперь, – одарённая.

Светом ясных высот – озарённая.

Хрупкая, вроде, худая, бледная, птичка маленькая.

Но в ней энергия творческая – была всегда велика.

Была художница – труженицей.

И работы её давнишние, мне запомнившиеся надолго, температуры в основном, выполненные в особенной, характерной её манере, с проскрёбыванием обычным лезвием для бритвы, по красочному, бугристому, шероховатому слою, высветляющихся, мерцающих, вибрирующих фрагментов, сливающихся в единое, таинственное видение, хороши были очень, светились в полумгле мастер-

ской, двоились, разрастались, одна в другую странным образом переходя, вырывались из рам, стремились к свету, к людям, жили своею, независимой, цепкой жизнью, продолжались в памяти, словно дальний шум ночного дождя.

Проявляла порой и характер.

Твёрдость духа. Ясность ума.

К одиночеству привыкала.

Всё умела делать – сама.

Вспоминаю её комнатёнку.

Чистота. Простота. Уют.

Выживала. Растила ребёнка.

Вот и птицы в судьбе – поют.

Вот и шелест лиственный – нежен.

И не страшен – житейский ад.

Вот и взгляд её вновь – безбрежен.

Вот и дело идёт на лад.

Появляется постепенно вереница новых работ.

Остаётся вдали мгновенно череда минувших забот.

Вырастает реальность новая – за окном, за стеной, вокруг.

Прямота правоты суровая. Век и труд. Магический круг.

Добрая в жизни, отзывчивая, в творчестве светлом своём – упорно, за шагом шаг, шла своєю дорогой.

Да и в жизни, в быту, в общении, способна была на поступки.

Ко мне, с нашей первой встречи, была она очень внимательна, особенно в слишком уж трудные для меня, скитальца бездомного, измученного, усталого донельзя, мои периоды.

Носик остренький, птичьи глаза, худенькие, как на фресках египетских древних, плечи, прямая, как струнка, спина, пепельные, легчайшие, невесомые, тонкие волосы, белые крепкие руки рабочие – вот Лариса.

Больше четверти века, оставшегося позади, я не видел её.

Жива ли? Что с ней сейчас?

Где её уникальная живопись?

Ничегошеньки я не знаю.

Остаётся – лишь вспоминать.

Соня Губайдулина. Известнейший композитор современный, с мировым, так сложилось всё с годами, именем.

Композитор – с особой судьбой.

Авангардный, само собой.

Соня – птица, на воле парящая, но отнюдь не птица в силках.

Дама, свет Востока таящая в непокорных, дерзких зрачках.

– В струны великих, поверьте, ныне играет Восток, –

далеко не случайно сказал грядущее чуживший Хлебников.

Сложен мир, ничего не поделаешь, а порою и просто жесток.

Выжить в нём удаётся не каждому. Нет ни правил таких, ни учебников.

Но уныние – грех, как известно. И спасенье – в труде. Всегда.

И над эхом восточной песни разгорелась восток – звезда.

В струны Сонины в полную силу Восток играет сейчас.

Да и раньше ведь это было. Проявлялось вдруг. И не раз.

И звучали Сонины струны – сквозь каноны минувших лет.

И вставляли вдали кануны дней, приемлющих странный свет.

Диковатый. Крутой. Восточный.

Чуть пугающий. Но – живой.

С ключевой водой проточной.

С гордо поднятой головой.

С горьковатой полынной мглой.

С угольками костров ночных.

С далью, спитую вкось иглою.

Из лоскутьев. Из слов родных.

С высью звёздной. И с глубио тёмной.
С упоительной тишиной.
С неизбежностью снов укронной.
Чтобы в яви расцвеств днелной.
С чем-то, выстраданным сквозь время.
С возрастаньем извечным тем.
С тем, что пройдено встарь – со всеми.
Что останется – насовсем.

На моём, поразившем сограждан собравшихся, авторском вечере в ненавидимом нами доме литераторов, в феврале шестьдесят шестого, смогистского, с отголосками бурь недавних и событий печальных, года, Соня слушала, как я читаю стихи свои, словно слушала в тихом зале звучащую музыку, мою, молодую, светлую, музыку – навсегда.

После вечера – Соня тут же подошла ко мне и при всех высказала большое желание написать музыку на мои стихи тех времён, свою, губайдулинскую, авангардную, современнойшую, такую, какую она услышала в речи моей тогда.

Не помню теперь, почему я так и не отдал ей тексты.

Желание так и осталось – доселе – просто желанием.

Соня была женой Марка Ляндо, поэта, жившего в Томилино, в домике финском, возле поля, где жители блёклого, затерянного с концами в подмосковных далях посёлка осенью, потихоньку, но упрямо, и даже с азартом, привычно, из года в год, копали себе совхозную картошку, для пропитания, запасы немалые делая в кладовках и погребях, и Марк выходил на промысел, и нас привлекал иногда к работам на поле, и улица, на которой он жил, называлась, конечно же, Полевой, и картошка сгужалась в погреб, который вырыл однажды, самолично, под настроение, и, наверное, по вдохновению, Коля Боков, друг Марка, философ, прозаик, поэт, человек с голубыми глазами, потом, после того, как погреб вырыт был, и картошка в нём обеспечивала питание Марку Ляндо на целую зиму, – Соня стала женой Коли Бокова.

Однажды летом, в Крыму, в Коктебеле, с его свободой, бывшей по сердцу всем нам, тянувшимся отовсюду сюда, к берегам киммерийским, к блаженству и счастью, к морю, к синим горам и холмам, к людям, любящим эти места, коктебельцам, как их называли, и теперь называют, хоть сильно поредели ряды их, когда-то, в полном смысле этого слова характерного, неисчислимого, году в шестьдесят восьмом, только добравшись в свой рай прибрежный, с Кавказа, разительно непохожего на Киммерию, с её благородством строгим, с Кавказа, буйного, пышного, пряного, декоративного, всё же чуждого несколько мне, в отличие от домашнего, милого сердцу Крыма, из Сухуми, где жил я предместье Диоскурии, древнего города, в доме знакомых, у моря, едва отдышавшись с дороги, выхожу я на коктебельскую набережную, чтобы прогуляться и оглядеться, и вижу такую картину: идут мне навстречу бодро вдоль шумной, сине-зелёной, с зигзагами пенными, линии прибоя, видением чудным, Соня с Колей, оба весёлые, загорелые дочерна, невероятно спортивные, сейчас бы таких для рекламы немедленно сняли, в кедах, с тяжёлыми рюкзаками, и рассуждают спокойно, понимая друг друга, пожалуй, с полуслова, нет, с полувзгляда, было так, о высоких материях.

Оказывается, они путешествовали, вдвоём.

Пешком, на ходу рассуждая о том да о сём, без надрыва, наблюдая красоты окрестные, прошли они через высокие кавказские перевалы, вышли к морю, дальше пошли, да так вот и оказались, почему-то, уже в Крыму.

Страсть к ходьбе, везде и всегда, в Коле жива и поныне, как выяснилось позднее, со временем, лет через тридцать.

Возвращавшиеся на родину эмигранты охотно рассказывали, что Боков и половину Америки исходил, по привычке давнишней, пешком, и всю исходил Европу, и до Святой земли добрался, и всю её тоже исходил, на своих двоих, разумеется, то есть пешком.

Это вполне в его духе.

Может быть, для походов своих он, любитель пеших прогулок, на свежем воздухе, на длительные расстояния, и из пещеры, которую вырыл он для себя в благословенной Франции, выбирался. Да наверняка.

Не сидеть же ему годами в темноте глухой, под землёй!

Иногда, и он это знает, лучше многих своих знакомых, полезно и поразмяться.

Ну а Соня, расставшись с Колей, отбывшим в эмиграцию, когда-то, в семидесятых, – спокойно, без всяких сложностей, по собственному желанию, по известным лишь ей одной и весомым, наверно, причинам, уехала за границу.

Как только у нас в стране, после развала Союза, появилась, пусть и особая, не такая, как в прочих краях, необычная, мягко скажем, ибо жёстко стелет судьба для России пути-дороги, заковыристая свобода.

Живёт она, вроде, в Германиш.

Стала теперь знаменита.

Музыка Сонины всюду, повсеместно и повсемирно, широко, постоянно, с триумфом исполняется. Музыка – всё для Сони. И здесь она, как говорится, дома.

Не знаю, ходит ли Соня, как в былые, уже легендарные, отшумевшие времена, подолгу, помногу, – пешком.

Но уверен я твёрдо, что прежние пешеходные путешествия ей на пользу только пошли.

Данте, бродя в одиночестве по каменистым тропам Тосканы, в тоске по Флоренции любимой, его, поэта, изгнавшей куда-то в пространство, а может быть, прямо в вечность, терцины своей «Божественной комедии» сочинял.

Жаль, что когда-то, в конце шестидесятых, Эрнсту Неизвестному, при иллюстрировании этой книги, не удалось хождение именно выразить, движение, – впрочем, задачи у него были рода другого, да и ещё и офорт, безусловно, – техника не такая уж подходящая, что тут подделаешь, для передачи движения, – но зато Эрнст вполне успешно осуществил движение в пространстве, прошёл сквозь время, – и, перебравшись в Америку, ездит себе, при желании, по миру, иногда заглядывая и на родину, и наверняка такое движение, без принуждения, исключительно по желанию, помогает ему и в творчестве.

Соня же Губайдулина, без сомнения всякого, помнит прежние путешествия.

И они, вполне вероятно, стимул дают и движение нынешней её музыке.

Откуда она, эта музыка?

Всё оттуда же, из крылатых, невозвратных шестидесятых.

Потому что и Соня сама – из породы людей, о которых можно сказать лаконично: люди шестидесятых.

Талантлива? Да, конечно.

Даже очень. Дано ей это.

Стремление в ней – извечно.

К Востоку. К началу света.

Запад есть Запад. По Киплингу.

Мы привыкли читать между строк.

И на Сонином нотном стане

прочитаем: Восток есть Восток.

В ней живо – самое главное: горение. Потому-то – жива её музыка в мире, некая часть которого была ещё в шестидесятых изведена ею – пешком.

Ну конечно же – как же всем без него в богеме столичной обойтись, мне скажите? – Василий Яковлевич, художник, известнейший, нет, знаменитый, по всем статьям именитый, такой, что заткнёт за пояс любого запросто, Ситников.

Борода, жёстким клином, всклокоченная, со снежком седины, – вперёд.

Руки, жилистые, хватистые, рабочие, длинные, сильные – взлетают мгновенно вверх, опускаются разом вниз, раскидываются нежданно, крестом широчайшим, в стороны, смыкаются, вновь приходят в стремительное движение.

Ноги в старых, но крепких ещё, сапогах начищенных по полу притоптывают, приплясывают.

Фигура крепкая, сбитая, – никакого лишнего жира, сплошные бугристые мышцы.

Кость прочная и тяжёлая, ничем её, даже битой бейсбольной, которой ныне пользуются бандиты, сроду не перешибёшь.

Глаза, то с прищуром едким, то широко раскрытые, в зависимости от разных обстоятельств житейских, пронзительные, с этаким, в жёстком зрачке, лукавым смешком, с хохотком, но вот всё вокруг примечающий, до поры, до времени, взгляд превращается вдруг в стальное, разящее наповал, при надобности, остриё – и тогда уже ждите атаки, тогда леденеют глаза, зрачки сужаются, словно прицеливается в кого-то пощады не знающий Ситников, рассчитывает свой выстрел из лука, мало кому видимого, но я всегда его, лук этот, видел, так это мне представлялось, – и тетива

тугая привычно, умело натягивается, и стрела, удивительно меткая, блеснув на мгновение, как молния, раскалённая до предела, обжигающая, разящая даже видом своим, летит, и точно, в десятку, в яблочко, попадает в нужную цель, промахов не бывает.

А потом опять он дурачится, ёрничает, балагурит, шутит этак порой необычно, грубовато, шероховато, по-народному, а ля рюс, да всё с вывертами, с поворотами, с закидонами вроде, с бредятинкой, а прислушаешься – и тут же понимаешь: всё это, братцы, и свежо, и оригинально, и умно, даже очень умно, и всегда по делу ведь сказано, вовсе не просто так, не для красного, с перцем, словца, не для национального вовсе, с русским духом сквозь мглу бесчашья безнадежного, колорита, совершенно не для того, чтобы с диким, дремучим запалом, постоянно, упрямо подчёркивать, что он не такой, как все, – нет, было здесь нечто большее, здесь была своя философия – поведенческая, бытовая, повседневная, вроде бы, пусть, а на самом-то деле – творческая, ибо всё превращалось в творчество, и каждое слово его, словцо, иногда и молчание, было чем-то вроде мазка крохотной лёгкой кисточкой по холсту, и соткано всё было из красочных частных, из деталей мельчайших, каждая из которых работала, будучи частью целого, только на целое, и потому словесные тирады его, рассыпчатые, хрустящие на зубах, как сахар в детстве, и все грозящие перейти границы кем-то дозволенного, переходящие эти границы условные, смело, с куражом врождённым, с победным видом, с геройской повадкой, мол, казак всегда ведь в седле, не забывайте об этом, современные люди, божественная орда, разномастная слишком, чтоб в расчёт её брать, высказывания, неизменно парадоксальные, поучения, наставления, присказки, прибаутки – неотделимы вовеки от его ювелирной живописи, да и весь он, такой, как есть, вообще неделим, поскольку, в любой ситуации, – целен, вообще он – сплошная, народная, выживаемость и независимость, – и, юродствующий, он всегда защищён, и на нём не драная, решето, да и только, дыры, да прорехи, да швы, одежонка, но кольчуга, и кисти его, стрелы его, слова его – всегда и везде при нём, вот и выходит, что он – воин, порода такая, ничего не поделаешь с этим, он воин, пускай одиночка, но так вот, пожалуй, и надо, и это его устраивает, он в поле – во всеоружии, один, а ему – хорошо, ни от кого не зависит он, сам хозяин себе, сам себе голова, и поступки он совершает, поскольку способен совершать поступки, и даже, пусть звучит это громко, подвиги, но бывало ведь с ним и такое, и я-то об этом знаю, и что-нибудь отвергает решительно, принимает что-нибудь горячо – в одиночку, сообразуясь с тем, что ему подсказывает компас верный, его чутьё, а чутьё у него отменное, – и он из своей коммунальной комнаты в центре столицы, где всегда он в центре внимания, выбирался в гости, и там, в шумной компании, тоже, незаметно как-то, без всяких усилий лишних, естественно, потому что нельзя иначе, он таков, поймите, оказывается почему-то в центре внимания, и крутится этаким птопором, ввинчивается, вонзается в самую суть того, что ему открывается вдруг, по наитию, по чутью, и взлетает слегка над полом, и парит в прокуренном воздухе, и весь уходит в движение, поскольку никак нельзя ему без этого, жизнь – в движении, и незачем, право, лодырничать, – работайте, братцы, – «ефто» спасение ваше, а в будущем всей путаной жизни вашей и ваших упорных трудов оправдание, да какое!..

Ситников в СМОГе – был.

Ситников СМОГ – любил.

А вернее, любил он, сразу выделив их, из прочих, стихи – мои и губановские.

Помню множество встреч, разговоров.

Помню Ситникова – счастливого: есть поэзия! – русское слово, несмотря на запреты, живо!

Помню его – за работой: холст, мазок за мазком, расцветал. Человек этот был, в Москве, и во всей стране, – очень нужным.

В шестидесятых люди сами тянулись к нему.

Да и позже к нему тянулись.

Для многих художников наших был учителем лучшим он.

Вразумил их вовремя, долго наставлял, опекал, защищал, дал им веру в себя, вывел в люди.

Создал школу свою живописную.

Был любим, уважаем и чтим.

И зачем он уехал в Америку?

Чтобы там – захиреть, умереть?

Непонятно. Непостижимо.

Знать, чужое там было поле.

Оставался бы в поле отечественном, пусть – один, как всегда, по привычке, по традиции давней своей, – может, пожил бы он подольше. Вот и «ефто». Что за судьба?

Впрочем, был он всегда – в движенье, а за ним ждало – постиженье: поля нового, доли, боли. Путь. Видать, недосуг ему было пот рабочий стряхнуть со лба.

Семья Кропивницких. Славная.
В богеме – наверное, главная.
По всем статьям – знаменитая.
Словно книга – слегка приоткрытая.
Сквозь бесчасье – брезжущий свет.
Групповой – как уж вышел – портрет.

В самом центре, конечно, Евгений Леонидович Кропивницкий.
Глава семейства, большого, творческого. Патриарх.
Самый главный и самый важный, в семействе своём талантливом, а может быть, и во всей богеме столичной, таинственный, знаковый человек.

С виду тихий. Всегда спокойный.
Так могло показаться. Кому-то.
Чужим, посторонним людям.
Властям. Но только – не нам.
Внутри – клочкотали страсти.
Скрытые от людских, любопытных чрезмерно, глаз.
Не пускались туда – напасти.
Горение в нём великое – было не напоказ.
Вся тяжёлая жизнь бывшая иногда прорывалась наружу.
Но – тут же, чуть обозначившись, показавшись, обратно пряталась.
Нельзя, чтобы все – видели.
Нельзя, чтобы многое – знали.
Кому какое, простите и поймите, до этого дело?
– Судьба нелёгкая, – промолвил Лао-Цзы, –
как сказал в своей книге «Сонеты на рубашках» его ученик прилежный, Генрих Сапфир.
Генрих – тот, вроде бы, так утверждают, букву одну в своей фамилии краткой, для благозвучия, видимо, когда-то, под настроение, неизвестно – зачем, изменил.
Был – углублённый в себя, своим становлением занятый, долгим, упорным, Сабфир.
Стал – обновлённый, встряхнувшийся, состоявшийся как поэт, авангардный, богемный, Сапфир.

«Б» на «т» исправил зачем-то.
(У Хлебникова в «Ладомире» сказано было так:
– Это шествуют творяне, заменивши Д на Т...
Но это – совсем о другом.)
Старый, опытный, мудрый, живущий в мире своём, берегаемом в глубине души, Кропивницкий – ничего никогда в своей жизни трудной не исправлял.
Он принимал её – всю, такую, какой была она, какая была ему, однажды, свыше, – дана.
Он – радовался бытию.
Верил – в звезду свою.
Своему многогранному дару цену прекрасно знал.
Чутью своему точнейшему давным-давно доверял.
Головы, даже в годы тяжёлые, слава Богу, он не сложил.
Он – просто-напросто жил.
Но, замечу тут же, при этом – и не совсем просто.
Был – сплошным продолжением роста.
Духовного, прежде всего.
Творческого. Извечного.
Везде и во всём – человеческого.
Крайне важного – для него.
Жил – свет в небесах любя.
Жил – землю славя свою.
В аду – жил, словно в раю.
Жил он – внутри себя.

А ещё жил – внутри своего, надёжного, узкого круга.
 Во время оно им созданного.
 Буквально из ничего.
 (Так могло показаться кому-то.
 Но мне так вовсе не кажется.
 Круг доверия и уюта.
 Столько судеб в нём вместе свяжутся!)
 И получилось ведь, надо же, – кое-что. Даже больше – что-то.
 Нечто. Нити срослись духовные. Разрослись, как цветы, щедроты.
 Небольшого, в общем-то, роста, но довольно широкий, устойчивый, спокойно, привычно,
 уверенно ходил он по той земле, которую постигать не уставал, которую, попавшую вдруг в исто-
 рию, по-своему, разумеется, с неповторимыми нотами, в своём ключе и тональности, без помпез-
 ности, без банальности, с откровениями, прозрениями, наблюдениями точнейшими, со словами
 наивернейшими, ужасаясь всему и тут же, неизменно, им восхищаясь, ни с властями, ни с общим
 бредом по привычке не пререкаясь, на своём пути одиноком страстно, искренне воспевал.
 Обожал он прогулки, долгие и неспешные, – на природе.
 Замечал он то, что другому не дано заметить – в народе.
 Получал он заряд энергии от своих наблюдений в мире.
 Лаконичен был он в письме, ну а мыслил – гораздо шире.
 В домашних условиях – сживал, вроде, в сторонке где-то.
 Но оттуда – из глаз его – вырывались потоки света.
 Но оттуда лишь – от него – исходили всегда все токи.
 И стихи кипели в нём, продлевая земные сроки.
 И все нити незримые крепко держал он в своих руках.
 Вот какие бывают силы в некоторых стариках.
 Он был – прирождённый, редчайший, здесь, у нас, педагог. От Бога.
 Ненавязчивый. Терпеливый. И давал он всем нам так много!
 Был учитель он – по призванию. Был наставником. Добрым другом.
 Звёздным странником. Вечным путником – над земным завьюженным кругом.
 Он был – человек созидающий.
 О грядущем своём – не гадающий.
 Обретающий всё – в движении.
 Был он – вечное постижение.
 Продолжение всех традиций.
 Нарушение всех амбиций.
 Утверждение всех новаций.
 Сквозь бесчасье – всех навигаций.
 Всех сражений – с жестоким злом.
 Словом, поднятым – над числом.
 Как фонарь. «Ищу человека!»
 Неотрывным был он – от века.
 Своего. Каков уж он – есть.
 Был он весь – как добрая весть.
 В жизни многих. И – в судьбах их.
 Был всегда он – среди своих.
 Благо, были свои – при нём.
 Не играл он зазря – с огнём.
 Он в себе его смог – сберечь.
 Продлевал он – русскую речь.
 Сохранял её – от невзгод.
 Летописец. И – пешеход.
 Бурь свидетель мирских и гроз.
 Было всё в нём всегда – всерьёз.
 Шёл он – к сути. В корень глядел.
 Никогда не сидел – без дел.
 Дело жизни – школа его.
 В ней – заветов его торжество.
 Дело жизни – в созданном им.
 Был он выше от бед храним.

И прошёл сквозь них – словно луч.
Был он – верой своей могуч.
Был он – тайной своей силён.
Был велик своим светом он.
Светом правды. Светом тепла.
Перед ним исчезала мгла.
Перед ним открывался – путь.
Внутрь явлений. В самую суть.
Жизни смысл прояснялся вновь.
Ведь в основе всего – любовь.
Ко всему и ко всем вокруг.
Может, кто и воспрянет вдруг.
Может, что и очнётся вмиг.
Вот какой был этот старик.
И он, прозорливец, – учил.
Он, отшельник, творец, – создал.

Мало того, что в течение долгих, достаточно сложных, а порою кошмарных лет, в затворничестве своём, плодотворном, сознательном, творческом, в отрешении от мирской, чуждой ему суеты, социальных проблем, барачного, подмосковного, дикого быта, столичного, заурядного, вопиющего безобразия, всеобщего, всесоюзного, на почве родной наростом прижившегося бесчашья, написал он такое количество своих уникальных стихов, что, уже в нагрянувшей с явным запозданием для него, не сдающегося, упрямого человека, досадной старости, когда он не то чтобы сразу же, нет, с боем, сопротивляясь всеми силами, духом всем, старению, неприемлемому для горения, одряхлел, но как-то по-стариковски, что, впрочем, вполне объяснимо, если возраст вспомнить его, устал от всего вокруг, с трудом умещались эти писания многолетние во множестве чемоданов.

Мало того, что поистине, полагаю, неизмеримое число работ живописных и графических создал он.

Создал он ещё и свою – нет подобных ей и в России, и в далёких западных странах, в мире нет ей подобных, – школу.

Руководил Кропивницкий – упорным противостоянием отвратительному режиму, всяческой официальной шелупони в русском искусстве – он противопоставлял своё собственное искусство и искусство людей талантливых из своего, надёжного, близкого окружения.

Приветливый, очень воспитанный, чрезвычайно простой в общении с людьми, был он внутренне горд, всегда и повсюду помнил о собственном, личном достоинстве, о крылатой своей душе, и ещё, подчеркну сознательно, прекрасно знал себе цену.

Ещё всё той же, столь щедрой на события и на знакомства хорошие, важные, осенью шестидесяти четвертого года, когда я, провинциал, степняк, молодой поэт, поступив довольно легко, несмотря на огромный конкурс, в Московский университет, стал жить наконец в столице, когда непрерывно знакомясь с творческими людьми, впервые услышал о нём, а потом и увиделся с ним, я отчётливо понял: он – легенда, причём не из этих, на скорую руку сострипанных, а настоящая, давняя, с прочной, серьёзной основой, со всеми необходимыми для этого предпосылками, со всем, широчайшим, пёстрым, прямо-таки устремлённым к нему одному, стечением самых разных порою, жизненных и творческих обстоятельств, которые все работали – на него, всегда – для него.

Там, в своей тишине, в простоте, в затворничестве многолетнем, был он – может быть, самой сложной и самой загадочной личностью из всех знакомых, которых я считал таковыми.

И живопись ведь его, внешне вроде бы лёгкая, простенькая, отчасти, в чём-то, хотя бы в чистом взгляде на мир, наивная, на поверку, на самом-то деле – очень сложная, с элементами своеобразного эпоса и лиризмом сквозным, трагическая.

И стихи его, вроде бы, надоже, такие уж, батюшки-светы, ничего себе, братцы, простенькие, порой почти примитивы, ну вот, например, такое исчерпывающее, точное описание некоей осени:

«Улетели птички. Отсырели спички»,

на поверку тут же оказывались весьма и весьма непростыми, сложными, многоплановыми, это был наполненный всеми приметами бытия, всей окрестной, будничной, праздничной, бестолковой, неповторимой, многослойной и многоликой, той, что щедро была дарована, свыше, с детства, той, окружающей душу в зрелости, жизнью, мир.

Кропивницкий старый, Евгений Леонидович, сам был – целый, всеми звёздами озарённый, всеми радостями звучащий, всеми горестями скорбящий, всеми чаяниями наполненный до предела, верой хранимый и любовью спасаемый, мир.

И те его современники, соратники, собеседники, кто понимали это, благодарны были ему – за то, что могли вместе с ним бродить в этом, дивном, всё-таки, несмотря на все сложности или несуразности всякие, частности житейские, огорчения и заботы насущные, мире, могли в нём жить, по желанию, а могли и на время выйти из него, чтобы после опять вернуться, – мир Кропивницкого был объёмным, полифоничным, там вдалась было волшебной, по-своему, тонкой, серьёзной, грустной и светлой, музыки, настоящей, собственной, страстной, современной, из века двадцатого, конкретной, трезвой, осознанной как выход из всем нам навязанного социального тупика на просторы нашей вселенной, вдалась было там естества, да и ещё и того вещества, из которого, как планеты, неустанно формировались, под его наблюдением пристальным и всегдашним его руководством, словно им вдохновенно изваянными из рук его выходили, – новые личности творческие, со своими уже, отдельными, так задумано было заранее, так и вышло, больше ли, меньше ли, связи с миром главным учителя ни на миг никогда не теряющими и незримо им направляемыми на путях, земных и небесных, но тоже самостоятельными в движении жизненном, собственными судьбами и мирами.

Как уже было сказано, старый Кропивницкий был – прирождённый, дерзновенный, упорный творец.

Следует помнить, при этом, акцент здесь особый сделаю, что был он ещё и боец.

Да, представьте себе. Так – было.

Потому что, вроде бы редко появляясь на людях, там, где кипела богемная жизнь, где бурлила жизнь повседневная, где скисала жизнь государственная, советская, узаконенная, замешанная на крови сограждан, чумная, коварная, в основе своей бездарная, мифическая отчасти, с мистическим едким душком, от которого в горле ком нарастал, и сердце сжималось в тревоге, всё возрастающей, в тоске, пределов не знающей, стараясь не навлекать на себя различные беды, гонения и невзгоды, которых и так уже было на его веку предостаточно, вёл он – всю свою жизнь – борьбу сознательную, со злом, во всех его проявлениях.

Побеждал он в итоге зло тем, что нёс он людям – добро.

Свет был в нём, животворный, ясный.

Свет развеивал мглу и тьму.

И тянулись люди к нему.

Знали все: человек он – прекрасный.

Ко мне относился он всегда с теплом и вниманием.

Понимал, что мои задачи творческие – совсем иного рода, иного направления, что ли, в стихии русской речи, строя иного, духа, света, пути, восприятия всей вселенной как дома единого, ясной музыки изначальной, и наития, и чутья, и всего, что формировало непрерывно мою поэтику, и всего, что было моим, незаёмным, особенным, личным, было голосом и лицом, слухом, зрением, осязанием, осознанием себя в распахнутом чувствам всем и поступкам всем непростою и прекрасном всё же, мне дарованном свыше мире, нежели все его чёткие собственные задачи.

Уважал – за эту мою очевидную самостоятельность, непохожесть на прочих, которых было вдалась в те времена.

И я в нём ценил всегда его собственную, безусловную непохожесть на всё остальное, и уважал его искренне – за то, что сумел он выжить, сохранить в себе свет, продлить – сквозь безумие прожитых лет, отшумевших вдали, – несравненное, да, читатель мой, именно так, помни это, горение творческое.

В Кропивницком старом, в одном, – как матрёшки, мал-мала меньше, – все им созданные поэты и художники, начиная с Холина и Сапгира, вся немалая, разношёрстная, лианозовская компания.

Но его и ещё на стольких же, полагаю теперь, хватило бы.

Но ему и того, что есть, было вполне достаточно.

Знал он меру во всём. Чувство меры в высшей степени было ему, патриарху седому, присуще.

В стихах моих – он увидел, сразу же, с первых же строк, услышанных им, а потом, чуть позже, ещё и прочитанных с листа, в самиздатских книгах моих давнишних, которые, разбредаясь по всей стране, добирались и до него, совсем другой, интересный ему, импульсивный, собственный, наполненный всеми красками и звуками бытия, изумлявший и притягательный, собственный, светлый мир.

То есть, то же, что видел я и в его, Кропивницкого, творчестве.

Поэтому с ним общались мы – понимая наличие, в каждом из нас, абсолютно разных, существующих самостоятельно в поэзии русской, целостных, жизнетворных, личных миров.

Так вот, в советской действительности, в промозглости дней дождливых, в холода ли, в жару ли, весною ли, в дни, когда тополиные почки разбухают и вот выпускают на волю, поближе к свету,

молодую, клейкую зелень первых свежайших листков, а дети играют в мяч, и кто-то хлопает форточкой, желая всей грудью вдохнуть побольше тёплого воздуха, и где-то играют гаммы, а воронок милицейский везёт кого-то в участок, и спички уже на кухне барачной не отсыревают, и птички всюду поют, всё равно – когда, всё равно – в былом, где когда-то все ведь мы, соратники, современники, собеседники давние, жили, общались, порою дружили, задушевно, запросто, с пользой для каждого несомненной, с тайной в каждой душе сокровенной, с тягой к истине впрямь незабвенной, два мира, друг в друга вглядываясь, присутствию каждого радуясь, друг с другом встарь говорили.

Потапова Ольга Ананьевна.
Художница чудная. Тихая, задумчивая, таинственная.
Свет нездешний. Чистейший цвет.
Взгляд – сквозь время. Другого – нет.
В нём – обломки земных примет.
Звезда остатки. Хвосты комет.
Лет растаявших лёгкий след.
Звук былого. Простой ответ.
На вопросы – извне – любые.
Вздых невольный. Пути мирские.
В поднебесье – тропа своя.
Человечьего знак жилья.
Пусть – провинция. Пусть – барак.
Пусть – Москва. Значит, надо так.
Мрак – отхлынет. И мгла – уйдёт.
Если сердце – чего-то ждёт.
Если в душу придёт – весна.
Если цель впереди – ясна.
Если холод средьзимний – лют.
И спасает – всегдашний труд.
Художница необычная.
Выразительница недосказанного.
Сказительница. Рукодельница.
Может быть – даже волшебница.
Долгие годы – супруга Евгения Леонидовича.
Верная, добрая, умная, достойная, светлая женщина.
Дама. Соратница. Друг.

И слова её – все, без вычетов, негромкие, но серьёзные, значительные во всём, в любой, казалось бы, мелочи, рачительные, разумные, светящиеся на солнце и при свече, горящей в обиталище скромном, на грани города и раздолья пригородного, на грани забвения и вдохновения, откровения и прозрения, в котором ясны очертания других, небывалых миров, уводящих в дали, где грезится пора блаженных даров, слова со своею музыкой, прерывистые, волокнистые, со сквозной золотой нитью, с прожилками тонкими, чистые.

И работы её – прозрачные, словно камешки-самоцветы кокетельские в дни, когда плещут волны, и берег весь, влажный, летний, усеян ими, собирай – не хочу, бери, если хочешь, в ладонь, смотри, перемешивай их с другими, потихоньку перебирай, словно чётки, сложи в узоры, чтоб ненастья нам ждать нескоро, чтобы цвёл киммерийский рай.

И жизнь её, долгая, трудная, жизнь юдольная, жизнь земная, – при всём, что пришлось ей вынести на пути своём, – очень светлая.

Такая, что чудится мне за нею ныне – сияние.

Лев Кропивницкий. Художник.
Авангардный, конечно. Иначе, наверно, и быть не могло.

В молодости – нахлебался горя, сидел в лагерях, вместе с другом своим, художником очень хорошим, тонким, несколько неотмирным, как могло показаться кому-то, но на самом-то деле просто преобразившим явь по-своему, и видения создававшим на фоне страшной действительности советской, в живописи и в графике, лаконичной и удивительно тонкой, трепетной, точной, волшебной, Борисом Свешниковым.

Испытаний разнообразных в жизни Льва Кропивницкого было предостаточно, даже с избытком.

Сын Евгения Леонидовича, он и путь в искусстве избрал себе – непростой. Но – творческий. То есть – в непрерывном движении, в поиске ритмов, образов, красок, форм, новых способов и возможностей выражения мыслей, чувств, дерзких замыслов, смелых решений живописных, графической резкости в каждой линии, грубоватости, первобытной какой-то, и всё-таки, вместе с тем, элегантно, даже, я сказал бы, хорошей изысканности в том, что он создавал годами терпеливо, сосредоточенно, как и надо, впрочем, художнику настоящему в жизни вести себя, находиться в трудах всегда, поднимать постоянно планку для себя, чтобы рваться ввысь, вглубь и вдаль, да и марку держать, зная цену себе и другим, в непрерывном этом движении, в беззаветном искусству служении быть, везде и повсюду, всегда, в ситуациях непредвиденных и в быту, в мастерской, у мольберта, неизменно, самим собою

Он многое сделать успел.

Был в жизни он честен и смел.

В искусстве он был – новатором.

Открывателем новизны.

Любителем старины.

И, вместе с тем, – реформатором.

Не просто – искателем. Нет.

Умел он – своё находить.

Умел – за собой уводить.

Из тьмы выводить – на свет.

Живопись, графика Льва – динамичными были всегда, с энергетикой, в них клокочущей, с электрическими разрядами, с раскалёнными, воспалёнными, оголёнными, словно лезвия, словно иглы колкие, молниями, с гармоничным, при всё абстрактном тяготении к дисгармонии, грозovým, ненастным звучанием, с бесконечным, сквозь мглу, молчанием, с угловатым тонов течением, с узловатым, крутым влечением к просветлённости, столь желанной, что была она долгожданной, и всегда приходила вдруг, вовлекая в незримый круг слух и зрение, чувства все, в жарком, огненном колесе побывав поневоле, – так возникал сквозь работы – знак: жизни, песни, сплошной борьбы, знак надежды и знак судьбы.

Лев не лез никогда ни в какие, даже в самые перспективные или модные, группировки.

При множестве тесных дружеских и приятельских давних связей – был всегда он, всю жизнь, одиночкой.

Он писал и стихи. Опять-таки не такие стихи, как у всех.

Собственные. Особенные. Такие, какими они получались. Оригинальные. В каждом слове и в образе каждом, да и в букве любой – свои.

В девяностых годах Толя Лейкин издал его книгу, с его же выразительными рисунками.

Помню Льва у Сапгира – собранный внутри, приземистый, жёсткий, крепкий, с железной защитой от всего, что мешало ему.

Взгляд из-под крепких очков – как перископ – наружу – ненадолго, бывало, выдвинется: так, обстановка ясна, – и снова взгляд убирается, как перископ, вовнутрь.

И – подальше от суеты.

В свой, хранимый от глаз недобрых, драгоценный, внутренний мир.

Хватало ему вполне всего, чем давно привык он заниматься, день изо дня.

Прежде всего – своего, душу спасавшего, творчества.

Всё остальное – потом.

Занят он был – трудом.

Кропивницкая Валентина. Художница. Дочь Евгения Леонидовича Кропивницкого.

Лицо у Вали – сквозь время, сквозь драмы этого времени, и радости, и печали всегдашние, – белое, чистое.

Глаза с большими, какими-то избыточно влажными, тёмными, с особым, сквозь ночь, свечением, внутри, в глубине, зрачками, то грустные, то с весёлою в них искоркой, возникающей сквозь грусть и медленно тающей в хрустальном их отдалении от всяческой суеты, от бреда, для них излишнего, от шума, совсем не слышного, живущие, как цветы.

Спокойная. Терпеливая.

Конечно, трудолюбивая.

Воспитанная. Рассудительная.

В каждом жесте своём – убедительная.

Все грехи разным людям – прощающая.

Ничего им – не обещающая.

Кроме дивной своей доброты.
Кроме сложной своей простоты.
В тишине её, вовсе не в омуте, водились зверушки некие, сказочные, из её щедрого воображения вышедшие и живущие собственной странной жизнью.

Их она и рисовала.

Была Валентина женой давней Оскара Рабина.

Преданной. Любящей. Верной.

Всё с ним в жизни супружеской за долгие годы – вытерпела.

Всё, что выпало ей на долю, как сумела, перенесла. Молчаливая. Говорила, особенно в шумных компаниях московских, богемных, буйных, говорливых, крикливых, мало.

На людей смотрела она – вроде бы издалека, из той страны потаённой, где жили изображаемые ею, всегда загадочные, в природе таких не встретишь, лишь на её работах повидеешься с ними, зверушки.

Была хорошею дочерью.

Хорошей, наверное, матерью.

Была вообще – хорошей.

Без негативных черт.

За гранью, вдали, – всё прочее.

Стелилась дорога – скатертью.

Покрылась – белой порошей.

Мир был – жестокосерд.

Чего же в нём только нет!

Былого в нём – нет в помине.

А Валя светла поныне.

И нет в ней совсем – гордыни.

Есть – вера. И взгляд – из бед.

С такими – стоят святыни.

Сквозь морок ненастных лет.

Сквозь весь их разлад и бред.

Страдалица. Берегиня.

Предутренний ранний иней.

След лёгкий за гладью синей.

Неспешный вечерний свет.

Рабин Оскар. Художник.

Лидер нонконформистов.

Интересная, подчеркну, далеко не случайно, фигура.

Был очень на месте – в Москве.

Холсты свои продавал порою ещё сырыми, едва успев написать их, – настолько велик был спрос в советские годы на них.

Раз в неделю, в шестидесятых, когда жил он с семьёй своей уже не в бараке пригородном, а в Москве, на Черкизовской улице, принимал он, маэстро, известный и на родине, и за границей, и на этом акцент я сделаю, что вполне понятно, гостей.

Показывал им свои, как правило, немногочисленные, но зато всегда впечатляющие, безотказно, в десятку, работы.

Невозмутимый, с выбритой, задолго до нынешней моды на бритоголовость повальную тусовочную, головой, поблёскивая очками, стоял у мольберта, изредка давая, к месту, ко времени, краткие пояснения.

Ставил вначале один холст, а потом, помедлив, помолчав, покурив, другой.

Обычно их было немного.

Потому что новые вещи сразу же, незамедлительно, получалось всегда только так, повелось так давно, уходили в чьи-то хваткие, цепкие руки, в основном к иностранцам, любителям авангардного, запрещённого в отечестве нашем, искусства.

Небольшой, без излишеств, скромный, даже скудный, запас работ всё-таки дома держал Рабин – чтобы, при надобности, было что показать зарубежным гостям и согражданам.

Человек очень трезвый, практичный, с политической жилкою, умный, временами казался он мне мозговым, не иначе, центром некоторой, не всей, всех не брал он в расчёт, зачем, ни к чему тратить порох, части московских, близких ему, в разной степени, составлявших тесный круг, по

различным причинам, даже дружеский круг, наверное, известных у нас и на Западе, и особенно там, на Западе, где свобода была, художников.

Да так оно всё и было, если в корень смотреть, на деле.

Идеи Рабина, все, без вычетов, осуществлялись, и всегда – с неизменным успехом.

Ну вот, например, пресловутая «бульдозерная», со скандалом, с шумом в прессе западной, выставка.

Трезвость в нём и практичность жили везде и всегда.

В трудах его поступательных.

В действительности советской.

И даже в обычном застолье.

Выпить и закусить хорошенько он очень любил.

Но головы Оскар никогда и нигде не терял.

Ничего не могу сказать о его как будто укрытой плотным чехлом образованности.

Он не любил беседовать.

При встречах всё больше помалкивал.

В период нашего СМОГа я довольно часто к нему приводил своих многочисленных, рвущихся поглядеть работы его, знакомых.

Оскар принимал – всегда.

Можно было, под настроение, просто взять да приехать к нему, днём ли, вечером ли, позвонив ему и сказав, что хочешь увидаться, и услышав его «приезжай», чтобы там, в квартире на первом этаже, побыть у него час-другой, а то и подольше, немного с ним, в кои-то веки, спокойно поговорить, немного, само собою, и это понятно, выпить.

Оскар всегда был радушен.

И приветлив. И добр. И внимателен.

Был хозяином в доме своём.

Был – моим хорошим знакомым.

Не больше? Но и не меньше.

Прятелей и друзей и так у меня хватало.

Помню его – неизменно сдержанным в проявлении разнообразных эмоций, полностью отдающим отчёт себе в том, что теперь положение у него, несмотря на всю очевидную неофициальность его занятий любимой живописью, на удивление прочное, что молодость и нищета – где-то в далёком прошлом, как и его ученичество у старого Кропивницкого, а теперь есть квартира хорошая, дом в деревне, для отдыха, есть, деловые знакомства всякие, среди них и солидные, важные для карьеры художника, есть, есть надёжные, постоянные, год от года всё более крупные, что любому приятно, заработки, есть известность, всё более крепнущая, да и прочее, необходимое в жизни, есть, остальное же – будет, обязательно вскоре будет, – и усы его, коротко стриженные, псевдически над плотно сжатыми, с ядовитым изгибом, губами, и только в глазах его чудилась иногда мне внезапно мелькающая то ли грусть, то ли просто усталость – от чего? от кого? почему? – никому не узнать никогда.

В семидесятых Рабин, с Валею и сыном Сашей, навсегда уехал на Запад.

Саша вырос, художником стал.

А потом Саша Рабин – погиб.

Как-то видел я по телевизору, в передаче о нынешних «русских парижанах», действительно странных, для чужого-то мира, людях, то есть о бывших московских, в прежние годы, художниках, ныне живущих в Париже, Оскара Рабина с Валею Кропивницкой – оба такие тихие, что тишина в них сущностью их была, сдержанные, молчаливые, с виду совсем, как в сказке русской, старик со старухой.

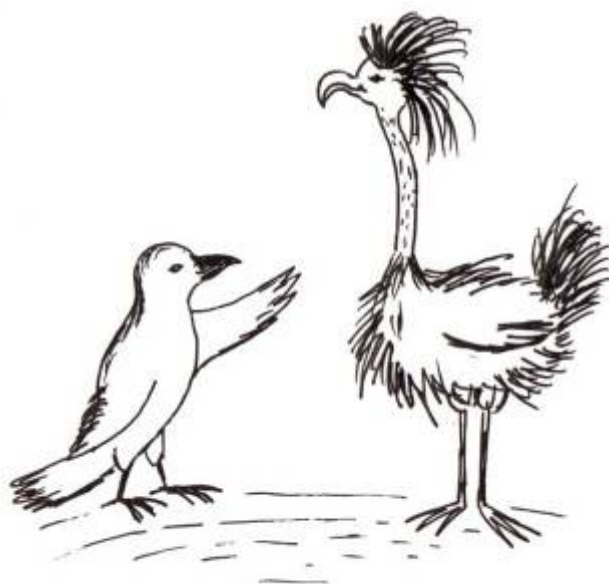
Будто бы не в парижском ателье сидят они рядышком, а где-то в ином, нарисованном Валею, сказочном мире, даже, возможно, мирке, небольшом, симпатичном, уютном, на берегу спокойного, прозрачного водоёма, среди широко разросшихся густых, остролистных растений и славных, добрых зверушек, и солнышко пригревает, или в небе сияет луна, всё едино, всё тихо, спокойно, здесь уютно им, здесь они дома, к ним подходят зверушки добрые, разговоры с ними заводят, а они сидят и молчат.

«Простые, тихие, седые...»

Не о них это было сказано.

А припомнишь – так, вроде, о них...

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ



Алейников Владимир – поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году в Перми, вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на Западе. При советской власти в отечестве не издавался. Более четверти века его тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках, в том числе и собрания сочинений в восьми томах. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» – лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» – лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» – шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатику», «Перформанс», «Дон», альманаха «Особняк». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живёт в Москве и Коктебеле. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Александров Алексей – поэт. Родился в 1968 году, закончил физический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Публиковался в альманахах «Белый ворон», «Новая реальность», «Улов», журналах «Воздух», «Волга», «Дети Ра», «Новый берег», «Урал», антологиях «Нестолничная литература», «Черным по белому», «Лучшие стихи 2013 года», «Антология Григорьевской премии», «Поэтический атлас России», сетевых журналах «TextOnly», «Цирк «Олимп»+TV», «Литературный арьергард» и др. Книги стихов «Не покидая своих мультфильмов» (New York: Ailuros Publishing, 2013), «Труба зимы» (Free poetry, 2016). Живет в Саратове, работает инженером конструктором, редактор отдела поэзии журнала «Волга». В альманахе «Белый ворон» публиковался в №№ 11, 19.

Аргутина Ирина – поэт. Родилась в 1963 г. в Челябинске, где и проживает. По окончании Челябинского университета по специальности «Химия» работала инженером, преподавателем. В настоящее время ведущий инженер кафедры ЭВМ ЮУрГУ. Автор 8 поэтических книг и более 100 публикаций, в т. ч. в журналах «День и ночь», «Крещатику», «Волга», «Ковчег», «Уральская новь», «Урал» и др., в российских и зарубежных (США, Германия) изданиях, антологиях и альманахах. Зам. главного редактора международного поэтического Интернет-альманаха «45-я параллель». Член СПР. В альманахе «Белый ворон» публиковалась в №№ 2, 7, 9, 16.

Бельченко Наталья – поэт, переводчик. Родилась в 1973 году в Киеве. Окончила филологический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Лауреат литературной премии Хуберта Бурды (2000, Германия), премии имени Николая Ушакова (2006), премии «Планета поэта» имени Леонида Вышеславского (2013), а также переводческой премии «Метафора» (2014). Автор семи стихотворных книг. Стихи переводились на немецкий, французский, английский, польский, корейский, голландский и болгарский языки, входили в антологии. Живет в Киеве. В альманахе «Белый ворон» публиковалась в №№ 3, 5, 10, 22.

Беркович Евгений – математик, публицист, историк, издатель, редактор. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, Doktor rer. nat. С 1995 года живет и работает в Германии (Ганновер). Создатель и главный редактор журналов «Семь искусств» и «Заметки по еврейской истории», издатель альманаха «Еврейская Старина» и журнал-газеты «Мастерская». Автор книг «Заметки по еврейской истории» (М., 2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории Холокоста» (М., 2003), «Одиссея Петера Прингсхайма» (Ганновер, 2013), «Антиподы. Альберт Эйнштейн и другие люди в контексте физики и истории» (Ганновер, 2014). Публиковался в журналах «Нева», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Зарубежные записки», «Человек» и многих других изданиях. В альманахе «Белый ворон» публиковался в №№ 21, 22.

Бородин Василий – поэт и художник. Родился в 1982 г. в Москве. Стихотворения, эссе и графика публиковались в журналах «Reflect», «Reiz», «TextOnly», «Воздух», «Новый ДРАГОМАНЬ ПЕТРОВЪ», «Другое полушарие», в альманахе Новой Камеры Хранения, на сайтах «Полутона», «Библиотека Трамп» и «Новая Литературная Карта России». Автор книг стихов «Луч. Парус», «P.S. Москва – город-жираф», «Цирк “Ветер”» и «Дождь-письмо». В 2013 году в издательстве «Евдокия» вышел альбом графики художника. В альманахе «Белый ворон» публиковался в №№ 1, 2, 8, 13, 16, 22.

Былинин Константин – поэт. Родился в 1984 году. Член областного литературного клуба «Светунец» Им. Вячеслава Богданова при Союзе Писателей России. Член Комитета литературных объе-

динений Челябинской области «Литера Артель». Лауреат 1-ой степени 11-ого Областного литературного конкурса «Прекрасен наш Союз» (2015). Лауреат второй степени 13-х и 14-х «Каслинских литературных чтений» (2014-2015). Диплом 2-ой степени Всероссийского литературного конкурса «Моя Родина» (номинация поэзия, 2014). Публикации: Литературный журнал «Новая Реальность», альманах «Южный Урал», «Северо-Муйские огни», «Nota Bene», «Зарубежные Задворки», газета «Творческий Союз» и многие другие. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Винтерман Изяслав. Родился в Киеве, живет в Иерусалиме. Автор двенадцати книг стихотворений и эссе. Лауреат литературных премий. Публиковался в сетевых и периодических изданиях Украины, России, Израиля и США. В 2016 году в издательстве «Евдокия» вышел сборник стихов «Тамвсердцевине». В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Витковский Евгений – поэт, переводчик. Родился в 1950 году в Москве; москвич в пятом поколении. Учился в московском университете; поняв, что никакое серьезное гуманитарное образование получить там невозможно, покинул его, занялся изучением иностранных языков и литературой, а также книгоизданием. С начала 1970-х годов печатался как поэт-переводчик и как литературовед, с начала 1990-х – как поэт и прозаик. Выпустил ряд фантастических романов. Лауреат премии «Серебряный век» за 2014 год. две поэтических книги – «Разговоры в царстве еще живых» (1970-2015) и «Русь безначальная» (2015-2016) не изданы, печатались лишь в отрывках. Предлагаемые стихотворения взяты из первой. Автор фотографии – Светлана Каверина. В альманахе «Белый ворон» публиковался в № 13.

Данова Екатерина – журналист, писатель. Стала журналистом в 1958 году, когда начала работать на Мурманском радио и телевидении, а позже – на Ленинградском ТВ. В Австралии живет с 1996 года. Еженедельно выступает в русской программе на радио SBS, публикуется в журналах, проводит экскурсии по Мельбурну. Первая книга вышла в 2002 году, а в 2015-м – десятая. 300-летие Санкт-Петербурга отметила изданием сборника очерков о Мельбурне и Питере «Побратимы». В 2013-м выпустила на DVD фильм «Сага о Мельбурне». В альманахе «Белый ворон» публиковалась в №№ 19, 20, 21.

Дернова Ольга – поэт, родилась в 1979 году в Москве. Окончила педагогический колледж № 6, Московский городской педуниверситет и Высшие библиотечные курсы при РГБ. Работает библиографом в Государственной публичной исторической библиотеке России. Seriously начала заниматься поэзией с четырнадцати лет. Лауреат конкурса «Открытие». В 2012 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «поэзия» с поэтическим циклом «Повадки Протея». Автор книги стихов «Человец» («Евдокия», Екатеринбург, 2013), за которую в 2014 году удостоилась Первой премии литературного конкурса «Русского Гулливера». В альманахе «Белый ворон» публиковалась в №№ 1, 6, 12.

Захарова Надежда, художник. Родилась в 1989 году на Урале. Училась в лаборатории кинорежиссуры Артура Аристокисяна при Московской школе нового кино. Закончила её в 2015 году. Дипломный фильм «Огонь». Первая персональная выставка состоялась в 2015 году в сквоте Петра Аляева. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Кабир Максим – украинский русскоязычный поэт, прозаик. Родился в 1983 г., живет в Кривом Роге. Автор нескольких поэтических книг, среди них «Письма из бутылки», «Татуировщик», «Кульб», «Книжка», «Нунчаки». В 2014 году в издательстве «Евдокия» вышел сборник стихов «Осечка». Рассказы были напечатаны в различных антологиях. Организатор фестиваля «Рыжие тексты» (вместе с Ольгой Хвостовой). В альманахе «Белый ворон» публиковался в №№ 4, 17.

Каган Виктор – поэт, психиатр и психолог, M.D., Ph.D. Автор более 500 публикаций в российской и зарубежной печати, в том числе более 30 монографий. Начиная с 1960-х публиковался во многих российских и зарубежных журналах, альманахах и сборниках, автор нескольких поэтических книг. Дипломант Международного литературного Волошинского конкурса (2005, 2008), лауреат литературной премии «Серебряный век» (2009). В альманахе «Белый ворон» публиковался в №№ 1, 5, 19, 14.

Ковсан Михаил. Переводчик и комментатор ТАНАХа, автор книг по иудаизму, публикаций по теории литературы и истории русской литературы, поэт, прозаик. Автор нескольких поэтических книг. В альманахе «Белый ворон» публиковался в №№ 14, 15, 19, 20, 21, 22.

Крамер Александр – поэт, прозаик. Родился на Украине, в Харькове. Последние годы живет на севере Германии, в Любеке. Окончил харьковский политехнический институт, заводской инженер. Участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Публиковался в литературных изданиях разных стран, в том числе в России, Украине, США, Канаде, Болгарии и Герма-

нии. В 2009 году несколько рассказов вошли в «Антологию российских писателей Европы», а в 2013 г. в сборник рассказов «Десятьдомиков» (пишется действительно вместе). Есть и еще несколько небольших книжных публикаций. В альманахе «Белый ворон» публиковался в №№ 17, 18.

Кранц Генрих – писатель. Родился на Западной Украине в 1959 году. После окончания школы учился в ПТУ, работал в нефтеразведочной экспедиции на севере Тюменской области, служил в армии, после чего закончил школу милиции и военное училище, служил в органах внутренних дел. С конца 1980-х годов писал прозу, стихи и сценарии, некоторые из них были экранизированы. В настоящее время живет в С-Петербурге, работает заместителем главного редактора исторического журнала. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Краснова Татьяна – прозаик. Родилась в 1967 году в городе Тольятти Куйбышевской области, и почти сразу начала выпускать газеты, журналы, книги и учебники для своих кукол и друзей. Затем продолжила эту работу в районной газете и научно-производственном журнале (побывав на всех ступеньках, от корректора до главного редактора) и в книжных издательствах. Член Союза журналистов России. Окончила Литературный институт. В 1989 году участвовала в последнем, 9-м Всесоюзном совещании молодых писателей. Автор книг «Миражи счастья в маленьком городе», «Белая панамка» («Евдокия», Екатеринбург, 2011). Публикации: в сборнике прозы «Свобода совести» (издательство «Советский писатель», Москва, 1991 г.), в журналах «Мь», «Бумеранг», «Край городов», «Открытая мысль», в семейной серии «Дорога домой» издательства «Амадеус». Живет в Подмосковье. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон». В альманахе «Белый ворон» публиковалась в №№ 1, 3, 4, 6, 7, 14, 21.

Николаев Сергей – поэт. Родился 26 июля 1966 г. в Ленинграде. В 85 г. окончил строительный техникум. Служил в армии, работал рабочим на стройках, в экспедициях, на заводе. После 91 г. был дворником, продавцом, курьером, сторожем, рекламным и торговым агентом. Занимался в студиях А. С. Кушнера и А. Г. Машевского. В 2000 г. вышла книга стихов «Свидетельство о бедности», в 2009 «Непрочное небо», в 2014 «Никто не виноват». Публикации в журналах «Звезда», «Арион», «Петрополь», «Новый журнал», «Крепятик», «Аврора», «Знамя», в коллективных сборниках и в интернете. В настоящее время живёт в маленьком лесном посёлке в Ленинградской области. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Огаркова Мария – эссеист. Родилась в 1967 г. в Свердловске, закончила филологический факультет УрГУ. Автор двух книг эссе, написанных совместно с Сергеем Слепухиным. Редактор альманаха «Белый ворон», в котором публиковалась в №№ 2, 5, 7, 16, 21.

Олтяну Михай – румынский художник. Родился в 1962 в деревне Rediu в округе Neamt county. Закончил Высшую школу искусств Васалу в 1980, учился у профессоров Gheorghe Velea и Pinca Petru.

Персональные выставки

1985 – Art Museum, Roman

1987 – Art Museum, Roman

1989 – Alfa Art Galleries, Piatra Neamt

2005 – Franciscan Seminar, Roman

2015 – Royal Gallery, Sinaia

Коллективные выставки:

1981-1989 – Ежегодная выставка живописи, графики и скульптуры в Румынском Художественном музее.

1982-1984 – Ежегодная выставка живописи, графики и скульптуры в Художественном музее в Васалу.

1984 – Художественный салон в Доме армии в Бухаресте.

1988 – Художественный салон в галерее “Venus”. Первый приз в секции графики.

1998 – Весенний салон в Художественном музее Piatra Neamt.

1990 – Выставка живописи, графики и скульптуры “Aurel Baesu” Ассоциации “George Bacovia Theatre” в Васалу.

1991-2004 – Ежегодная выставка живописи, графики и скульптуры “Pro Arte” Club в Румынском Художественном музее.

1992 – Благотворительная выставка “Roman 600” в Румынском Художественном музее.

1993 – Ежегодная выставка живописи, графики и скульптуры в Художественном музее в Vaslui.

1996 – Выставка живописи, графики и скульптуры “Plasticieni Romascani” в Художественной галерее “Lascar Vorel” в Piatra Neamt.

1999 – Весенний салон в Румынском Художественном музее.

2005 – Выставка живописи, графики и скульптуры “Plasticieni Romascani” в Художественной галерее “Lascar Vorel” в Piatra Neamt.

2005 – Ежегодная выставка живописи, графики и скульптуры в Румынском Художественном музее.

2006 – Ежегодная выставка живописи, графики и скульптуры в Румынском Художественном музее.
2009 – Ежегодная выставка живописи, графики и скульптуры в Румынском Художественном музее.
2014 – Ежегодная выставка живописи, графики и скульптуры в Румынском Художественном музее.
2015 – Персональная выставка в Sinaia Royal Gallery.
2016 – Весенний салон в Румынском Художественном музее.

Работы художника хранятся в румынских частных собраниях в Roman, Piatra Neamt, Vasau, Bucharest, Timisoara, Galati, Cluj, Iassy, Oradea, Constanta и коллекциях за рубежом: в Канаде, США, Бельгии, Швеции, Ираке, Германии, Греции, Израиле, Испании, Великобритании, Швейцарии, Австрии.

<http://mihaiolteanuartpictures.blogspot.com>

<https://plus.google.com/u/0/114421010382205778533/posts>

<https://www.facebook.com/mihaiolt>

https://www.facebook.com/pages/Fine-Arts-Mihai-Olteanu/309168575775274?ref=aymt_homepage_panel

Ошевнев Федор – прозаик, публицист, журналист. Родился в 1955 году в Усмани Липецкой области. В 1978 году окончил Воронежский технологический институт и в 1990 – Литературный институт имени А.М. Горького. Двадцать пять календарных лет отдал госслужбе: в армии и милиции. Майор внутренней службы в отставке, участник боевых действий, ветеран труда. Член Союза журналистов России. Член Союза российских писателей. Автор девяти книг: семи прозы и двух публицистики, а также более ста журнальных публикаций прозы в следующих периодических изданиях: За рубежом: русскоязычные журналы «Edita» (Германия, Вестфалия), «Процесс» (Чехия, Прага), «Лексикон» (США, Чикаго), «На любителя» (США, Атланта), «Жемчужина» (Австралия, Брисбен), «Артикль» (Израиль, Тель-Авив), «Начало» (Израиль, Ашдод), «Новая Немига литературная» (Беларусь, Минск), «Мир животных» (Беларусь, Гомель), «Новый свет» (Канада, Торонто), «Книголюб» (Казахстан, Алматы), «Пять стихий» (Украина, ДНР), «Звезда Востока» (Узбекистан, Ташкент). В центральных изданиях: «Литературная учеба», «Молодая гвардия», «Смена», «Литературная Россия», «Воин России», «Жеглов, Шарапов и К⁰», «Мы», «Наша молодежь». В периферийных изданиях: «На русских просторах» (Санкт-Петербург), «Второй Петербург» (Санкт-Петербург), «Подъём» (Воронеж), «Петровский мост» (Липецк), «Звонница» (Белгород), «Приокские зори» (Тула), «Ковчег» (Ростов-на-Дону), «Южнороссийский адвокат» (Ростов-на-Дону), «Профессия киноло» (Ростов-на-Дону), «Южная звезда» (Ставрополь), «Казань» (Казань), «Волга XXI век» (Саратов), «Русское эхо» (Самара), «Доля» (Симферополь), «Новгород литературный» (Великий Новгород), «Сура» (Пенза), «Веси» (Екатеринбург), «Северо-Муйские огни» (Бурятия), «Бельские просторы» (Уфа), «Бульвар зеленый» (Омск), «Новый енисейский литератор» (Красноярск), «Литературный меридиан» (Приморский край), «Кают-компания» (Владивосток), «Дальний Восток» (Хабаровск), «Балтика» (Калининград). В интернет-журналах: «Эрфоль» (лауреат литературного конкурса издания за 2011 год), «Наша улица», «Молоко», «Кольцо А», «45-я параллель», «Стебушник», «Русская жизнь», «Русское поле», «Искусство войны», «Эстетоскоп», «Город «Пэ», «Литкультпривет». Причислен к направлению «жесточкого» реализма. Награжден медалями «За ратную доблесть» (за создание повести на тему афганской войны «Да минует вас чаша сия»), «За отличие в охране общественного порядка» (по итогам командировки в Чеченскую Республику), «За отличие в воинской службе» I степени (по итогам командировки в Ингушетию) и другими, нагрудными знаками «Участник боевых действий», «За службу на Кавказе», «Знак Почета ветеранов МВД». В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Рублева Полина – поэт. Родилась в 1982 году в Свердловске, окончила филологический факультет Уральского госуниверситета и Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского по классу домры. Живет в Екатеринбурге. Работает главным администратором Уральского государственного оркестра народных инструментов «Звезды Урала» в Уральском центре народного искусства. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Новая реальность», «Уральский следопыт», в альманахах и сборниках. В 2014 году вышла первая книга стихотворений «Пробуждение». Член редколлегии альманаха «Белый ворон».

Рябокоть Дмитрий – поэт. Родился в 1963 году в городе Берёзовский Свердловской области. В 1985 году закончил истфак УрГУ. Работал учителем истории в школах, зав. отделом литературы в журнале «Голос», зам. гл. редактора журнала "New Фаворит", оператором паровых котлов... С 1986 по 1990 – участник поэтической группы «Интернационал». Стихи публиковались в журналах – «Урал», «Литературный Екатеринбург», «Байкал», «Prosodia», «ЕДИТА» (Германия), «Артикль» (Израиль). В Антологиях – «Современная Уральская Поэзия», Челябинск, 1996, «Екатеринбург» («Черный Квадрат»), 2003. В Международном Литературном Альманахе «Век 21», 2007 (Германия). В многочисленных коллективных сборниках. Рецензии на поэтические книжки публиковались в журнале «Новая Реальность» и в областной газете «Уральский Рабочий». Автор двух книг стихотворений. Дмитрию Рябокотю посвящены фрагменты воспоминаний Бориса Рыжего – «Роттер-

дамский Дневник» («Знамя», 2003, № 4) и Олега Дозморова – «Премия «Мрамор» («Знамя», 2006, № 2). Живет в Екатеринбурге. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Слепухин Сергей – екатеринбургский художник, поэт и эссеист, родился в 1961 г. в городе Асбесте Свердловской области. Автор восьми сборников стихов и двух книг эссе, написанных совместно с Марией Отарковой. Главный редактор альманаха «Белый Ворон».

Слепухина Евдокия – художник. Родилась и живет в Екатеринбурге. Иллюстрировала стихи Даниила Андреева, Александра Левина, Владимира Гандельсмана, Алексея Цветкова, Сергея Комлева, Михаила Квадратова, Игоря Рымарука, Ива Мазагра, прозу Элисео Дието, Татьяны Красновой. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон». Победитель Третьего Берлинского Международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2012» в номинации «Лучший художник-иллюстратор». В альманахе «Белый ворон» публиковалась в №№ 4, 11, 13, 16, 19, 22.

Смоляков Владимир – поэт. Родился в 1954 году. Окончил Новосибирское театральное училище 1981 году. Работал в разных театрах страны. Актерский репертуар от классики и до авангарда, имеет некоторый опыт работы в кино. В альманахе «Белый ворон» публиковался в № 21.

Тейт Эш. Живёт и работает между Москвой и Дубаем. Член главной редакции Большого литературного клуба (БЛК). Дважды лауреат «Кубка Мира по русской поэзии». Золотое перо Руси-2014. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Холодова Светлана – поэт. Родилась на Урале, живет в Екатеринбурге, окончила филологический факультет УрГУ, публикации в сетевых поэтических сайтах. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Хрыкин Святослав (22.10.1939 – 10.03.2013) – поэт и художник. Родился на Дальнем Востоке, на таёжных золотых приисках Низовья Амура, там же прошло детство и отрочество. С 1955 года жил в Чернигове. После окончания школы работал на строительстве канала «Северский Донец – Донбасс», с 1959 года – токарем на черниговском заводе «Октябрьский Молот», с 1971г. – художником-оформителем. Стихи публиковались в газетах «Деснянская Правда», «Комсомольский Гарт» (Чернигов), «Зеркальная Струя» (Харьков), в альманахе «Ковчег» (Житомир), в журнале «Радуга» (Киев). В 2008 г. вышел сборник избранных стихотворений «Жертвенный камень» (изд. «Деснянская Правда», Чернигов). Стихи поэта включены в антологию «Украина. Русская поэзия. XX век.» (2008, Киев, изд. «ЮГ»). В 2009 г. стал лауреатом Международной литературной премии им. Риталия Заславского «Круг родства». Состоял в ВТС «Конгресс литераторов Украины». В 90-е годы опубликовал самиздатским способом около двух десятков небольших стихотворных сборников черниговских поэтов. Составитель антологии «Русская поэзия Чернигова: XX век», 400стр., 2008г. Более 25 лет своей жизни посвятил сохранности, систематизации, публикациям поэтического наследия практически забытого поэта 20-х годов прошлого века Игоря Юркова (жившего в юношеские годы в Чернигове). Итогом этой подвижнической деятельности стало издание книги И.Юркова «Стихотворения и поэмы» – СПб.: издательство «Пушкинского Дома» (составитель С.Хрыкин), 2012г. Обладал энциклопедическими знаниями в области литературы, живописи, музыки, истории, философии. Долгие годы был душой неформального литературного общества. В альманахе «Белый ворон» публиковался в № 21.

Шапенков Дмитрий – поэт. Родился в 1974 году в Москве. По образованию инженер-технолог по переработке пластических масс. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.

Шиллимаат Раиса – прозаик, эссеист, переводчик. Родилась и выросла на Северном Кавказе. Имеет музыкальное и филологическое образование. С 1995 года живёт в Германии. Многочисленные публикации в газетах, журналах и альманахах России, Германии, Австрии, Бельгии, Дании. Переводит с немецкого языка и на немецкий язык. Постоянный автор альманаха «Белый ворон». Член Союза российских писателей. В альманахе «Белый ворон» публиковалась в №№ 1, 2, 3, 21, 22.

Яшнов Михаил родился в 1986 году, закончил математический факультет МГУ. Московский интеллект, коллекционер графики. В альманахе «Белый ворон» публикуется впервые.